ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, первый заместитель главного редактора — 273-52-56, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 21.05.90. Подписано к печати 09.07.90. М-28316. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,46 усл. кр.-отт. 26,5 уч.-изд. л. Тираж 344 000 экз. Заказ № 267. Цена 90 к. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Александр Володин

* * *

Здесь перестройки механизмы,
приоритеты плюрализма,
и что-то брезжит впереди.
Но долгосрочные прогнозы
нам обещают только грозы
и, в лучшем случае, дожди.

Под недостроенною кровлей
начальство с приостывшей кровью
сидит печальною толпой.
А впереди?.. На все вопросы
ответ прямой: «Возможны грозы
и дождь на годы проливной».

Хоть вера наша и ветшает —
прогноз не врет. Не обещает
тепла. Спасибо и на том...
Но вдруг, подросши, наши дети
сметут сырые бревна эти?
Прогноз пророчит и погром.

* * *

В голодном городке на Волге
ждем. Едет первый секретарь.
Запрещена продажа водки,
торговый сдвинут календарь,

чтобы случайный алкоголик
ему не встретился в пути.
На улицах сегодня голо,
к магáзину не подойти.

Тут ждет народ секретаря.
Его поносит трезвым матом.
— Милиция, скажи понятно:
когда — сюда, когда — обратно,
чтоб не торчать у лавки зря!

А разговоры между тем
заходят о советской власти,
а там — сравнение систем,
да и о Сталине отчасти...

Весть — не приедет! Распахнулось!
Народ взревел. Земля качнулась.
Ликует очередь. Стою
и славлю родину мою.

* * *

М. Козакову

Виновных я клеймил, ликуя.
Теперь иная полоса.
Себя клеймлю, себя виню я.
Одна вина сменить другую
Спешит, дав третьей полчаса.

* * *

Скорбя, о партии пишу.
Сейчас подвергнута попранью,
когда сама — рабов собранье —
бредет бескрайним полем брани
к очередному рубежу.

Велела ликовать судьба —
и ликовала, хоть устала.
А велено — и перестала,
и на грехи времен восстала,
немного взяв и на себя.

Стоит, едина и нема,
толпой послушной пред обкомом.
И сотый блин, как первый, комом.
Не дай ей Бог сойти с ума.

* * *

Непокоренная страна...
Я не сановный, не чиновный,
но перед ней уже виновный,
хоть это не моя вина.

Наносят мелкие обиды...
Что делать, им стократ больней.
Терплю, не подавая вида,
за грех империи моей.

1982

Александр Моисеевич Володин (р. 1919 г.) — драматург, поэт и прозаик. Участник Великой Отечественной войны. Печатается с 1954 года. Первая пьеса — «Фабричная девчонка» — была поставлена в 1955 году в театрах Москвы, Ленинграда и других городов. За ней последовали многие другие («Пять вечеров», «Осенний марафон»). Рассказы А. Володина также очень известны. В последнее время он все чаще выступает и со стихами. Живет в Ленинграде.

* * *

Он сжег себя на площади центральной.
Всех оторвал от неотложных дел.
Мир онемел. Одною больше раной.
— Как сжег?
— Да, говорят, сгорел.
— С чего же он?
— Да, говорят, что ради
свободы, родины. Вообще, протест.
Судьба на нем остановила перст.
Милиции вокруг — как на параде.
— Но говорят, что он был ненормальный?
— Он был нормальней всех нормальных нас!
Один нашелся! Времена туманны!
То факел правды на земле погас!..

Сегодня годовщина. На кладбище
его могила. В этот день пусты
дорожки меж крестов. Кого-то ищут,
милиции указаны посты.

Из-за оград летят, летят цветы.

1982

1939, 40, 41...

Срок службы в армии был два года. Но служили по четыре, пять, не отпуская никого в ожидании войны. Которая все же оказалась неожиданной.

Казарма, казарма, бессрочная служба.
Мальчишки, виновные без вины.
Уставы, учения, чистка оружья.
Почетные лагерники страны.

Служили, служили, служили, служи...
Бессрочное рабство. Шинели — ливреи.
Несметная армия в мирное время.
Эпоха нежизни. Года — миражи.

* * *

До сих пор, хотя и реже,
снятся сны, где минный скрежет
и разрывов гарь и пыль.
Это было, я там был.

Но откуда — про глухие
стены, про допросы, страх,
сапогом по морде, в пах.
Я там не был. Но другие...

* * *

Сначала трясся на подножке
от контролеров поездных,
потом проник в вагон, к окошку,
потом на мягкой полке дрых.

Потом утратил осторожность,
не помню сам и как — отстал.
Один стою в пыли дорожной,
уходит медленный состав.

Дорожный разговор уехал
и маленький портфель идей,
а я стою как бы для смеха,
для развлечения людей,

которые глядят из окон.
Все едут мимо поезда...
Стою в сомнении жестоком,
что люди едут не туда.

* * *

Добился я того, что не звонят,
почти что не звонят по телефону.
— Я очень занят! Занят я! Зáнят! —
твержу долдону, звонарю, пижону.
Добился я того, что не звонят.

Но телефон чудовищен молчащий!
Ему природой велено звонить.
К чему мне этот незвонящий ящик,
с округлым миром порванная нить!

Но чу! Звонок...
— Кого? Постой, постой.
Таких здесь нет. И не было. Едва ли.
Вы не туда попали. А какой
вы телефонный номер набирали?
Увы, не тот. А вы проверьте в книге.
По адресу, ведь это так несложно.
Ну, в справочном. Хотите, справлюсь мигом?
А вы мне позвоните, если можно.

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

65

(Пётр Аркадьевич Столыпин)

Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определённо и верно. А затем — не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают и развивают это ядро.

У Петра Столыпина таким узлом завязалось рано, сколько помнил он, ещё от детства в подмосковном Середникове: русский крестьянин на русской земле, как ему этой землёю владеть и пользоваться, чтобы было добро и ему, и земле.

Это острое чувство земли, пахоты, посева и урожая, так понятное в крестьянском мальчике, непредвидимо проявляется в сыне генерал-адъютанта, правнуке сенатора (среди предков — Суворов, среди родственников — Лермонтов). Не знание, не сознание, не замысел — именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина, и оба они — от России, а вне земли — России нет. Постоянное напряжённое ощущение всей России — как бы целиком у тебя в груди. Неусыпчивая жалость, ничем никогда не прерываемая любовь. Но хотя любовь как будто вся — из мягкости, а как что прикоснётся *э т о г о* — твёрдость дуба. И так всю жизнь.

Впрочем, это чувство земли выныривало и в конно-гвардейце-деде, от которого, видно, и заповедалось: не будет расцвета русскому крестьянину, пока он скован круговой порукой общины, ответом каждого за всех, принудительным уравнением, обезнадёживыми переделами земли, никогда не в сросте с нею, бессмыслицей каких-либо улучшений, и длинностью, узостью, нелепостью, отдалённостью полосок пахотных и сенокосных участков. Приехав даже изблизи, с земель белорусских или малороссийских, как не подивиться этой щемящей великорусской чересполосице, хотя и умилишься устоявшемуся вековому искусству крестьян размерять и уравнительно распределять во всём неравную, негладкую, несхожую землю?

И — просто до ясности, и — сложно так, что ни взять, ни объять. Передельная община мешает плодоносию земли, не платит долга природе и не даёт крестьянству своей воли и достатка. Земельные наделы должны быть переданы в устойчивую собственность крестьянина. А с другой стороны? — в этом умереньи, согласии своей воли с мирской, во взаимной помочи и в связанности буеволия — может быть залегает ценность высшая, чем урожай и благоденствие? Может быть, развитие собственности — не лучшее, что может ждать народ? Может быть, община — не только стеснительная опека над личностью, но отве-

---

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—8.

чает жизнепониманию народа, его вере? Может быть, здесь разногласие шире и общины, шире и самой России: свобода действия и достача нужны человеку на земле, чтобы распрямиться телом, но в извечной связанности, в сознании себя лишь крохой общего блага витает духовная высота?

Если думать так — невозможно действовать. Столыпин всегда был реалист, он думал и действовал едино. Нельзя требовать от народа небесности. И через собственность неизбежно нам проходить, как через все искушения этой жизни. И община — порождает немало розни среди крестьян.

(Хотя наш неизбежный очерк о Столыпине и деле его жизни будет как можно деловит и сжат, автор приглашает погрузиться в подробности лишь самых неутомимых любознательных читателей. Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт. Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память её, и перебиты историки.)

Не все дают себе труд изучить предмет, но броски все к любимым доводам: де, русская поземельная община — это лучшее создание русского народного духа, она существует от Рюрика и Гостомысла и будет существовать, пока жив русский народ, аминь! И ещё как надо вникнуть, чтоб разошёлся романтический туман: мiр — был на Руси испоконь, но принудительного земельного поравнения ещё и до XVII века не было. Мiр был — церковный приход, он содержал церковь, выбирал на священство, и добрых людей судных целовальников — правду стеречи, и ведал помощью сиротам и вдовам, но не было принужденья равнять или переделять участки, а: куда топор, коса и соха ходили — тою заимкой крестьянский двор владел, и продавал, и завещал.

Однако, с первых Романовых всё уверенней распростиралась над этой крестьянской землёй — царская воля дарения и пожалования, так что земля под крестьянской сохой и косой невидимо переобразилась в землю помещичью. А там Пётр Первый разложил свою жестокую подушную подать, обязал помещиков взыскивать её — и для успешности взыскания понадобилось уравнивать землю по тяглам, а значит и переделять её временами. Так-то и создались общины — в одной Великороссии. Так и родилось то «извечное создание народного духа», которое нравилось теперь с разных сторон: государственной бюрократии — удобно для взыскания податей и для порядка в деревне; землевольцам, народникам, социалистам — уже почти готовый социализм в русской деревне, археологическая святыня, ещё шагнуть — обрабатывать землю сообща и пользоваться продуктами сообща — и из сегодняшней общины вырастет всероссийская наижеланная земельная коммуна.

Вот, освободили крестьян. Но деревня не расцвела от того, а упала. Вослед освобождению потянулась какая-то мёртвая полоса. Земля — та же, не ширится, а население распложается, так наделы падают. И несутся стоны об оскудении русского центра, о невыносимой земельной тесноте,— а удобной-то земли у нашего крестьянина — ещё вчетверо больше, чем у английского, в три с половиной немецкого, в два с половиной французского,— да только пользуется он ею худо: от этих разбросанных ненаследуемых полосок захватывает его безразличие, и где доступно взять 80 пудов с десятины — берётся 40. Община никого не защищает, но всех ослабляет. Никто из хозяев не может применить своей склонности к особой отрасли хозяйства, но все должны следовать единому способу. Говорится «община», а надо говорить: «чересполосица с трёхпольем без права выбрать вид посева и даже срок обработки». Всё от безразличия: ни в какой участок не надо вложить слишком усердно труда и удобрений — ведь его придётся скоро отдать в переделе, может какому-нибудь лодырю. Земельная теснота как будто должна направить на усиление обработки — нет, побеждает равнодушие и даже пьянство. И жажда крестьянина катит его сердце не как улучшить свой надел, а как прихватить бы где побольше. Земля и есть у него — и нет земли, и нет в нём острей и возбуждённей жадности, как: где бы землицей раздобыться?

Но если земля перестаёт кормить — то надо переустраиваться так, чтобы кормила? Нельзя доводить людей до нечеловеческого образа жизни.

От той же связи с землёй и что растёт из неё — Пётр Столыпин выбрал естественный факультет (Петербургского университета). От той же связи и студенчество не увлекло его ни в какое общественное возбуждение, но пошёл он на государственную службу — и в ведомстве земледелия успел поработать в одной из комиссий, ещё доводивших освободительные реформы Александра II. (В тех же годах он был и свидетель остановительных движений Александра III.) Дальше служба повела уездным предводителем дворянства, там — губернским, там губернатором, и всё в губерниях западных, где земля у крестьян — чаще в подворном пользовании,— и Пётр Аркадьевич видел и убеждался, насколько это плодоносней, а где община — местами склонял крестьян к мирским

приговорам на раздел, на хуторские выселки — и испытывал, что это — добро. И повсюду — свой любимый уклон и пристрастие: то склад сельскохозяйственных орудий, то сельскохозяйственное общество, посевы, покосы, посадки, лошади; своё любимое состояние: объезжать рысаков, или в высоких сапогах, непромокаемой куртке пересекать грязевища осенних полей, в это особенное время, когда земля говорит только работнику, а для всех пикникантов — покинута, неуютна.

И так уже был он самый молодой — сорок лет — губернатор в России, а тут революционеры убили очередного министра внутренних дел (Плеве), и при вызванных тем перемещениях Столыпин был внезапно переназначен в крупную Саратовскую губернию, из самых революционно-бурных. Левые партии были здесь богатые (пожертвованиями богатых людей), щедро тратились на газеты и прокламации, а к властям устоялась такая накалённая непримиримость, что иные интеллигенты даже в симфоническом концерте хлопали креслами и уходили, если в свою ложу вошёл губернатор. И в самих революционных беспорядках уже устанавливался такой порядок, что при волнениях губернские власти покидали Саратов, иллюзорное же управление переходило в руки младших администраторов. (Да и среди старших, увешанных царскими орденами, выставлялись иные оппозиционерством.) Ярче, чем во многих местах России, саратовское *общество* чувствовало и высказывало громко свою как бы несомненную правоту, а власти умели выставлять войска, никогда — аргументы, смирясь со своей как бы несомненной виновностью. Нов и неожидан выказался губернатор — рослый, прямой, с решительными движеньями, властной повадкой, не из тех, какие по ночам в своих дворцах не спали от страха, но выезжал на коне без эскорта к разъярённой толпе на площади, шедшему на него парню с дубиной бросал свою шинель — «подержи!» — и голосом полнозвучным, уверенной речью уговаривал толпу разойтись. И наоборот, когда иная толпа, в оскорблённом патриотическом чувстве, в Балашове осадила здание, где собралась интеллигенция для обсуждения политической резолюции, Столыпин спас их тоже вмешательством личным, сквозь толпу, и погромщик ещё ушиб булыжником его отроду больную правую руку.

В три первых года этого века — Девятьсот Первом, Втором и Третьем, Россия была охвачена опасно нарастающим ознобом, уже в жару. Всё указывало — начать методическое неуклонное лечение. И тут, как сталкивая заболевающего лёгочного в прорубь, открыли войну с Японией.

Не только верность службе, но верность монархическому принципу стягивают человека в дисциплине, заставляя все усумненья и ропот перемалывать в себе, и даже если всё открывается внутри — соблюдать внешнюю бодрость. Смутны истоки войны, неочётка её неизбежность на русском пути. От этого трудно найти в себе влечение к жертве, ещё труднее разбудить в других. Но есть зов царя — и каждому сыну родины остаётся... (На таких безвыгодных речах развивалось уменье говорить и вера в то, что говорить он умеет.)

В *передовой* губернии и покушения на власть были передовыми. В бурную осень 05 года в доме Столыпина в Саратове был разнесен бомбой генерал-адъютант Сахаров, присланный подавлять мятежи. (Эти бомбы бросались очень просто: приходила просительница с жалостным лицом. А эти каратели были доступны любому необысканному просителю даже и в неслужебные часы.)

Первое покушение на Петра Аркадьевича было тем же летом, при объезде губернии, просто в деревне: два револьверных выстрела. (Как и последнее...) Столыпин сам бросился догонять стрелявшего, но тот убежал. Второе — на театральной площади, при возбуждённой, недоброжелательной толпе: с третьего этажа к его ногам упала бомба, убила нескольких — но губернатор остался невредим и ещё уговорил толпу разойтись. Третий раз (как и последний...) покуситель уже навёл револьвер в упор, тоже перед толпою,— Столыпин распахнул пальто: «Стреляй!» — и тот обронил револьвер. Не удавалось самого — стали приходить анонимные письма (революционная этика): отравлен будет ваш двухлетний сын, готовьтесь! (Единственный сын после пяти дочерей.)

Но и все покушения не остерегли Столыпина, не отвадили, напротив — он ещё решительней ездил по губернии, в те именно места, где гуще бурлило, где дерзей всего левые,— и всегда безоружным входил в бушеванье толпы. И утишал — речами, всё более владея своим голосом и спокойствием, не крича, не угрожая, но разъясняя. При внутреннем ядре его жизни, крестьянам — он только и мог *объяснять*, он больше всего это и любил: глядя прямо в глаза, объяснять,— метод, забытый русской администрацией. Делить помещичью землю? — Тришкин кафтан, не прикроет; даже если всё разделить — не намного обогатитесь; а без царя — и все пойдёте нищими. У крестьян он имел и успех наибольший — они слушали его благожелательно, и бывало, что бунтарская сходка требовала священника и служила молебен о царе.

Молодой саратовский губернатор чем более думал, тем более проникался, что грозны для России не демонстрации образованной публики, не волнения студентов, не бомбы революционеров, не рабочие забастовки, даже не восстания на иных городских окраинах,— страшно и угрозно для России только стихийное пламя крестьянских волнений, погром-

ная волна — такая, что от одной горящей усадьбы можно докинуть глазом до другой. Так и в Саратовской губернии в 1905 не было недостачи в этих поджогах, перебрасывавшихся как зараза, так что крупные владельцы уже и не бывали вовсе в своих усадьбах. На сельских пространствах шла необъявленная пожарно-революционная война. И вместе с тем, сколько мог видеть сосердственный наблюдатель,— это вовсе не было следствием революционных идей в народном сознании, но — взрывами отчаяния от какого-то коренного неустройства крестьянской жизни. Это безвыходное неустройство такою трещиной проходило в крестьянской душе, что даже в крупноурожайный год, как минувший 1904, большие заработки крестьян не послужили к устройству их положения или лучшему ведению хозяйства, но по большей части растрачивались по винным лавкам. Что-то запирало крестьянину всякую возможность улучшения, упрочения. А запирала: невозможность подлинно владеть землёю, которую одну только и любил и мечтал иметь крестьянин. Путь ему перегораживало, самого крестьянина заглатывало — общинное владение. И судьба России и спасенье её: остановить эти погромы усадеб, эту крестьянскую раздражённость. Но — не карой, не войсками, а: открыть крестьянину пути свободного и умелого землепользования, которое и обильно бы кормило его и утоляло бы его трудовой смысл. Путь был только один: возвышение техники обработки.

В конце каждого года полагалось губернаторам посылать на высочайшее имя рутинный отчёт о состоянии губернии. Каждый год Столыпин не мог удержаться, не вписать туда что-то из своих заветных мыслей о крестьянстве и земле. Кончая же 1904, саратовский губернатор переступил все формы бюрократической записки и вложил свои излюбленные наблюдения и страстное сочувствие, пытаясь убедить читающего (вообразительно — самого Государя): нужно открыть выход из общины в самостоятельные зажиточные поселяне. И такие устойчивые представители земли смогли бы в опору трону, устойчивому государственному порядку, противостоять городским нетерпеливым теоретикам, их разрушительной пропаганде,— создать в противовес им крепкую земельную партию.

Давнее зерно всей жизни должно было где-то пробиться ростком, не удивительно, вот и попло стеблем живым через толщу бюрократического отчёта. Но таких губернских отчётов до ста собиралось в Петергофе, красиво переплетенных да бесплодных, и не всех судьба была испытать прикосновение к себе царских пальцев, не то что перелист, не то что внимательное чтение. Чудо русской истории, что монарх — не слишком напряжённый читатель и мыслитель — именно эти страницы (по чьему ли совету? уже никогда не узнаем) прочёл, и стебель их пробился к его сердцу, отнюдь не бесчувственному, а в зажатости и застенчивости мечтавшему найти бы путь к народному благу, да только неусильный; но были бархатом завешаны зренье и движенья императора. (Может быть на эту отзывность и намекнёт Столыпин через три года:

> ...минута, когда вера в будущее России была поколеблена, нарушены были многие понятия, не нарушена только вера Царя в силу русского пахаря.

Не явно, но именно главная связь русской земли и должна проявляться в её роковые минуты; именно такую цепочку допустимо предположить и здесь.)

И в апреле 1906 полетела вызывная телеграмма из Петербурга в Саратов. Государь принял Столыпина ласково, сказал, что давно следит за его деятельностью в губернии, считает его исключительным администратором — и вот назначает министром внутренних дел.

Среди сотен государственных назначений — почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных — чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906 в первый думский кабинет, в канун открытия 1-й Государственной Думы, через три дня после объявления первой русской конституции, на рубеже нового, думского периода России. Приходила Дума — но и правительству было кем встретить её.

Столыпина озадачило: такого возвышения невозможно было предвидеть, он не готовился к такой ответственности и к такой власти. Да, он был и уверен в своей силе, и знал себя прирождённым вождём, и у него много было соображений выше, чем губернских, но...

«Это против моей совести, Ваше Величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности. Не благоугодно ли было бы вам назначить меня лишь *товарищем*?.. Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний...»

Нет, Государь в этот раз не колебался.

Впрочем, дар отравленный: уже двое предшественников на этом посту убиты.

Соображений выше, чем губернских: если не явится спаситель с крепкой рукой и крепкой головой, монархия погибла. Но Столыпин вправду явился в Петербург не столичным чиновником, а волевым послом русской провинции. (Министры на заседаниях морщились от его провинциальности.)

Есть два пути к посту министра внутренних дел: по лестнице полицейской и по лестнице административной. Путь прихода потом сказывается перевесом деятельности первой или второй. Все мысли Столыпина были склада общегосударственного. А вот прежде надо было дать чужой полицейский бой — да такой, какого русская революция ещё не встречала и не ждала.

1-я Дума собралась — уверенная в себе, резкая, громкая, с неостывшими голосами от едва выхваченной победы. Дума собралась — бороться против любого законопроекта, какой бы ни был предложен *этим* правительством. Когда этой Думе прочитывали с трибуны, сколько террористических убийств совершено в разных местах,— иные депутаты кричали с кресел: «Мало!» Дума собралась непримиримее и резче, чем сама Россия, собралась — не копаться в скучной законодательной работе да по комиссиям, не утверждать да исправлять какие-то законы или бюджеты, а — соединённым криком сдунуть с мест, сорвать и это правительство, и эту монархию — и открыть России путь блистательного республиканства из лучших университетских и митинговых умов под благородной среброволосой копной профессора Муромцева. В первой же резолюции эта Дума потребовала: отнятия и раздела помещичьих земель! упразднения второй палаты — Государственного Совета (чтобы быть свободнее самой)! да и — отставки правительства, чего уж! Собранная Дума публично требовала начать законодательную жизнь с изменения конституции (что вне Думы считалось уголовным преступлением) и так обещала обществу новую форму революции! В Думе сидели (чаще вскакивали) почти открытые эсеры, почти открытые террористы, легальные представители нелегальных партий, но более всего — кадеты, цвет интеллигенции двух столиц и десятка самых разговорчивых городов,— и они торжествовали своё умственное превосходство над бездарным дряхлым правительством, никогда, кажется, не давшим ни оратора, ни ума, ни государственного мужа.

Для них внезапным встречным ударом выдвинулся никому не известный Столыпин — не генерал и не чиновник, без единой орденской ленты, не тряская старая развалина, как было принято, но неприлично молодой для российского министра,— шагом твёрдым всходя на трибуну, крепкого сложенья, осанистый, видный, густоголосый, в красноречии не уступая лучшим ораторам оппозиции, и с тою убеждённостью в мыслях, живых и напряжённых к отстаиванию, какие не сотворяются ни чинами, ни годами, ни шпаргалками. С той убеждённостью в правоте, которую не раздёргать, не высмеять, не отринуть, с той уверенностью, что никакой здравомыслящий не может же с ним не согласиться,— и левые колыхались, возбуждались, вскакивали с рёвом, стучали ногами, крышками пюпитров — «в отставку!».

А Столыпин стоял не согбясь, овеянный вызывающим спокойствием. Быть может, и он ожидал встретить здесь *не этих*, по арифметике населения он мог бы рассчитывать встретить здесь Думу крестьянскую, но вот оказалась такая — он и к ней обращался со всей серьёзностью, надеясь и этих убедить, нисколько не подлаживаясь под оттенки их стиля, нисколько не стыдясь обруганного понятия «патриот». Он и их призывал к терпеливой работе для родины, когда они собрались прокричать лишь — к бунту! Бунт упущен был в главных городах, неосуществим одною профессорской учёностью, но ещё можно было вздуть его через деревню: разбудить крестьянство воззывом к захвату помещичьих земель — и тогда сами вспыхнут пожары, заревут погромы — и сдунется трон, и Россия станет счастливой, демократической. Но именно на этой деревенской дорожке, устойчиво опираясь, и стоял против Думы всё тот же Столыпин: *не* земельные подачки, *не* беспорядочная раздача земли! Как всякое созревшее историческое действие общинная реформа была обдумана на верхах и до Столыпина — но он был первый, кто отдал ей всю волю, всю веру и свою судьбу. Теперь-то, в разгар революции, тем более реформа эта стала жизненно нужна. Столыпин настаивал перед Думой, что Россия в целом не разбогатеет ни от какого передела, а только разгромятся лучшие хозяйства и уменьшится хлеба. Он напоминал земельную статистику, совсем неведомую тёмным мужикам (никто из правителей, из тёплых поместий, никогда не просветился объяснить её народу), но и для кадетов настолько досадливую, что они её не хотели признать и усвоить: казённой земли — 140 миллионов десятин, но это большей частью тундры да пустыни, остальное — уже в крестьянских наделах; всей крестьянской земли — 160 миллионов десятин, а всей дворянской — 53, втрое меньше, да ещё и под лесами большая часть, так что, и всю до клочка разделя,— крестьян не обогатить. Так — не раздача земель, не успокоение бунта подачками. Землю надо не хватать друг у друга, а свою собственную пахать иначе: научиться брать с десятины не по 35 пудов, а по 80 и 100, как в лучших хозяйствах.

Но заложены были уши и левых, в Думе и вне Думы, услышать доводы его:

> Правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток — там и просвещение, там и настоящая свобода. Для этого надо дать возможность способному трудолюбивому крестьянину, соли земли русской, освободиться от нынешних тисков, избавить его от кабалы отживающего общинного строя, дать ему власть над землёй;

и заложены уши правых:

> Землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Отсутствие у крестьян своей земли и подрывает их уважение ко всякой чужой собственности.

(Может быть через свою собственность поймут и крестьянскую нужду.)

Со всех сторон все городские люди и все кадеты защищали общину — иным совсем и ненужную, непонятную, чужую — но из своих расчётов или из игры политики.

В конце июня правительство обратилось к населению, пытаясь что-то объяснить из сути дела,— в начале июля постановила и Дума: обратиться мимо правительства прямо к населению, что никогда не отступит и не даст себя уклонить от принципа принудительного отторжения частных земель!

Дума сама отлила свою судьбу! Это был прямой крик законодательного учреждения: мужики, отбирайте землю, убивайте хозяев, начинайте чёрный передел! Только не совпал политический календарь с природным: ещё хлеба на корню. Но вот как справятся с уборкой — и заполыхает?

И что же было с такой дерзкой Думой делать? Вызываемый, среди других, на консультации в Петергоф, где Государь замкнуто жил по революционному времени, Столыпин мог понять, что в близком окружении Государя довлела неразбериха. Дума оказалась дерзка к правительству — но ведь она *народная* и, стало, не может не быть лояльна и даже родственна своему народному царю? Глас народа требует отнятия земель у помещиков — но может быть на это надо и пойти? Тайно велись переговоры с лидерами думских кадетов — и те охотно соглашались брать власть, но не обещая никакого снисхожденья взамен. А между тем наторелый, но престарелый, срок службы переживший Горемыкин едва удерживал правительственный руль, и очень хотел его передать, и сам твёрдо указывал на Столыпина. (Такое назначение и вовсе было бы сотрясательно и громоподобно для Двора: первым министром всегда назначалось лицо в соответствии со старшинством службы, числом уже полученных наград, достаточно близкое ко всем приближённым, никому не досадившее, а то и услужливое.) Но столыпинская программа решительных мер столкнулась с прекраснодушной программой другого кандидата в премьеры Дмитрия Шипова.

Любовь к народу бывает разная и разно нас ведёт. Шипов, заслуженный земец, чистейший нравственный человек, всю жизнь и отдал этому служению народу-богоносцу. Донашивая лучшие представления, что все люди в основном добры и народ добр, лишь не умеем мы дать расцвести его судьбе, Шипов отказался принять от Государя возглавление кабинета министров при кадетском в Думе большинстве: возглавить и должны были избранники народа кадеты. И тем более он возражал против разгона Думы — не по взрывоопасности такого действия, но: какая есть, неработоспособная, неработоохочая, бунтарская — пусть, пусть Дума делает ошибки! Куда б она Россию ни завела, это естественное развитие: население будет знать, что это — ошибки его избранников, и исправит при следующих выборах.

А Столыпин возражал, что прежде такой проверки свалится вся телега. Что в России опаснее всего — проявление слабости. Что нельзя так покорно копировать заёмные западные устройства, но надо иметь смелость идти своим русским путём. Мало иметь правильные мысли — нужно проявить и волю, осуществляя их.

А Шипов возражал, что и уверенная воля и успешные действия — тоже не всё, но выше того должна быть глубина нравственного миросозерцания — и в его недостатке он винил Столыпина.

В те первоиюльские дни в петергофской тиши определялся ещё один узел русской жизни, которые вот так зачастили. Разогнать Думу? — вызвать горшую бурную революцию? Не разгонять? — катиться в неё же?

Всего два-три дня петергофских консультаций были у Столыпина, чтобы решиться на принятие великой и горькой власти. И он хорошо понимал, какое наследство ему предлагают: после нескольких десятилетий, упущенных в государственном строительстве, после нескольких месяцев, уступленных расползу революции.

Доводы Столыпина убедили Государя (но в сильнейшем колебании; уже дал согласие, уже объявили роспуск,— а всё не ставил последней подписи на указе). Решение состоялось: новым председателем совета министров был назначен Столыпин — принять все последствия вызванной бури. Два месяца назад ещё губернатор — вот премьер-министр.

Прошлой осенью там, в Саратове, как и все остальные тогда губернаторы, как и все провинциальные власти, Столыпин был изумлён, застигнут полной внезапностью Манифеста 17 октября 1905. Не только не было о нём никакого предварения, предупреждения, но само опубликование произошло так нелепо, что в иные места текст его прибывал раньше частным образом, а не правительственным (а слухи ещё раньше), печатался в местной частной типографии и вывешивался в окне еврейской аптеки — на соблазн постовых городовых, к полной растерянности властей и к восторгу интеллигентской публики. И толпы стягивались трясти ворота губернской тюрьмы на сутки и на двое раньше, чем по тюремному управлению сообщался приказ о выпуске амнистированных.

Манифест, поворачивавший одним косым ударом весь исторический ход тысячелетнего корабля, как будто был вырван из рук самодержца вихрем поспешности? едва ли не раньше, чем тот сам перечёл его второй раз? Дан в таких попыхах, в такой катастрофической срочности (отчего? как это было понять из Саратова, Архангельска, Костромы?), что не только разъяснений местным властям не было подготовлено и послано (и все толковали его по-своему, революционеры — как можно шире, и в городах сталкивались до крови демонстрации сочувственные и враждебные),— но в самом себе Манифест ещё не содержал ни одного готового закона, а лишь ворох обещаний, почти лозунгов, первей всего — свободы слова, собраний и союзов, затем: к выборам в Государственную Думу

> привлечь те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав.

Означало ли это всеобщее равное голосование? Чего проще было бы сказать? — обходчиво не было сказано. Зато с торопливостью:

> Установить незыблемо, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы.

Неизвестно еще *как* выбранной в будущем, ей уже заранее доверялась неизменность той будущей системы. Торопились влезть в петлю и затянуть её на своей шее. Сама же избирательная система пришла двумя месяцами позже, от кружка расслабленных государственных старцев, и опять поспешная, плохо обдуманная, десятикратно запутанная: и не всеобщая, и не сословная, и не цензовая, например перед рабочими даже заискивали, давая им гарантированные места в Думе, отделением ото всего населения укрепляя в них ощущение своей особости.

А даже и не был избирательный закон результатом только испуга и поспешности, но лежали в его основах ошибки коренные. Одна: что необъятная, неохватная, почти целый материк, богатырская и дремучая, ярко самостоятельная Россия не может и не должна открыть ничего подходящего себе другого, чем выработали для себя несколько тесных стран Европы, напоённых культурой, с несравнимой историей и совершенно иными представлениями о жизни. Другая ошибка: что вся крестьянская, мещанская и купеческая национальная масса этой страны нуждается в том именно, чего требуют громким криком безосновательные кучки в нескольких крупных городах. И третья: что при несхожем по образованности, по быту, по навыкам составе населения уже созрела пора и вообще возможно разработать такой избирательный закон, чтобы вся корявая масса послала в Думу именно своих корявых представителей, соответственных истому облику и духу России, а не была бы на подставу подменена острыми развязными бойчаками, которые выхватят ложное право глаголить от имени всей России. В деревнях выборы были почти всеобщие (и, как корове седло, тайные), но за две и за три ступени происходила подмена депутатов. Ради мнимой простоты, не предусматривались уездные избирательные собрания, где встречались бы выборщики от отдельных разобщённых курий, узнавали бы друг друга и посылали бы в губернию от своей уездной совокупности таких лиц, кто могли бы дальше представлять уездные интересы, были бы известны своему населению, достойные и почвенные деятели. Вместо этого выборщики от уездных курий ехали прямо на губернское собрание, тонули там в незнакомой толпе, особенно терялись крестьяне, не готовые ко всей системе выборов, и образованные кадеты легко изматывали их на губернских собраниях. Да и все, забыв уезды, сбивались по классовому признаку, что и открывало путь речевитым политическим главарям. Так расплылась в ничто и опора на крестьянство. Такая подмена ещё на многие десятилетия обрекала Россию не быть представленной в своём парламенте своими истинными представителями: те истинные смутятся, тем истинным ещё надо было развить в себе уверенность, грамотность, лёгкость речи, широту кругозора, государственный опыт. А, пожалуй, ничто для общественной русской жизни не было важнее и лучше, как: на живом деле развивать все виды земств и особенно волостное, с которым медлили уже 40 лет.

По обещаниям Манифеста собирался в Петербурге парламент, но не 82% его, как в самой стране, представляло сельское население. Власть тоже боялась возобладания крестьянской численности в парламенте: тёмная масса, совсем не созревшая к правовому сознанию (но тогда и зачем же парламент?), поглотит культурные органические элементы общества. Сростясь с имущим напуганным дворянством, российская государственная власть и в прошлом царствовании и в нынешнем не доверяла своим крестьянам и, декорируя парламент, тоже искажала их нормальное развитие. Не доверяла истой сущности России и её единственному надёжному будущему.

Манифест 17 октября был не только суетлив и плохо продуман, но — неясен и двойственен. Вобранный затем в раму конституции 23 апреля 1906 (названный «Основными Законами», чтобы не дразнить уха Государя), он как будто и ограничивал самодержавие, а как будто пытался его и сохранить. Манифест только дальше распахнул ворота революции, а теперь призываемому премьер-министру предстояло закрыть их, оставаясь под сенью Манифеста же: только законными методами законного правительства. Руками, оплетенными пышноцветными лентами Манифеста, надо было вытягивать живую Россию из хаоса. Но принимая должность, Столыпин и понимал, за что берётся и на каких условиях. Какая ни создалась в России конституция, разделившая прежде единую власть,— ему теперь доводилось первому с этой конституцией обращаться, учиться самому и учить других — вести Россию новым необычайным средним фарватером. Он намеревался честно и упорно выполнять эти обязательства — и теперь принимал к себе в кабинет лишь таких министров, которые искренне согласны с новым

конституционным строем. Он понимал, что сразу же густятся враги на двух крылах: крайне-правые, желающие изорвать Манифест и вернуться к бесконтрольному управлению, и по-российски неумеренные либералы, желающие не хода кораблю, но завалить его на противоположный бок и придавить противников.

А весь сегодняшний размашистый расшат России Столыпин, как губернатор и премьер-министр, слишком хорошо обнимал представлением. Это не была прежняя цельная устойчивая страна. В революциях так: трудно сдвигается, но чуть расшат пошёл — он всё гулче, кресты сами лопаются повсюду, открывая глубокую проржавь, отдельные элементы вековой постройки колются, оплавляются, движутся друг мимо друга, каждый сам по себе, и даже тают. Вместо прежней «земли и воли» лозунг революции стал теперь: «*вся земля и вся воля*», настаивая, что от *воли* Манифест кинул только клочки, а землю — будут отнимать решительно всю, никому ни клочка не оставив.

Как будто существуют, сильно помягчевшие, законы о союзах,— но союзы (инженеров, адвокатов, учителей) вольно действуют, даже не пытаясь легализоваться, как им любезно предлагается. Печать свободна, она течёт, не спросясь правительства,— и вот враждебные правительству лица используют её для растления населения (а значит — и армии!). Уж как наименьшее: легальная печать «воспроизводит без комментариев» любую дичь революционных воззваний, любые резолюции нелегальных конференций. Целый Совет рабочих депутатов интеллигенты укрывали на частных квартирах и печатали его разрушительные призывы. Разлито общественное настроение: верить всякой лжи и клевете, если они направлены против правительства. Пристрастие прессы: безответственно печатать эти клеветы и не опровергать потом — пресса захватила себе власть сильней правительственной.

В учебных заведениях хоронятся склады революционных изданий, оружия, лаборатории, типографии, бюро революционных организаций. Но всякий раз, когда полиция протягивает туда руку — *общество* и пресса взывают о злоупотреблении властей, о вмешательстве их в неподлежащие дела, а учебное начальство, бессильное внести успокоение, еще подлаживается к бунтующей молодежи и оспаривает результаты обысков. На заседании учёного педагогического совета передают из рук в руки фуражки и ридикюли с надписями: «на пропаганду среди рабочих», «на вооружение», «в пользу эсеровского комитета»...

В гражданских и военных судах по политическим делам пристрастные послабления в пользу виновных: тяжёлых уголовно-революционных убийц освобождают до суда, под крики толпы применяют смягчения, равносильные оправданию, или откладывают дела или даже не начинают их.

Революционеры повсюду наглеют, везут из-за границы оружие в опасных для страны количествах. Они силой выгоняют на мятежи или на забастовки. Где не удаются забастовки — там портят мосты, железнодорожное полотно, рвут телеграфные столбы, чтобы добиться развала страны и без забастовок. И охотно громят во множестве казённые винные лавки.

А местные власти — расшатаны, разъединены, нерадивы, да более всего — напуганы, как бы не тронули их самих. Кадетствующее чиновничество получает содержание от правительства и одновременно проявляет свою к нему *оппозицию*: состоит на государственной службе, а тайно — агитирует или участвует в революционных группах,— иногда по сочувствию к ним, иногда по боязни мести. Представители власти — как в параличе вялости, растерянности, боязни. Служащих, деятельных против дезорганизации, террористы безнаказанно убивают.

Страх, одолевший власть, это — уже поражение её, уже — торжество революции, даже ещё не совершённой.

Также и полиция в дремоте или в страхе. Низшие полицейские чины и стражники, сжившись с местным населением, долго не обращают внимания на растущее вокруг брожение — в потом оно взрывается и губит их самих первыми: низшие чины — самые беззащитные, на них-то посягательство самое и лёгкое, к городовым, по роду их службы, могут обращаться за справками все проходящие. И террористы пользуются этим. Уездная полиция перед враждебно-настроенной толпой часто проявляет совершенную слабость в действиях и только развращает этим массу, толкая на новые выходки.

А деревенские раскинутые просторы — и тем более без нагляду и удержу, и любые агитаторы успешно сеют на них возбуждение. Вот, трое городских агитаторов, с девушкой, подняли 400 крестьянских подвод на разгром сахарного завода: они сами — в масках, и в квартире управляющего играют на рояле, пока крестьяне громят завод. Пришлые поджигатели — не соседние крестьяне — распарывают животы скоту на племенном заводе, и быки и коровы подыхающе ревут над своими внутренностями. Крестьяне жгут имения, библиотеки, картины, рубят в щепки старинную мебель, бьют фарфор, топчут ногами, ломают, рвут, где — не дают спасать из горящих домов, где — увозят награбленное возами. (Разгромили и усадьбу помещика-либерала, и он просит

помощи губернатора.) А сельское духовенство, многолетне подавленное, не в силах остановить мятежные движения своей паствы. (А иные городские батюшки даже и сами действуют против правительства.)

На аграрные беспорядки высылаются большие армейские отряды, иногда целые полки. Они бессмысленно содержатся стянутыми — и тогда остаются без охраны угрожаемые районы, или их дробят мелкими подразделениями — и эти маленькие отрядики становятся добычей агитаторов. Гражданские начальники развращаются правом пользования необычными войсками в необычном месте: создают себе чрезмерные конвои при разъездах, ставят возле своих частных квартир целые отряды с артиллерией, пользуются нижними чинами для личных услуг — и так оскорбляют войска, действуя разрушительно, как и те агитаторы.

А брожение страны перекинулось, конечно, и в воинские части. Идут солдаты по увольнительной в город — и там стоят па митингах (вперемешку с гимназистами). Вне казарм для солдат полное безначалие, хоть и пьянство. Да одних газет начитавшись, впору только бунтовать, ничего другого. Впрочем, агитаторы являются и прямо в казармы, лишь натянув военную одежду, и беспрепятственно агитируют здесь, и тащат кипы листовок. И уже установилась терминология: что Россией правит шайка грабителей, армией командуют враги трудового народа,— и никто в армии (и в России) не научен возразить, а только — ловить и наказывать. Агитаторы используют каждое слабое место, каждый промах — замедление отпуска призывных, опоздание со сменой обмундирования, худые харчи, невыписку проездных билетов. Запущенность, конечно, есть везде, запущенность оттого, что страна опоздала в развитии, а потом, этим же революционерам сопротивляясь,— несколько десятков лет не развивается нормально, поэтому агитаторским языкам легко. А в воинских частях никакого нагляда за агитацией нет, и воинские начальники привыкли рапортовать «в части всё благополучно». Армейское командование, как все гражданские власти, окостенело или слишком быстро напугано, оно вдруг разрешает общую сходку в казарме и предлагает составлять требования. И требования составляются (партийными агитаторами): «дать ответ в трёхдневный срок! это не улучшение довольствия, если в день добавили полфунта мяса!».

Да, но и платить бы солдатам не 22 копейки в месяц, и курить разрешать не только в отхожем месте, а за неотданье чести не ставить бесчувственной чуркой. Как и с крестьянами, как и с рабочими, запущенность в армии большая. Есть окостенение традиции, и полковникам и поручикам кажется: ни над чем не надо думать, будет вот так само-само-само плыть ещё триста лет.

Передние ноги коней российской колесницы уже плавали над пропастью — и не много было минут размышлять: хватать ли за узды разнесшихся коней? принимать ли непосильную власть в непосильный момент?

А ещё и в эти самые дни петергофских консультаций братишки-террористы успели убить одного генерала в самом же Петергофе (спутали по мундиру, приняли Козлова за Дмитрия Трепова), одного адмирала в Севастополе.

И лёг под высочайшую подпись первый указ, ведомый мыслью и пером Столыпина:

> Выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область, к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению.

Роспуск Думы вполне мог показаться — и казался! — не последневременным хватаньем под узды, а ещё одним отчаянным толчком — туда! в ту пропасть! (Государево окружение и Трепов страшились этого шага.)

Но то был риск хладнокровной руки, знающей, что: уже взяла — и держит!

> Да восстановится же спокойствие в земле русской и да поможет нам Всевышний осуществить *главнейший*

выделял Столыпин

> из царственных трудов Наших — *поднятие благосостояния крестьянства*. Воля Наша к сему непреклонна,

направлял Столыпин царскую волю,

> и пахарь русский, без ущерба чужому владению, получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить своё землевладение.
>
> Верим, что появятся богатыри мысли и дела и что самоотверженным трудом их...

Тут и была вся программа начатого боя: обе стороны хотели *поднять* крестьянство: радикальные интеллигенты — поднять на поджоги и погромы, чтобы развалить и перепрокинуть русскую жизнь, консервативно-либеральный правитель — поднять крестьян в благосостоянии, чтобы русскую жизнь укрепить.

А ожидая удара революции, в тот же день Столыпин ввёл по Петербургской губернии — положение чрезвычайной охраны.

Так уверенно рвалась Дума к горлу власти, казалась — неудержимой, предвидела победу и никак не ждала встречного удара! И — что же теперь? Удар был нанесен,

наступил момент испустить клич революции! Но — клич неожиданно не испустился. Испустился как бы воздух из проколотого шара — сперва громче, но сразу и тише — Выборгское воззвание.

Однако кроме оробевших кадетов в разогнанной Думе были и боевые эсеры (переназванные для легальности в «трудовиков») и захлёбчивые социал-демократы. Эти — опубликовали в Петербурге 12 июля

МАНИФЕСТ К АРМИИ И ФЛОТУ

> Солдаты и матросы! Мы были избраны заявить царю про народные обиды и добиться *земли и воли*. Но царь послушал богатейших помещиков, которые не желают выпустить из рук именья... манчжурских генералов, которые убегали от японцев и расстреливали Москву... Зачем вы будете защищать правительство? Разве вам хорошо живётся? Вас отдают в рабскую службу денщиками... Мы хотели издать законы о денежном жалованьи солдатам, о запрещении всяких оскорблений.
>
> Мы, законно избранные представители от крестьянства и рабочих, объявляем вам: без Государственной Думы правительство незаконно! Вы присягали защищать отечество. Ваше отечество — это русские города и сёла. Всякий, кто будет стрелять в народ, есть преступник, изменник и враг, им не будет возврата в родные селения. *Правительство вступило в переговоры с австрийским и германским императорами,* чтобы немецкие войска вторглись в нашу страну. *За такие переговоры мы обвиняем правительство в государственной измене!* вне закона! Солдаты и матросы! Ваша священная обязанность — о с в о б о д и т ь народ от изменнического правительства! В бой за землю и волю!

Как всякая революционная прокламация, терпела и эта без проверки любую дичь, хоть и переговоры с Германией. Но здесь не только взрывались слова: уже мотались революционные гонцы между Севастополем, Кронштадтом и Свеаборгом — поднять восстание в единый срок! (Даже не скрывали план: после уборки хлебов зажечь восстания сельские, войска кинутся туда,— а передовые крепости тут и восстанут.) Вновь раздуть восхитительный багряный воздух революции!

Тут не случайно замелькала Финляндия — и Выборг, где можно было воззвание оглашать, и Свеаборг — главная морская крепость на островах у самого Гельсингфорса. Уж когда по всей России ослабли законы, то в Финляндии они почти и вовсе не действовали. Едва разогнали Думу — именно сюда штабс-капитан русской службы Цион телеграфно звал думцев: «будете под защитой пушек Свеаборга!». Именно в Гельсингфорс кинулись революционеры из эмиграции и самой России, именно в его кофейнях и скверах заголосили лучшие ораторы, а матросы и солдаты гарнизона беспрепятственно слонялись от митинга к митингу, слушая об измене русского правительства и что пришло время свергать его. По финским законам не только не мешали тем митингам, но по Гельсингфорсу маршировали вооружённые отряды открыто за революционеров; действовало легальное издательство «Фугас» и выходил социал-демократический «Вестник казармы», звавший к восстанию против «террористического правительства» и «всероссийского палача».

Финляндия! Это была ещё одна из проноз заболевшего российского тела. Для какого-то величия, украшения или мнимой пользы России, включили в неё Финляндию, отобрав у Швеции, признали её конституцию на 100 лет раньше российской; дали ей парламент на 60 лет раньше нашего; дали вольности Александра I и Александра II, на которые внутри самой России не решились до сих пор; освободили от воинской повинности; дали финнам привилегии на территории Империи; так устроили валютную систему, что финны жили за счёт России. Потом двумя ослабленными границами — финско-шведской и финско-русской, открыли лёгкий проход из Европы революционерам, революционной литературе и оружию. И всех тех дарований Столыпин не имел права теперь не признать. Финляндия стала для российских революционеров более надёжным убежищем, чем соседние европейские государства: оттуда, по договорам с Россией, их могли выдать, а финская полиция вообще за ними не следила, и русская не могла иметь в Финляндии агентуры. Финляндия стала легальным заповедником и плацдармом всех российских конспираторов, гнездом изготовления бомб и фальшивых документов. Здесь, под куполом почти западной свободы, в 25 верстах от столицы России и неотграниченно от неё,— проводились десятки революционных конференций и съездов, готовился террор для Петербурга, сюда же увозили награбленные террористами деньги. Началась российская смута — под видом мирной классовой организации была разрешена финляндская «красная гвардия», она открыто по всей Финляндии проводила воинские учения и парады, даже под стенами Выборгской крепости, нападала на жандармов,— и от этого всего наплыва могучая Россия могла только отгородиться белоостровским кордоном.

В Финляндии же 17 июля вспыхнул дикий Свеаборгский мятеж — сразу с побоища между восставшими артиллеристами и невосставшей пехотой. Таким побоищем меж русскими солдатами и протёк он все три дня. Присоединяться к бунту заставляли под угрозой смерти, офицеров арестовали (показав и другие жребии: кого застрелили, кого подняли на штыки и утопили, один застрелился сам). «Бей офицеров!» и был лозунг, под которым звали пехоту, но пехота в восстание не пошла, и за это три дня её поливали тяжёлыми пушками, а она отстреливалась полевыми. В этой взаимной канонаде и при взрыве пороховых погребов, с которыми без офицеров не управлялись, от русских снарядов погибло несколько сот русских солдат. К восставшим сбежалось несколько десятков каких-то цивильных бесов — и три дня они поджигали это взаимное уничтожение, а в последнюю ночь Цион и его друзья тайно сбежали, покинув восставших на расправу.

И во всей Финляндии у русских властей не нашлось войск для подавления, это сделал только — ещё новым обстрелом — пришедший флот.

На третий день взбунтовался и Кронштадт, но здесь бунта хватило лишь на 6 часов.

И именно этих — финскую красную гвардию, взорвавшую мосты между Гельсингфорсом и Петербургом, валившую телеграфные столбы и взятую с оружием на территории мятежной крепости,— по свободным финским законам неслыханно было бы привлечь к военному суду, это оскорбило бы конституционное чувство финнов. Итак, их всех отпустили под мягкий суд на короткие сроки, военный же суд судил только русских (а потом большинство приговорённых к казни помиловали).

Мысль Столыпина была: чем твёрже в самом начале — тем меньше жертв. Всякое начальное попустительство лишь увеличивает поздние жертвы. Умиротворяющие начала — где можно убедить. Но этих бесов не исправить словами убеждения, к ним — неуклонность и стремительность кары. Что же будет за правительство (и где второе такое на свете?), которое отказывается защищать государственный строй, прощает убийства и бомбометание? Правительство — в обороне. Почему должно отступать оно — а не революция?

> Где с бомбами врываются в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции.

(В то время в России такое заявление воспринималось как наглая *реакция*. Через 70 лет по всему миру это, пожалуй, понятнее.)

Революционеры вооружённо захватывали типографии, печатали призывы ко всеобщему восстанию и массовым убийствам, возглашали местные областные республики, пылал Прибалтийский край, бунтовали полки в Тамбове, на Кавказе, в Брест-Литовске, волновались Ставрополь и Батум, бастовал Каспийский флот, тульский оружейный завод, весь южный промышленный район или вся Польша,— меры должны были быть решительны, даже суровы,— но строго законны. Изъять массы оружия; восполнять места бастующих — под охраною войск, добровольцами из патриотических организаций,— но не давать им оружия и права междуусобицы; твёрдо поддержать полицию, чья служба особенно тяжела. Именно *суд* своей правильной, твёрдой и быстрой деятельностью значительно устранит применение административного воздействия. Но слабость судебной репрессии деморализует всё население.

> Допущенная в одних случаях снисходительность, в других может порождать мысль о неуместности строгой кары, которая превращается как бы в излишнюю жестокость.

Так же и: медленный судебный аппарат не произведёт впечатления в массе и никого не успокоит. Значит — военно-полевые суды: обстановка гражданской войны? — так и законы военного времени. А быстрые меры вызовут и поддержку населения, это верней всего и остановит революционеров:

> Одна решимость благомыслящих людей открыто выступить в защиту порядка произведёт такое впечатление, что понизится безумная смелость «боевиков», которая живёт за счёт малодушия сторонников мирной жизни.

Однако эти простые мысли не только опережали всемирную эпоху, но и — волю трона, оробевшего от дерзости распустить эту 1-ю Думу,— а теперь еще дальше двигаться в грозно-опасное подавление?

Исход ускорили сами террористы: они решили прервать жизнь нового премьер-министра после одного месяца его деятельности и 12 августа взорвали казённую дачу премьера на Аптекарском острове как раз во время приёма посетителей. Это был — из успешнейших взрывов революции: 32 тяжелораненых и 27 убитых! (Всё больше — посторонние. Раскопками солдат двух полков и пяти пожарных команд обнаруживали раненых и трупы в скрюченных позах, с оторванными частями тел, без голов, рук, ног.) Разнесло полдома, отпали стены, лестницы, трёхлетнего единственного сына Столыпина и одну из дочерей выкинуло с балкона через забор далеко на набе-

ожидает карета, по каким улицам повезут и куда. За городом, на окраине, Пётр Аркадьевич гулял. И снова не знал, каким путём его вернут, обещал не вмешиваться, не давать приказаний кучеру, чтобы не сбивать. На таких же условиях ездил он и с докладами к Государю — летом в Петергоф, зимой в Царское. По распорядку Государя утро начиналось почти к полудню, так что Столыпин ездил с докладами всегда вечером, а возвращался к часу ночи.

Несмотря и на такую замкнутость жизни, террористы изобрели, как найти и убить его. Сперва: через студентов, через старшую дочь подставить в семью учителя младших дочерей — террориста. Разоблачилось. (Ухаживая за старшей, он звал её к себе на квартиру — но дочь сочла неблагородным открыть этот адрес отцу,— и Столыпин согласился.) Тогда: ввели террориста в охрану Зимнего дворца, и более чем удачно: с револьвером в кармане он стоял на карауле как раз при том входе, через который однажды и вышел Столыпин,— но от неожиданности растерялся, не выстрелил, а затем вскоре был разоблачён. И ещё раз: социалисты-революционеры пронаблюдали, как Столыпин посещает больную сестру, сняли квартиру в доме через улицу, готовились стрелять из окна в окно,— сорвалось и это. И ещё раз: при открытии медицинского института (группа Зильберберга). И ещё раз: на поездке в Петергоф с докладом (Сулятицкий). Всего за год были пресечены покушения: группы Добржинского, «летучего отряда» Розы Рабинович и Леи Лапиной, «летучего отряда» Трауберга, группы Строгальщикова, группы Фейги Элькиной и группы Лейбы Либермана.

Об этих месяцах Столыпин говорил близким: «Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в жизни. А вечером благодарю Бога за лишний дарованный в жизни день. Я понимаю: смерть как расплата за убеждения. И порой ясно чувствую, что наступит день, когда замысел убийцы наконец удастся. Но ведь нескольким смертям не бывать, умирают только раз.»

И уже в первый вечер изнурительной жизни в Зимнем, едва оправясь от взрыва, при двух раненых детях и перепуганных остальных, Столыпин сидел и работал глубоко в ночь. В наш самый грозный час, при наибольшей жизненной стеснённости, как раз и выполняется главная задача жизни! Террористы порывались убить его, но Россия свисала над бездной. Горели поместья, взрывались бомбы, бунтовали воинские части, судили военно-полевые суды,— а смотреть надо было далеко в будущее, а продвигаться — по единому стержню продуманной системы реформ. Прекращая беспорядки физической силой, правительство тем более должно было направить нравственную силу на обновление страны, и прежде всего на земельную реформу.

> Мы будущими поколениями будем привлечены к ответу. Мы ответим за то, что пали духом, впали в бездействие, в какую-то старческую беспомощность, утратили веру в русский народ.

Узел русских судеб завязан в деревне. Лечить государство надо не с высшего общества, где развращены, заражены: чиновники — рутиной службы, помещики — свободной жизнью, отсутствием обязанностей, Двор —...о Дворе монархисту судить не приличествует. У государства должны быть прежде всего прочные ноги и лечить его надо с ног — с крестьян. Никакое здоровое развитие России не может решиться иначе как через деревню. Это была главная мысль Столыпина: что нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина, а такой гражданин в России — крестьянин. «Сперва гражданин — потом гражданственность». (Это и Витте говорил, что всякой конституции должно предшествовать освобождение крестьян, но сам же Витте нервным дёргом ввёл конституцию — а Столыпину теперь доставалось освобождать крестьян уже после неё.) Абстрактное право на свободу без подлинной свободы крестьянства — «румянец на трупе». Россия не может стать сильным государством, пока её главный класс не заинтересован в её строе. И, говорил Столыпин,—

> нет предела содействию и льготам, которые я готов предоставить крестьянству, чтобы вывести его на путь культурного развития. Если эта реформа нам не удастся, то всех нас надо гнать помелом.

На правительстве — нравственное обязательство указать законный выход крестьянской нужде,

> каждому трудолюбивому работнику создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих прав.

Немедленною уступкою крестьянам части казённых, удельных, кабинетских земель (9 миллионов десятин тотчас же — указ об этих 9 миллионах был подписан в самый день взрыва на Аптекарском острове, при дружном семейном сопротивлении великих князей, не желавших отдавать удельную землю всю и не желавших безвозмездно); облегченьем продажи земель заповедных, майоратных (для примера, и сам Столыпин продал своё нижегородское имение Крестьянскому банку); понижением платежей по ссудам, увеличением кредита,— но главнее: свободою выхода из общины.

> Невыносима дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства, невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают в земледельце беспечность и равнодушие. Поля уравненные — это поля разорённые. При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны,

и сельскохозяйственный, и общекультурный.

Занося руку разрушить земельную общину, ещё бы Столыпин не знал, сколько государственных актов перед тем были направлены — общину сковать и заморозить. Даже Николай I настойчиво вёл земельную программу, не отличимую от мечты нынешних эсеров: равномерное (по дворам, по сёлам, по волостям, по уездам и даже по губерниям) наделение землёй и периодические переделы по переписям. Попытки в конце его царствования в виде опыта расселять государственных крестьян на семейно-подворных участках, были остановлены при Александре II. При освобождении крестьян от помещиков хотя и видна была несуразность оставить их в зависимости от общины, но сделали именно так (сохраняя теоретический выход: выйти единовольно после уплаты всех выкупных платежей; но почти никто не нашёл сил выкупиться так, а в конце царствования Александра III и этот выход запретили — пока все выкупы были прощены царским махом осенью 1905). Русские цари один за другим таили недоверие к самому трудолюбивому и обширному классу, на котором зиждилась страна. Не доверял крестьянам и Александр III, запрещая даже простой раздел крестьянского двора без согласия общины, специальными указами напоминая неотчуждаемость надельных земель (и как раз после голода 1891, когда ожидался бы вывод противоположный!), стесняя робкие права деревенских сходов властью дворянских начальников — властью штрафов, арестов и даже розог.

Ошибкою Александра III было: перенести на крестьян гнев, вызванный интеллигентскими мятежниками.

Не доверял крестьянам и царствующий Государь, всего три года назад настаивая на неприкосновенности общины, даже когда уже отменялась невыносимая, несправедливая круговая порука сельских общин за неисправных плательщиков; и даже в прошлом году с высоты трона было повторено, что надельные земли неотчуждаемы. Держать общину настаивал и Победоносцев (чья сила исчерпалась только осенью 1905).

А просто: осознанно, неосознанно, весь правящий слой дрожал и корыстно держался за свои земли — дворянские, великокняжеские, удельные: только начнись где-нибудь, какое-нибудь движение земельной собственности — ах, как бы не дошло и до нашей. (Да ещё обзаведись крестьяне своей землёй — уменьшится предложение крестьянского труда.)

А с дворянской землёй не помогала и самая убедительная статистика: выше всех цифр и доводов парила в крестьянской груди наследственная обида на помещичье землевладение: не у нынешнего поколения, не у отцов, не у дедов, даже не у прадедов,— но у каких-то предков наших когда-то вы отняли землю ни за что, *дарили* нас целыми деревнями вместе с землёй! — и этого незажившего пыланья не могли остудить столетия.

Но именно: отсутствие у крестьян подлинно своей, ощутимо *своей* земли и подрывает его уважение ко всякой чужой собственности. Затянувшиеся общины своим мировоззрением и питают социализм, уже накатывающий во всём мире. Несмотря на святую общину деревня в Пятом году проявила себя как пороховой погреб. Правовое бесправие крестьян далее нетерпимо, крестьянин закрепощён общиной. Нельзя дальше держать его на помочах, это несовместимо с понятием всякой иной свободы в государстве.

> Чувство личной собственности столь же естественно, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство

человека, и оно должно быть удовлетворено. Собственность крестьян на землю — залог государственного порядка. Крестьянин без собственной земли легко прислушивается к толкам, поддаётся толку разрешить свои земельные вожделения насилием. Крепкий крестьянин на своей земле — преграда для всякого разрушительного движения, для всякого коммунизма, то-то все социалисты так надрываются — не выпускать крестьянина из плена общины, не дать ему набрать сил. (Да и скученная жизнь в деревне облегчает работу агитаторов.) Земельной реформой уничтожатся и эсеровские поджоги.

Свой ключевой земельный закон Столыпин понимал как вторую часть реформы 1861 года. Это и было истинное, полное освобождение крестьян, опоздавшее на 45 лет. (И как тогда подогнало крымское поражение, так теперь подогнало японское.)

Вероятно, многое из этого говорилось и внушалось на ночных приёмах в Петергофе летом и осенью 1906 года — и имело успех. Государь вот уже и сам был искренно уверен, даже увлечен, что это именно он чувствовал и выразил: благоденствие крестьянства — главный царственный труд Наш. Что это именно он задумал реформу в продолжение великого дедовского освобождения крестьян, и удачно, что Столыпин находит для неё формулировки. И теперь Государь сам настаивал — проводить закон без Думы, чтоб она не тормозила, по статье 87 Основных Законов:

Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость, совет министров представляет законодательную меру непосредственно Государю императору.

(Но за 2 месяца восстановившихся занятий Думы закон, не утверждённый ею, а тем более не представленный ей, умирал.) То была золотая пора их отношений с Государем. И Столыпин спешил с практическими делами.

В то лето он тщетно пытался привлечь к себе в кабинет представителей не слишком левой общественности — Гучкова, Шипова, Николая Львова, привлечь именно этой линией: что нынешнее время — не слов, не программ, не звучных рассуждений, но — дела и работы. Делу — поверят, и дело увлечёт скорей и верней, чем слова. Не торопиться собирать для такой же безответственной болтовни следующую неработоспособную Думу, чьи депутаты под прикрытием неприкосновенности будут вести разлагающую работу. Но поспешить сделать шаги и реформы, насущно необходимые сразу большим группам населения.

Надо было не топтаться, не оглядываться, а — двигаться, и не отставая от скорости века, в движеньи не теряя из глаз точные контуры современного положения. Угадывать лучшее и иметь настойчивость осуществлять его. Таким талантом и обладал Столыпин. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции.

Нет! Такова была в русском обществе радостная ослеплённость солнцем свободы, что никакое бедствие не казалось сравнимым со счастьем публично рассуждать. *Человек дела* — воспринималось синонимом тирана. Никто из приглашаемых общественных деятелей не рискнул войти в кабинет Столыпина, кто и сочувствуя ему.

5 октября 1906 Столыпин получил царскую подпись на указ о гражданском равноправии крестьян, уравнении их с лицами других сословий,— дать им то положение «свободных сельских обывателей», которое было им обещано 19 февраля 1861. Крестьяне получали право: свободно менять место жительства, свободно избирать род занятий, подписывать векселя, поступать на государственную службу и в учебные заведения на тех же правах, что и дворяне, и уже не спрашивая согласия «міра» или земского начальника. Отменялись и все последние специфические крестьянские наказания. (Ни 2-я, ни 3-я, ни 4-я свободоносные Думы, страстно любящие народ и только народ, никогда до самой революции так и не утвердили этого закона! — и во время его многолетнего обсуждения правые громкими возгласами поддерживали левых ораторов, а Столыпина обвиняли в революционизме.)

Провёл указ о волостном земстве — то есть бессословном местном самоуправлении, чтобы начать децентрализацию управления государственного. (Та же судьба: свободолюбивые защитники народа утопят и этот закон до самого февраля 1917, упрекая его в недостаточной демократичности, и правые охотно поддержат их. Так навек будет закрыто крестьянам самим управлять местными делами — финансами, орошением, дорогами, школами, культурой.)

Когда городские интеллигенты выхватывали Манифест о свободе слова и собраний, они позабыли, что ещё существует понятие и свободы вероисповедания. Теперь, в междудумье, Столыпин отменил вероисповедные ограничения, уравнял в правах старообрядцев и сектантов. Установил свободу молитвенных зданий, религиозных общин.

Долго готовил Столыпин и настойчиво пытался провести также закон о равноправии евреев — следуя духу Манифеста, но имея и мысль большую часть евреев оторвать от революции. По его закону с евреев снималась значительная часть ограничений (а некоторые облегчения текли и прежде того) — и уже состоялось постановление правительства. Однако, после колебаний, тоже долгих, и с редкой у него твёрдостью, Николай II отверг этот закон. Столыпин был озадачен, но принял меры, чтобы тень отказа не запятнала царя в глазах общества. А коль скоро закон о еврейском равноправии отодвинут — так вот и полная причина для Думы задержать равноправие крестьянское: не даёте евреям — так мы не дадим крестьянам!

И ещё ряд земельных законов: о землеустройстве, о мелиорации, об улучшении форм землепользования, о льготном кредитовании.

А венчая их, 9 ноября 1906 — основной указ о праве выйти из общины, укрепить свой надел в личную собственность (отруб), или вовсе выделиться, с жильём (хутор).

Но гораздо и больше того за эту осень и зиму было наготовлено 2-й Государственной Думе законопроектов, наготовлено не на её силы,— на историческое переустройство России.

Выбиралась Дума совершенно свободно. При повышенной общественной горячности от разгона 1-й Думы, 2-я собралась не менее грозной. Кипели слухи, что весь созыв обманен, что Думу тотчас и распустят,— нет, Столыпин созывал её, чтобы с ней работать, и прямодушно предлагал равную критику взаимных законодательных предположений.

Дума открылась в конце февраля. А 2 марта 1907 в зале её заседаний в Таврическом дворце обрушился высокий потолок — балками, люстрами, досками, штукатуркой на весь центр думского пустого зала, на три четверти депутатских мест, президиум, оратора и правительство, и если б на несколько часов позже — погреб депутатов бы триста

да сильно бы ранил, оставляя невредимыми лишь крайне-правых и крайне-левых. Только потому уцелела Дума, что обвал случился не в час заседаний.

Левые депутаты не преминули объяснить событие

грубым презрением к народным представителям

и даже заговором:

Может быть это входило *в расчёт*, тогда этот расчёт жесток... Нам нужно обеспечить нашу жизнь на будущее время.

А голосистый социалист, «рабочий» (корректор) Алексинский:

Если народ узнает, что над нами валятся потолки — он сумеет сделать из этого соответствующие выводы!

(Потом нашлись вполне достоверные объяснения, почему этот потолок и неизбежно должен был рухнуть: исследования о том, как он строился при Потёмкине, как подгнил от долговременной здесь теплицы. Однако, этот обвал не мог не произвести впечатления на современников даже материалистических, так и толкая развидеть тут символ — но чего именно?..— не устоять ли Думе? или этому правительству? или самой России? Ещё надо было протечь десяти годам, день в день, чтобы открылся и символ и *день* падения потолка.)

Заседания перенесли в белый зал Дворянского Собрания, на Михайловскую. Там 6 марта Столыпин — неуничтожимый, всё тот же цельный, безуклонный, прямой, всё с той же бодростью и верой в своё дело, всё с тем же вызывающим взглядом, вышел перед очередной «Думой народного гнева» (хотя уже без свистков) прочесть правительственную декларацию.

В первых же словах признав, как того жаждала Дума, что

по воле монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, чтобы обязанности и права русских подданных определялись писаным законом, а не волею отдельных лиц,

то есть утвердив, что государство будет перестраиваться в соответствии с Манифестом 17 октября (и даже трактуя этот процесс как усиленный национальный *рост*), а для того будет пересмотрено всё действующее отечественное законодательство (для правых — революционный выпад, как взрыв анархистской бомбы), Столыпин тут же перешёл к обоснованию своего заветного Земельного закона:

Невозможно откладывать настойчивые просьбы крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы; нельзя медлить предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России, которая стала экономически слабой, неспособной обеспечить себе безбедное существование своим исконным земледельческим промыслом.

А дальше — как если бы Россия и давно была государством парламентским, и перед ним сидел бы традиционный опытный парламент — Столыпин развернул перед новособранной Думой объёмную и разработанную постепенную программу — самый полный, связный стройный план переукладки России, когда-либо высказанный в нашей стране. Хотя он мог предложить лишь ту

серую повседневную работу, скрытый блеск которой может обнаружиться только со временем.

По всем направлениям общественной жизни тут был подробный разворот множества мер, объединённых единой мыслью. Как создать единство губернских и уездных управлений, упразднив многочисленные *присутствия*. Упразднить настрявших всем земских начальников. Упразднить даже и жандармерию, введя новый полицейский устав и точно определив сферы полицейской власти. Отменить административную высылку. Ввести судебный контроль над задержаниями, обысками, вскрытием корреспонденции. (Кажется, и за весь XX век ничто в нашем отечестве не выполнено и ничто не устарело.) Создать местный суд — доступный, дешёвый, скорый и близкий к населению. Мировых судей избирать населением и расширить их компетенцию. Установить гражданскую и уголовную ответственность государственных служащих. Ввести защиту в предварительное следствие. Допустить: осуждение — условное, освобождение — досрочное. Разработать меры общественного призрения, государственное попечение о нетрудоспособных, государственное страхование по болезни, увечьям и старости. Широкое содействие государственной власти благосостоянию рабочих, ненаказуемость экономических стачек. Дать естественный выход экономическим стремлениям рабочих, административно не вмешиваться в отношения между промышленниками и рабочими. Врачебная помощь на заводах. Запрет ночных работ женщин и подростков, сокращение длительности рабочего дня. И об улучшении гужевых дорог. О развитии рельсовых путей. Водных и шоссейных. Судоходства. О постройке Амурской железной дороги (из Забайкалья в Хабаровск). И школьная реформа: законченный круг знании в начальном, среднем и высшем образовании, но и связь трёх ступеней. Во всех ступенях — улучшить материальное положение преподавателей. Подготовить сперва общедоступность, затем и обязательность начального образования во всей Империи. Профессиональные училища. Наконец — изыскание средств для этого всего, бюджет. Его трудности после неудачной

войны. Бережливость. Равномерность налогового бремени для населения — подоходный налог и облегчение неимущим. Финансирование земств, городов...

Мог бы рассчитывать Столыпин, что хоть кто-нибудь из присутствующих оценит грандиозность и стройность его программы. Но если и были такие немногие депутаты в неопытной Думе, то не их голоса были слышны. Ах, да разве для этого собрались со всей Империи пламенные ораторы 2-й Думы, а особенно закавказцы! (Хотя представляла Дума как будто всё население России, но на трибуне всё мелькала почему-то череда необузданных закавказских социал-демократов.) Неужели — дремать над цифрами росписи государственных доходов и расходов? Неужели каждый вечер до полуночи заседать в комиссиях и доводить этот необъятный ворох законопроектов до окончательных формулировок? Избавьте! Вот уж не могла такая мелочность привлечь сочувствие депутатов! Слишком уж много предлагалось этой серой работы со скрытым блеском, который публика оценить не может. И — куда же направить алый гейзер свободолюбивых речей? Эта программа с её множеством конкретных пунктов, даже с облегчением рабочего класса, с отменой ссылки и жандармерии,— не могла не быть коварной лицемерной уловкой, чтобы миновать революцию. И чем дать увлечь себя в крючкотворное законодательство и в беспросветную работу — лучше громко разоблачать правительство и громко говорить о свободе.

Тотчас в атаку ринулся краса социализма Церетели. Это правительство —

> правительство военно-полевых судов, сковавшее всю страну, разорившее вконец население

(за 8 месяцев своего существования, законами о крестьянском равноправии и хуторах). Как все тогдашние русские социалисты, он лил и лил из своего катехизиса, как бы не слышав произносимого в думском зале и не имея цели к чему-нибудь прийти с этим собранием. (Председатель Головин счёл долгом подтвердить, что не находит, в чём бы поправить этого оратора.)

Ц е р е т е л и: Правительство организует расстрелы целых кварталов! (Тут председатель потребовал от правых не нарушать порядка.) А Церетели гнал волны гнева:

> ...в целях сохранения крепостнического уклада!.. Законопроекты урезывают даже те права, которые народ уже вырвал из рук своих врагов. Мы разберём их при свете кровавых деяний правительства. Пусть наш обличающий голос пронесётся по всей стране и разбудит к борьбе всех, кто ещё не проснулись. Мы обращаемся к народным представителям с призывом готовить народную силу —

то есть к восстанию? — иначе понять нельзя.

> Под видом успокоения страны оградили интересы всякого рода паразитов... Распродают земли в интересах помещиков... Социал-демократическая фракция возлагает все надежды на *движение самого народа.*
>
> А л е к с и н с к и й: Помещики, которые именуют себя русским правительством... Крестьяне, желающие получить всю землю без выкупа, не получат её иначе как путём *борьбы.*

Кадеты же в этом заседании — демонстративно молчали. Они выразить хотели ту степень осуждения, которая выше всяких гневных слов. Но проявился в молчании и оттенок растерянности. Кадеты не могли не видеть — но и не хотели видеть! но и запретили себе видеть! — что Столыпин и предлагал либеральную освободительную программу, разворачивал обновлённый строй, давал верный тон соотношению исполнительной и законодательной власти, давал тон самой Думе. Но это приходило — от власти, значит — *не из тех рук,* и слишком прямо вело к укреплению жизни, когда надо было сперва её развалить. Кадеты молчали — и в молчаньи своём ненавидели этого выскочку. Конституционная партия, для которой и делались уступки, не хотела их, а рвалась к революции.

Все фракции, от кадетов и налево до края, отказались даже обсуждать правительственную программу по её сути. Тщетно какие-то тёмные депутаты-крестьяне предлагали

> прежде всего работать и работать вместе с правительством. Россия, посылая нас сюда, приказывала не взирать на революционные меры, а стараться мирным путём облегчить нужды народа, утолить его голод, дать ему свет.

Джапаридзе от фракции с-д предложил формулу перехода:

> Государственная Дума, вполне разделяя недоверие народа к правительству, рассчитывает, *опираясь на его поддержку,* претворить волю народа в закон.

То есть восстанием.

А этот невыносимый царский министр под градом левых речей не убежал, не скрылся, не изничтожился. Но — в чёрном глухо застёгнутом сюртуке, с мраморной осанкой и мистически уверенной выступкой фигуры, невыносимый именно тем, что он —

не угасающий нафталинный старец, не урод, не кретин, но — красив, но в сознании своей силы и, вот, несомненной победы, в поединке одного против пятисот, ответил с трибуны громким, ясным голосом:

> Языком совместной работы не может быть язык ненависти и злобы, я им пользоваться не буду... Правительство должно было или дать дорогу революции, забыв, что власть есть хранительница целостности русского народа, или — отстоять, что было ей вверено. Я заявляю, что скамьи правительства — это не скамьи подсудимых. За наши действия в эту историческую минуту мы дадим ответ перед историей, как и вы. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение неустройств, злоупотреблений. Но если нападки рассчитаны вызвать у правительства паралич воли и сведены к «руки вверх!» — правительство с полным спокойствием и сознанием правоты может ответить: «н е з а п у г а е т е!».

Слова его впечатывались и во врагов и в друзей. За много лет впервые оппозиция встретила в нём противника блистательного и смелого.

Вне Думы речь его быстро стала знаменита, к нему потекли адреса с десятками тысяч приветственных подписей, даже от грамотных крестьян. Москвичам (в Москве он провёл детство) Столыпин ответил:

> Надеюсь не на себя, а на ту собирательную силу духа, которая уже не раз шла из Москвы, спасая Россию.

В ту пору (и ещё через десяток лет) образы Смутного Времени навевались многим русским людям, привлекались ораторами, вдохновляли деятелей, казались посильными для повторенья и нами.

Но в 1907 году этой великой программой и великой речью открылась ещё одна неработоспособная Дума бесконечных бесплодных прений.

Хотя закон о военно-полевых судах без утверждения Думы сам собою отпадал через полтора месяца — Дума начала горячо осуждать именно его, ибо это было выигрышно. И ещё через неделю всё тот же невозмутимый, твёрдый, эпически достойный Столыпин вышел отвечать вновь:

> Мы слышали тут, что у правительства руки в крови, что для России стыд и позор — военно-полевые суды. Но государство, находясь в опасности, обязано принимать исключительные законы, чтоб оградить себя от распада. Этот принцип — в природе человека и в природе государства. Когда человек болен, его лечат ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Когда государственный организм потрясён до корней, правительство может приостановить течение закона и все нормы права. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда надлежит выбрать между целостью теорий и целостью отечества. Такие временные меры не могут стать постоянными. Но и кровавому бреду террора нельзя дать естественный ход, а противопоставить силу. Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных хирургов. Страна ждёт не оказательства слабости, но оказательства веры в неё. Мы хотим и от вас услышать слово умиротворения кровавому безумию.

О, нет, вот уж нет! Перестали бы левые депутаты представлять свои партии, если бы посмели призвать к окончанию террора. Прекратите вы свои суды, а террор — мы продолжим! Дума, конечно, отказалась осудить восхваление террора в печати и противоправительственную пропаганду в армии.

Дума, разумеется, не стала рассматривать государственный бюджет (хороший способ запутать дела правительству), не рассмотрела и двадцатой доли конструктивной программы Столыпина, у неё не было и понятия «конструктивность». Думские комиссии не могли приняться за работу, ни у кого не было и навыка работы. Не исторический ход России интересовал Думу, но аплодисменты левого общества. На заседаниях сыпался слева град запросов — кто громче и пронзительней крикнет. Да может быть свой высший смысл Дума и видела в длительности заседаний — чтобы дотянуть до автоматической остановки военно-полевых судов. После этого срока левое крыло даже жаждало роспуска Думы — утвердить легенду о своей силе и слабости правительства.

Не получив утверждения Думы, должны были теперь остановиться также закон о крестьянском равноправии и все земельные законы Столыпина. Напротив, эта Дума, как и предыдущая, требовала в заседаниях (а члены Думы печатали в газетах призывы) отнимать у помещиков землю силой. Столыпин снова выходил и доказывал (Дума ещё голосовала, дать ли ему выступать), что

> переделением всей земли государство в целом не приобретёт ни одного лишнего колоса хлеба,

что раздел помещичьей земли — решение не государственное, что Россия не расцветёт от разрушения 130 тысяч культурных хозяйств, крестьянские же наделы, хотя немного и увеличенные, при быстром росте населения и разделах скоро обратятся в пыль.

никакой передел не есть развитие, а развитие — это углубление труда. Что начав систему переделов, уже не удастся остановиться и на помещичьей, но делить далее и успешную крестьянскую, всё выдающееся дробить, делить и сводить к нулю.

Нельзя укреплять больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда весь организм осилит болезнь; все части государства должны прийти на помощь слабейшей — в этом оправдание государства как социального целого.

Государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, прибавляя их к общему земельному фонду, а малоземельные крестьяне приобретали бы на льготных условиях.

Нет! Такое скучное серое решение без погрома и поджога имений не насыщало русских свободолюбов.

Но и Столыпин, как всегда, на своём:

Правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России, правительство стойкое и чисто-русское...

— что за гнусный намёк на *чисто-русское* и какие это ещё «исторические заветы России»? Кому они нужны?

Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины — чтобы на этих развалинах строить неведомое нам отечество.

И снова, подходя к одной из своих знаменитых фраз, громко, ясно, каменея в крупной сильной простоте:

ИМ НУЖНЫ — ВЕЛИКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ, НАМ НУЖНА — ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

Как мрачный вешатель без единой разумной мысли остался впечатан в русскую историю ненавистный Думе, *передовому обществу* и бомбовым социалистам этот неутомимый премьер-министр, не устававший присутствовать в поносительных заседаниях, энергично бравший слово в самом начале прений, чтоб отчётливо, уверенно изложить взгляд правительства и помочь отбросить неделовое.

(Десятилетие спустя, в последние месяцы перед февральской революцией, когда чехардою ничтожных министров будет вытаптывать общество и позориться Россия, вспомнят ещё Столыпина и враги, даже Керенский, что за *его* словами уж никогда не стояла пустота:

Кто помнит первую декларацию Столыпина? С каким напряжённым вниманием встречала Дума каждое его слово — кто с бурным приветствием, кто с гневом. Знали и верили: его слова — не сотрясение воздуха, но решение мощного правительства, имеющего громадную волю и власть, чтобы провести в жизнь обещанное.)

От этого столыпинского стояния мог начаться и начинался коренно-новый период в русской истории. Стало казаться въявь, что 1905-06 не повторятся. (Близким сотрудникам говорил Столыпин: «Ещё 10-15 лет, и революционеры уже ничего в России не возьмут!») Столыпин так верил в Россию, что возрождал в ней доверие к самой себе:

На втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится.

Он принял государственную жизнь в расползе и хаосе — и вытягивал созидательно к России, свободной от нищеты, невежества и бесправия.

Он всё выступал перед 2-й Думой, надеясь образумить её и спасти для работы. Он принял это в неизбежное наследство: народное представительство — введено, и убедил себя и убеждал Россию, что эпоха конституционного управления — началась. И он стал — сторонник такого управления, и относился к Думе серьёзнее, чем сами думцы, и всё убеждал себя, что с этой 2-й Думой ещё удастся сотрудничать (он даже для неё олиберализил состав своего правительства). И зачем бы было разгонять эту плохую Думу,— чтобы получить ещё худшую следующую?

Но, как признавался Столыпин: «1-ю Думу трудно было разогнать, 2-ю — трудно сохранить.»

В ней всё заострялось к воспламенению, в огонь кидали всё, что было способно загореться. Шло утверждение очередного возрастного призыва в армию — вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде, изгаляться над её военными поражениями — что она всегда была бита, будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа. И Дума шумно одобряла зурабовские оскорбления — а вне Думы вознегодовали обширные слои, и не было момента, более сочувственного для разгона Думы.

Однако Столыпин всё силился сохранять ее — и инцидент прошёл безо всяких последствий.

С весны непосильна стала семье Столыпиных тюрьма Зимнего, и по приглашению Государя они переехали на лето в Елагин дворец. (Раньше там любил жить Александр III, последние десятилетии никто не жил и там.) Сад его был огорожен колючей проволокой, ходили часовые снаружи и чины охраны внутри,— и только тут мог теперь гулять, да сотню саженей прогрести на лодке по такому же пленному в заборе отводу Невки премьер-министр необъятного государства: осада террористов продолжалась. (А раненая дочь уже перенесла несколько операций и всё не могла ходить.)

Тут же предстояло обдуматься и решиться судьбе русской конституции.

Быть может главная причина, по которой рушатся государственные системы,— психологическая: круги, привыкшие к власти, не успевают — потому что не хотят — уследить и поспеть за изменениями нового времени: начать благоразумные уступки ещё при большом перевесе сил у себя, в самой выгодной позиции. Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь. Начать уступать — беспрекословность авторитета, власть, титулы, капиталы, земли, бесперебойное избрание, когда все эти твои права ещё облиты щедрым солнцем и ничто не предвещает грозу! — это ведь трудно для человеческой натуры.

В России такие благоразумные изменения уже начинались при Александре I, но непредусмотрительно были отвергнуты и покинуты: победа над Наполеоном затмила умы александровским мужам, и то лучшее благоденственное время реформ — сразу после Отечественной войны — было упущено. Восстание декабристов рвануло Россию в сторону, победитель его Николай I плохо понял свою победу (побед и не понимают обычно, поражения учат беспощадно). Он вывел, что победа есть ему знак надолго остановить движенья, и только в конце царствования готовил их.

Александр II уже и спешил с реформами, но стране не пришлось выйти из колдобин на ровное место. Террористы — своим ли стадным инстинктом или каким-то дьявольским внушением — поняли, что именно теперь их последнее время стрелять, что только выстрелами и бомбами можно прервать реформы и возвратиться к революции. Им это удалось и даже дальше, чем задумано: они и Александра III, по широте характера способного уступать, по любви к России не упустившего бы верных её путей,— и Александра III загнали в отъединение и в упор. И снова и снова упускалось время.

Николай II, внезапно застигнутый короной, и по молодости, и по характеру особенно был неподготовлен к самым бурным и опозданным годам России. Девятьсот Первый, Второй и Третий проносились мимо него мигающими багровыми маяками,— он со всем своим окруженьем не понял их знаков, он полагал, что неизменно-послушная Россия непременно управляется волею Того, кто занял русский трон,— и так легкомысленно понёсся на японские скалы. Испытания, выпавшие ему в те годы, были по силам разве такому, как Пётр, а больше, может быть, никому в династии. Тогда в потерянности он заслонился Манифестом.

Это сделано было опрометчиво, нерасчитанно, без запаса, и безвыходно составлено. Но — сделано. И когда теперь тронное окружение и все закоснело-уверенные, что Россия — глыба без развития, даже радуются безумствам и срыву двух Дум и теребят — отобрать Манифест и вернуться к прежнему,— они не только толкают Государя к нечестности, но повторяют ошибку двух предыдущих неудавшихся застоев.

Попятиться — уже нельзя. Совсем отказаться от законодательных учреждений, отобрать уступленное — уже нельзя, этим только сдёрнулось бы всё к революции. В положение д о Пятого года Россия уже никак не может вернуться. Дали конституцию — значит, надо учиться работать по конституции.

Но и: плыть этому дальше, как оно плывёт и срывается,— дать нельзя: это к той же революции и не медленнее. Виттевский избирательный закон призывает в Таврический дворец не Россию, а карикатуру на неё. Этот избирательный закон всё равно не даст верного представительства России: ещё нет той массы граждан, готовых ко всеобщим равным выборам. Итак, чтобы сохранить саму Думу — надо изменить закон о выборах. Такое изменение закона, хоть и царским указом, после Манифеста — противозаконно. Но — нет другого пути создать работоспособную Думу. Простые разгоны Думы только раздражают, а призовётся новая — ещё революционней и безалаберней! Такой парадокс: только незаконным изменением избирательного закона спасётся выборность и само народное представительство.

В истории самые трудные линии действий — по лезвию, между двух бездн, сохраняя равновесие, чтобы не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. Но они же — и самые верные: между двумя революциями, между двумя враждующими массами, между двумя посредственностями и пошлостями.

В эту весну Столыпин тайно встречался с небезнадёжными (их в шутку звали «черносотенными») кадетами — Маклаковым, Челноковым, Струве, Булгаковым, ища сговориться и составить с ними такое правительство — на ребре, не опровергаемое ни слева, ни справа. Встречались тайно и от тех и от других. Столыпину эти кадеты доверяли: в личных встречах он поражал прямизной, открытостью, спокойным верным взглядом, определённостью выражений, и глаза блестели умом и твёрдостью. Но даже открыться однопартийцам они боялись, где ж тогда составлять правительство!..

Меньше чем за два года это была третья попытка, когда российское правительство приглашало общественность разделить власть,— но та отказывалась, чтоб не испачкать репутации. Роль гневной оппозиции оставалась более лёгкой. Как-то мечталось русским радикалам: всё снести до основания (не пострадавши ни петербургскими квартирами, ни прислугами) — а тогда уже строить совсем новую, совсем свободную, небывалую удивительную российскую власть! Они сами не понимали, насколько сами нуждаются в монархии. Они не умели управлять и не учились, а детски радовались взрывам и пожарам. К тому ж бесповоротно убедился Столыпин, что эта Дума никогда не утвердит его земельную реформу.

Последняя тайная встреча с кадетской четвёркой была в Елагином дворце в самую ночь на 3 июня.

А ещё с мая подкатил случай: на квартире у депутата Думы было застигнуто полицией заседание из членов социал-демократической фракции Думы с делегатами революционной военной организации. В тот раз задержанные члены Думы были отпущены.

1 июня Столыпин взял в Думе слово и неожиданно — всё неожиданным приходился *обществу* каждый его решительный шаг — предложил Думе: исключить из своего состава 55 членов фракции с-д за участие в противоправительственном заговоре и дать согласие на арест 15 из них, наиболее замешанных.

> Кроме обязанности сохранять неприкосновенность депутатов, на власти лежит и долг охранять общественный порядок, тем более в столице, где случилось многое.

(Думская фракция социал-демократов без стесненья вела подрывную пропаганду в петербургском гарнизоне — и 5 мая делегация солдат пришла с петицией о своих требованиях на депутатскую квартиру по Невскому 92, где депутаты ждали их, а полиция следила.)

Дума была ошеломлена: как ни шумела она о невыносимых притеснениях, но уж депутатскую неприкосновенность считала мандатом на любые действия, хоть и бомбу бросать. Председатель Головин извернулся — найти формальный ход, чтоб избежать голосования, губительного для Думы при обоих исходах: стать ли на сторону подрывателей или отречься от них. Но увёртка не помогла: 3 июня последовал арест тех из 15, кто не успел скрыться, указ о роспуске Думы и новый избирательный закон. В сопровождавшем царском (столыпинском) манифесте настаивалось, что это не отход от Манифеста 17 октября, что все права народа сохраняются, но

> многие из присланных от населения не с чистым сердцем приступили к работе, а — увеличить смуту и способствовать разложению государства,

почему и меняется теперь лишь самый порядок призыва выборных, чтоб они верней выражали нужды народа.

Хотя Столыпин окончено стремился провести интересы крестьян — он пока вдвое сокращал их мнимое, неподготовленное представительство в Думе, но усилял крупных землевладельцев, а более всего — опытных культурных земцев.

Может быть этот разгон Думы и эти объяснения не вызвали бы в обществе столь сильного возмущения, не положили бы столь долгого шрама, если бы в царском манифесте по роспуску не прозвучала так невыносимая либеральному уху и так настойчиво-свойственная Столыпину русская нота:

> Государственная Дума должна быть русскою по духу. Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны иметь в Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто-русских.

Сужались избирательные права восточных окраин, убавлялось депутатов Кавказ, Польши, утоплялись в своих губерниях некоторые города. Столыпин мог повторять, что речь идёт не о полицейском успокоении, а о постепенном терпеливом создании правового государства, что никому не удаётся сразу,— нет! не хотели ни слышать, ни слушать. Обозначило русское общество этот решительный шаг 3 июня — государственным переворотом, а свою недостаточно левую часть, которая это изменение признала и потом сотрудничала с властью в попытках построения России вместо того, чтобы разнести её в клочья, как бомбою террористы,— «третьеиюньской общественностью».

(Надо было пройти многим десятилетиям, чтобы В. Маклаков, озираясь из эмигрантской дали, признал бы:

> Дата 3 июня стала для нас таким же нарицательным и порицательным именем, как 2 декабря для Франции. Но после всего пережитого такое суждение односторонне. Если этот переворот и прекратил насильственный острый период ожесточённой борьбы исторической власти с передовой общественностью, то он же начал короткий период совместной работы власти и общества в рамках конституции. Не произойди в 1914 европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать без потрясения. Переворот 3 июня при всей своей незаконности может быть помог нам тогда избежать... полного крушения власти, на 10 лет раньше 1917 года, в обстановке, нисколько не лучшей для мирного оздоровления.)

Всё *общество* только поносило Столыпина — за реакционность, за надругательство над конституцией. Никто не заметил, что 3 июня было началом великого строительства России. В раздражении не заметили, что кроме ограничений в третьеиюньском законе было и расширение прав: земства, то есть народных интересов. По Столыпину земство не было придатком к централизованной бюрократии, но — в древне-русском духе и в своих александровских формах — должно было становиться добротным основанием всего государства. Работоспособное, охочее земство, занятое не лихорадочной фрондой, не политикой, в упрочением и украшением народной жизни, было для Столыпина идеалом, до которого он хотел поднять и Думу.

Думу так поднять он не сумел, но отношение земства к министерству внутренних дел и, значит, к властям вообще, при Столыпине сменилось быстро и ярко. Это вызвалось и личным отношением Столыпина к земцам, и его законодательством. Вообще, возносясь в постах, он это возвышение понимал как острую потребность всё более изучать и изучать: и государственное право, России и Запада, и военные и морские науки; посты его были — обязанность десятикратного трудолюбия. Но с тем большей страстью он отдавал земцам своё соображение, схватчивый переим мысли у собеседника, ёмкую память и дельность. Он много с ними встречался, занимался, исслеживал их нужды, жадно собирал сведения о пожеланиях земств, искал удовлетворить их. И земцы видели человека необыкновенного на этом месте, с его чётким напряжённым сознанием потребностей всей страны и потребностей местных,— и уходили от него душевно-побеждённые, ища или даже не ища, как в этой неожиданной симпатии оправдаться перед либеральными друзьями.

До Столыпина министры внутренних дел и губернаторы чинили земствам осложнения, препятствия, а земства утыкались в политику. Это было уродливостью развития и ещё накалилось в революционные годы. Столыпин же считал местное самоуправление почти таким же желанным благом для России, как и хуторское устройство. В первые же свои месяцы он стал энергично восстанавливать земское дело. Восстановил отменённые при Александре III прямые выборы уездных земских гласных на крестьянских волостных сходах, открыл крестьянам свободный путь в уездное земство. Отменил контроль губернаторов над расходными земскими сметами. Обязал министерство просвещения к ежегодным значительным дотациям на земские школы (ещё через 2 года провёл закон о переходе ко всеобщему начальному образованию в них). Другие дотации земствам полились из главного управления земледелия-землеустройства — для разновидной агрономической помощи крестьянским хозяйствам: содержать опытные поля, станции по борьбе с оврагами, ветеринарные, прокатные машинные, и целую армию землемеров, землеустроителей и агрономов. Столыпин поддерживал кредитные кассы, товарищества и сельскохозяйственные кооперативы, противопожарные меры в сельских местностях — и собирал всероссийские съезды специалистов всех этих направлений. Характер земских съездов при Столыпине изменился, стал дружелюбен правительству.

> В тесном сближении земств, городов и правительства я вижу будущее России.

Приведя к расцвету земскую деятельность, основательно надеялся Столыпин через то поднять по всей России и культуру крестьянского земледелия. Всё, что ни делал он, как будто само сходилось (им сводилось) к одному заветному главному — поднять крестьянскую Россию.

При открытии 3-й Думы в ноябре 1907 ему не пришлось излагать правительственную программу слишком подробно: вся та прежняя осталась на очереди, 2-я Дума и не притронулась ни к чему; за последние месяцы в программе ещё взрело

> государственное попечение о неспособных к труду рабочих, страхование их, обеспечение им врачебной помощи.

Но упорно увлекая вперёд весь охват своей программы, Столыпин упорно выныривал на своём и своём:

> Внутреннее устроение окажется поверхностным, улучшения администрации не проникнут вглубь, пока не будет поднято благосостояние основного земледельческого класса. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом.

Та прирождённая природная победность, которая была в фигуре, в натуре и в судьбе Столыпина, больше всего и поражавшая оппозицию и публику, в этот раз проявилась в нём как никогда, ибо была овеществлена: быстрым концом кровавого хаоса и — этой Думой, в надежде работоспособной. Колесница не сорвалась в бездну, а завернула от края. Да — р е в о л ю ц и я ли то была?

> Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество

и выдвинуло вперёд все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение.

Но

бунт погашается силою, а не уступками... Чтоб осуществить мысль — нужна воля. Только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твёрдой государственной волей.

И вот он вышел перед Думой, как никогда имеющий силу и власть, повернувший Россию из рушенья в выздоровление (ещё недавно не верилось, а вот наступило). После «третьиюньского переворота» он не обвиняемым вышел, оправдываться в отклонениях от конституционного пути, но возглашал

восстановление порядка и прочного правового уклада, соответствующего русскому народному самосознанию.

Снова и снова эта опасная настойчивость в проведении *русской* линии:

Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах — в развитии земщины и в развитии самоуправления. В создании на низах крепких *людей земли*, которые были бы связаны с государственной властью. Низов — более 100 миллионов, и в них вся сила страны.

Поражало это упрямство мысли, десятижды высмеянной просвещённым либерализмом: как может образованный человек так не бояться смеха света:

Народы иногда забывают о своих национальных задачах, но такие народы гибнут.

С думской трибуны, пронизываемый безжалостными корреспондентскими взорами, Столыпин безо всякой иронии, нисколько не стесняясь, декларировал

многовековую связь русского государства с христианской церковью. Приверженность к русским историческим началам — противовес беспочвенному социализму...

Он даже брался учить свободолюбивейших и образованнейших граждан России, высших понимателей свободы,— самому понятию свободы:

Свобода настоящая слагается из гражданских свобод *и* чувства государственности и патриотизма.

Эта Дума на днях отвергла слово «самодержец» в обращении к Государю, и потому-то Столыпин, не опасаясь выглядеть старомодно, дерзнул поучать избранников народа — даже ценности самодержавия:

Историческая самодержавная власть и свободная воля монарха — драгоценнейшее достояние русской государственности, так как единственно эта власть и эта воля призваны в минуты потрясений и опасности — спасти Россию, обратить её на путь порядка и исторической правды. Если *быть* России, то лишь при усилии всех сынов её охранять царскую верховную власть, сковавшую Россию и оберегающую её от распада.

Со своей, ещё преждевременной, надеждой, что

в России сила не может стоять выше права,

он всё же видел путь к парламентаризму не простым и не быстрым:

Русское государство развивалось из собственных корней, и нельзя к нашему русскому стволу прикреплять чужестранный цветок.

Такой напор не мог быть молча принят левым крылом Думы, чтобы кадетам не перестать быть самими собой. Среди ответчиков вознёсся Родичев, из первых красноговорцев кадетской партии, никогда не умевший говорить спокойно (такие речи у него сонно разваливались), но только в огне страсти, когда не успевают промерять аршином, и — о так называемой России:

У России вовсе не было истории, лучше не говорить про неё. За 1000 лет именно из-за самодержавия она не выработала личностей, а без личностей не может быть истории.

Это было очень модно тогда: утверждать, что *нет людей* в России, переполненной ими, и менее всего допускать их в *людях земли.* И накатывал любимую мелодию русских радикалов:

Когда мне говорят об истинно русских началах, то я не знаю — о *каких* идёт речь? Национальное чувство есть и у нас и заставляет нас прежде всего требовать осуществления *права.* Может ли каждый из нас быть уверен, что право его не будет нарушено ради государственной пользы?

Извечная проблема, нигде не решённая и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей? или как заковать в обязанности, не давая прав? или как найти им чуткое равновесие?

Нашёл ли Родичев, что его речь становится даже академичной и не насытит ярости его партии? Он обострял, перешёл к военно-полевым судам, но и всё ещё его речь не вошла бы в историю, если бы безоглядная страсть к афоризмам и толкающее чувство ненасыщенной партии не погнали его показать на своей шее пальцами стяг

петли и назвать — *столыпинским галстуком* (перефразируя «муравьёвский воротник»).

Он ожидал аплодисментов, к которым привыкли вожди оппозиции, но в этот раз не досталось ему устало-счастливо улыбнуться залу: бледный Столыпин вышел из министерской ложи, в зале поднялся и длился оглушительный шум, половина Думы стала стучать пюпитрами, кричать и набегать на трибуну, угрожая стянуть Родичева. В неразборном шуме председатель прервал заседание — уже не голосом, а своим уходом, высокий же старик-кадет, прикрывая Родичева, дал ему отступить в Екатерининский зал. А там его настигли — с вызовом на дуэль! — секунданты премьер-министра.

Не тот был Столыпин министр, кто на оскорбителя ищет параграф закона. Тут он — весь: в ответ на необузданное, ненаказуемое, до проституции распущенное *свободное слово* XX века — послать рыцарский вызов, одно остаётся мужское решение. Он — уже вёл уверенной рукой Россию, успокаиваемую от разбоя, но сам из себя не построил предупредительно такой для нее самоценности, какая позволяла бы ему пренебрегать личными оскорблениями. Нутрянее всех своих государственных обязанностей он был — рыцарь («с открытым забралом» было его любимое выражение). Он — всё вложил в свою государственную линию, он вёл её сердцем, умом и жизнью, но даже и в ней не мог остаться в такой миг и всё бросал, чтобы сразиться с обидчиком, и готов был к смерти через одну ночь. Щедрость в нежалении своей жизни, какая только у тех и бывает, чья жизнь особенно дорога.

Сын севастопольского генерала сказал:

— Я не хочу остаться у своих детей с кличкой вешателя.

Несовременное — тем более это и поражало! Родичев был огорошен, как и все кадеты: за долгие годы гибкой словесности они забыли, что оскорбление может дёрнуть курок пистолета. Они привыкли блистательно насмехаться над всем инородным себе — они только забыли, что за свои слова надо отвечать, даже и жизнью.

Премьер-министр, 45-летний отец шестерых детей, не поколебался поставить свою жизнь. 53-летний тверской депутат не был готов к такому повороту. И — пришлось помятому оратору в этот же перерыв поплестись в министерский думский павильон просить у Столыпина извинения. Столыпин смерил Родичева презрительно: «Я вас прощаю»,— и не подал руки.

Сила этого характера, полтора года назад вовсе неизвестного России, проступала всё неоспоримей. Он остался до конца заседания, и Дума устроила ему овацию. А Родичеву пришлось с трибуны взять свои слова назад, просить у Столыпина извинения — и всё равно быть исключённым на пятнадцать заседаний.

(Однако: словесность взяла своё, и в истории остался «столыпинский галстук». То и был перевес века. Эпоха безграничных гражданских свобод есть и эпоха безответственных обвинений.)

Ту зиму семья Столыпиных опять проводила в Зимнем дворце среди пустынных мёртвых залов, где меньше всего можно было верить, что самодержавие — развивается. Притекали анонимные угрожающие письма. Террористы всё тянулись пронять металлом непронимаемого министра — и было предотвращено покушение даже в самой Думе: стрелять должен был из журналистской ложи социалист-революционер с паспортом итальянского корреспондента.

Даже не предчувствием, а спокойным знанием — ещё с Аптекарского острова — сложилось у Столыпина, что ему не умереть своею смертью (как и не умирают бойцы). Каждый раз, выходя из дому, он мысленно прощался с родными. И повторял, завещал, это запомнилось: похоронить его там, где он *будет убит.*

Александр Гучков обещал Столыпину поддержку партии октябристов. Поддержка эта оказалась неровна, условна, иногда радовала дружностью и ковременностью, иногда оказывалась и не поддержка вовсе, а состязание и даже столкновение. Третьиюньский закон своё исправил: хотя и в новой Думе накалялось повышенное внимание к политическим трактовкам и пониженное к деловой работе,— собралась Третья Дума уже с перевесом гучковских октябристов над кадетами. Но и не создалось сильного правого крыла, которое препятствовало бы столыпинским реформам со стороны другой. Так эта Дума давала надежду на примирение власти и умеренной общественности, без чего Столыпин не видел спасения России. Такая укреплённая Дума давала надежду противостоять и безгранично-влиятельным, всегда анонимным дворцовым силам — истратам монархического правления.

Но тут же доводилось отведывать Столыпину истраты правления парламентского: рассчитывая на поддержку октябристского большинства, узнавать его сопротивление. (Неизменно на стороне Столыпина были только русские националисты.) Так в начале Девятьсот Восьмого — сперва о постройке четырёх броненосцев. В то время для России это был вопрос не побочный. После сокрушительной Цусимы все лучшие силы русского флота упокоились на дне Японского моря. Вот уже третий год, как у России оставался не флот, а разрозненные корабли, не имеющие никакого сочетательного смысла, да

береговая оборона. И руководящие морские круги и всё правительство, угнетённые поражением, не смели возгласить большой морской программы, только эти 4 корабля на доступные для России средства. Возражений не было, что флот не нужно отстраивать или что запрашиваемые средства непомерны. Возражение общества было другое, настойчиво выраженное в Думе Гучковым:

> Морское ведомство — в неустройстве, и прежде флота должно быть преобразовано. Наша критика лишена малейших элементов злорадства. Патриотический траур напитал атмосферу этой залы. Мне и моим политическим друзьям мучительно больно отказывать правительству в кредитах после катастрофы. Однако в рескрипте 05 года обещалось: «нравственный долг перед родиной — разобраться в наших ошибках».

И что сделано за три года? Всё та же пустая парадность в поведении флота, а адмирал Алексеев, преступно проваливший японскую кампанию,— наказан? Нет, в Государственном Совете. Октябристское большинство Думы отказало в кредитах, сперва требуя расчистки штатов морского министерства от завали и гнили.

Глубоко посмотреть, они были правы, и Столыпин сам не мог им не сочувствовать. И как раз той расчистке мешали придворные круги, и полезно было чем-то мощным её ускорить. Но, ещё глубже глядя: внешние враги России — не ждали, Россия лежала беспомощна и малоподвижна. И: желанные спокойные годы её зависели от сильного морского щита. И — с неутомимостью и с поразительной находчивостью, разнообразя аргументы и вытягивая всё новые и новые, как будто не было им счёту, Столыпин с надеждой и напором выступил на трёх заседаниях — думской комиссии, Думы, потом Государственного Совета — каждый раз против сложившегося большинства и каждый раз сотрясая его,—

> если не изменить предрешённое мнение, то доказать, что может существовать противоположный взгляд — и не безумный.

Не всякий парламентский министр с большим опытом мог бы найти столько энергии и проявить такое уважение к доказательному спору. Тем более — никому из царских министров негде и не перед кем проявлять такую изворотливость и настойчивость аргументации, так сильно вылепливать доводы, наносить их в блестящем каскаде сравнений, а каким-то и вызвать хохот и союзников и противников:

> Если гимназист срезался на экзамене, нельзя ж его наказывать тем, что отнять учебники.

Он убеждал, что этак собьётся энергия страны, весь мир перестраивает флоты, а Россия не защитит и берегов, весь флот обратится в коллекцию старой посуды, не обучен останется и личный состав без подлинной эскадры, он просил не избавлять правительство от ответственности за морскую оборону России,— всё тщетно.

И вскоре вослед отказала ему Дума в ассигнованиях на постройку Амурской железной дороги — не потому, чтобы могла возразить его речи об опасности, что дальний тот край пропитается чужими соками и будет утерян для России,— но просто считала такую трату непосильной для ослабленной страны, а верней: сама ещё была юна и не приучена судить государственно.

В других случаях Столыпину удавалось Думу убедить, в этих — нет. И тут от крайности уговоров он обратился к крайности действия: использовал думские перерывы и провёл своё по «87 статье». В двух этих случаях собравшаяся потом Дума не решилась остановить уже начатые без неё постройки — и броненосцев, и Амурской дороги. По той же маневренной статье провёл он и закон о старообрядческих общинах и о переходе из одного вероисповедания в другое. Но и для самого Столыпина была в том грозная недоумённость: он был министр не придворный, он возвысился не по протекции и не удерживался таким ни дня, своей равновесной линии он действительно никогда не провёл бы без Думы, он истинно нуждался в ней, именно он и убеждал Россию, что эпоха конституционного правления утвердилась, а вот: настоятельно-необходимого не мог провести через Думу — и нуждался её обойти.

И — каков же должен быть образ правления, чтобы правитель, преданный своей стране, мог бы, во благо ей, править быстро и энергично? Твёрдая устойчивая практика законодательных учреждений — и во всех странах возникала не вмиг.

И даже перед этой укреплённой, совсем не шалой Третьей Думой — ещё год и год, и год должен был отстаивать Столыпин ограничительные меры к печати, этой «матери революции»:

> Если б нашёлся безумец, который сейчас одним взмахом пера осуществил бы неограниченные политические свободы в России,— завтра в Петербурге заседал бы совет рабочих депутатов, который через полгода вверг бы Россию в геенну огненную;

и исключительные меры против террора (Гучков со своим серединным большинством сперва поддерживал их, потом потребовал прекращения):

> Не думайте, господа, что медленно выздоравливающую Россию достаточно подкрасить румянами всевозможных вольностей и она станет здоровой. Наши внутренние задачи приходится решать между бомбой и браунингом. Когда изнеможённое, изболевшееся народное тело укрепится — исключительные меры отпадут сами собой.

От выступления к выступлению несомненны проявлялись способности Столыпина: мгновенное соображение поданных реплик (выкрикивалось два слова, смысл мог быть сложней, его надо было достроить в секунду); и лёгкость ту-секундного ответа на эти реплики; и такая добротная укладность в памяти, что не упускались подсобные мысли, дремлющие в притёмках,— тотчас вдвигались, давая речи корпус и рельеф; не дремала тонкость различения понятий, определений, процедур, и так же не дремали и вступали в дело нужные примеры из государственного права Европы, которым Столыпин не уставал заниматься, свободно зная три языка; и почти фонтаном били, внезапно возникая, популярные сравнения, всегда разъясняя мысль, иногда и веселя слушателей. В стране, где вся иерархия от императора до урядника предпочитала молчать, скрываясь за печатными распоряжениями,— невиданный этот царский министр измотал и склонил оппозицию своими речами, чёткими, как его почерк. И он не избегал приезжать на заседания, выступать, пользовался каждым случаем ещё и ещё продвигать своё дело, распахивать свою веру. По горячности сердца он не удерживался смолчать и там, где удобно было беззвучно уклониться.

Так было, например, в феврале 1909, когда оппозиция сделала запрос об Азефе. Испытав провал с ним, и провал во многой своей деятельности, лидеры эсеров выдвинули фантастическую сложную картину демонического двойничества Азефа, как бы участия правительства в террористических актах против себя самого: что правительство само создаёт Азефов и убивает даже высокопоставленных лиц, только бы разложить революцию. Это было блистательное обвинение правительства, и русская *общественность* тотчас же и без проверки охотно его подхватила. Широковещательно разнеслось, что 11 февраля оппозиция внесёт в Думе громоподобный запрос. По закону Столыпин вовсе не обязан был являться в Думу отвечать: он мог ответить заочно, письменно, через месяц. Но он — сам рванулся на заседание, и слушал речи левых, переполненные не доказательствами, не знанием дела, а оскорблениями правительству и государственному строю. Кроме броской потрясающей гипотезы ораторы оппозиции Покровский и Булат в напряжённом, перенабитом думском зале не могли подкрепиться ни единым фактом. Столыпин вспыхнул, поднялся и выдвинулся под бой. Он ярко доказал, что левые лидеры преподносят басню, чтобы спасти свои знамёна. Не смолчал — и оставил нам речь, без которой сегодня и не докопаться бы до всей истины.

В этой горячности Столыпина не без влияния могло оказаться и то, что бывший глава полиции Лопухин, выдавший революционерам осведомительство Азефа и помогший Бурцеву сочинить азефовский миф дальше,— был товарищем Столыпина по гимназии,— и вот явил ли хлипкость, столь распространённую в русских образованных людях? или особенно — в государственных чиновниках, обсевших трон, вот страшно? Искал, как спасти свою карьеру: главные убийства — Плеве и великого князя Сергея Александровича — беспрепятственно совершились при Лопухине, он пропустил предупреждения того же Азефа, не принял мер охраны — и теперь пытался всё свалить на Азефа, в сотрудники нанятого не им, гораздо раньше (но однажды спасшего жизнь и Лопухину). Пропустивши жизнь своего водителя Плеве — теперь не погнушался встретиться с его убийцей Савинковым, чтобы вместе оболгать Азефа и правительство. И даже слал протест Столыпину против попытки остановить его поездку в Лондон к террористам — и заверенную копию этого письма тут же пересылал заграничным эсерам, чтобы те публиковали в западной прессе. Даже не так поражала личная мерзость Лопухина, как твердеющая догадка: сколько же десятков — или сотен? — таких карьерных шкур и составляли слой власти в России?

Теперь в Думе Столыпин перечислял несомненные даты и факты. Что Азеф с 1892 года и по самое последнее время был добровольным секретным сотрудником полиции. (Даже нельзя вслух назвать — каким последовательным и первоклассным.) Что до 1906 года (ареста Савинкова) Азеф никак не участвовал в террористической деятельности эсеров, но все частные сведения, которые ему удавалось получить через знакомства в партии — он тотчас и добросовестно сообщал полиции. Так он дал сведения о Гершуни как центральной фигуре террора, помешал покушению на Победоносцева, одному покушению на Плеве, сообщал данные о подготовке против Трепова, Дурново и опять Плеве — удавшееся в июле 1904 (и даже указывал именно на Егора Сазонова). Что обвинения, будто Азеф участвовал в убийстве Плеве и Сергея Александровича — скроены неумело, без внимания к фактам: в обоих случаях Азеф находился за границей, тогда как в практике эсеров направители и вдохновители всегда присутствуют на месте, чтоб исполнителя подбодрять и тот бы его глаза видел. Так Гершуни был на Исаакиевской площади при убийстве Сипягина, на Невском при покушении на Победоносцева, и в Уфе, когда кончили Богдановича, и в харьковском «Тиволи» сидел рядом с убийцей и подтолкнул его, когда тот заколебался. Так же и Савинков везде был сам — при убийствах Плеве, Сергея Александровича, при покушении на Трепо-

ва, и на Соборной площади в Севастополе. А с 1906, когда Азеф получил доступ к действиям боевой организации,— решительно все её акты были умело расстроены и не совершены. Так к Азефу ни в каком отношении не применимо словцо «провокатор», излюбленное революционерами для прикрытия своих неудач: так не может быть назван осведомительный агент полиции, а лишь инициатор преступления.

Насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлечённого молодого человека или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли распускать чудовищные слухи о преступлениях правительства и переложить на него все преступные происки и деморализацию, все непорядки в революции — на правительство,

и заодно надеяться,

что наивное правительство само поможет уничтожить преграды для победоносного шествия революции,

откажется от всякой тайной агентуры — которая только и предупреждает убийства.

Вся наша полицейская система есть только средство — дать возможность жить, трудиться и законодательствовать. А преступной провокации — правительство не терпит и никогда не потерпит.

Уже за полночь он сошёл под рукоплескания всего зала.

Для одного государственного деятеля и всего в несколько лет слишком много проколыхалось и прогудело этого: бомб, браунингов, убийства правителей. Через такие кровавые годы пророчество само пропитывалось в сознание. И в этой речи об Азефе пророчество тоже прорвалось:

Мы строим леса для строительства, противники указывают на них как на безобразное здание, и яростно рубят их основание. И леса эти неминуемо рухнут и может быть задавят нас под своими развалинами,— но пусть, пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновлённой свободной России!..

Этой речью оппозиция была подавлена, Столыпин заставил поверить, что честность — не на стороне революции. (Впрочем, по законам либерального ветра,— как и «столыпинский галстук» или «столыпинский вагон», присохнет на столетие не столыпинская правда, а черново-бурцевский детектив об Азефе.)

О содержательности понятия свободы приходилось Столыпину спорить с кадетвми не раз:

Нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы, мы призваны освободить наш народ — от нищеты, от невежества, от бесправия!

О каком бы внутри- или внеполитическом, административном, устройственном вопросе ни шла речь, Столыпина никогда не покидало это чувство связи с низами — как с главной опорой государства:

Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощённую землю. Земля — это залог нашей силы в будущем. Земля — это Россия!

Увы, даже улучшенная рискованным третьеиюньским законом, Дума всё ещё не стала рачительным национальным собранием, отзывчивым крестьянскому делу. Горше всего и в 3-й Думе пришлось реформе земельной.

От указа, изданного приёмом всё той же 87 статьи, в обход ещё 2-й Думы,— прошёл год, и два, и вот уже следующая Дума прела и прела над каждой его статьёй, не соглашаясь, возмущаясь, требуя объяснений. Кадеты, от азарта оппозиции потеряв понятие, что Столыпин выполняет именно либерально-правовую программу в деревне, стояли стеной в защиту коллективистской общины. Правые опасались крутого разрыва с традицией — и защищали ту же общину. И так велико было отвращение образованного общества от этого шага — освободить крестьянский труд и самостоятельность крестьянина, что в двух-с-половиной-летних прениях цеплялись за ступеньку каждой фразы, где только можно было закон задержвть. И вот придумано было этими адвокатами и профессорами, что глава крестьянской семьи не может быть допущен к единоличному распоряжению своим участком, но на каждый имущественный шаг должен получить согласие сочленов семьи, своих баб и своих детей. Любой из этих состоятельных, самостоятельных, сиятельных горожан и помещиков ощутил бы надругательством такой порядок для себя в собственной семье (а любой европеец счёл бы глупой шуткой). Но того угнетённого крестьянина, *святого труженика*, которого они все кряду сердечно любили по наказу русских писателей и только ему и служили тут, в народном представительстве (хоть и не владея его языком и чуждые его понятиим),— того крестьянина они считали настолько неправомочным в его зрелые лета и настолько беспоьоротным пропойцей, что, получи он участок в собственное владение, он тотчас же его и пропьёт, пуская по миру семью; так если отпала над ним власть помещика, отпадала власть общины,— должна была остаться яад святым тружеником хоть власть семьи. А вызвавши на то ответ Столыпина, что нельзя всё взрослое население отдавать в опеку

своим детям, нельзя всё крестьянство рассматривать как хронически-слабых, весь русский народ как пьяниц,

нельзя создавать общий закон ради уродливого явления. Когда мы пишем закон для всей страны, надо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Таких сильных людей в России большинство,—

общественность тут же обронила это «большинство», а — выхватила, понесла, перекувырнула — с лёгкостью неотмываемого оболгания, которая так доступна тысячеликой безликости,— что мол Столыпин проговорился: его закон — это ставка на *сильных* крестьян, *то есть значит* на перекупщиков-кулаков. И в лад с ними с другой стороны голосили правые, что «защита сильного — глубоко антинациональный принцип». (Так и с этим клеймом, как с другими, предстояло слишком неуклонному министру встынуть в своё столетие. Ложь за ложью посмертно лепили ему враги.)

И чвсть духовенства выступала против реформы: расселение на хутора ослабит православную веру в народе.

За эти два с половиной года уже стёкся миллион крестьянских заявлений о выходе на хутора, уже работали землеустроительные комиссии, переводя землю в собранные отрубá, уже посылало правительство в сельские местности растолкователей закона (не знал Столыпин, что следом за ними шли студенты и толковали наоборот: «не слушайте их, не идите на хутора, опять обманут!»),— а Дума еле-еле дотянула принять закон большинством в несколько голосов.

И ещё на год позже с треньями и колебаньями закон прошёл через Государственный Совет.

И когда и все законодатели уже проголосовали — закон ещё месяцы ждал последней подписи Государя, и в эти месяцы Столыпина резко атаковали справа, облыгая, что он — канцелярский реформатор, даже, будто, чиновники выгоняют крестьян из общины насильственно, что развал общины — из самых вредных его идей и отдаёт крестьян во власть еврейских скупщиков. (Хотя в законе отчётливо оговаривалось, что надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия, не может быть продана за личные деньги и не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк.)

Ещё теперь надо было ждать подписи Государя: не сломят ли, не отклонят ли за кулисами?

Государь имел то отчаивающее свойство, что один приятный посетитель мог в один разговор изменить его устоявшееся многолетнее мнение. Вокруг же Государя простирались и обращались несколько отдельных и очень многолюдных, из титулов и званий нанизаяных сфер, которые были нечто не-Россия, но от вращения которых более всего зависела русская судьба. И, в занятом ими пространстве, не эти *сферы* были болезнью, отклонением, пороком,— но именно Столыпин, мелкопоместный, прорезавший эти сферы до самой вершины власти — незаконно, несогласованно, провинциально, без протекции и помощи,— а теперь утвердившийся тут чужеродно. Он стал вторым лицом империи, совсем не принадлежа и не зная ни придворного мира, ни великосветского, ни высокосановного, и никогда не готовленный к ним. Вне *сфер*, в большой России, Столыпин мог пытаться строить свод новых законов, и законы эти даже могли начать действовать на пространстве России,— но на пространство придворных сфер они не имели никакого влияния.

А шире — дело было так: Столыпин для всех для них оказался полезным нужным человеком, пока спасал их от революции, от поджогов и погромов. С лета 1906 по осень 1908, хотя и проявлялась к нему недоброжелательность правых кругов и высших сфер, но они не боролись с ним, а давали ему бороться с революцией. Когда же эта его борьба окончилась поразительным успехом, и Россия из безнадёжного Смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования,— политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна. А более всего непонятно, почему он до сих пор не отбирает назад Манифеста 17 октлбря, играет в конституцию, представительные учреждения и правовой порядок.

Им всем — это, по определению Гучкова, трём группам: придворной камарилье, которой при конституционном строе ничего не остаётся делать, как только исчезнуть; отставным бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного Совета (он был засижен отставными бездельными старцами, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь); и — той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать Россией ещё столетья вперёд, не подавшись на вершок. Можно добавить сюда и Союз Русского Народа: от первых же признаков успокоения в стране Союз поносил Столыпина за недостаточную твёрдость против революции, нянченье с Думами, преданность конституции, негласные облегчения евреям, за либеральные идеи: куда он ведёт Россию?!.. Но Столыпин не поддался и им, как и никакой партии никогда. Он служил — России, а не петербургскому озеру влияний. Ни в каких его действиях никогда не бывало личных расчётов.

Но мало того, что Столыпин не отбирал назад Манифеста: подавив революцию,

он всерьёз потягивал цепь невыносимых реформ и расчисток, которые дальше разнесли бы неподвижное насладительное существование *сфер*, и те увидели это раньше его самого, а отдельные группы их уже и прямо почувствовали на себе грозовую полосу сенаторских ревизий.

Столыпин в своём поединке с революцией и со счастливой уверенностью делателя — не оценил опасности с этой стороны. Он неуклонно ступал и победно продвигал свои законы, уверенный, что врежет и утвердит их и в *сферах*,— себе же от сфер не усваивая никакого закона: не искал там ни друзей, ни союзников, не выспрашивал мнений (он не был их братом-бюрократом, и они не чуяли на нём родного воскового налёта). И более всего ненавидя корыстных и взяточников, и уже задумываясь о реформе полиции, уже назначив комиссию для того,— ещё не видел большого стеснения и опасности, что именно в эти месяцы, с начала 1909 года, *сферы* посадили ему (через царское благоволение, даже личную волю царицы) в министерство внутренних дел первым заместителем — жадного хорька Курлова. (То уже, может быть, была и подготовка его отставки. И собственный департамент полиции стал подслушивать телефон своего министра.) Столыпин — всё ступал далее и высказывал тем более резкую правду, чем более вверх. Он как будто не замечал постоянной к себе неприязни государыни (эти отношения не входили в статут совета министров, хотя Государь в доказательство ему приводил и так: «эту точку зрения безусловно разделяет и государыня императрица»). И он уже привык на каждом шагу ожидать, но и парировать, внезапные перемены государева настроения: то — даётся согласие на смелую меру по министерству просвещения, даже грозящую студенческими волнениями, то вдруг — в обход соответствующего министра и премьер-министра подписывается публичное повеление прямо противоположного смысла, хуже чем подрывая устойчивость правительства. Так, о каждом согласии Государя всегда приходилось помнить, что оно ещё, собственно, не согласие.

И всякий раз к аудиенции (а Государю удобно было принимать премьер-министра лишь после 10 вечера, и то не в субботу и не в воскресенье, которое естественно отдать семье и развлечениям; а многие месяцы надо было не экипажем ехать в Петергоф, но поездами в Крым и назад, неделю в дороге, чтобы два дня поработать с Государем, а с устранением революционных опасностей Государь и на четыре месяца мог отбыть в Германию, отдохнуть на родине супруги),— идя на высочайший приём, всегда готовый к шатким внезапным изменениям высочайшей воли, Столыпин нёс в портфеле письменную просьбу об отставке, подписанную сегодняшней датой,— и иногда подавал её.

Весной 1909, года *сферы* стали плотно давить на Столыпина, такая отставка, всё время зревшая, едва не произошла. Случай казался мелочным: подтверждение штатов морского генштаба,— но Столыпин проявил нетерпение делателя, провёл через Думу и настаивал на своём решении, тогда как Витте поспешил указать в Государственном Совете, что здесь создаётся прецедент ограничения императорской прерогативы в военных вопросах. Ход событий был искажён внезапным воспалением лёгких у Столыпина. Государь предложил ему взять отпуск и отдохнуть в Ливадии. *Отпуск* — это вполне истолковывалось как подготовка к отставке, а посланный в Ялту рескрипт о даровании Столыпину ордена Белого Орла — как смягчение отставки. Столыпин воротился в Петербург в апреле — ещё с тёплым крымским воздухом в лёгких, порывом на свежий воздух и здесь — скорей на сырой Елагин, с ещё не оттаявшим снегом! Весь Петербург уже говорил, что Столыпина заменяет министр финансов Коковцов, а на министерстве — Курлов. И вероятно Государь в эти дни уже решался уволить. Но в конце апреля последовал ещё один рескрипт, открыто для публики утверждающий Столыпина. (Всё же полное ведение военных вопросов он должен был оставить за Государем — и так стал терять поддержку октябристов и Гучкова.)

Отношения с Государем — это была уязвимая перемычка всей столыпинской работы и постройки: совсем не участвуя в той постройке, эта перемычка решала, однако, всю её. Как только ни злословили об этом царе в обществе! какого только чучела не высмеивала в нём образованная Россия! — почти единодушно считалось, что он и недалёк, и глуп, и зол, и мстителен, и нечувствителен. Столыпин и прежде, из отдаления и неведения, не разрешал себе подумать так. А приблизившись и соприкасаясь тесно и в главном — убедился, что это совсем не так. Государь был даже страдательно уязвим, даже хрупок, но всё это загонялось им внутрь и переносилось лишь его отменным здоровьем. И не только не был он мстителен и зол, но был христиански добр, был воистину христианин на троне, и всем сердцем любил свой народ, и благоволил ко множеству людей, с которыми ему приходилось знаться. (Хотя обиду мог понести — и нести уже потом долго, до конца.) Он искренне хотел, чтобы всем в его царстве и во всех остальных царствах было хорошо. (Но только: чтоб от него не требовали для этого слишком большого и длительного напряжения.) И он мог вникнуть в любую аргументацию, и понять совсем даже не упрощённую мысль. (Но тоже: чтоб не слишком утомительно и часто.) Государь Николай Александрович нисколько не больше отходил от средности, чем и всякий средний монарх, который по вероятности должен уродиться,— а добротою чувств даже сильно избыточествовал над средним. И тем более долг монархиста был: уметь работать с этим Государем.

Государь был сердечно уверен, что всегда держит перед собой одну цель блага родины, а мелочные чувства личностей перед этой целью меркнут, и повторял о своей страшной ответственности перед Богом, а подписывал назначения и поддерживал нашепты то дворцового коменданта, то начальника походной канцелярии. Государь искренне сознавал свою страшную ответственность — и так же искренне, откровенно оттягивал как скучные дела важные государственные вопросы или вовсе отменял такую *неприятную* процедуру как личный приём всего состава Государственной Думы,— а многое в 3-й Думе могло бы пойти иначе, если б этот приём состоялся. Но не было для Государя — любителя широчайших военных парадов (где участники однако бессловесны) или узких застольных бесед (где участники все свои), ничего более неприятного, чем встреча с десятком, сотней, полутысячей развитых инакомыслящих людей — не немых и не своих. Так нежно и так хрупко было всё мировоззрение Государя, а главное — способность отстаивать его, что он не мог его вынести на ветер мнений. Он мог только в запахнутом сосуде теплить веру в свой прекрасный народ и прекрасных государственных деятелей, которые всё устроят — и с просвещением, и с гуманностью, и со свободой, и с расцветом. И самого Столыпина долго ценил как такого прекрасного министра, который осуществит прекрасные цели и выведет жизнь народа в благоденствие,— лишь бы не слишком теребил своего Государя в не вынуждал делать неприятное какому-нибудь прекрасному человеку из придворных сфер.

А Столыпин не только не имел выбора иного, как всячески поддерживать и внешне возвышать этого Государя — по службе и по верности, но он и внутренне полюбил этого доброго честного человека, хотя и с государственно важными недостатками. («J'aime le petit»,— говорил жене, «люблю Маленького». Маленького императора, не сильного, как прежние.) И стремился помочь ему эти недостатки одолеть, а от слабостей — выкрепиться. Если держать целью укрепление в России её исторических начал, то ныне царствующему монарху следовало служить всеми силами (смиряясь с его недомогностями, как смиряется сын с неудачностью своего отца). И Столыпин не упускал случая прославить Государя, поставить в центре народных торжеств (двухсотлетие Полтавы), упоминать его только в тонах высочайших, приписывать ему заслуги собственных догадок и законов («царь обратил свои взоры к русскому крестьянству») и заклинать слушателей в верности («Россия, преданная своему Государю»). Даже в откровенных беседах с Гучковым, своим единомышленником по думской борьбе, чьим резким речам Столыпин больше сочувствовал, чем мог выразить внешне, и с кем вместе планировали, как расколоть правый сектор Думы и выделить умеренное крыло,— даже наедине с Гучковым, недоброжелательным к царской чете, Столыпин никогда не позволял себе выразиться о Государе неодобрительно. И чем слабей, а от слабости упрямее (чтоб отстоять своё сознание силы) бывал Государь то там, то здесь,— тем необходимей было уступать этому упрямству, чтоб его впечатление силы не хрустнуло. И подкреплять это впечатление в нём, благодарить за милостивое участие, и оговариваться: «что я непрошенною мерою мог поставить Ваше Величество в неудобное положение...». А когда уж совсем невозможно было миновать дать урок, это тоже было бы изменой монархизму, надо было форму найти такую, будто урок произносится для самого себя или о ком-то вообще постороннем:

Для государственного человека нет большего греха, чем малодушие.

Столыпин отлично видел о себе, как он подходит к посту, как умеет властвовать, и до чего необходим этому царю. Но тот, конечно, не мог соразмерить доли своего интеллекта и энергии в государственном управлении и доли премьер-министра, он искренне не понимал, сколько тут вкладывается работы и времени. Поэтому Государь не видел тягости для своего статс-секретаря ездить к нему в Ливадию из Петербурга с докладами. Или будучи отпущенным по Полтавской и Орловской губерниям осматривать своё любимое затеище — хутора, непременно поспеть к высочайшему обеду в честь датской королевской четы.

Государь позабыл или совсем никогда так и не понимал, в какую бездну уже почти сверглась Россия в Девятьсот Пятом и Шестом. Когда теперь, тремя годами позже, перед открывшейся первой свободной поездкой Государя в Полтаву, Столыпин не без гордости доложил ему:

— Революция устранена, Ваше Величество, и Вы теперь можете перемещаться свободно,— Государь ответил даже с раздражением:

— Не понимаю, о какой революции вы говорите. Даже и беспорядков бы не было, если бы власть была в руках более мужественных и энергичных людей, как ялтинский градоначальник Думбадзе.

Столыпину стало горько: как быстро и легко Государь забыл об опасностях, которым подвергался сам же. Как будто и не видел всего, что сделано для спасенья страны.

Правда, в первые годы Государь очень был к Столыпину расположен, живо ощущая

его спасителем страны и себя. Он предлагал ему для безопасной жизни свои дворцы и прогулку на императорской яхте по финляндским шхерам (как ездил и сам).

Летом 1908 в такой прогулке на яхте Столыпин побывал инкогнито в Германии и там испытал неценимое счастье всякого простого человека: ходить свободно по улице, не скрываясь от убийц. Но о его поездке стало известно императору Вильгельму, тот захотел встретиться. Столыпин уклонился, ускользнул, Вильгельм погнался за ним несколькими кораблями, однако не настиг. (Их разговор состоялся годом позже при встрече императоров. Вильгельм до неприличия пренебрегал царственным братом и его супругой, весь уйдя в разговор со Столыпиным, от которого пришёл в восхищение,— и ещё через 20 лет повторял, что тот был дальновиднее и выше Бисмарка.)

Да! Ведь кроме внутренней политики (которая и есть единственная нужная политика — терпеливое устроение собственной страны) — существовала ж ещё и внешняя. И как премьер-министру, а не только министру внутренних дел, Столыпину полагалось бы много заниматься ею?

Совсем нет. Сколько мог, он от внешней политики уклонялся, игнорировал, жалел силы на неё: по сравнению с внутренней она казалась ему чрезвычайно легко решаемой: тут не было такой запущенности отношений, таких накопленных вековых несуразностей, а главное — такой истребительной ненависти, таких яростных *идейных* врагов, для которых не существовало жизни вне этой вражды. Ему казалось: во внешней политике достаточно приложить четверть силы, как богатырь передвигает горы: тамошние горы и пропасти — кажущиеся. Он был уверен, что правитель с самым посредственным разумом может остановить внешнюю войну во всякое время.

Может быть из-за этого невнимания кабинет Столыпина был наказан назначением в министры иностранных дел молодого честолюбца Извольского. (Да ещё: насколько русское правительство было *кабинетом*? Только-только начинали привыкать, что оно — нечто единое. Все эти годы министр иностранных дел не обязан был своих докладов повторять председателю совета министров. И — уволить того же Извольского или оставить на посту — тоже решалось без председателя.) В поисках эффектного дипломатического хода и свободных рук по отношению к Турции, Извольский попался в ловушку своего австро-венгерского коллеги и попустил тому захват Боснии и Герцеговины в конце 1908 года сопроводить объявлением, что захват произведен с согласия России. Это было наглое использование нашей послеяпонской слабости, наступали на ногу и заставляли улыбаться: Германия потребовала от России даже не молчания, не нейтральности, но — унизительного публичного с о г л а с и я на оккупацию: преклонить колено и отречься от всей славяно-балканской политики. Русское общество было возмущено, взнялась тряска в печати и в Думе,— а кроме войны отвечать было нечем, упущено. А войной-то — хуже всего нельзя, Столыпин вник в военное министерство (оно, как и все, работало отдельно) и ещё более убедился, в чём был убеждён из соображений общих: воевать нам — никак нельзя, мы ещё долго будем не готовы, для нас сейчас война — поражение, но ещё раньше — революция. Вывод сам по себе был горек, но очень смягчён для того, кто и не намерялся воевать ни в коем случае, да и не горел панславянской миссией никогда. Временный ущерб самолюбия был ничто перед громадностью внутренней построительной программы. Столыпин не мог вскрыть аргументы публично, он только разубедил Государя, уже решившегося на мобилизацию против Австрии: это потянет и войну с Германией и угрозу династии. (И сказал близким в тот день: «Сегодня я спас Россию!») И ещё личными переговорами Столыпин успокаивал лидеров разгневанного воинственного думского большинства. Кадеты — очень рвались в войну (не собственными телами только) и ещё долго шумно гневались после потсдамской встречи императоров в 1910: зачем Россия отказалась от наступательной позиции? А французы тревожились, почему ликвидируются в Польше четыре русских крепости. Столыпин же считал: все эти союзники — никакие не друзья и отвернутся от России, если её постигнет несчастье. Англия опасается международной силы России и желала бы её распада. Во Франции нет к России ни любви, ни уважения, а — только страх перед Германией. Никому в Европе и даже в мире не кажется полезной сильная национальная Россия.

И результат убеждал Столыпина, что внешняя политика не стоит слишком настойчивых и долговременных усилий: вот, все реальные угрозы были без труда удалены. Если сильная держава н е х о ч е т войны — никто её не заставит воевать. При назначении после Извольского министром иностранных дел Сазонова, Столыпин просил его: только избегать международных осложнений, вот и вся политика. России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10-20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ — не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны.

> Когда будут здоровы и крепки корни русского государства,— слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром.

Он не предвидел обстановки, которая позывней истребовала бы Россию к войне, чем аннексия двух славянских областей,— а вот не пошли, и обошлось, и не заметно, чтоб ущербнулся свет самодовлеющего светила. И не было у него раскаяния ни перед честью российского государства, ни перед английским неверным союзником, когда в октябре 1910 в Потсдаме на встрече с Вильгельмом они с Государем обязались не участвовать ни в каких английских интригах против Германии, за что и Германия обязывалась не поддерживать австро-венгерской агрессии на Балканах. При разумной русской внешней политике просто вообразить было нельзя, с кем бы и зачем России предстояло воевать.

В три-четыре года столыпинского премьерства, не урывом, не враз, а постепенным неуклонным движением преобразилась страна так, что и друзья и враги, и свои и чужие не могли бы этого не признать: багровый хаос больше не зыбился, революция кончилась, она была — прошлое. А всё более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая и называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад. Третий, четвёртый, пятый год кряду Столыпин влёк всю Россию, куда ему виделось правильнее. Он доказал, что управлять это значит предвидеть. Доказал наилучшим доказательством — действием. Самим собой. Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давленья любой из них и поднялся над ними всеми, при нём партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото всё мелкое политиканство. Он был чужд мелочей, а потому и — мелкого самолюбия. Явное отсутствие личных интересов привлекало к нему людей. Он излучал бодрость, не скупился убеждать каждого сам,— с ним весело, легко было работать, и передавалась его бестрепетность перед угрозами и почти художественная формовка его огромных дел. Он был в расцвете лет и сил — и вливал свою крепкую молодость в государственное управление. Он был для всей России прозрачен, на просмотре, не оставляя болотец для клевет. В оправданье фамилии, он был действительно с т о л п государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. (И вправду, качества его были царские.) Это опять был *Пётр* над Россией — такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же радетель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслью иной, и тем отличаясь от императора Петра:

> преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства — душе народной,

ни народному облику, ни верованиям:

> Русское государство — в многовековой связи с православной церковью. Вы все, верующие и неверующие, бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ, вы не могли не осязать атмосферы накопившегося молитвенного чувства, не могли не сознавать, что раздающиеся в церкви слова для этого молящегося люда — слова божественные.

(И почти в тех же днях, сознавая сторону другую:

> Вашему величеству известно, что я глубоко чувствую синодальную и церковную нашу разруху,

и что обер-прокурор должен быть сильного духа и сильной воли.)

Линия Столыпина стала кристаллизующим стержнем, и к нему притягивались по всей России все те образованные — увы, уже — *ещё*? — немногие, в ком сохранялись непостыженные остатки или раскрывались неуверенные начатки русского национального самочувствия и православной веры.

Этот духовный процесс тоже нуждался в развёртывании времени, вероятно — в тех же двадцати непотревоженных годах.

Столыпин приобрёл такую крепость стояния и усвоенного места, что уже без труда принимал затрёпанные стрелы оппозиции и с силою и с новым свежим оперением метал их обратно:

> Да! После перенесенных испытаний Россия естественно не может быть довольна. Но она недовольна не только правительством — она недовольна и Государственной Думой. И Государственным Советом. И правыми партиями. И левыми партиями. Она недовольна с о б о й. Недовольство это пройдёт, когда укрепится русское государственное самосознание. Когда Россия почувствует себя опять Россией.

Его закон о выходе из общины, промытарившись через законодательные палаты, был окончательно подписан,— а между тем уже два миллиона хозяев подали заявление о выходе на хутора. И, предвидя зерновое изобилие, Столыпин создавал по всей России широкую сеть зерновых элеваторов государственного банка и субсидировал крестьян для хранения там зерна.

А была ещё одна, заветная, область, о которой Столыпину не досталось много спорить, ни встречать отчаянного сопротивления, успехи же были особенно зримы, быстры, переполняли звонкой радостью. Эта область — переселенческое движение крестьян за Урал — в Сибирь, Киргизский край и Семиречье.

Кажется, ничего нельзя было указать естественнее для русских крестьян, чем переселяться им на свободные земли за Урал,— не лежать же им веками и веками в пустоши! И эта мысль, опережая многие другие,— давно сообщилась крестьянским низам, мудро выхватывая из неизвестности ту перевесь причин и условий, которая

через полста лет получит и учёное обоснование. Этот порыв породил мечты, легенды, россказни — о «царицыных землях», о «сибирских садах», о «Мамур-реке»,— и крестьяне кидались даже в одиночку, перехватываемые начальством, иногда убегая из родной деревни беззвучной ночной повозкой, имея впереди тысячи вёрст по чужим местам, где всё так же нельзя было объявляться и не всегда удавалось получить ночлег, просить подаяние,— и уж вовсе к неизвестному дремучему обиталищу. От самых великих реформ 1861 русское правительство мешало расселению своих крестьян на свободные богатые земли под корыстным настоянием помещиков, боявшихся, что возрастут цены на рабочие руки в их поместьях завтра, и не доходящих, что будет со всей Россией послезавтра. Из Европейской России, где приходился 31 житель на квадратную версту, в Сибирь, где жило менее одного человека на версте, так не пускали крестьян до самого голода 1891, затем послабили, даже начали строить сибирскую железную дорогу — и всё ж дождались накала 1905 и усадебных погромов.

Кроме улучшения обработки земли переселение было ещё одним выходом земли крестьянской нужде — и так оно легло во внимание и усилия Столыпина. Едва только стали от него зависеть всероссийские дела, поток переселенцев получил многие льготы: казённую отвозку смотроков, государственную информацию, предварительное устроение участков, помощь на переезд семьями, с домашним скарбом и живой скотиной (были даже строены для этого особые пассажирские вагоны с упрощённой планировкой, к ним, потом, перенабивши арестантскими душами и зло исказив смысл, приклеили название «столыпинов»), кредиты на постройку домов, покупку машин,— и самый предприимчивый слой крестьянства, однако недостаточно устроенный на старых местах, потянулся на восточные земли. Под переселение были отданы и кабинетские (собственные царские) земли Алтая — пятикратной Бельгии. Ещё и солдаты, обратно пересекшие Сибирь с японской войны, двинули этот крестьянский интерес. Уже в 1906 переселилось 130 тысяч, а затем в год по полмиллиона и больше. (К войне 1914 — больше 4 миллионов,— столько же, сколько за 300 лет от Ермака.) Землю переселенцы получали даром и в собственность, а не в пользование,— по 50 десятин на семью, так раздавались дальше миллионы десятин, и с каждой снимали по 60 пудов, мечта Петра Аркадьевича. Орошали Голодную Степь, рыли общественные каналы. Всего прошло только четыре года, ничтожный срок для русской истории, 75 раз он мог быть использован в одной романовской династии,— и вот Столыпин с любимым своим министром Кривошеиным, с кем делили всё деревенское устроение, теперь, в августе и сентябре 1910, объехали многие переселенческие места в Сибири — бóльшую часть в телеге — и не меньше самих переселенцев дивились и радовались их привольной, здоровой, удачной жизни на новых местах, их добротным заимкам и сёлам, даже целым городам, где три года назад не было ни человека, их весёлой спорой работе уже с первыми плодами нажива и прибытка, с нескудным лесом, урожайным землепашеством, вольным скотьим отгулом, даровой охотой и рыбной ловлей,— за три года людям уже и не верилось, они ль это жили до се в теснотах и отчего же не трогались сюда?

И если это всё — за 4 начальных года, и уже подняли годовой сбор хлеба до 4 миллиардов пудов, что ж можно будет устроить за 20 лет разогнанных?

Весь вид этого огляженного благоденствия, всё движенье и воздух сибирских степей были Столыпину высшей радостью его жизни, несравненно с наградами, которыми когда-либо мог одарить его трон или почесть российский народ: в эти счастливые месяцы (и безо всякой охраны) ему привелось увидеть, как его канцелярские усилия образились в устройстве великого народа на богатых просторах. Эти люди, смело пошагавшие в необжитость и даль, крепкие, неуёмно подвижные, ядрёная поросль русского народа, были сыты своим трудом, свободны и как же далеки от революционной мути и как неподневольно заявляли себя царю и православию, требовали церквей и школ. Перенесённая на новое место Россия воссоздавалась даже очищенной: в Заволжьи встретил Столыпин бывшего крестьянина-революционера, члена 1-й Думы, теперь страстного хуторянина и любителя порядка.

И весь путь Столыпин с Кривошеиным радостно разрабатывали, какие новые государственные меры надо принимать, чтобы вольно разливался этот переселенческий вал.

Через месяц Столыпин сидел в Потсдаме рядом с императором Вильгельмом, ощущая спиной сибирскую поселенческую добротность, и ещё и ещё удивлялся лёгкой устрояемости международных дел, этой пресловутой «внешней политики». Отношения с Германией могли установиться как угодно хороши.

Русская жизнь выздоравливала — непоправимо. Ощущение этой уже достигнутой перемены пропиталось и в головы, груди революционеров. Тридцать кряду лет эти головы и груди были охвачены жадной надеждой на близкую в России революцию, только тем жили и двигались. Теперь же — безверие, усталость и отступничество залили их в безвыходном положении: их слов больше не слушали, революция хуже чем не состоялась, она была проиграна и перестала собою розовить горизонт будущего, лишь багрово догасала на горизонте прошлого. (В историю это впечатано как «годы столыпинской реакции» — да, это была *реакция* ещё не догубленных душ на свою отвратительную деятельность. И реакция здоровой части народа на нездоровую: в сторону, не мешайте трудиться и жить!) Так и от самого Столыпина террористы отвалились года с 1910, перестали охотиться, искать случая убить. В прошлом неудача многих попыток не заставляла их отчаяться и покинуть замысел, но вот наступили годы, когда террористы перестали встречать восторг и благодарность даже в тех интеллигентских домах, в которых привыкли. Во всём населении они почувствовали себя не столько гонимыми, сколько ненужными и отверженными. И это лишило их силы действовать.

Теперь дошло Столыпину позаботиться и об очистке вод, стекающих в Неву, и о бесплатном чае для нищих по ночлежным домам. Его счастливого здоровья хватало на все работы, и постоянно свежим видели его.

Зиму 1909-1910 Столыпин жил уже в доме на Фонтанке, никак не прятался, выезды его в Таврический дворец происходили в заведомо известные дни, а летом он мог ехать в своё любимое ковенское имение.

Однажды Столыпин осматривал летательные аппараты, и ему представили лётчика Мациевича, предупредив, что это известный эсер. (Состояние в эсерах не препятствовало ни военной службе, ни обычной работе.) Вдруг, блеснув взглядом вызова, именно этот лётчик с улыбкой предложил Столыпину — полетать вместе.

Не свою только жизнь — даже всю русскую судьбу в руках держа, от подобного вызова Столыпин уклониться не мог: честь поединка парила в нём выше рассудка и обязанностей, как уже не раз при покушениях. Он — тотчас согласился.

И они полетели. И сделали круга два на значительной высоте. В любую минуту лётчик мог разбить обоих (жертвовать и собою — обычный был шаг террористов), а то и попробовать разбить лишь пассажира. Но он этого не сделал и противники только вели незначащий разговор и мерялись взглядами. (А очень вскоре Мациевич, летая в одиночку, убился. «Жаль смелого летуна»,— отозвался Столыпин.)

В те годы не принято было трубно восхвалять на всю страну государственных деятелей, ни — обклеивать их портретами улицы. И в стомиллионной глубине России далёкие от политики обыватели меньше всего запоминали, кто там сейчас председатель совета министров, знали одного царя (за которого Столыпин и затенялся охотно), да видели воочью, что жизнь успокоилась, разбоя нет, снова можно жить на Руси покойно.

И кадеты не смели поносить Столыпина, устали атаковать. Они для себя новое положение приняли, лишь не желая чествовать победителя. Он врезался неизъяснимо-чужеродно: слишком националист для октябристов, да и слишком октябрист для националистов; реакционер для всех левых и почти кадет для истинно-правых. Его меры были слишком реакционны для разрушительных и слишком разрушительны дли реакционных. И, таким странным, *общество* уже привыкло терпеть его.

Но был один слой, где каждый день напряжённо помнили, кто именно сегодня председатель совета министров, и удивлялись, как долго держится; где с негодованием и завистью следили за каждым новым успешливым шагом втого невиданного карьериста, счастливчика, которому всё липнет в руки, самоуверенного честолюбца, чужака, не петербуржца, с кем не установишь взаимного счёта услуг, да ещё и предвзятого оптимиста, попугайски твердящего о светлом будущем, когда всё угрозней подрубались привилегии и права. То был — высший служилый и придворный слой, по сравнению с толщей России — ничтожный, но достаточный по толщине и объёму, чтобы все служебные движения министра-председателя связывались бы им. Их счёт был особый, как бывает на биллиарде или карточной игре,— счёт по шарам или картам, отмечаемый мелом,— как будто стираемый, тленный, но — бело-горящий, превыше всей страны и вселенной за пределами игральной комнаты. По этому счёту Столыпин был не в выигрыше, а в проигрыше кругом: он рано, не по годам, взлетел; он дерзко считал себя никому не должным; во всех *человеческих* случаях (кого поднять, повысить, перевести, наградить или защитить от наказания) он решал не по-человечески, как свой бы среди своих и для своих, но — прячась за бессердечной придуманной якобы государственной необходимостью; он не вступал ни в какой комплот, ни в какую дружескую компанию, он разыгрывал вполне независимого, чего быть не может, не бывает,— и цифры неоплатимого счёта разбухали в рассыпчатом мелу. Этот интриган обольстил, обморочил Государя и передержался на своём посту,— но по всем счетам ему пора было убираться! И, переводя на меловой и восковой язык, ему приписывали в долг и в вину каждую его удавшуюся реформу: он виноват был, освободив крестьян на отруба; он виноват был якшаньем с земствами, кому уже начал передавать часть незыблемого неделимого государственного управления (реформировать же уездное управление ему помешало дворянство, хотя половина дворянских предводителей даже не жила в своих уездах); он виноват был, увеличив из кармана помещиков земские сборы в пользу крестьянского устроения; он виноват был, готовя страхование рабочих за счёт фабрикантов и государственных налогов; он виноват был, введя праздничный отдых приказчиков; он виноват был защитой старообрядцев и сектантов; виноват невниманием к чинам дворцовой службы. Наконец, или самое первое: он не заслужил гофмейстера и статс-секретаря!

Он был выскочкой нестерпимой для тяжело-седых сановников Государственного

Совета, неподступист для всего дворцового окружения и всё более неугож Ея Величеству. (И каждый, кто достигал высочайшей аудиенции, доносил высочайшему уху, что Столыпин растит свою популярность за счёт популярности Государя.)

Эта среда не отличается стальной упругостью, но — болотной вязкостью. Она долго подаётся под ступающею ногой и даже податливо месится — но с какого-то сжатия непобедима. Не только государево сознание и уши наполнились, но весь воздух, вся среда дрожала подозреньями, осужденьями, негодованием, как неприлично одному человеку так долго, так властно держаться за столь высокое место. И императору открылось постепенно, что его первый министр, уже 5 лет на этом месте, не благожелательный спаситель трона, но в каждом новом успехе пожинает славу себе и заслоняет собою своего Государя.

В такой вязкости всегда тянутся неисследимые липкие нити из одного края в другой, они и дают болотной среде свою непобедимую болотную упругость, отзываясь в неожиданном месте. Государево чиновничество не смело открыто сопротивляться законной правительственной власти — так сопротивление Столыпину неожиданно прорвалось через церковь, и именно — в саратовской епархии, где он не так давно был губернатором: епископ Ермоген, а с ним иеромонах Илиодор, фанатичный инок с безумными глазами, проповедывали против властей как еретиков и изменников Государю,— а кто же эти власти возглавлял, если не Столыпин? — и выжили теперешнего губернатора. Вдруг оказались они оба в дружбе и союзе с Распутиным, входившим при Дворе во влияние (потом, правда, рассорились и с ним, и друг со другом). Государь повелевал прекратить начатое властями против Илиодора преследование, возвращал его на богослужения в Царицын, предпочёл уволить обер-прокурора Синода, члена столыпинского правительства. В те месяцы слышали от Столыпина:

> Ошибочно думать, что русский кабинет есть власть. Он — только отражение власти. Нужно знать совокупность давлений и влияний, под гнётом которых ему приходится работать,

бессильное положение правительства перед анонимными сферами, тёмными гнёздами позади кулис. Некоторые, как Гучков, убеждали Столыпина вырваться из связанного положения, дать открытый бой тёмным силам. Но Столыпин не мог этого сделать, не превращаясь сам в такого же Илиодора.

Враги — множились, хотя Столыпин не множил их. Он не давал воли личным раздражениям и порывам, ибо не на этой стезе шла его битва. Так, он долго избегал резкого столкновения с Распутиным. (И не настаивал черезсильно, когда было высочайше отменено полицейское наблюдение за ним, его кутежами, аферистскими связями и не удалась высылка в деревню в 1908 году. Объяснил однажды Государь: «Лучше один Распутин, чем десять истерик императрицы.») Столыпин долго лишь отстранялся, чтобы не пересеклись пути государственные и распутинские. Однако, это оказалось невозможно: липкие нити тянулись повсюду, определяли назначения митрополитов, сенаторов, губернаторов, генералов, членов Государственного Совета,— а вот и в собственном министерстве внутренних дел Столыпин был подстережён и опутан своим же первым заместителем Курловым — некместным, чужим, неприятным, не им выбранным, но августейшей волей,— и вдруг оказавшимся во главе и Департамента полиции и Корпуса жандармов, оглавив, как будто, защиту России, ему бесчувственно недорогую сравнительно с мутными личными спекуляциями. Первый заместитель Столыпина по министерству, он вдруг — каждый раз вдруг — оказывался и добрым знакомым того самого Илиодора, потом и Распутина,— именно тогда, когда Распутин хорошо укрепился в Царском Селе, становился уже нетерпим в государственном теле,— невозможно было дать определяться государственным вопросам на уровне этого мужика, и Столыпин — в начале 1911 года — решился выслать его на родину,— увы, не надолго, и ко взлёту вящему. (Кривошеин предупреждал: «Вы многое можете сделать, но не боритесь с Распутиным и его приятелями, на этом вы сломитесь.» На этом Столыпин и потерял последнее расположение императрицы.)

Несоскребённое болотное петербургское покрытие должно было непременно дать отдачу. Свойства напряжённых конфликтов — разражаться внезапно и даже по третьестепенным поводам, не знаешь, где споткнёшься. Попалось — сложное да и спорное западное земство. И вдруг на этом месте сошлось сопротивление всей чвакающей среды.

На 9 западных губерний, от Ковенской до Киевской, Александр II в своё время не решился распространить выборное, как внутри России, земство — и там оно по сегодня оставалось назначенным. Такое земство как будто имело преимущество нереволюционности: назначенные служащие добросовестно работали и никогда не были в оппозиции к правительству. Но, глубже: назначенные земцы не могли так смело, как выбранные, использовать местные силы, не считали себя вправе расширять деятельность своих земств, укрепляться усилением земских сборов, перенимать часть правительственных функций. А именно этого и хотел Столыпин ото всего российского земства. Расширение земских прав лежало на его главном государственном пути.

Но не решался Столыпин применить и простое географическое распространение

правил: в этих губерниях было всего 4 % поляков, а в Государственном Совете все 9 депутатов Западного края — поляки. При крестьянах — литовцах, русских, белорусах и малоросах, помещики были сплошь польские, в их руках было всё богатство, экономическое воздействие, наём рабочей силы, влияние на быт, образование, религию, уверенное господство и политическая опытность, сводящая их в спаянную национальную группировку. Оттого и выборное земство обещало стать под давящим польским влиянием, и путь всех 9 губерний сложиться польским, прочь от России. И задача была: не обратить расширяемое земство в инструмент польской политики, но повсюду застраховаться от несправедливого преобладания.

Однако по общему земскому закону Александра II помещики имели решительное преобладание над крестьянами. Теперь в 9 западных губерниях этот противокрестьянский корыстный закон правящих обещал национально отомстить за себя. Чтобы в западных губерниях спасти русскость, предстояло вывернуть прежний земский закон: не дать польским помещикам перевеса над своими крестьянами, нейтрализовать сословный характер выборов. Для этого производить выборы раздельно по национальным куриям, допустить к выборам духовенство (всё — не польское), а ещё (невиданность!) понизить имущественный ценз, чтобы маломочные не-поляки избирали больше гласных, чем состоятельные поляки (впрочем, и им оставалось 16 %, четырёхкратно по сравнению с численностью). В земских управах должно было быть обеспечено большинство от сельских общин, а не от богатых поляков. Особо требовалось, чтобы были русскими (или украинцами, или белорусами, в те годы это никем не различалось серьёзно) — председатель земской управы и председатель училищного совета.

> Запечатлеть открыто и нелицемерно, что Западный край есть и должен остаться русским. Защитить русское население от меньшинства польских помещиков.

(Как хорошо-то было бы прежде додуматься до того в самой России. Отчего ж в России-то ещё полвека назад не встал вопрос, как защитить крестьян от помещиков?)

Можно здесь предположить в Столыпине долю политического лукавства: хотя цель его была самая прямодушная, на пересечении двух, даже трёх его излюбленных линий — крестьянской, земской и национальной, но не упускал же он из виду, что такая демократизация земства, снижение имущественного ценза для гласных, так что в земство потечёт и русская полуинтеллигенция, склонная к революции, вместо консервативного польского дворянства,— не может не понравиться Государственной Думе. Действительно, приморщилась она от националистического духа законопроекта (и левые голосовали против), но приняла снижение ценза, даже вдвое, нежели Столыпин предлагал. И Дума, пожалуй, была права, а дальновидные правые должны были заподозриться: как бы это снижение ценза не перебросилось заразою на саму Россию потом. Итак, в первой палате закон прошёл, а во второй не мог не вызвать оппозиции — не против национальной, но именно против земской линии Столыпина.

Вторая палата — Государственный Совет, и держалась как бы для торможения и мудрой проверки скороспешных законов Думы. Из полутораста человек там около половины было выборных членов, около половины — назначенных самим Государем. (Этот приём назначения и вообще всегда имеет смысл тормозительный и личного влияния монарха, а для Николая II он давал выход его особой склонности назначать на важные должности лично ему приятных людей для противовеса слишком решительным действователям — так, чтобы не самому останавливать их.)

«Лёд усталых душ», говорил Столыпин о Государственном Совете. Тут были и старцы, настолько уже дряхлые и даже глухие, что не успевали на заседаниях схватить смысл обсуждаемого и должны были в виде репетиций знакомиться с порядком дня до заседаний. Тут был и отстойник всех бывших деятелей, уволенных, отставленных, ушедших на покой, а значит и тщеславных неудачников. Змеёй Государственного Совета в это время был Витте, личный ненавистник Столыпина: его изводила сухая тоскливая бесплодная зависть, как Столыпину удалось успокоить и вытянуть Россию там, где при Витте она впала в истерию и погрязла. (Смешно: даже не только, что Столыпин перенял его пост и исправлял его провалившуюся систему, сколько: одесская управа разыменовала «улицу Витте» в другое имя, Витте слёзно-коленно перед Столыпиным умолял не разыменовывать, а Столыпин не вмешался.) Витте и стал — не главный открытый оратор противной стороны, но главный вдохновитель сопротивления за кулисами.

Всё ж до злополучного этого проекта как-то управлялся Столыпин с Государственным Советом. Но по проекту западного земства тут возникло упорное сопротивление — сословная их корысть оказалась выше всего. Казалось бы: не такой был важный законопроект, чтоб из-за него давать решительный бой и ставить под опасность уже 5-летнюю и еще может быть долгую правительственную линию Столыпина?

Но даже и в комиссии Совета большинство пунктов было принято. Однако перед пленарным обсуждением, чуя нарастающую враждебную стену, Столыпин применил силу — взял от Государя подпись на письмо к председателю Совета, наводящее закон к принятию. Тогда один из решительных противников, В. Трепов, добился у Государя

аудиенции и спросил: понимать ли письмо как приказ *или можно голосовать по совести*? Излюбленно уравновешивая борющиеся силы, да и естественно,— Государь призвал голосовать по совести, а излюбленно к скрытности — скрыл этот эпизод от Столыпина. Впрочем, к этому времени уже много накопилось у него против министра-председателя: всё окружение Государя и все приходившие на приём возбуждали его против Столыпина; в этих же первых месяцах 1911 года были и главные кризисы с Илиодором и Распутиным, где Столыпин действовал против царского сердца и потерпел поражение.

4 марта на пленарном заседании Государственного Совета законопроект был провален. И 5 марта Столыпин подал прошение об отставке.

Не редкий пример из жизни людей и обществ: как подло́м происходит будто на чём-то побочном, обходимом, когда по главной линии все тяжёлые препятствия взяты. От долгого ряда побед ослабляется ощущение всех сопротивлений, прорывается пылкая нетерпеливость.

Действующий конституционный порядок не требовал отставки правительства при вотуме недоверия в одной из палат: правительство оставалось по конституции ответственным лишь перед монархом. Но в том и дело, что голосование в Государственном Совете, как тем более настроение вокруг него, являли Столыпину, что где-то за кулисами и не проявясь, Государь уже отказался от своего министра-председателя.

Четыре дня не было ответа Столыпину на его отставку. (Уже Петербург называл премьером Коковцова, его фотографии появились в столичных витринах, в эстампных магазинах.) Потом он был вызван вдовствующей императрицей, от кого имел неизменную и верную поддержку. Мария Фёдоровна тепло уговаривала Столыпина остаться на посту: «Я передала моему сыну моё глубокое убеждение, что вы один имеете силу спасти Россию». В два часа ночи фельдъегерь привёз Столыпину письмо от Государя, где тот дружественно и отчасти извинительно просил взять отставку назад.

Здесь Столыпин проявил крутость, ему несвойственную (раамах досады или далеко вперёд расчищая путь реформ?): вождей оппозиции, В. Трепова и П. Дурново, настоял уволить из Государственного Совета в бессрочный отпуск. А сам Совет (вместе с Думою, иначе закон не дозволял) распустить — всего на три дня — но в эти три дня издать по 87 статье закон о западном земстве. Это и было сделано 11 марта. Седовласые многозвёздные в лентных перевязях сановники принуждены были выслушать стоя высочайший указ о своём роспуске и многократно провозгласить «ура» в честь Государя императора.

Конституционно то был шаг неоправданный: 87 статья допускала издание законов Государем *в отсутствие* законодательных учреждений и при условии чрезвычайности положения, а не — искусственно распускать их для того.

Следует оценить, что Столыпин перегорячился и переупрямился, проявил резкость и нетерпение делателя, которому мешают делать, так уже тошно пришлось ему со *сферами*. Перед делом, перед государственной необходимостью казалась так досадна помеха от старцев. Да наверно испытал он и задор проучить Государственный Совет — рассчитывая на верную поддержку Думы. Случай не стоил ни подачи в отставку, ни ломки Совета, ни применения 87 статьи. (Удалясь на охлаждающие десятилетия от спора, В. Маклаков потом указывал, что Столыпин не использовал верных возможностей закона: всего-то надо было ему потерпеть до летнего перерыва занятий, летом провести по той же 87 статье, уже неоскорбительно,— и Дума не имела бы повода отменять закон, одобренный ею самой,— и он бы даже никак не попал второй раз в Государственный Совет.) Но, оглядясь, ведь только по 87 статье, не иначе, удавалось Столыпину сообщать начальную скорость и всем своим основным звконам,— хотя бы начальную скорость, а потом всё равно эти законы увязали в Думе или Совете или утапливались навсегда.

В этих нетерпеливых рывках творить законодательство без парламента можно видеть и следствие выкидышного рождения виттевской конституции в России, недозрелости её и её исполнителей,— но просвечивало и предвещение тех великих испытаний, которые потом наслал XX век на все парламентские системы мира, того кузнечного испытания на прочность и поворотливость, какие нужны раскалённому железу под молотом, а Россию эти испытания лишь постигли ранее всех других и менее всех подготовленной. О верном соотношении парламентской процедуры и личной воли ответственного правителя — вывод основательный осторожнее будет отложить до начала XXI века.

Этим трёхдневным дерзким роспуском законодательных палат Столыпин восстановил против себя всё петербургское общество: левых и центр — тем, что обошёл конституцию, правых — унижением и расправой с их лидерами.

Перегорячился и Гучков, неровный союзник Столыпина: хотя весь-то закон и проводился как раз в линии его октябристского думского большинства, он в бешенстве (или упиваясь общественно-выгодной позой) сложил с себя думское председательство и уехал — не ближе, как в Монголию. Хлопком двери он ещё преувеличил событие, сдвигая 3-ю Думу к неверности 2-й. (Столыпин очень удивился отставке Гучкова и надеялся на скорый возврат его. Не мог изменить ему Гучков!)

В петербургских *сферах* в первые дни столыпинский напор был разноречиво воспринят и как геркулесовы столпы нахальства зарвавшегося властолюбца, «самодур-

ства, невиданного со времён Бирона»; и как удивительное счастье, когда и поражения обращаются в пользу.

А через полмесяца Столыпину пришлось защищать своё решение в Государственном Совете, который знал свою силу, ибо ещё через полтора месяца автоматически отменял закон непринятием его. Столыпин выслушал тут упрёки во мстительной злобе, знобящей лихорадке безотчётного своеволия, самодержавии премьер-министра, манёврах для сохранения личного положения, игре на революционных инстинктах Думы, потеснении просвещённого независимого консерватизма, насаждении чиновничьего сервилизма; и подробные юридические возражения; и пафосные упрёки, что это — рвут клочья из Манифеста 17 октября и выпускают Выборгское воззвание наизнанку. Но все обличения не пошатнули Столыпина, и он всё так же бодро и многоразвито отвечал шире и сильней, чем формально обязан был по запросу, не уклоняясь ото всего объёма схватки ни в подробностях, ни в целом. На все юридические доводы он не упустил ответить юридически, обильно цитируя западных знатоков государственного права, и указывая примеры подобного роспуска, даже британского парламента Гладстоном. Он доказывал, что воля монарха не подлежит критике (он заслонялся троном, уже изменившим ему), это она определяет чрезвычайность или ординарность закона, отрицать же право монарха на роспуск палат значит подвергать опасности всю жизнь страны в будущие чрезвычайные моменты. У нас ещё нет политической культуры, при молодом народном представительстве трения поглощают всю работу, и в законодательных учреждениях может завязаться мёртвый узел, который посильно развязать лишь монарху, хотя это и — край, противоположный парламентаризму (он скользил ногой по основам того Манифеста, который тщился сохранять).

Столыпин устоял на ногах перед Государственным Советом, и, казалось, сохранял всю мощную позицию правителя. Однако к концу апреля, когда подходили последние недели законопроекта и тот всё равно был обречён отмениться,— в той самой Думе, на кого более рассчитывал теперь Столыпин, и в чьей формулировке, надеясь поладить, он провёл свой закон,— именно в Думе раздались самые уничтожительные речи.

Сперва Столыпин отвечал на запрос. Он выдвигал новые и новые доводы, так что вся постройка аргументации уже намного превзошла защищаемый законодательный акт. Особенно тщательно он защищал юридическую сторону, на которую ожидал главной атаки, но звал и к чувствам, напоминая, как законодательные палаты из-за трений и по юности опыта тормозили законопроекты, от которых страдали миллионы русских людей или загораживалась их молитва. А теперь в законе о западном земстве

> победит ли чувство народной сплочённости, которым так сильны наши соседи на Западе и на Востоке?

Он намекал, что именно этим роспуском он отстаивал решение Думы и правоту Думы. И наконец, перед аудиторией напряжённо-неприязненной, выдвинулся, по своей манере идти на бой открыто и первому вперёд:

> Имеет ли право и правительство вести яркую политику и вступить в борьбу за свои политические идеалы? Достойно ли его продолжать вертеть корректно и машинально правительственное колесо? Тут, как в каждом вопросе, было два исхода: уклонение или принятие на себя всей ответственности, всех ударов, лишь бы спасти предмет нашей веры.

Когда-то сокровенно-укоризненно выраженная царю, теперь прорвалась с трибуны его задушевная мысль:

> Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. Ответственность — величайшее счастье моей жизни.

И это оказались — последние слова, когда-либо сказанные им публично.

Он сел в министерскую ложу слушать прения. В который раз удалось ли ему — переубедить, сдвинуть или хотя бы озадачить противомысленных слушателей? Уже первая речь от фракции октябристов, обезглавленной уходом Гучкова, обещала мало хорошего. Оратор назвал кризис — лично *председательским*, игрою в законность.

> Даже желательные мероприятия, но проводимые путём сомнительной законности, есть поворот к прошлому. Наш исторический грех: неуважение к идее права, к незыблемости закона. Не встретив противодействия, такие мероприятия имеют тенденцию повторяться.

Всегда ли главная работа — у того, кто говорит? Не труднее ли — слушать против себя, уже лишённым возможности ответить? Как легко законодателям *давать законы*, освобождённо от необходимости осуществлять их! или — останавливать законы, не понуждаемо искать выход из мучительного состояния страны. Как легко с лакированной трибуны XX века поставить неторопливую, прожёванную, проголосанную законность выше вопиющей неотлагаемой нужды! Как легко в пиджаке, галстуке и запонках оценить наш исторический тысячелетний грех, не упомня ни дебрей, ни морозов, ни хазар, ни татар, ни ливонцев, ни поляков,— то-то у всех у них, кто сжимал нас, было уважение к праву!

А следующим — по значимости партии, и несравненно первым по умению говорить,

вышел блистательный Василий Маклаков. Вот уж кто, тончайший из юристов, будет сейчас разбивать все заставы юридических доводов премьер-министра! Нет, с неожиданностью, доступной только великим ораторам, он великодушно (или другого избега нет) покидает то поле, где ждётся главная сила его:

Я думаю даже, что формально статья 87-я нарушена не была.

Вот как! И главный юрист признаёт, что *закон*-то нарушен не был. Так что же тогда?

Но кроме прямого ненарушения закона необходимо его добросовестное и лояльное применение.

И атака Маклакова — что Столыпин, формально правильно применив закон, извратил его смысл. А говорится со страстью, и уже в первой части речи оратор с лёгкостью выговаривает, что извращение — политически-преступное, что премьер-министром владеет mania grandiosa, его мораль готтентотская по сравнению с европейской христианской моралью (сидящих здесь кадетов). В густой напряжённости зала Маклаков наносит эти оскорбления как звонкие пощёчины в министерскую ложу, допущенный наконец к недосягаемому — выразить за пять лет кадетскую месть. (А свежий председатель Родзянко, упоённый председательским местом, возвышается и не рискует прервать.) Маклаков не обходит тронуть сердце адвокатской руладой:

И какая была бы благоденственная демонстрация, если бы председатель совета министров, всю энергию и решимость которого мы знаем, покорно склонил бы голову,

и врезает новую пощёчину, назвав Россию *столыпинской вотчиной.*

Он бьёт свои удары — но как изменилось положение для премьер-министра: почему-то невозможно не только ответить, но — оскорбиться, выйти из ложи. Не потому, что повторение, но в этой новой обстановке было бы смешно и доказывало бы только правоту противника.

Эта старая психология нашего правящего класса. Все наши губернаторы — Столыпины в миниатюре. Он так вырос в этой психологии, что не мог понять, что Дума станет на иную позицию. А для Государственной Думы быть или не быть земству в губерниях запада — мелочь, сравнительно с вопросом, быть ли России правовым государством.

Да, Столыпин дал глубокий промах, он недооценил Думу, он не вник, что для Думы — мелочь и западное земство, и вообще земство, и волостное, и само крестьянство, и национальные интересы,— а только расквитаться бы с премьер-министром за вереницу своих от него поражений. Зря он рассчитывал, что Думе — нужен закон о земстве, да ещё взятый в её думской редакции, что она повлечётся на снижение земского ценза, перспективы демократизации, да ещё укрепить свои позиции против Государственного Совета,— нет! она все эти возможности отбрасывала. И хотя только что признал кадетский адвокат, что закон нарушен не был, теперь он поучал Столыпина:

всякий государственный человек должен уметь уступить, подчиняясь закону,

и таково было невыносимое соотношение, цена за земский закон, что надо было принимать поученья, опустив голову.

Давно ли председатель совета министров был популярнейшим человеком в России?

(Только Дума никогда этого не признавала.)

Давно ли сами его противники относились к его политике с осуждением, но и с уважением?..

(Только тогда говорили другое.)

И вот, через несколько лет...

Через несколько лет — первый раз в думских прениях Столыпин оказался в положении слабом. Первый раз что-то сломилось и изменилось, и на каком же, кажется, не топком месте. Под их же улюлюканье вытаскивал всю Русь из дьявольского хаоса — и было под силу. А небольшая реформа в полудюжине губерний сбивает с ног.

Великое самомнение и великая дерзость ставить свои идеалы выше законов. Иногда история прощает дерзость тех титанов, умевших опрокинуть все законы и вести страну за собой; но тот, кто таких заслуг за собой не знает, должен быть скромнее.

Так он не вёл страну за собой? он ничего и не сделал?.. О, кто измерит труд со стороны, не сметив, забыв тот прежний край бездны, и никогда не разделив натяжения наших мускулов.

Не уставая, 4 года мы указываем на позорное правление под его главенством... Жертва слишком большой уверенности в правоте своих взглядов... Образ честолюбивого правителя... Вместо подлинного успокоения он разжигал, чтобы сделать себя незаменимым...

Как будто он не через бомбы шагал, а — карьерист, ловко достигший поста. Не ответишь: только ваших детей не тронули, а моих изувечили.

...Удивительное ощущение: пять лет успешно строил, строил — и вдруг оказывается всё как бы в развалинах, всё — под сомнением... Пять лет назад оставить их с их говорильней — они погибли бы все. Но твёрдой рукой выведя их из гибели — теперь присуждаешься испытать заушенье, и впервые заколебаться: да, ошибся, да, погорячился на ровном месте, да, хотел проучить заносчивый Государственный Совет.

И вдруг с неожиданнейшим изворотом, который и отличает великих адвокатов от маленьких, кадет Маклаков восклицает как о самом ранящем его:

Что сделали с монархической идеей! Я — монархист не меньше, чем председатель совета министров,

огорашивает он Думу,

я считаю безумием отрицать монархию там, где её исторические корни крепки. Но э т о т защитник монархии, вмешивая имя Государя в свой конфликт с Государственным Советом... Недостойная форма... Сомнительный акт... Из просьбы об отставке извлёк себе пользу...

Этот изворот и этот трепет адвокатского голоса — уже не к Думе, он взносится выше самоварного корпуса Родзянки — выше — выше — он не может не достичь *тех* ушей, не пронзить их неизбежностью окончательной отставки премьера. Выйдя говорить как будто в защиту Думы, Маклаков блистательно дотянулся отсечь недостойного министра от великого царя. Только так и могла Дума столкнуть Столыпина: в союзе с ненавидимым монархом и в союзе с ненавидимыми сферами. И достигнув этой главной цели, не доступной Думе, хотя бы вся она проголосовала заедино,— Маклаков разрешает себе теперь и завершительную пощёчину:

Для государственных людей *этого типа* русский язык знает характерное слово — в р е м е н щ и к. Время у него было — и это время прошло. Он может ещё остаться у власти, но, господа, это агония.

И верно знает, где отрубил. И верно знает, что вот — отхлестав, оплевав — не получит вызова на дуэль, как доказательства последнего банкротства.

Однако что может сделать единственная речь как будто безоружного человека: он не принёс своей лепты доводов, не положил своего догрузка на весы,— но мельканием лёгкого языка, но сочетанием известных элементов слушательской слабости — смахнул великана, сдюжавшего со всей Россией, смыл в помои неотставленное правительство.

А на трибуне — новый монархист, в этот раз истерический перекидчивый Пуришкевич — с коварной попыткой вырвать себе аплодисменты всегдашних левых врагов, а со Столыпиным рассчитаться с той стороны, откуда он менее ждёт удара.

Довольно и здесь пощёчин: что трусливо прикрылся священным именем Государя, подорвал авторитет русского самодержца; не проявил твёрдости против смуты в Саратовской губернии, а заигрывал с революцией (уже и в этом!..), самовластен, не понимает государственных идеалов России (и в этом!), испытывает недостаток ума и воли (и в этом?),

но, нужно полагать, уйдёт же он когда-нибудь!

(Место для аплодисментов.) Пуришкевич не признаёт за Столыпиным права называться русским националистом, его национализм — вреднейшее течение, которое когда-либо было в России, он оживляет в сердцах мелких народностей надежды на самоопределение и дифференциацию, он даёт самоуправление окраинам, а это — безумие, ибо инородцы Империи не могут иметь самоуправления наряду с коренным русским населением. Западный Край и не просил себе выборного земства, это придумала Дума,— и в угоду ей и в её редакции премьер-министр провёл закон, губительный для русского населения, к торжеству поляков и левых, в западные земства повалят социал-демократы, эсеры и сепаратисты.

Не всякому даже в жизни раз достаётся такой день публичного беззащитного позорища, медленной казни. Но ошеломляет, туманит, сбивает, что атака равно яростна с противоположных сторон. Упрёки следующих ораторов покрывают и догружают упрёки ораторов предыдущих. Со всех сторон череда несдерживаемых оскорблений — и вдруг пошатывается наша, никогда не шатавшаяся уверенность. Удар за ударом, попадая в нас, постепенно размягчают нашу стойкость. Цельный предмет, хорошо тебе известный, вдруг наклоняется, поворачивается, расщепляется,— и ты с содроганием уже усумняешься: да был ли он цел и един? Не то что не стоило класть голову за этот закон, но может быть ты и раньше, и раньше — видел не так?

А жаждущие ораторы всё меняются, их не десять и не пятнадцать, дорвалась 3-я Дума отыграться за проигрыши всех трёх Дум.

От социалиста слышит Столыпин, что он потопил русский народ в его собственной крови, и даже злейший враг не мог столько вреда принести русскому самодержавию, закон же о западном земстве — это вершина «пирамиды расправ».

И снова от кадета, и довольно известного:

Где мы видим те огромные заслуги за председателем совета министров, чтоб он мог сказать, что является носителем национальной идеи? Мы не знаем ни победы под Садовой, ни у Седана.

(Уже и то ему в вину, что он не устроил войны.)

Притязание, что его идеи единственно-истинные для русского народа — оскорбление национальных чувств.

И опять от правого:

Председатель совета министров, покайтесь, и идите к престолу просить прощения, ибо вы подвели верховную власть.

Как прорыв ненависти. Как будто все — только и ждали удобного случая взять реванш за то, что пересиливал их столько лет.

Кто-то говорит и *за* — но их много меньше, и для совестливого сердца их аргументы никогда не кажутся успокоительны. Ощущение почти сплошное — разгрома, и не в одном этом законе, а — во всём пятилетии управления, во всех замыслах жизни.

Жил и ощущал, что сделал так много. А вот, оказывается: ничего, всё — прах.

Ораторы меняются, заседание тянется в вечер, и к полночи, и за полночь, и только тогда дали слово — и то по мотивам голосования — двум из западных крестьян, которым Родзянко отказывал весь день прений, хотя с них-то и надо было эту дискуссию начинать:

Вы нам зажали рот. Мы очень рады, что осуществляется и наше земство. Будь там статья 87-я или какая, но если от в а с ждать, в а ш и х реформ, то мы никогда не дождёмся.

Но уже слишком было поздно, слух депутатов к тому не клонился, а скорее надо было голосовать: 200 с осуждением, 80 в защиту. Только русские националисты и остались неизменно верны Столыпину.

(Закон о западном земстве утонул — и лишь после смерти Столыпина был легко принят. И западное земство очень помогло в близкие годы войны.)

Уже в апреле чуткие придворные носы распознали, что Государь бесповоротно охладел и даже овраждебнел к Столыпину. И в *сферах* стала складываться вокруг Столыпина атмосфера конченности. Кажется искалась только благоприличная форма отставки его на невлиятельный пост. Таким предполагалось, например, новопридуманное восточно-сибирское наместничество: услать его в его излюбленные края.

И можно было Столыпину: поддаться, покорно уйти, и так (знаем теперь) — спасти жизнь и дожить до поры, когда он снова будет призван, когда он ещё пригодится России. (И как пригодится! В июле 1914, чтобы отклонить войну. В Петрограде и Могилёве в 1917 — чтоб не допустить до крушения.)

Но как после взрыва на Аптекарском Столыпин отверг этот выход слабости, куда его толкали революционеры, так и сейчас отверг выход, куда его толкали парламентарии. Он должен был вытянуть свой долг.

Тогда, после Аптекарского, он говорил:

Я совершил большую оплошность, что не составил для Государя памятной записки, чтобы в случае моей смерти не произошло никакого замешательства. Я должен непременно составить её на случай второго покушения.

Была ли такая на случай второго, четвёртого, шестого покушений — мы не знаем, да ведь от самого взрыва на Аптекарском и как поехали под мостами в Зимний — были ли сутки свободные для того? Задачи дня всегда неотложнее, ежедневная деятельность так увязчива, а предусмотрение терпеливо ждёт.

Но после апрельских поражений в Государственном Совете и в Думе, Столыпин созрел для составления и диктовки обширной программы — уже, впрочем, давно в нём готовой: второй ступени, прямого продолжения той первой программы 1906 года, развёрнутой перед неслышащими ушами 2-й Думы, мало кем понятой и оцененной. Все эти 60 месяцев программа непрерывно осуществлялась — и в деле и в самом её авторе, неразличимо и неслышно нарастая звено на звено, кольцо на кольцо, как растут деревья, и только общему одноразовому круговому огляду доступно выделить и назвать: лечение ног, низов, лечение крестьянства — отлично совершается, теперь пришла пора л е ч и т ь б ю р о к р а т и ю.

Вторая большая государственная программа Столыпина, диктованная в мае 1911 (в паузах: «и всё это, всё это можно будет сделать, если только Господу Богу угодно»), так и построена — по отраслям государственного управления.

Последний год у него уже действовал «Совет по делам местного хозяйства», где законопроекты подготавливались совместно — чинами министерств, губернаторами, предводителями дворянства, городскими головами и земскими людьми. Этот совет, молвою названный «Преддумье», имел цель, чтобы законы не были созданием чиновников, но проверялись бы людьми жизни. По новой программе дела местного самоуправления выделялись в отдельное министерство, которое перенимало все местные казённые учреждения от министерства внутренних дел (где оставались только органы охраны, полиция освобождалась от несвойственных ей функций). Права земств расширялись, используя опыт штатного управления в США. Земства брали полностью в своё ведение продовольствование (для угроз голода создавался новый продовольственный устав, по которому голодающее население кормили: имущие — кредитом, мускульно-сильные — общественными работами, немощные — благотворительным обслуживанием). Для кредитования земств и городов, для нужд местного благоустройства и дорожного

строительства создавался особый правительственный банк. Высшие учебные заведения поступали в губернские земства, средние — в уездные, начальные школы — в волостные (которые пока что Дума не давала создать). Земский избирательный ценз понижался в 10 раз, чтобы могли быть избираемы владельцы хуторов и рабочие с небольшой недвижимостью.

Создавалось новое министерство труда, контролирующее все предприятия, с задачами: изучать положение рабочего класса на Западе и готовить законы, улучшающие положение нашего: из беспочвенного пролетариата сделать участника государственного и земского строительства. Министерство социального обеспечения. Министерство национальностей (на принципе равноправия их). Министерство исповеданий — всех, а в части православного: Синод превращался в Совет при министерстве, и должно было разрабатываться восстановление патриаршества. Столыпин исходил из того, что русский народ в своей православной потребности покинут, следует значительно расширить сеть духовных учебных заведений, и семинарию обратить в промежуточную ступень, все же священники должны кончать академии. Министерство здравоохранения — финансировать земства и города в устройстве бесплатной медицинской помощи сельскому населению и рабочим, в борьбе с эпидемиями и повышении врачебного уровня в стране. Наконец, ещё новое и отдельное министерство — по использованию и обследованию недр.

Деятельность всех этих министерств нуждалась бы в сильном бюджете. Бюджет безумно-богатой России неверно построен: более бедные западные государства дают нам займы! при таком обилии сырья — такое отставание металлургической и машиностроительной промышленности. В России имущества обложены ниже своей действительной ценности и действительной доходности, и иностранные предприниматели легко вывозят капиталы из России. Исправлением этого, увеличением акциза на водку и вина и введением прогрессивного подоходного налога (малоимущие почти освобождались, косвенные налоги сохранялись невысокими) бюджет увеличивался более, чем втрое, и так открывались источники финансирования. Брать иностранные займы предполагалось только первое время и только: для исследования недр и для строительства шоссейных и железных дорог — так, чтобы через 15—20 лет (к 1927—1932) их сеть в европейской части России не уступала бы сети центральных держав,— такой план, включая водные пути и каналы, министерство путей сообщения должно было окончить разработкою в 1912. Тут предполагалось пригласить и частных концессионеров, еврейские банки и акционерные общества (снятие ограничений с евреев было непременной частью столыпинских программ). Впрочем, постепенно предполагалось перекрыть операции частных банков — Государственным Банком.

Увеличивалась (расчётом по прожиточным нуждам) заработная плата всех чиновников, полиции, учителей, священства, железнодорожных и почтовых служащих. (Это давало возможность всюду привлечь образованных.) Бесплатное начальное образование уже широко началось в 1908 и должно было осуществиться как всеобщее к 1922. Число средних учебных заведений доводилось до 5000, высших — до 1500. Минимальная плата за проучение должна была расширить путь малоимущим классам; при всех университетах увеличивалось в 20 раз число стипендиатов. Венчая же их, создавалась Академия для подготовки на высшие государственные должности. В этой двух-трёхлетней Академии были бы факультеты, соответствующие направлениям народного хозяйства, с точной росписью: на какой факультет принимаются выпускники (самые способные и не меньше чем с двумя иностранными языками) какого высшего учебного заведения (на факультет недр — из горных институтов, на военный — окончивших военные академии, исповеданий — окончивших академии духовные). Так государственный аппарат России должен был заблистать знатоками и специалистами. На высшие должности попасть стало бы невозможно человеку неподготовленному, неспособному, по случайностям протекции. И министров не должен был выискивать Государь, сощурясь, перебирая в памяти и спрашивая совета у придворных,— но из рекомендательного списка, представляемого советом министров. Министерство же национальностей должен был возглавить общественный деятель с авторитетом в нерусских кругах.

Готовилась также легальность социал-демократов, под запретом оставались террористы.

Программа Столыпина охватывала и политику внешнюю. Она исходила из того, что Россия не нуждается ни в каком расширении территории, но: освоить то, что есть; привести в порядок государственное управление и возвысить положение населения. Поэтому Россия заинтересована в длительном международном мире. Развивая инициативу русского царя о Гаагском мирном трибунале, Столыпин теперь, в мае 1911, строил план создания Международного Парламента — ото всех стран, с пребыванием в одном из небольших европейских государств. Занятие его комиссий должно было быть круглогодично. При нём — международное статистическое бюро, которое собирало бы и ежегодно публиковало сведения по всем государствам: о количестве и движении населения, о развитии промышленности и торговых предприятий, о природных богатствах, незаселённых землях, о возможностях товарообмена; о положении населения, числе рабочих

в промышленности, сельском хозяйстве, числе безработных, о среднем вознаграждении, доходах групп населения, налогах, внутренних задолженностях, сбережениях. По этим данным Парламент мог бы приходить на помощь странам в тяжёлом положении, следить за вспышками перепроизводства или недостачи, перенаселённости,— и Россия предлагала в такой помощи участвовать. Международный Банк из вкладов государств — кредитовал бы в трудных случаях.

Международный же Парламент мог бы установить и предел вооружения для каждого государства и вовсе запретить такие средства, от которых будут страдать массы невоенного населения. Войны с разрушительными средствами ещё несут ту опасность, что государственные формы будут легко меняться на худшие. Конечно, мощные державы могли бы на эту систему не согласиться, но этим повредили бы своему авторитету,— а и без их участия Международный Парламент что-то мог бы сделать.

Особо выделял Столыпин отношения с Соединёнными Штатами, от которых более всего ожидал он и поддержки Международному Парламенту. Соединённые Штаты не имеют оснований завидовать России, бояться её, они с ней и не сталкиваются нигде,— и лишь усиленной еврейской пропагандой в Штатах создано отвращение от русского государства (да и народа), представленье, что все в России угнетены и нет никому свободы. Столыпин предполагал пригласить в Россию большую группу сенаторов, конгрессменов и корреспондентов.

Его программе могла помешать отставка — но он надеялся на поддержку Марии Фёдоровны, и даже если будет отставлен, то вскоре позже призван вновь. Могли противиться — и конечно бы изо всех сил противились — Государственные Дума и Совет, в которых как раз-то и не хватало высоты государственного сознания.

Эта обширная программа переустройства России к 1927-1932 годам, быть может превосходящая реформы Александра II, простёрла бы Россию ещё невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров.

(Эта программа, в ожидании осени, лежала летом 1911 в его письменном столе в ковенском имении. По его смерти приехала туда правительственная комиссия и, в присутствии свидетелей, в числе других бумаг изъяла эту программу — н а в с е г д а. С тех пор проект исчез, нигде не был объявлен, обсуждён, показан, найден,— сохранилось только свидетельство помощника-составителя. Быть может, он был найден коммунистами, и какие-то идеи плана были использованы в обезображенном, искарикатуренном виде. По иронии первая их пятилетка в точности легла на последнее столыпинское пятилетие.)

То лето Пётр Аркадьевич был как никогда утомлён, подавлен — и нежен с детьми. В тяжёлые минуты у него были опасения или предчувствия и своей смерти и катастрофы России. Первого он никогда не боялся — боялся второго. Министру Тимашеву он утомлённо жаловался на своё бессилие в борьбе с безответственными придворными влияниями. Сказал: «Вот ещё несколько лет проживут на моих запасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того — всё рухнет...» А Крыжановскому, своему заместителю по министерству внутренних дел: «Вернусь из Киева — займёмся реорганизацией полиции» (в духе его программы). В августе он последний раз ездил в Петербург, председательствовал в совете министров в Елагином дворце, последний раз встречался и с Гучковым, обсуждая, как скорей продвинуть через Думу закон о пенсиях увечным нижним чинам. В Петербурге предупредили Столыпина, что как будто финляндские революционеры вынесли ему смертный приговор.

Сколько уже их было...

Царь ехал в Киев наслаждаться пышными многодневными торжествами — и ему в голову не пришло, что среди множества своих шталмейстеров и гофмейстеров он мог бы одного — своего премьер-министра — не брать лишней блестящей пуговицей, а оставить его при серьёзных делах.

А памятник-то открывали — как раз Александру Второму, 50 лет первой реформы.

Столыпин очень печально простился с родными, с соседями по ковенскому имению, с друзьями. Говорил, что никогда ему не был отъезд так неприятен. (Хотя один смысл в этой поездке всё же был: Киев был главным городом Западного Края, где и надо было подкрепить земство западных губерний. И именно в Киеве в те годы разгорался свет русского национального сознания.)

Почему-то поезд, тронув со станции, остановился — и полчаса не мог сдвинуться.

Потому ли, что Столыпин ехал не из Петербурга, он не взял с собой офицера

жандармской охраны, а только штаб-офицера для особых поручений Есаулова,— не для охраны, а в помощь своему секретарю: для распоряжений по приёмам, корреспонденции, для формальных визитов.

Всё дело охраны киевских торжеств, так задолго предсмакуемых Государем, и потому о них много толковали при Дворе, было организовано не обычным образом: заведывала охраной не местная власть, что было бы естественно, а специально к тому приникший и прилипший генерал Курлов, что очень импонировало Государю. Курлов с ранней весны 1911 начал объезжать места государевой поездки, и были ему подчинены все чины всех ведомств тех областей. Это возмутило киевского генерал-губернатора Фёдора Трепова, он протестовал Столыпину и просил отставки. Объявленная Государю, эта угроза могла бы исправить распоряжения об охране (и всё пошло бы иначе), но безусловно омрачила бы ребяческие предвкушения императора. И — пожалев царственного ребёнка, Столыпин убедил Трепова взять отставку назад. Из рук человека местного, знающего на месте всех и всё, охрана перешла в руки приезжего. А выше того подчинялся Курлов только дворцовому коменданту Дедюлину, от которого для связи в попечении особы монарха и приставлен был к Курлову полковник Спиридович.

Курлов был как будто подчинённый, заместитель,— а вот уже владел всей полицией и жандармами Империи, вполне независимо от Столыпина,— но Столыпину было так даже и лучше: его голова была занята не полицейскими заботами. Курлов был и сам по себе неприятен Столыпину и противоположен по всему образу действий и по всем жизненным взглядам: в каждом деловом решении из него так и выторажнивалось: а что это даст лично ему? Было в нём — и от остромордого злого кабанчика, как он упирался ножками и пёр, и бил с разгону. Но — вкоренчив был, связи повсюду, и со всеми врагами Столыпина. И это не был тип беззвучного воскового бюрократа — а с большой жадностью жить как широкий дворянин, с ресторанными кутежами как мерилом жизненного успеха, оттого кроме службы вёл коммерческие дела, мутные спекуляции, утопал в векселях. И — умён не был, это как раз он попался на удочку Воскресенского, освободил его из тюрьмы для двойничества, едва не взорвался с ним на Астраханской улице, а потом сплетал обвинения на других полицейских генералов.

Но — слишком много требовалось добавочных усилий, чтоб освободиться от этого клеща вовремя. Имея задачи высокие, не тратят сил на такое. Должно было само со временем обойтись.

Дворцовый же комендант Дедюлин, маг и распорядитель торжеств,— был одно из важных болотных сцеплений *сфер*, ненавистник Столыпина. А теперь, лучше других зная, как охладел к нему Государь, он спешил дать въяве проступить этому охлаждению, стать зримостью для всех — да и натешиться же! Опытная придворная толпа ловит малейший признак, ведёт счёт оттенкам,— а тут грубо было показано, что Столыпин уже не достоин ни почтения, ни внимания. От самого приезда в Киев 27 августа Столыпин был — унизительно, демонстративно — оттеснён из придворных программ, и уж конечно не получил личной охраны — не то что достойной, но — рядовой.

Столыпину отвели комнаты в доступном нижнем этаже генерал-губернаторского дома, с окнами в плохо охраняемый сад, на аршин от земли, но Курлов отказал Есаулову поставить жандармский пост в саду: излишняя мера. К Столыпину являлись расписаться должностные и штатские лица, просто крестьяне — прихожая была в нескольких шагах от комнат премьер-министра, и вход для всех свободный, ни одного дежурного полицейского, тем более офицера. Не охраняли его ни при поездках в Софийский собор (на молебен о благополучии высочайших особ), к митрополиту, ни — при депутациях от дворянства, земства и городского самоуправления.

Всё время, свободное от церемониала, Столыпин продолжал работать, ведя управление страной из Киева.

С 26 августа шла богровская игра, что готовится покушение на Столыпина,— премьер-министру никто об этом не сообщил и никто из компании Курлов-Веригин-Спиридович-Кулябко не проверил: да охраняется ли этот Столыпин вообще.

Стало широко известно, что он не охраняется, патриоты стали предлагать добровольную охрану. От них потребовали списки желающих, те представили

2000 человек. Списки задержали на утверждении, потом возвратили с вычёркиваниями,— уже было и поздно. С трудом Есаулов добился жандармского поста в прихожей.

29-го, так ничего и не зная, Столыпин ездил на вокзал участвовать во встрече высочайших особ. Ему не дали даже дворцового экипажа, на автомобиль у департамента полиции не нашлось денег (но нашлись на курловские кутежи), Столыпин вынужден был взять извозчика, открытую коляску, ехал в ней безо всякой охраны, с Есауловым,— и коляску задерживали не раз полицейские чины, не признавая и не подпуская к охраняемому дворцовому кортежу. Так же и при разъезде экипажей настолько не было распоряжений о каком-то премьер-министре, что Есаулов с большими затруднениями добился, чтобы извозчичий экипаж министра был поставлен вслед за тройкой дежурного флигель-адъютанта.

Городской голова Дьяков, узнав о положении Столыпина, прислал ему для следующих дней собственный парный экипаж.

Как-то в эти дни профессор Рейн умолял Столыпина надевать под мундир панцырь Чемерзина. Столыпин отказался: от бомбы не поможет. Свою смерть он почему-то всегда представлял не в виде револьвера, а в виде бомбы.

И 30 августа, и 31, и в Купеческом саду Столыпин так ничего и не знал о явке Богрова и всех его сведениях...

Богров готовился слишком хитро! Он не представлял, насколько беззащитна против него одного вся императорская Россия! За эти дни, безо всякого театра, он мог стрелять в Столыпина сорок раз.

Только 1 сентября утром пришла остерегающая записка от Трепова, следом прибыл Курлов. Курлов приехал, собственно, со всеми служебными делами, и подписывать многочисленные награждения. А в ряду тех дел вот и это: предупреждение секретного сотрудника Богрова, посему лучше бы министру подождать мотора от охранного отдела.

Столыпин не придал серьёзного значения. А нашли бомбу? Нет.

О чём он только не спросил, и чего предположить было нельзя: что этого осведомителя полиция приглашает в целях охраны. Это — категорически было запрещено, и Курлов знал, и не делалось никогда.

Да уже и торопили Столыпина выезжать на сегодняшние празднества — манёвры, ипподром. Поскольку он не принадлежал к дворцовому кортежу, его торопили выехать за полтора часа, иначе закроют проезд. Столыпин отказался швырять полтора часа.

Последние сутки своей неутомимой жизни он, ради придворного этикета, провёл в сплошных церемониях...

Входных билетов в театр лица, сопровождавшие Столыпина, не имели до последнего момента (получили их, может быть, не раньше Богрова). Есаулов получил билет не рядом со Столыпиным, в первом ряду у левого прохода, а в третьем ряду и затиснутый в середину. Но когда он явился и к этому месту — оно оказалось занятым полковником болгарской свиты. Есаулов долго выяснял недоразумение — и ему дали место к правому проходу.

Так никого даже под рукой не оказалось, не то что охраны.

Можно было пересесть в ложу к Трепову, но Столыпин отказался, считая излишние предосторожности малодушием.

Ещё при входе в театр Есаулов спросил Кулябку, арестованы ли злоумышленники, тот ответил: «Их совещание состоится завтра.»

Спросил и Столыпин Курлова, какие новости со злоумышленниками,— тот ответил, что не знает, уточнит в антракте. Уже взвивался и занавес.

В первом антракте Курлов ничего не узнал или не узнанал, Столыпин перестал и думать. Прошёлся один по партеру.

Доставало ему о чём подумать в эти нелепо теряемые для работы дни, в первый день рабочего сентября, осени, в которую должна была решиться его Реформа.

В втором антракте к нему подошёл попрощаться Коковцов — он, счастливый, уезжал в Петербург, в министерство.

— Возьмите меня с собой,— пошутил Столыпин грустно.— Мне тут нехорошо. Мы с вами тут лишние, прекрасно обошлось бы и без нас.

Всегда это был — капризный, упрямый министр, которого надо было постоянно уламывать, потому что он видел роль министра финансов не в развороте бюджета для могучего хода России, а в задержке трат, в сохранении денег. Но сейчас так освежительно было видеть делового человека.

И в этом антракте Столыпин тоже не вышел из душного зала, да некуда было идти. Он стал у барьера оркестра, локтями назад на него опершись, грудью к проходу. Он был в облегчённом белом сюртуке (а как бы стиснуто и жарко в броне!).

В зале оставались немногие, проход пуст до самого конца. По нему шёл, как извивался, узкий длинный, во фраке, чёрный, отдельный от этого летнего собрания, сильно не похожий на всю публику здесь.

Столыпин стоял беседовал с пустым камергером, который не считал потерей ещё беседовать и рядом стоять с этим премьер-министром, никто более важный не подошёл.

Они оба — угадали одновременно преступника на его последних шагах! Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный — такие бывают остроумными — молодой еврей.

Угадали — и камергер бросился в сторону, спасая себя.

А Столыпин — снял локти с барьера — вперёд! — руки вперёд и броситься вперёд, самому перехватить террориста, как он перехватывал прежде!

А тот уже открыл наставленный чёрный браунинг — и что-то косо дёрнулось в его лице — не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острóта.

Ожог — и толчок назад, опять спиной к барьеру.

И — второй ожог и толчок.

Как будто выстрелами пришило Столыпина к барьеру — он теперь свободно стоял.

Террорист, змеясь чёрной спиной, убегал.

И никто за ним не гнался.

Кто-то крикнул: «Держите его!» — кажется, да, это был надтреснутый голос Фредерикса, близко тут.

Столыпин стоял. Подвинуться он не мог, а стоял легко.

Сколько охотились — всё-таки достали.

Он ещё не почувствовал ничего, стоял как нетронутый, а уже знал и понял: смерть.

Ранило ещё и само выражение тонкого убийцы.

Столыпин стоял всё один.

Подбежал профессор Рейн.

Да, вот, расплывалась и густела кровь по белому сюртуку справа, большим пятном.

А под пятном, в этом месте, было тепло.

Столыпин поднял глаза вправо, выше над собою он чувствовал *там* или помнил и теперь искал.

Вот Он: стоял у барьера ложи и с удивлением смотрел сюда.

Что же будет с... ?

Столыпин хотел его перекрестить, но правая рука не взялась, отказалась подняться. Злополучная, давно больная правая рука, теперь пробитая снова.

Что же будет с Россией?..

Тогда Столыпин поднял левую руку — и ею, мерно, истово, не торопясь, перекрестил Государя.

Уже и — не стоялось.

Выстрел — для русской истории нисколько не новый.

Но такой обещающий для всего XX века.

Царь — ни в ту минуту, ни позже — не спустился, не подошёл к раненому.

Не пришёл. Не подошёл.

А ведь этими пулями была убита уже — династия.

Первые пули из екатеринбургских.

Продолжение следует



ЕЛЕНА ТАГЕР

(1895—1964)

Когда я думаю об Елене Михайловне Тагер, мне сразу же вспоминаются счастливые утренние воскресные часы в Комарове, когда я после аавтрака отправлялся к самому дальнему спуску к заливу по соседству с чьей-то скромной дачей. В те времена там, под сосной, на самом верху, стояла уютная скамеечка, и на ней сидела в ожидании моего прихода только что приехавшая из Ленинграда Елена Михайловна. Мы спускались к заливу, обмениваясь лагерными воспоминаниями и вспоминая стихи, написанные в ту пору. Там мы шли вдоль берега до предпоследнего комаровского подъема, где возвышался роскошный особняк Мейлаха.

Иногда Елена Михайловна приезжала в Комарово вместе со своей подругой, работавшей библиотекаршей в БАНе и постоянно навещавшей Анну Ахматову. И было такое счастливое воскресенье, когда наша спутница привезла с собой два машинописных экземпляра «Реквиема»: один был подарен Елене Михайловне, другим осчастливили меня.

...А потом наступила полоса ленинградских встреч. Я навещал Елену Михайловну и читал ей новые стихи, тематически перекликающиеся с прежними, а она меня одаривала своими. В эту пору я познакомился и с ее чудесной самобытной прозой.

...И вот пришли злополучные дни, когда я тщетно старался проникнуть в эту ставшую родной и насквозь знакомой квартиру: никто не отзывался...

Я постепенно собирал стихи Елены Михайловны, и у меня составилась книга, которую я потом переплел. В нее вошли: обнаруженный у Вс. Рождественского сборник «Арион» (Петербург. Изд-во Сирина, 1918), где наряду со стихами других поэтов, в том числе мужа Елены Михайловны Георгия Маслова, присутствуют и ее ранние стихи, той поры, когда она подписывалась псевдонимом «Анна Регатт»; затем следуют ее стихи 1943—1955 годов (их адреса — Колыма, пристань Находка, Забайкалье, Новосибирск, Бийск, Барнаул, Северный Казахстан и наконец — Саратов).

К этому своему «самиздатовскому» сборнику я приложил статью Т. Ю. Хмельницкой, подготовленную для «Дня поэзии», но так и не опубликованную, и совершенно необычное для Елены Тагер сатирическое стихотворение «Двадцать лет спустя», единственное в своем роде, снабженное эпиграфом из выступления Веры Пановой: «Хватит с нас этой возни с реабилитированными». Думается, пришло время публикации и этого стихотворения, которым я и завершаю эти свои заметки.

Игорь Михайлов

Ну, правильно! Хватит с вас этой возни,
Да хватит и с нас, терпеливых,
И ваших плакатов крикливой мазни,
И книжек типически лживых.

Не выручил случай, и Бог нас не спас
От мук незаслуженной кары...
А вы — безмятежно делили без нас
Квартиры, листаж, гонорары...

Мы слышали ваш благодушный смешок.
Амнистии мы не просили.
Мы павших товарищей клали в мешок
И молча под сопки носили.

Задача для вас оказалась легка:
Дождавшись условного знака,
Добить Мандельштама, предать Пильняка
И слопать живьем Пастернака.

Но вам, подписавшим кровавый контракт,
В веках не дано отразиться;
А мы уцелели. Мы живы. Мы — факт.
И с нами придется возиться.

1959

* * *

Нетленной мысли исповедник,
Господней милостью певец,
Стиха чеканного наследник,
Последний пушкинский птенец...

Он шел, покорный высшим силам,
Вослед Горящего столпа.
Над чудаком, больным и хилым,
Смеялась резвая толпа.

В холодном хоре ДИФИРАМБОВ
Его напев не прозвучал,
Лишь Океан дыханью ямбов
Дыханьем бури отвечал.

Лишь Он — великий, темноводный —
Пропел последнюю Хвалу
Тому, кто был душой свободной
Подобен ветру и орлу.

Несокрушимей сводов Храма
Алмазный снег, сапфирный лед! —
И полюс в память Мандельштама
Сиянья Северные шлет.

Колыма, 1943 г.

* * *

Если б только хватило силы,
Если б в сердце огонь бурлил,
Я бы Бога еще просила,
Чтобы Он мне веку продлил.

Да не бабьего сладкого веку
И не старости без тревог,—
А рабочему человеку
Чтоб он выжить во мне помог,

Потому — не в моей природе,
Не закончив, дело бросать;
Это книга о русском народе,
Я должна ее дописать.

Колыма, 1946, весна

* * *

Я думала, старость — румяные внуки,
Семейная лампа, веселый уют...
А старость — чужие холодные руки
Небрежный кусок свысока подают.

Я думала, старость — пора урожая,
Итоги работы, трофеи борьбы...
А старость — бездомна, как кошка чужая,
Бесплодна, как грудь истощенной рабы...

Колыма, 1947

* * *

Глубокий трюм, железный скрежет,
Зеленый океанский лед...
Рука невидимая режет
Застывший времени полет.

До нас домчался ветер с юга,
Из края ласковых чудес,
Где не пурга, а просто вьюга,
Где не тайга, а просто лес;

И отступилась, миновалась
Десятилетняя зима,
Та, что у нас именовалась
Колючим словом «Колыма».

Пароход «Джурма», 1948, июнь

* * *

Отдайся крову теплой ночи,
Печаль и слабость затаи;
Пусть летний дождь любовно мочит
Седые волосы твои.

Спокойно вспомни все, что было:
Труды и дни, добро и зло,
И счастье — то, что изменило,
И горе — то, что не сломило,
И что прошло, прошло, прошло...

Чужим богам и ложным требам
Не уступив своей души,—
Спокойно спи под теплым небом,
В земной приветливой тиши.

Пристань Находка (под Владивостоком),
июнь, 1948.
Первая вольная ночь

* * *

Мне снился вот этот приветливый лес,
Хранимый щитом синеоких небес;
Три тысячи триста печальных ночей
Я видела этот веселый ручей.
Я видела алые глазки грибков
В зеленых ресницах нетронутых мхов,
А тысячеустую птичью молву
Я, кажется, слышала и наяву:
Три тысячи триста и сколько-то дней
Я слышала голос отчизны моей.

Бийск Алтайского края.
1948 г., сентябрь

* * *

Велегласно блаженствуют утки в канаве;
Меднолобые тыквы воздвиглись на кров...
А, пожалуй, их мог бы вкусить и Державин,
Отдохнув от Фелицыных громких пиров.

Восемнадцатый век. Он везде и повсюду:
В домовитости грузной алтайской избы,
В голубой колокольне и в этих причудах
Изобильной крутой деревянной резьбы;

В этой ровной черте оборонного вала.
(Ярославна! Твой голос и здесь прорыдал...)
Восемнадцатый век,— чтобы степь пустовала,—
На лесном рубеже городил города.

Девятнадцатый век торговал и молился,
Капиталец копил, но эпоха не ждет
И не шутит — и в сонную одурь вломился
Говорливый, партейный семнадцатый год.

Век двадцатый! Ты мчишься в венке пятилеток,
Не Фортуны — Коммуны крутя колесо...
Вот о чем толковал Дидерот с Аруэтом!
Вот чего домогался мечтатель Руссо!

Бийск, Алтайский край.
1948 г.

* * *

Сверкала морозная чаша,
Когда кочевали вдвоем
Слепое несчастие ваше
И зоркое горе мое.

Споткнуться на каменной глыбе ль,
В сугробы ли замертво пасть?
Лихая колымская гибель
Над нами разинула пасть.

Считаться родством мы не будем,
Считать мы не будем корысть;
Спасли вы, отпетые люди,
Мою пропадавшую жисть.

По слову седого бандита
Меня усадили к костру;
Воровка ворчала сердито:
«Дай руки-то, снегом потру!»

Блудящие девочки — чаем
Старались меня отогреть:
«Вы пейте. Мы сроки кончаем,
А вам еще сколько терпеть!»

И в беглом пустом замечанье
Горячая жалость была.
А звезды в великом молчанье
Смотрели на наши дела.

Бийск, 1950 г.

* * *

В скитанье долгом и бесцельном —
Одна мечта, одна отрада:
Поцеловать в поту смертельном
Святые камни Ленинграда.

И успокоиться в могиле,
Не здесь, не на чужом погосте,—
Чтоб в ленинградской глине гнили
Мои замученные кости.

Барнаул, 1951 г. Осень.
Следственная тюрьма

РАЗГОВОР С ДУШОЙ

За решеткой что-то распахнулось,
Приоткрылось далью голубой
И по-молодому оглянулось...
А ведь мы не молоды с тобой!

Что ж, Душа? Мы пожили неплохо;
Мы ли не слыхали соловьев
В ночь весеннего переполоха,
В час, когда бесчинствует любовь?

Мы ли не видали эту Землю
В зелени лесных ее кудрей,
В блеске Белых, Черных, Средиземных
Синих и лазоревых морей?

Так, Душа! Земля звучала гордо;
Что-то скажет голубая твердь?
Неужели мы с тобой не твердо,
Не спокойно встретим эту смерть?

Барнаул, конец 1951 г.
Следственная тюрьма

* * *

Все равно умру в Ленинграде.
И в предсмертном моем бреду
К воронихинской колоннаде
И к Исаакию прибреду.

Будь музеем или собором,
Мавзолеем или мечтой,—
Все равно коснеющим взором
Различу твой шлем золотой.

Ветер Балтики, ветер детства
К ложу смертному прилетит
И растраченное наследство
Блудной дочери возвратит.

И последнему вняв желанью,
В неземное летя бытие,
Всадник Медный, коснувшись дланью,
Остановит сердце мое.

Северный Казахстан,
1952 г., весна

* * *

Я бритву себе припасла,
Надежную, острую бритву;
И сразу бы кончить могла
Бесплодную шумную битву;

И вены под кожей лежат,
Как мелкие синие змеи,—
Да глупые пальцы дрожат,
Змею перерезать не смея.

Унять бы нелепую дрожь,
Бессмыслицу кончить бы разом,—
Да на ухо новую ложь
Бормочет услужливый разум.

Но, кажется, дело не в том,
Что разум хитрит и боится,—
А в том голубом, золотом,
Что с вольного неба струится,

На розовом дышит снегу,
Горит фиолетовой далью
И боль моего «не могу»
Спокойной смягчает печалью.

Северный Казахстан,
1952, зима

* * *

Не старость — нет! — а горе сердце гложет.
Застыла ночь в заплаканном окне...
Далекий друг, проснись на грустном ложе,
Далекий друг, подумай обо мне...

Прошли не годы — нет! — прошли эпохи.
Текли не воды — наша кровь текла.
И стихло все. И только ветра вздохи,
И дробь дождя по холоду стекла.

Где сил найду, чтоб жить начать сначала?
Какие муки вновь перетерплю?
Далекий друг, проснись, чтоб сердце знало,
Что в эту ночь не я одна не сплю.

Саратов, 1955, весна

Публикация Марии Тагер

Владимир Корнилов

Демобилизация

Роман

4. ШТАТСКИЙ ТРЁП

Наутро, после встречи с Сеничкиным, Инга в библиотеку не пошла, а, выпив знаменитого кофею, вернулась в комнату и открыла курчевскую машинку. Но печатала она второй раз в жизни и, естественно, одним пальцем, поэтому дело не клеилось.

— Чья техника? — спросила дотошная Вава.

— Я уже говорила тебе: технического лейтенанта,— стараясь не раздражаться, ответила Инга.

— Того, который про роль личности?..

— Именно.

Вава вздела очки и открыла папку. Вид у нее был обиженный, но непреклонный.

— Твой лейтенант не ахти какой грамотей, я нашла три ошибки,— проворчала она через четверть часа.

— Наверное, опечатки.

— Нет, именно ошибки. Я бы таких грамотеев к аспирантуре не подпускала.

— Не тревожься, он туда не собирается.

— И что же? Он похоронит себя в армии?

— Не знаю. Ему, кажется, всего двадцать шесть лет.

— Ты хочешь сказать, что ему рано себя хоронить, что он еще не кандидат туда?..

— Никуда он, Вава, не кандидат. Если ты не возражаешь, я бы напечатала несколько страниц.

— Пожалуйста, пожалуйста... Слова больше от меня не услышишь...— надулась Вава, но вряд ли замолчала бы, если бы за стенкой не зазвучал третий концерт Рахманинова.

— За мои за грехи заповедны...— в такт фортепьяно замурлыкала она и вновь уткнулась в реферат.

Неужели и я, точно эта, точно эта, точно эта...— подумала Инга, незаметно увлекаясь материнской игрой. Но стучать на машинке в такт не удавалось.— Неужели и я вот такая, вот такая, вот такая... Буду тоже потом вот такая, вот такая... Господи! — Стряхнув наваждение музыки, Инга, глотая слезы, выбежала в переднюю. Москвошвеевская выворотка ждала ее, как верная подруга. Инга кинулась к ней, но, вспомнив, что за меховыми ботинками надо возвращаться в комнату, опустилась в коридоре на сундук и расхлюпалась.

— Ты чего? — спросила Ингу толстая, еще не старая соседка. Она вышла из кухни с шипящей сковородой.— Пусть ее играет. Пошли ко мне... Опять то самое... или переучилась? — Она вскинула на Ингу бровастое кукольное лицо и захлопнула дверь.— Пусть тренируется...

— Ей необходимо,— сказала Инга.

— Знаю. Нелегкий это хлеб. Не молодая с утра барабанить... Так чего у тебя, Ингушка?

— Сама не знаю. Нервы.

— Какие там нервы? Четвертака тебе нет, а нервы. Этот, в модном пальтишке, холостой?

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 7—8.

— Женатый.— Инга покраснела: выходит, Полина видела ее с Алешей возле парадного, а она и не заметила?

— Садись, картошку рубай.— Полина сунула ей вилку.— А то хочешь — у меня сегодня отгул — по малой?..— Не дожидаясь ответа, она достала из буфета початую бутылку московской и две тонконогих рюмки.— То, что женатый, бог с ним. Закусывай. Главное, из себя подходящий. А твой козел, прямо скажу,— никуда. На что я, скоро старуха, и то бы с ним не легла.

— Оставь,— взмолилась Инга. Она не обижалась на соседку, но разговор ей был неприятен.

— А чего оставлять? Не один еще у тебя будет, хоть с виду ты легковатан. Да ладно, бог даст, в тело войдешь. А что козла прогнала — молодец. Козел — он и есть козел. А ты девка чистая, культурная из себя. У тебя мужиков пульманá будут. Этот, в пальтишке, детный?.. Ну и не тушуйся. Хочешь, ключ оставлю? Да, да.— Полина повысила голос, потому что в дверь постучали.— Толкайте, не заперто. Доброе утро, Варвара Терентьевна! — под бравурные звуки фортепьяно приветствовала она старуху.— К нашему шалашу не желаете?

— Извините,— стоя в дверном проеме, буркнула Вава.— Тебя к телефону, Инга.

— Скажи, ушла.

— Как знаешь... Спивайся на здоровье.

— Да вы что?..— возмутилась Полина, но Варвара Терентьевна уже закрыла дверь.

— Ох, Ингушка, и вредная она у тебя.

— Есть немного... Зато добрая.

— Знаю. Если б злая — об чем говорить? Со злой разговор короткий. Вся беда от добрых: не отвяжешься... Я тебе у подруги устрою. Тут она вам в дверь стучать будет.

— Мне не нужно...

— А как же тот, в модном пальтишке?

— Просто знакомый.

— Не приставал? Значит, порядочный. Тогда зачем ревела? Нервы? Хочешь, в кино пойдем. Город какой-то...

— «Рим в одиннадцать часов». Хорошая картина. Пошла бы, да не могу. Зашиваюсь.

— Зашилась уже... Только что розовая, а тоща, как в голодушку. На поправку тебя надо. Каникулы зимние были, а ты в городе...

— Это у студентов. У нас каникул нет.

— Тогда чего мучаешься? Ты ж на службу не ходишь. Езжай в дом отдыха и сиди. У нас в завкоме путевок этих — завались!

И вправду уеду! — обрадовалась Инга.— Дома — не работа, в библиотеке — Алеша и Бороздыка. Самое время — из Москвы сбежать.

— Хочешь в ...? — спросила Полина.— А хочешь по Павелецкой? И еще у нас есть один, только туда автобусом надо...

— Мне лучше, где поездом: по пятницам кафедра,— сказала Инга, загадав: а вдруг Полина достанет в ..., где неподалеку служит Курчев!.. Не так уж ей хотелось его видеть, но если окажется, что вечерами в доме отдыха смертная скука, неплохо иметь про запас хотя бы технического лейтенанта.

По субботам Георгий Ильич Крапивников в журнале не бывал, поэтому Инга, отпечатав на курчевской машинке короткую записку и приложив к первому экземпляру реферата забытый Бороздыкой импортный блокнот, смело отвезла их в редакцию.

В эту субботу снег сверкал празднично. Впереди было ровно двадцать четыре дня лыж, покоя, ничегонеделанья, а если ничегонеделанье вдруг надоест, можно захватить с собой толстых тетрадок в клетку и писать в них следующую главу (а эту — потом докарябаем!). Главное, будут сплошные лес, снег, тишина, никаких Сеничкиных и Бороздык, никакой Вавы, которая вчера ее совсем допекла:

— Ну что у тебя общего с Полиной? Ты что, тоже хочешь путаться с кем попало?

— Она народ, а, по-моему, вышли мы все из народа или во всяком случае из народников...

Чтобы прекратить бесплодный спор, Инга ушла в материнскую комнату и объявила, что едет в дом отдыха. Мать сначала ничего не поняла. Пальцы у нее задрожали, она положила их на пюпитр.

— Да, да... Конечно же, девочка! Как мы раньше не додумались? Ты так устала! — И Татьяна Федоровна, закрыв инструмент, начала поспешно одеваться: хотела бежать в магазин за продуктами, забыв, что Инга уезжает не в голодную провинцию, а в подмосковный дом отдыха с трех-, а то и четырехразовой кормежкой.

В воскресенье Инга вышла из электрички в районном городке, куда была приписана воинская часть Курчева, и пошла с нетяжелым чемоданом и лыжами вдоль шоссе. До

дома отдыха было всего два километра. Снег неподвижно лежал на елях, словно его приклеили к веткам. Машины по воскресной магистрали пролетали редко, к тому же дом отдыха стоял в глубине, метрах в трехстах от магистрали. Лес начинался от самой калитки, и ему не было конца. Дежурная сказала, что в одну сторону он тянется до Казани, а в другую — до Архангельска.

Красота какая! И он еще жалуется! — подумала Инга о техническом лейтенанте, который служит где-то здесь, не ценит ни снега, ни леса и изо всех сил рвется в Москву.

Первую неделю она только и делала, что ходила на лыжах да спала по два раза в день. В комнате кроме нее жили: восемнадцатилетняя миловидная девчонка с кирпичного завода и неопределенного возраста женщина — не то техник, не то инженер, костлявая и сухая, с невыразительным лицом и редкими волосами.

Хорошо бы так жить всегда, вечно,— утешала она себя.— Никто тебе не нужен, и ты — никому. Спать, есть и с горок спускаться.

Горки были некрутые, зато лес абсолютно безлюдный — не то что Сокольники и Измайлово. Но заблудиться было трудно — рядом гудело шоссе. В лесу уже появились знакомые деревья и даже пни, запомнившиеся перелески, изученные спуски. Их было радостно встречать по утрам и видеть во сне.

— Деревья, деревья, деревья,— напевала Инга, идя легким шагом, словно на ногах не было лыж, а в руках — палок.— Деревья, деревья, дубы...— пробовала она что-то сочинять, но стихи не получались. Дубов здесь, кстати, не было, деревья росли в основном хвойные. Только по краям неглубоких оврагов взапуски носились озябшие березки, а потом опять шли ели да ели вперемешку с красноватыми чопорными (словно незамужними — так казалось Инге) соснами. Лес казался нескончаемым, и покой тоже. Пугало только одно: вдруг в марте все растает, начнется тоска, слякоть, захочется в Москву, а в Москве — ничего хорошего.

Но в марте теплее не стало. Снег не таял. Даже нового немного подсыпало, и новый начал прилипать к лыжам. Нужно было идти к молодым людям на второй этаж, просить лыжной мази другого номера, но не хотелось знакомиться с ними. Инга три дня провалялась в комнате — пыталась начать новую главу.

Так прошло полсрока. В доме отдыха все уже было не в новинку.

Мужчин в доме отдыха было немного, и в основном пожилые или средних лет. Они забивали «козла» либо резались в карты, а вечерами появлялись в зале изрядно подвыпивши. Девчонки танцевали чаще всего друг с другом, а с горя тоже иногда выпивали и тогда, разгулявшись, пели:

Мой миленок меня бросил,
Я сказала только: Да!
У меня таких хороших
До Берлина два ряда.

Или:

Раньше мы ходили в лес,
Не боялися волков,
Раньше был товарищ Сталин,
А теперь стал Маленков.

Дни тянулись все медленнее, и становилось тоскливо. Лыжные ботинки начали натирать. На одном отлипла стелька, в другом неожиданно выскочил гвоздь, и лыжи из удовольствия превратились в обязанность.

Сухощавая соседка уехала, и в комнату вселилась подруга девахи с кирпичного, побойчей ее и постарше. Стало шумно, попахивало водкой и мужчинами. Сперва соседки стеснялись и приводили парней по утрам, когда Инга уходила в лес, но потом осмелели и просили Ингу выйти прогуляться на полчасика. Она уходила с тетрадкой в холл, но там ей мешали преферансисты.

Курчев провалялся больше недели, прихватив два дня сверх ареста, да еще три дня отпуска ему подкинул Ращупкин, и к концу болезни одно за другим пришли два письма: одно от мачехи и одно в фирменном конверте, но не из Кремля.

«Боря,— писала мачеха,— все наладилось очень отлично. Мы уже перевезлись. Михал Михалыч достал замечательную вещь — мебель: буфет и шкаф, вместе собранные. Пол отциклевали. Скоро справим новоселье и вас позовем. (Неизвестно почему, она вдруг стала называть его на «вы». Возможно, это была ее манера писать письма, а возможно, она прониклась к нему уважением как к будущему квартировладельцу.)

Боря, вам придется приехать на пару деньков, чтобы оформить площадь и переписать жировку. Я вам тогда телеграмму пошлю. Попросите командиров, чтобы отпустили, а то всякое случается. Очень серьезно, Боря, попросите.

Мы вам оставляем шкаф, стол на кухне и другой, в комнате, и кровать с матрасом. Извините, что старье. С этим и жили. Только сейчас начали покупать новое.

Еще остались обои. Вы обклейте, если понравятся. Мой совет: кровать выбросьте, а к матрасу (он еще годный; три года, как перетягивали) привинтите ножки. Михал Михалыч нарезал и шурупы к ним готовые. Счастливо вам, Боря, в новой жизни. Обязательно прошу: отпроситесь у начальников. А то людей завидущих много даже на нашу халабуду. Ходит слух (не знаю, врут или нет), года через два-три ломать ее будут. По Первой Мещанской уже ломают — магистраль будет на Выствку. А взамен дают хорошие дома, так что не пропустите, Боря.

Привет вам от Михал Михалыча и Славки.

До свидания, ваша *Елизавета Никаноровна*».

Второе письмо было напечатано на машинке, от руки были только подпись и номер домашнего телефона.

«Дорогой Борис Кузьмич! — прочел Курчев.— Инга передала мне Вашу работу. Хотелось бы переговорить. В журнале я каждый день после часу, кроме субботы. В субботу или в воскресенье звоните домой.

Зовут меня Крапивников Георгий Ильич. Рад буду покалякать. До скорого».

То в год ни одного, а то в неделю три, и все важные,— подумал Курчев, но не почувствовал при этом никакой радости. Наоборот, стало еще тоскливей и горше от армейской безнадеги, от того, что сам себе не принадлежишь и даже не можешь съездить в Москву для важного разговора.

В первый вторник марта он наконец-то объявился в «овощехранилище». Тут попрежнему шумелв моторы, шушукались монтажницы и по-прежнему был уныло-ленив секретчик. Только инженер Забродин повеселел и, уже не обращая внимания на подковырки, постоянно крутился возле Вальки. Валька краснела и нерешительно улыбалась Борису. Но ему было уже не до нее.

Снова, уже, наверное, в десятый раз, он вылез из-за стола и наведался в аппаратную к Залетаеву. Телеграммы обычно передавали из райцентра по телефону, и дежурный перепечатывал их на бланк. От мачехи ничего не было.

— Изведешься! Надо же так втрескаться! — засмеялся Залетаев, и Курчев не стал его разуверять.

За болезнь он как-то отдалился от офицеров, хотя и старался не думать о пропавших из реферата страницах, чтобы никого не подозревать. В аппаратной у Залетаева было так же тошно, как в своем отсеке, и он снова вернулся к себе.

— Лейтенанта Курчева в штаб! — раздался за спиной ломкий голос телеграфиста.

Один черт,— подумал Борис,— хоть здесь не томиться...

— Доигрался, Курчев,— сказал ему начштаба Сазонов.— В Москву тебя вызывают. Завтра к 10.00.

— В ...? — назвал Курчев московскую окраину.

— Ага. Ты писал туда?

— Вроде нет.

Он писал выше — в Совет Министров.

— Не темни. Кому писал?

— Корпусному.

— Это я в курсе. А еще?

— А еще кому? Сталину не напишешь.

— Сталину — да. Сталин бы тебя прижал. При нем порядок был.

— Это точно. Прошлый год порядку навалом было. У нас перед самой его смертью один технарь из военной приемки, перебравши, сцепился с кем-то на шоссе, а тут, на его счастье, маршал Василевский на личном лимузине мимо ехал и с ходу ему пятнадцать суток влепил. Так и гуляет с подарком от бывшего министра. Снять не может.

— Пусть рапорт подаст: снимут — дисциплина уже не та. Разгильдяй на разгильдяе сидит. Дерьмо вроде тебя и этого, Павлова твоего, держат, а хороших людей списывают.

— Вот и я говорю. Разрешите идти?

— Иди.

В «овощехранилище» Курчев не вернулся. Было около двенадцати. Как раз крытая полуторка, свернув у штаба, подъехала к КПП, и он полез в кабину.

— Скажешь лейтенантам: в Москву уехал,— кинул он Черенкову, открывавшему ворота.

— Ясно,— ответил дневальный.

Машина — она шла в ближний поселок за школьниками — завезла Бориса на станцию. Поездом ему было удобнее: от Комсомольской площади до Ингиного переулка — рукой подать.

— Она в доме отдыха,— ответил старушечий голос.— А вы не военный? Я сразу догадалась. Вам машинка нужна?

— Нет, что вы!

— Инга вернется в марте.

Из той же будки Курчев позвонил в журнал Крапивникову.

— На редколлегии,— ответили ему.— Позвоните завтра.

— Кругом шешнадцать! — вздохнул Курчев. Деваться было некуда. То есть кругом была Москва с миллионом соблазнов, начиная от кино и — чуть позже — театра и кончая Ленинкой, рестораном или просто «культзаходом» к кому-нибудь из знакомых, хотя бы к Кларке Шустовой. Но Курчев настроился на встречу с Ингой, и ничто не соблазняло.

Он лениво прошел вдоль вокзала. У газетного киоска какой-то ободранный ханурик в очках читал толстый журнал в серо-голубой обложке; старик-киоскер ворчал на него, дескать, не читальня. Вокруг шумела вокзальная Москва, лязгали трамваи, фырчали такси и автобусы, а тут один чудик читал, другой на него злился — и раздосадованному лейтенанту смотреть на эту комедь было почему-то приятно. Пахнуло, что ли, штатской юностью с томленьем в библиотеках.

Заглянув через плечо ханурика, Курчев увидел, что тот глотает стихи, и не успел удивиться этому, как задрипанный очкарик по рассеянности толкнул его, но не извинился, а, наоборот, презрительно на него поглядел и снова уткнулся в журнал.

В полку Курчев считался чуть ли не штатским, но в городе в нем порой просыпался загодя оскорбленный на всех штатских армеец.

— Папаша, а мне такой можно? — спросил Курчев. Он заметил, что на прилавке больше гряяно-голубых журналов не видно.

— Отдайте, гражданин,— важно сказал киоскер.— В читальном досмотрите.

— Пусть читает,— лениво протянул Курчев.

Очкарик в сомнении оторвался от журнала, беззащитно поглядел на офицера, но, очевидно, интерес к стихам пересилил, и он снова уткнулся в страницу.

— Возьмите себе,— милостиво разрешил Курчев и сам же покраснел.

— Спасибо, н дома получаю.— Очкарик дернулся, как от пощечины, и возвратил журнал.

Курчев скатал его в трубку и сунул в карман шинели, но журнал там не умещался.

Черт, и сумки не взял. В урну, что ли, кинуть? Пижон проклятый,— ругнул он себя.— Позвонить снова старушенции, узнать, где этот дом отдыха? Может, успею сегодня съездить? Съездишь, как же,— передразнил себя и снова закрылся в автоматной будке.— Она с Алешкой в Питер умоталась. А дом отдыха — это для домашних.

Он набрал номер Сеничкиных.

— Да,— отозвался голос министра.— Борис? Далеко? Дуй сюда. Пообедаем вместе.

— Сейчас буду,— обрадовался Курчев и кинулся к стоянке такси.

— Давай поухаживаю,— сказал министр, стаскивая с племянника шинель.— Что, тоже купил?

— Чего? — не понял Борис. Он улыбался, глядя на дядю Васю. Дядя высился в коридоре, огромный, без пиджака, в одном жилете, похожий на цивилизованного купчину или американского заматеревшего боксера, оставившего ринг. За ворот свежей, видимо, утром надетой рубахи была заправлена жестко накрахмаленная салфетка.

— Прасковья Прокофьевна, тащи еще прибор,— крикнул дядя Вася.— Тетя Оля на совещании, так мы с тобой по-холостяцки,— он подмигнул племяннику и достал из буфета бутылку армянского коньяка.

Гостиная вся светилась, будто солнце било в нее не из окна, а со всех четырех стен. Шелковая спина дядькиного жилета сверкала, как выпуклое зеркало.

Горбатенькая домработница внесла тарелку с супом.

— Ни-ни, не убирай,— воспротивился министр, когда она хотела переложить на диван «Огонек», раскрытый на портрете Сталина, и третий номер «Нового мира» в картонной обложке, который (Курчев помнил) стоил на два рубля дороже.

— Вон, гляди. Видел? — Дядя Вася взял «Огонек».— Старик ничего, а?

— Неизвестный снимок,— сказал Курчев. На Сталине не было погон, хотя фотография была явно последних лет.

— Неизвестный?.. Зато самый что ни на есть похожий. Такой и был. А все известные — намалеваны, ретуши на них больше, чем снимка.

— Часто его видели?

— Часто не часто, а приходилось. Ты вспомни, год назад что было? А теперь — всего один портрет.

— Так сегодня только второе.

Курчеву хотелось есть. Суп стыл в тарелке, а дядька, воодушевленный фотографией, все не разливал коньяк.

— И пятого не будет. Вот снимок, стихи — и все. Есть постановление — одни рождения отмечать.

— Да, я слышал.
— А чего слышать? В газетах было. Стихи прочел?
— Какие?
— Журнал купил, а стихи не читал. Спереди они. Сейчас покажу. Вот выпьем только Ни-ни, в память не чокаются! — Василий Митрофанович отвел рюмку.
— Так ведь еще только второе.
— Все равно. По нему можно отмечать всю неделю. Вот, послушай. Или голодный Так ты ешь, а я тебе главное. Где оно? Я вроде подчеркивал.
Дядя Вася пошарил на столе, искал очки, но не нашел и кликнул домработницу. Она принесла, но слабые. Тогда, держа журнал на отлете, он стал громко, но запинаясь, читать, как в ЦПШ (так шутя сам же называл церковно-приходскую школу):

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть сорок лет и больше будь.

— Понимаешь, Борька, а?! Да нет. Тебе не понять. Ты сирота...— Он запустил свободную руку в негустую шевелюру племянника.— Вот это стихи! Не то что контрика — как его фамилия — запамятовал. Алешка с Марьяшкой увлекаются.
— Гумилев.
— Верно. По кронштадтскому мятежу припух.
— После, дядя Вася.
— Не спорь, по кронштадтскому... Вот еще, слушай:

И тем верней, неотвратимей
Ты в новый возраст входишь вдруг,
Что был он чтимый и любимый
Отец — наставник твой и друг...
Так мы на мартовской неделе,
Когда беда постигла нас,
Мы все как будто постарели
В жестокий этот день и час.

— Здóрово, правда?
— Угу,— кивнул Курчев, наклоняя тарелку от себя, как учила Клара Викторовна.
— А ты говоришь!.. Давайте, Прасковья Прокофьевна, второе. Еще по одной примем?
Горбатенькая внесла шипящую, сверкающую, как чайник, сковородку. Министру наложила жаркого с верхом, а лейтенанту деликатно, чуть прикрыв донышко тарелки.
— Чего жидитесь? — Василий Митрофанович сдвинул брови.— Солдата накормить не можете?
— Алексей Васильевич и Марьянка Сергевна не кушали...
— Клади все. Еще сочинишь. Подумаешь, пища. Голод на Волге, да?
— Мне больше не надо.— Курчев отодвинул тарелку. Он обрадовался, что Алешка в Москве и дом отдыха не камуфляж.
— Ничего, не красней.— Министр снова погладил его.— Весь уют нам испортила, Прокофьевна.
— А мне чего? Я, как велено,— ухмыльнулась горбатенькая и вывалила лейтенанту в тарелку всю сковороду.
— А, мать ее, бляху кривую,— пустил ей вслед министр.— Сбила меня. Придется дожать бутылку. Как полагаешь?
— Я-то всегда...— ухмыльнулся Курчев.— А как Ольга Витальевна?..
— Ну, ты это брось,— подмигнул Василий Митрофанович.— Это бабка твоя, царствие ей небесное, все пела, что я подкаблучник. А я просто уважаю тетю Олю. Уважаю и люблю. И обижать ее не к чему. Люблю и уважаю,— повторил министр с вызовом.— А ты — нет. Но я тебя, Борис, все равно люблю. Ты мне родная кровь. Ты один да Надька... А Надька начала... Догадываешься?..
— Нет,— солгал Борис. Он понял, что дядька не пьян, а напиться хочет, чтобы его пожалели.
— Да-да, племяш. Начала. Оленька ее накрыла. Ну что будешь делать? Позор на мои седины! — Он провел ладонью по вполне плешивой голове.— Как помер отец родной, все сикось-накось пошло.
— Так это же не связано...— сказал Борис. Он быстро справился с жарким и допивал компот.
— Не связано? Как же... Все взаеме... то есть, сбился... взаиме... Алешка из института придет, объяснит тебе по-ихнему. А я тебе по-нашему, по-старому, так скажу: пришла беда — отворяй ворота. Может, коллективом, руководством коллектива чего и сможем, но того порядка уже не будет.
В коридоре раздался звонок, в комнату вошла горбатенькая и сказала, что вернулся шофер.

— Пусть ждет,— отмахнулся Василий Митрофанович.— А, все равно!..— Он посмотрел на красивые импортные часы на широком белого металла браслете.— Скажите, пусть едет один. У меня что-то с давлением.
— Я здесь,— ответил из коридора высокий голос.
— Хорошо. Скажи, Вадим Михалыч, Крючкину, что с давлением у Сеничкина непорядок. А завтра подавай обыкновенно.
— Ясно.
— Вам плохо? — спросил Борис.
— Да нет. Это я так... Чего на полчаса ехать, груши околачивать? Мы теперь ночами не работаем. Забота об людя́х,— усмехнулся дядя Вася, видимо, кого-то передразнивая.
— Так ведь сейчас лучше, чем при нем,— не удержался Борис.
— Кому лучше, а делу — вред. Вон я тебя давно не видел.— Он обнял племянника.— И на дело плюнул. Пусть до завтра ждет. И другой так, и третий... Нет никого над нами. До шести вечера сидим, а там — шабаш. Иди домой ящик глядеть...— Он кивнул на покрытый черной бархатной накидкой большой телевизор.— Шесть часов пробьет — наверху пусто. Чувствуешь? Все равно как если бы Господь Бог на небе в четверть седьмого пошабашил и айда,— вселенная до утра без хозяина.
— Похоже,— усмехнулся Курчев. Он хотел спросить, придумал дядька сравнение сам или от кого-то услышал, но не решился.
— Если б год назад, вернее, полтора, работали только до вечера, тебе б меня сейчас не видеть. А дознались бы, что мы родичи, тебе бы лейтенанта не приклеили.
— Так тухло было?
— Ага. Сталин меня спас. В четверть третьего утра...
— Надо же,— только и сказал Курчев, боясь расспросами спугнуть разговорившегося родича.
— Спас,— повторил тот.— Синоптики, бляхи, подвели. В позапрошлом году, помнишь, авиационный парад переносили. Это из-за меня. Натерпелся я тогда, Борис. Назначили праздник. Меня, само собой, не спросили. Я своим говорю, чтобы погода была. А они, сволочи, отвечают: «Не будет погоды, Василий Митрофанович». Не будет — и все. Ну, что тут делать?! Я вашему теперешнему министру: «Не будет погоды, товарищ заместитель Председателя». А он матом: «Я тебя так и переэтак, Сеничкин. Цыц, мол, и смолкни». Ну, я молчу. А в самый парад полил дождь. Я, Борис, честное слово, думал застрелиться. Тут еще ваш козел бородатый, маршал обозный, по вертушке мне хвост накручивает: «Я тебя, Сеничкин, в дым... Я тебя перетебя...» Отвечаю: «Слушаюсь. Будет сделано, товарищ заместитель Председателя». А ведь предупреждал его, дурака, что чистого неба не будет, но про это ни-ни, не заикаюсь. Дальше — хуже. Маленков звонит. Голос, как стук в дверь, когда ночью приходят. «Мы вам доверили, товарищ Сеничкин, ответственное дело, а вы подвели партию и народ». Без мата, но лучше бы покрыл четырехэтажным. «Как с вами поступить, товарищ Сеничкин? Можно ли доверять вашей партийной совести?» Что тут скажешь? Сижу один в своем кабинете, как в Бутырках. Домой не иду, хоть и воскресенье. Тетя Оля звонит. Я ей: «После, милая, после». Чувствую, что-то еще будет. И не подвела нюхалка. В третьем часу звонок. Поскребышев. «С вами будет говорить товарищ Сталин». И знаешь — выручил. «Мы вам доверяем, товарищ Сеничкин»,— так и сказал. «Парад переносим на неделю. Но вы уж нас не подведите».— «Будет сделано»,— отвечаю. Как на магнитофоне, вот здесь записалось,— Министр постучал пальцами по жилету слева.— Больше ничего не сказал. Ну, я неделю, можно сказать, не жил. Но, верно, Бог есть. 24-го числа было полное солнце. Вот оно как. А не будь самого, меня бы еще до ночи взяли да под белы руки и увезли. Век ему не забуду, хоть его и нету.
Раздался звонок, пришла тетка и устроила Курчеву разнос за то, что подбил Василия Митрофановича на выпивку.
— У него давление. Ему нельзя. Ты, кажется, знаешь, а все равно мимо бутылки...
— Три рюмки, только три, Оленька,— сопел министр.
Курчев рассчитывал переночевать у Сеничкиных, но разозлился на министершу, потому, не дождавшись Алешки с Марьяной, схватил журнал и выскочил на улицу.

Начинало темнеть, и надо было убить время. Заваливаться раньше одиннадцати в офицерское общежитие («коробку») смысла не было. Могли, не разобравшись, упечь куда-нибудь в наряд, а разобравшись, попросту выставить. Не завел опорных мест,— ругнул себя Борис.
Год назад во время курчевского военпредства техники-лейтенанты шарашили по всей Москве и по окрестностям. Многие заимели кучу адресов. Некоторые даже женились. А Курчев, как в студенческие годы, торчал больше в читальнях, и знакомых женщин, кроме Клары Викторовны, у него не появилось.
В конце концов, не придумав ничего лучшего, он спустился к зоопарку. Напротив него, в кинотеатре «Баррикада», шел итальянский фильм «Рим в одиннадцать часов», и

хвост стоял не слишком длинный. Курчев купил билет на восьмичасовой сеанс, но времени еще оставалось вагон, и он снова позвонил Инге.

На этот раз трубку снял мужчина. Ясно было, что это не муж, а отец или сосед, но Курчев растерялся, повесил трубку и набрал домашний номер Крапивникова.

— Где вы? — раздался веселый голос.— Давайте одна нога здесь, другая там. Собралась славная компания. Да, захватите, пожалуйста, горючего. Две бутылки, больше не стоит. Лучше всего коньяку, а к нему лимонов. Тогда не нужно закуски. Адрес запомнили?

— Ясно-понятно! — ответил радостный Курчев и, забыв про «Рим в одиннадцать часов», бросился в магазин.

Через четверть часа, с двумя бутылками грузинского коньяку и четырьмя лимонами, которые топырили карманы и без того тесной шинели, он постучал в крапивниковскую дверь.

— А! Принесли?!

Лысый человек в роговых очках выхватил из его рук журнал.

— Входите, входите!

Из полутемного коридора Курчев попал в комнату, немногим светлее. То ли плохое освещение, то ли старая мебель и пожелтевший печной кафель придавали ей запущенный вид; однако холодное оружие, висевшее на ковре вдоль одной стены, наделяло ее тайной. Борису тут понравилось больше, чем у чистоплотных Сеничкиных. Ему никто не предложил раздеться, и он смущенно вытащил из кармана бутылки и лимоны.

— Выстави юношу, Юочка,— програссировала очень симпатичная средней молодости женщина. Она сидела с ногами на длинной тахте; тахту покрывал спущенный со стены ковер. Хотя в комнате было холодновато, женщина прижималась щекой к широкому лезвию меча. Симпатичную женщину обнимал чернявый мужчина. Он был то ли пьян, то ли нагл, но обнимал ее так, словно в комнате они были одни. Женщина, видимо, не придавала этому никакого значения, но Курчева это озадачило: про реферат при таких не поговоришь...

В комнате был еще один крупный лысый мужик, он понимающе улыбнулся лейтенанту, дескать, не тушуйся. Лысый сидел в углу у печки и, несмотря на то, что был в свитере, очевидно, мерз.

— Молодец, Борис Кузьмич,— пел меж тем хозяин. Он открыл журнал, вышел на середину комнаты под висячую лампу и собрался, так же как министр, читать поэму.

— Оставь,— бросил с тахты чернявый, которого Курчев мысленно обозвал жуком.

— Хватит с нас, Юочка, сейвиистов,— медленно и капризно протянула женщина, не отрывая щеки от меча.

— Лучше выпьем, и я пойду,— сказал мужчина в свитере.

— Глупцы! — не унимался хозяин.— Тут не сервилизм, а бунт. Вот, глядите:

Да, это было наше счастье,
Что жил он с нами на земле...

— Спасибо,— откликнулась женщина.

— Хорошо, хоть несчастье помогло,— вздохнул чернявый, не снимая пятерни с груди грассирующей женщины.

— Будет вам! — сказал мужик в свитере.

— А что! Юрка прав! — раздался приятный голос, и в комнате появился худощавый, очкастый человек, которого Курчев встретил днем на Комсомольской площади.

И он же ожидал в Докучаевом! — осенило Бориса при виде поднятого воротника рваного демисезонного пальто и опущенных меховых ушей шапки.— Они тут все Ингу знают, она ведь, наверно, здесь жила,— подумал Курчев, по-новому оглядывая комнату.

— Юрка прав,— повторил Бороздыка: он не узнал лейтенанта или притворился, что не узнает.— Это действительно выпад. Влетело же в прошлом году Симонову, когда он у себя в газете заявил, что задача нашей литературы воспеть Сталина, как некогда — Ленина! За то и погорел...

— Не слушайте их,— сказал мужик в свитере, подходя к Борису.— Я читал ваш опус. Вы умнее их.

— Да, да, простите, я зарапортовался. Вот сюда, пожалуйста... В коридоре случаются экспроприации,— засуетился хозяин: улыбка у него была какая-то обезьянья.

На Радека похож,— подумал Курчев, сбрасывая шинель на красного дерева невысокий комод, где горой лежали телогрейка, два мужских пальто и женская шубка из буроватого меха.

— Там еще про коллективизацию есть,— сказал Бороздыка. Он выхватил у Крапивникова журнал и красивым голосом с надрывом запел:

Суровый год судьбы народной —
Страны Великий перелом —
Был нашей молодости сходной

Неповторимым Октябрем.
Ее войной и голодухой,
Порывом, верой и мечтой,
Ее испытанного духа
Победой. Памятью святой
Ночей и дней весны тридцатой,
Тогдашних песен и речей,
Тревог и дум отцовской хаты,
Дорог далеких и путей;
Просторов Юга и Сибири
В разливе полном тысяч рек —
Всего, что стыло в этом мире,
Чем ваш в веках отмечен век...

— Темно,— сказал мужик в свитере.

— У него отец раскулачен. Он ведь про ссылку пишет.

— Тем боее темно,— сказала женщина. Она оттолкнула чернявого мужчину и спустила ноги на пол.— Ххоодно у вас, Юочка,— Она подошла к старому, тоже красного дерева, буфету и достала желтые, как печные изразцы, крохотные кофейные чашки.— Не хочу, Ига, с'ушать этой адости.

— Вправду, Ига, надоело,— сказал чернявый и тут же переключился на Курчева: — Лейтенант, вы пятого марта плакали?

— Шестого,— уточнил Бороздыка, теперь уже с интересом приглядываясь к Борису.

— Плакал,— ответил Борис.— Мне в очереди новые хромачи добела ободрали. Теперь вот в чем хожу.— И он поднял свой милицейский сапог.

— «К стыду народа своего вождь умер собственною смертью»,— неожиданно продекламировал мужик в свитере.

— Вот это стихи,— сказала женщина, расставляя чашечки на ломберном столике.

— Стихи слабые, смысл великий,— ответил мужик в свитере, открыл бутылку, разлил по чашечкам коньяк, но чокнулся с одним Борисом.

— Рад, что познакомился. Счастливо.

Он подошел к комоду, вытащил из-под курчевской шинели потрепанный ватник и ушел.

— Не обращайте внимания,— улыбнулся хозяин.— Он слегка со странностями, но художник великий!

— А картины поглядеть можно?

— Он не 'юбит показывать. Пока свет'о — пишет, а п'и элект'ичестве его к'асок не 'азгьядите.

— Единственный образованный художник,— сказал Бороздыка.

— Что ж, пока мы воевали, он Гегеля читал,— отозвался чернявый.

— Юочка тоже читай. Один ты, Сейж, темный.— Женщина возвратилась с кофейной чашечкой на тахту и теперь сама обняла мужчину.

— Вот, рекомендую. Супруги. Восемь лет вместе, а обнимаются только в гостях,— сказал Крапивников.— А это Ига Бороздыка. Кандидат наук. Прошу любить и так далее.

— Вас я сегодня видел,— не удержался Курчев.

— Возможно,— высокомерно кивнул Игорь Александрович.

— Внешность запоминающаяся,— зевнул чернявый.

— Заткнись,— дернулся Бороздыка.

— Будет вам. Офицей что подумает. Аз'ий бы еще.

— Алкоголичка на мою голову,— вздохнул чернявый и налил во все пять чашек.

— За вас, Борис Кузьмич,— поклонился Крапивников.— Дай вам Бог счастья и свободы. Чего куксишься, Ига? Тебе не понравился реферат?

— Понравился,— промычал Игорь Александрович.— Но вообще-то...

— Если критикуешь, не пей,— сказал чернявый.— А мне понравился, и я еще налью.— Он пододвинул к тахте ломберный столик.

— Не спешите: товарищ прокурора придет, ему оставьте,— улыбнулся хозяин.

9 — Тогда, наоборот, поспешим. Ваше здоровье, лейтенант. А доцент, если хочет, пусть сам приносит.

— Ты несправедлив, Серж,— сказал хозяин.— Товарищ прокурора никогда не скупится.

— Вы об Алешке? — спросил Курчев.

— О нем,— кивнул Бороздыка.— Сейчас вы скажете, что его жена следователь.

— Брось. К чему детали? — отмахнулся Крапивников.

— Это из «Воскресения». Я знаю,— сказал Борис.

— Опасный чеовек,— засмеялась женщина.— Тойко, пожауйста, нас не азоб'ачайте.

— Пустяки.— Крапивников актерски размахивал руками.— Алеша наш друг и товарищ. Наш, а не какого-то прокурора. И ты, Ига, не ревнуй. Борис Кузьмич, ему понравился ваш опус. Правда, Ига?

— Я уже сказал. Во всяком случае больше, чем писанина доцента.

— Тогда напечатайте,— сказал Борис.
— Где? — засмеялся Крапивников.— Укажи мне такую обитель?! Не надейтесь, Борис Кузьмич. Вам на роду написано не печататься.
— Вы меня утешили.
— Это в самом деле так,— кивнул Бороздыка.— Вам, лейтенант, публиковаться не светит. Вот вашему кузену...
— Не ревнуй. Я же просил...— повторил Крапивников.
— Это что... про Ингу? — спросил чернявый.
— А ты о ком думай? Это о ней, об очаоватейной Инге: «У Юы — амуы, у Иги — веиги»,— продекламировала женщина.
Все засмеялись.
— Вы правы,— сказал Крапивников,— но только насчет вериг. Ига женится.
— На Инге? Вот счастливчик! — вздохнул чернявый, но Крапивников тут же внес ясность:
— С Ингой Антоновной я еще сам, грешник, не развелся. А Ига женится на очаровательном существе, представительнице братского татарского народа Зареме Хабибулиной.
— Моодесь! — воскликнула гостья.
— Татарское иго в миниатюре,— буркнул ее муж.
— Поосторожней,— вспыхнул Бороздыка.
— Пайдон, пайдон, как сказала бы моя жена,— засмеялся чернявый.— А Инга, выходит, свободна. Или товарищ прокурора...?
— Вы как об обмене жилплощади,— не выдержал Курчев, но все же постарался придать голосу максимум безразличия.
— О, кругом сплошные высокие чуствия! — деланно воскликнул чернявый.— Лейтенант, выходит, соискатель.
— Кони воропые нам яе ко двору,— сказал Борис.
— Ысаки, Ысаковы,— засмеялась гостья.
— Бросьте, в конце концов, она моя жена,— сказал Крапивников.
— Тебе бы, Юрка, держать гарем, а евнухом для учета — Игу,— сказал чернявый.
— Заткнись, или выйдем в коридор,— вскипел Бороздыка.
— Пожаейте его, Игочка!
Курчеву стало жалко Бороздыку, такого тощего, взъерошенного.
— Однако доцента нету,— миротворчески вмешался Крапивников.— Откупоривай вторую, Серж. Вы, лейтенант, не возражаете? Впрочем, он обязательно принесет. Явится с мадам. Они разводятся.
— Шутка? — не понял Борис.
— К сожалению, нет.
— Давай мы тоже азведемся,— сказала гостья.
— Если хочешь,— ответил муж, и Курчев понял, что у них тоже не ладится.
— У вас тут, как в нарсуде,— сказал он, чувствуя, что в легком подпитии переходит пределы, отведенные человеку, впервые очутившемуся в чужой комнате.
— Да,— подхватил хозяин,— суд не суд, но что-то вроде церкви. Остается в попы постричься.
— А что? — сказал чернявый.— Она падает на колени. «Я другому отдана и буду век с ним мыкаться», а Юрка гладит ее и приговаривает: «Крепись, дочь моя».
— Перестань,— крикнул Бороздыка.— Как ты смеешь надругиваться...
— Над святыней? Знаю. Читал. Достоевский на Тверском бульваре.
— Да, Достоевский.
— Успокойся,— перебил Крапивников.
— А почему? Подойжайте,— сказала женщина.— Подойжайте, Ига. Объясните, почему Сейжу нейзя угать Татьяну Аину?
— Бросьте,— сказал Крапивников.
— Потому что Пушкин — гордость и единственное спасение России,— ответил Игорь Александрович.
— Я думал — Булгарин,— не выдержал Крапивников.
Курчев не понял, супруги, видимо, тоже.
— Сейж тоже усский,— сказала женщина.
— Только по матери,— уточнил чернявый.— Это, кажется, для них недостаточно.
— Для кого — для «них»? — спросил Курчев. Ему не ответили.
— Больше тебе, Юрка, ничего не скажу,— покраснел Бороздыка: он обиделся за Булгарина, хотя и сочинил о нем пока лишь одну фразу.— Да, Пушкин — наше спасение.— Он обернулся к супругам.
— От инородцев? — спросил Серж. Теперь его голос звучал серьезно.
— Не только. От развала, от гнилья. От всего.
— И от Запада? — спросил Крапивников, который тоже посерьезнел.
— Да! Да! От Запада и от Востока!

— А как же «друг степей калмык»? — спросил Курчев, раздосадованный, что ему не отвечают.
— С калмыками все ясно,— отмахнулся Серж.
— С калмыками был интересный эпизод. Кстати, это и к Пушкину относится,— сказал Крапивников.— Когда было полтораста? В сорок девятом? Мне рассказывали, 6 июня высланный в места отдаленные весь калмыцкий народ, как один человек, на работу яе вышел, а потянулся бог знает за сколько километров в район, где имелось радио. Шли толпой, прямо как цыгане. Но в отличие от цыган пешком. Знали, юбилей, и без «Памятника» не обойдется. И все гадали, скажет или нет? Вся нация замерла... А он на финне оборвал...
— Калмыки воевали против,— сказал Бороздыка.
— А ты — за?.. Да и не все против. Многих после войны в Берлине в «столыпины» запихивали. Так с орденами и ехали.— Чернявый опрокинул последнюю порцию коньяка.— Пойдем, Танька, больше уже ничего не будет. И доцент ничего не принесет, поскольку не явился.
Вот тут-то и ввалились Сеничкины.
— Салют!
— Привет!
— Дай облобызаю,— галантно обнял Крапивников Марьяну и поцеловал в губы.
— Давно не чмокались, Юрочка,— усмехнулась та.— Здравствуй, Танька. Мы разводимся.
— В добый час.
— А ты как здесь? — спросил Сеничкин Бориса.— Нечего тебе тут делать. Написал, что я велел?
— Здравствуй, Боренька! — Оттолкнув мужа, Марьянка кинулась на шею лейтенанту.— Мы с ним разводимся!
Курчева она тоже поцеловала, и он, хоть и сам выпил, услышал запах спиртного. Но ему все равно были приятны ее пухлые, упругие, а теперь еще и холодные, с мартовского мороза, губы.
— Бросьте лизаться,— сказал доцент.— Не дразни солдата. Ему надо в казарму.
— Я в городе ночую,— огрызнулся Борис.
— Выпивки не принесли? У нас кончилась,— сказал Крапивников.
— Мы, Юрочка, с банкета. Я хотела стащить бутылку, но бывший супруг не позволил.
— Не смешно,— сказал Сеничкин.
— Кто защищался? — ревниво спросил Бороздыка.
— Витька Поздеев.
— Христопродавец.
— Ну, вы слишком. Немного есть, но на полного Искариота не тянет,— улыбнулся Сеничкин.
— Точно, Искариот,— засмеялась Марьяна.— Зря бутылку не утащили. А то целых три часа: Чернышевский, Чернышевский и еще этот, как его, Варфоломей..?
— Зайцев,— подсказал Бороздыка.— Тоже сволочь.
— Ну зачем же так? — улыбнулся Крапивников.— Игоруша сегодня перебрал. Борис Кузьмич многовато принес.
— Гуляет армия,— буркнул Сеничкин.— Ты что, демобилизоваться раздумал? Почему не пишешь? Я же велел.
— Он уже написал, и весьма толково,— сказал Крапивников.
— Это? Про обозника? Лучше бы, как Витька, про Чернышевского, раз языков не выучил.
— Ненавижу Чернышевского,— вмешался Бороздыка.
— Почему же? Примечательная личность,— возразил хозяин.
— Никогда не читала,— влезла в разговор Марьяна.— Помню только, что чем-то от него веет.
— Духом касовой бойбы.
— Христопродавец,— повторил Бороздыка.
— Какая тебя сегодня муха укусила? — удивился хозяин.— Славянофилы, Ига, хорошие люди, но и западники не хуже.
— Нищие духом!
— Да, Дон Кихот бый написан в Суздае.
— Ига, сбавьте пены или найдите себе женщину, а то ваша озабоченность из всех дыр лезет,— не выдержала Марьяна. Она на дух не переносила Бороздыку.
— Уже нашел. Повернулся, так сказать, к востоку,— усмехнулся чернявый Серж.
— Я бы поговорил с тобой,— насупился Бороздыка, вытащил из кучи сваленных пальто свое обтерханное и, повернувшись к Курчеву, повелительно спросил:
— Идете, лейтенант?
— Иду.— От неожиданности Курчев тоже взял шинель.
— Куда ты? — обняла его Марьяна.— В свою Тьмутаракань?

— Да нет. Я сегодня в «коробке». Свекруха твоя меня шуганула.
— Денег попросил? — усмехнулась Марьяна.— Не надейся. Это министр так... расчувствовался.
— Не изви,— сказал Сеничкин.
— Нет, не денег... Просто мы выпили по поводу смерти вождя — как-никак послезавтра годовщина.
— Каждый за свое? — спросили разом Татьяна и Крапивников.
— Примерно.
Курчеву не хотелось ругать дядьку, к тому же он торопился в «коробку». Дело шло к одиннадцати.
— Заходите завтра,— сказал Крапивников.— Сегодня у меня шумно.
— Завтра — вряд ли. Завтра у меня решается...
— Что решается? — спросил Сеничкин. Он примостился у печки, где прежде сидел художник.
— Судьба. Я написал Маленкову.
— Тогда понятно,— вздохнул доцент; он вспомнил, как ждал Ингу у Кутафьей башни.
— Чего тебе, Алешенька, понятно? — не удержалась Марьяна.— Ты просто ему завидуешь. Знаете? — Она развела руками, словно бы приглашая всех участвовать в изобличении мужа.— Смешно, но бывший мой супруг завидует Борьке. Правда, Алешенька?
— Завидую, завидую...
— Не хочешь спорить, думаешь — я дура. Но все и так видят: у Борьки — слог, у Борьки свои соображения. А у тебя одни цитаты и связки между ними дубовые. Дуборев ты, Лешенька.
— Амплуа четвертое: Марьяна Сергеевна в роли государственного обвинителя,— раздраженно сказал Сеничкин.— Идем,— сказал он Борису.— Мать небось давно спит.
— Он у меня переночует,— властно сказал Бороздыка, словно ему поручено было оберегать Курчева.
— Пойдемте,— кивнул Борис.— А ты, Алешка, не разводись. Видишь, какая она красивая.
— Не беги, Борька, дай поцелую,— крикнула Марьяна, но Бороздыка уже вытащил Курчева в коридор.

К ночи опять завернул холод, и, несмотря на выпитое, Борис мерз в узкой шинелишке. Бороздыка тоже дрожал в своем пальтеце, и поначалу они молчали.
Надо было в «коробку». Чего я поперся за ним? — думал Борис.— Небось какая-нибудь халупа. Не приткнешься.
— Может, подъедем? — предложил он.
— Дойдем.
— До вокзалов? — удивился Борис.
— Почему — вокзалов? Ближе.
— Я вас там сегодня видел.
— Это и от женщины шел.
— Однако поздно,— пошутил Борис.
— Так уж вышло,— скромно засмеялся Бороздыка.— Но сегодня у меня ночь свободная. Заварим кофейку, поговорим о серьезном.
По поводу «кофею» у Курчева не было определенного мнения. Он помнил, что кофе по-турецки заказывают в кабаках в самом конце программы, но можно обойтись мороженым или гляссе.
— У Юрки милый дом, но компании стали отвратительные,— сказал Бороздыка.— Как вам понравилась эта кривляка? А муж — прямо жук на палочке. Новоиспеченный гений. Пробивной и дошлый, хотя пока ни славы, ни денег. Все накануне. Но скоро будет праздник на его проспекте.
— Талантлив?
— Нет. Прозападно-еврейский вариант. Сейчас для них самое время. Космополиты снова полезли.
— Вы серьезно?
— Вполне. Русскому человеку сейчас очень плохо.
— Чем? Я думал, евреям плохо. У нас после училища их в самые дыры распихали, а под Москву — никого.
— Не велика беда! Русскому человеку уже тридцать семь лет плохо. Со станции Дно, где государь отрекся.
— Так ведь он немец был.
— Ерунда. Бульварщины, дорогой мой, начитались. Какой там немец? Разнесчастный русский человек.
— Чудно́! А как же «тюрьма народов»?
— Никак. Не было тюрьмы. Была держава. В чем-то даже прекрасная. С реформы 61-го просто великолепная. Гласный суд. Земство. И на́ тебе!.. Чернышевский — к топору!.. А евреи и всякое польское отребье — за бомбы. Кстати, Ингин двоюродный дедушка тоже вложил лепту. В Освободителя метнул.
— Так вы и поляков не любите? — не утерпев, перебил его вопросом Курчев.
— Равнодушен,— отмахнулся Бороздыка.
— А я поначалу думал — вы поляк или еврей. У вас фамилия чудная. Да и вид ненашенский.
— Я потомственный дворянин.
Пойди проверь,— подумал Борис.
— Мне один приятель говорил,— сказал вслух, вспоминая последний разговор с Гришкой,— что всех дворян в расход пустили или выслали.
— Было такое. Но в основном в Петербурге. А я вот уцелел, зачем — сам не знаю.
Кокетливая фраза требовала немедленного опровержения, но Борис, пропустив ее мимо ушей, спросил:
— А почему все-таки русским плохо?
Они шли вверх по бульвару. Несмотря на худобу, Бороздыка задыхался.
— Растлили их. Видели кривляку? Из чудесной семьи, а за кого вышла? За жука-прохиндея. Заразилась его цинизмом и сама насмехается: «Дон Кихот бый написан в Суздае». При чем тут Дон Кихот? Изгадяли страну изнутри и снаружи. Крым хохлам отдают...
— Да ерунда это — там же нет границ...
— Не в границах, лейтенант, счастье. Границы нынче ничего не значат. Евреи — те вообще нация без границ. В любую дырку влезут. Прав был Федор Михайлович, защищая черту оседлости.
— Просто Достоевский никого не любил,— сказал Курчев.— И поляков, и немцев с французами — в общем, весь Запад. По-моему, просто боялся.
— Кого? — вскрикнул Бороздыка.— Кого русскому человеку бояться? Русский человек — носитель истины, а истина бесстрашна и бессмертна.
— Спорьте, сколько хотите, но Достоевский боялся Запада. И поляков боялся. Сколько восстаний они тогда поднимали! Но почему невзлюбил евреев, этого не знаю. Может быть, за то, что Христа распяли. Но Христос сам был евреем, так что там так на так выходило...
— У вас, лейтенант, в голове каша. Каша и каша, и еще раз она самая. Достоевский никого не боялся. Он лишь не хотел, чтобы нечистый дух Запада, дух стяжательства, скопидомства, немецкого бюргерства, французской скаредности, английского высокомерия и еврейского прохиндейства растлил чистое русское сердце. Русская душа была призвана спасти Европу. Русский народ — богоносец, а его развратили, испоганили. Нам сюда.— Бороздыка свернул с бульвара и, перейдя трамвайную линию, потащил Курчева в проулок.— Достоевский страшился, что народ забудет о своем предназначении. Так оно и случилось.
Борис заметил, что чем дальше они отходили от крапивниковского квартала, тем больше важничал его спутник, а в этом глухом, недоступном ветру проулке в голосе Бороздыки даже зазвучало презрительное, как у экзаменатора, добродушие.
Они свернули в подворотню большой шестиэтажной коробки тридцатых годов. Курчеву казалось, что Бороздыка должен ютиться в какой-нибудь деревянной халабуде. Но дом, хоть и обшарпанный, был на порядок выше крапивниковского.
Авось клопов не будет,— обрадовался Борис.
— Шестой этаж. Лифт не предусмотрен,— не теряя важности, оповестил Бороздыка.
— Достоевский писатель охранительный,— сказал Курчев, услышав тяжкое пыхтение хозяина.
В подъезде стояла тьма кромешная. Бороздыка шел на полмарша впереди.
— Помните детский стишок «Жили три друга-товарища в маленьком городе Эн. Были три друга-товарища взяты фашистами в плен»? — спросил Борис. Молодой, хотя и заматерелый, он подымался чуть ли не пританцовывая.— Так вот, первого стали допрашивать — молчал, второй молчал, а «третьего стали допрашивать, третий язык развязал: „Не о чем нам разговаривать", — он перед смертью сказал». То же и Достоевский. О чем ему было говорить с Западом, когда там в конце прошлого века были электрические доилки, а коровники чище наших госпиталей? Что о нем говорить, когда у нас под Москвой, где я служу, прошлой осенью колхозницы выкопали картошку, а председатель повез ее на базар и всю пропил? Потому и мечтал Достоевский о железном занавесе. Не для всех, конечно. Себе он разрешал в западную рулетку баловаться и женину русскую тальму бюргерам закладывать.
Курчев нарочно злил Бороздыку: сам он Достоевского читал с восторгом, вместо лекций сидел в читалках, отламывая в кармане втихую по малому куску хлеба. Весь Достоевский (марксовского издания) был проглочен именно так и потому сросся с кисловатым запахом черняшки и легкой изжогой.

— Не кощунствуйте! — прошипел Бороздыка, звякая ключом.— Сволочной замок...

Дверь все-таки открылась, и хозяин, схватив Курчева за руку и ступая на носках, потащил через темный, видимо, заставленный сундуками и шкафами коридор.

Комната в свете настольной лампы без абажура была именно такой, какой и представлял ее себе Курчев: грязной, пыльной и полной книг; вместо дивана тут стояла раскладушка со скомканной постелью. Письменный стол занимали чайник, сковорода и подстаканник, книги же заполняли стеллажи, два стула, подоконник, и еще одна стопка, перевязанная то ли для букиниста, то ли только что купленная, громоздилась у самых дверей.

— Располагайтесь. Давайте шинель. Что еще осталось в нас русского, кроме таких ночных бдений?

— Ну, это как раз не русское — спорить полночь за полночь,— сердито сказал Борис.— То есть русское, но оно от разночинцев пошло, от Белинского. А дворяне, как я понимаю, по ночам жженку пили,— поддел он хозяина, понимая, что выпивки тот не держит.

— Я вам кофе сварю,— сказал Бороздыка.— Ваш реферат меня заинтересовал, хотя вы бесконечно невежественны. Обижаться нечего. Ваш кузен тоже необразован. Но вы ищете, и я это ценю.

— Спасибо.

— Вы ищете, но вы не найдете. Что значит последний человек? В сталинской формулировке (помните?) и то больше духовности, чем в вашем реферате. Отрицание религиозности порой есть выражение скрытой духовности. Ваше же отрицание — просто нуль. Мистика — высшее достижение человечества. Высшее, лейтенант.

Бороздыка достал из ящика письменного стола банку с кофе, но она оказалась пустой. Тогда он, сев на раскладушку, сказал печально и важно:

— Если вам непременно нужно выпить, можно раздобыть у таксистов.

— Не надо. Мне с утра к начальству.

— Кончился кофе. А то бы я вам дал зерен пожевать. Отбивает запах,— усмехнулся Бороздыка.— Так вот и живем...— Он обвел рукой комнату.— Зато не служим и, главное, никому не кланяемся. За свободу надо платить, молодой человек.

— Разумеется. А вы свободны?

— Да. Что-что, а свобода у меня совершенно моя, как сказал бы Федор Михайлович. Вот этого я ни на что не променяю. Ни на красивую мебель, ни на красивую женщину для мебели.

Это он про Ингу,— подумал Курчев, чувствуя, что любопытный разговор все-таки состоится.

— Я свободен, хотя и загнан. Я свободен, но я как кладбище. В этом столе,— он показал на сковороду,— и вот здесь,— он осторожно похлопал себя по лбу,— столько похоронено, столько начато и не завершено, что хватило бы на три Оксфорда и две Сорбонны.

— Почему так? — лениво спросил Курчев: ему хотелось, чтобы разговор повернулся к реферату или к таинственной Инге.

— Почему? Лейтенант, вы не младенец. Сами понимаете, что сейчас ничего не опубликуешь. Все перекрыто. Даже пробовать нечего.

— А вы пробовали?

— Нет. Я выше этого. Просить, умолять, к тому же корежить свои мысли — нет уж, увольте.

— Дайте почитать,— сказал Борис.

— Не могу, молодой человек. Я пишу для себя. Я не тщеславен.

— Но мне вправду интересно.

— Перетоскуете,— отрезал Игорь Александрович.— Я, повторяю, не тщеславен. Чужое мнение меня не интересует. Раз нельзя публиковаться и просвещать народ, нечего и писать. Что толку, лейтенант, от вашего реферата, если его не напечатают и дальше Крапивникова его и показывать небезопасно?

— Вроде так,— кивнул Курчев и вдруг, вспомнив, что часть третьего экземпляра куда-то исчезла, сказал с вызовом: — Но пока я не написал, откуда мне знать, можно это печатать или нельзя? Знаете, как в армии, «откуда ты знаешь, что приказ невыполним, если ты не пытался его выполнить»?

— Софистика. Софистика, демагогия и чепуха. Читайте лучше Леонтьева, Бердяева, и никакая аспирантура вам не понадобится. И оставайтесь в армии. Шинель вас прикроет. На хлеб зарабатывать вам не надо. А мысли ваши всегда при вас. Маршировать их никто не заставит.

— Как будто оно так,— кивнул Курчев.— Только офицер из меня, как из дерьма ракета, так что я демобилизнусь. Жилье мне светит. Недалеко отсюда.

— Женитесь?

— Нет. А вы?

— Видимо, к тому идет. Не хочется, конечно. Но, с другой стороны, удивительное существо. Такой самоотверженности больше не встретишь.

— Простая русская душа,— с невинным видом поддакнул Курчев, вспомнив, что у Крапивникова невесту называли «татарским игом».

— Что значит — русская?! — взвился Игорь Александрович.— Я говорю о духе, а полового шовинизма во мне нет. И, кроме того, если хотите, татары спасли Россию.

— Вот как! — удивился Курчев. Он приткнулся у письменного стола, и его правую щеку припекала полуторастосвечовая, лишенная абажура лампа.

— Да, они самые. Если бы не татары, мы бы превратились в безъязыких белорусов. Нас бы онемечили германские ордена. А татар мы растворили в себе. Собственно, иго и не было игом. Церкви трудились. Татары не вмешивались в наши дела. А посмотрите, что сделали немцы с Литвой и Белой Русью? Это же немые народы. Ни культуры, ни истории...

— Белорусы здорово партизанили. Да и литовцы тоже. Недаром их столько в Сибири очутилось...

— Вы снова, лейтенант, не о том. Вы слишком прямолинейны.

— Возможно. Только и война дело прямолинейное. Выходит, татары нас от немцев защитили. А почему мы сами от татар не защищались? Нас ведь больше было. Где тогда наша церковь была?

— Татары помогли сохранить русский дух. Через тернии к звездам. Слышали?

— Да. А со звезд нас стащили шестидесятники? Так я вас понял?

— Приблизительно. Через муки ига мы обрели национальную идею. Мы были духовнее татар. Татары нам не были страшны. А немцы...

— Были духовнее нас,— подсказал Курчев.

— Не спешите, молодой человек. Новгород не уступал Ганзе.

— Оттого-то его наши цари и жгли? — спросил Курчев.— Но где мне с вами спорить? Вон вы сколько прочли! — И он обвел рукой стеллажи и книги на полу и подоконнике.— А я всего-то и помню, что стишок Алексея Толстого «надели шаровары, поехали на Русь». Только что это за дух и что за идея, если они произросли из рабства?

— Междоусобицы всюду были.

— Всюду-то всюду, но у нас этого добра был перебор. Князья монголам нас прокакали. Потому я бы на месте дворян заткнулся и скрывал свое происхождение. Если кто и погубил Россию, так только они. И в давние века, и в наш — особенно.

— Лейтенант, я готов делать скидку на комплексы, но все-таки нельзя давать им волю. Дворяне были единственным светом в русской тьме. Дворяне, а не купцы. Спросите детей. Все они хотят быть д'Артаньянами, Атосами. Все поклоняются королям и князьям — по Вальтеру Скотту, а не по Гайдару. Жажда благородства — первая потребность невинной души. Вы сами небось мечтали оказаться знатного рода.

— Нет,— соврал Борис.— Гайдара и Павлика Морозова я не чту, но и дворянство для меня — пшик...

— Что же для вас не пшик?

— Не знаю. Не стеснялся бы, сказал — истина. Но истина не может быть целью. Истина изначальна.

— Ничего, ничего, лейтенант,— подбодрил Бороздыка.— Кое-чего вы все-таки достигли. Вы мне нравитесь. Если человек ощущает свою бездуховность, значит, он не совсем бездуховен. Вы молодец.

— А если импотент ощущает свою импотентность, он уже не совсем импотент? — спросил Курчев и сам же рассмеялся.

— Вот мы и подошли к женщинам,— обрадовался Бороздыка и хихикнул.

— О них вам лучше с кем-нибудь другим поговорить. У меня с ними полное собрание неудач. Как говорят в нашем полку, набор колунов на шее.

— С Ингой — тоже?..— не удержался Бороздыка.

— Нет. Я ее только раз и видел,— смешался Курчев и от смущения ляпнул: — А вот Крапивников был бы лихим попом...

— И кокнули бы его, как в стишке. Помните?

На заборе про актрис
Интересно пишут.
— Ну-ка, батя, становись,
Прочитай афишу!

— Чудно́,— усмехнулся Курчев.— Прямо, как в цыганском хоре.

Эх, раз, еще раз,
Почитай афишу...—

пропел он хрипловатым от коньяка голосом.

— Ничего себе смех!.. Или приходилось?..— спросил Бороздыка.

— Что? — не понял Курчев, но тут до него дошло.— Нет, я — никого... Только однажды саданул в воздух — прекратить самосуд.

— Значит, против расстрелов? Что ж, и на том спасибо. А знаете, кто этот подлый стишок сочинил? Уткин.

— Впервые слышу.

— Был такой. И знаете, чем он кончил? Прибарахлился в Румынии, самолет не выдержал груза, и все расшиблись. Человек известной нации. «Почитай афишу», вот и дочитались. Поголовная грамотность. Все испохаблено!..

— Им тоже досталось,— сказал Курчев.— Прошлый год — дело врачей...

— Что ж, я не за месть. Но ведь отчасти и поделом,— ответил Бороздыка.— Что они творили в России? Расправляться с ними, конечно, не следует — надо просто выслать всех на Иордан, пусть греются там на солнышке. «Почитай афишу»! Вы только вдумайтесь, лейтенант! Мерзавец Троцкий носился со своей черной матросней, пускал в расход направо и налево...

— Вы всерьез? Я думал, пускали в расход только в тридцать седьмом.

— Тридцать седьмой — это отголоски, эхо. Восстановление справедливости неправедными средствами. Те, кто поднял большевистскую секиру, через двадцать лет от нее погибли... Сталин хотел восстановить Россию, да поздно спохватился. Но, что мог, он сделал: выпустил священников, которые афиш не дочитали; армии часть вернул. Ведь есть же разница между погонами с просветом и без?.. Или вы сразу стали офицером?

— Не сразу, но разницы тоже нет,— солгал Борис.

Бороздыка все-таки нащупал его больное место. За день до производства в лейтенанты Курчев самовольно нацепил офицерские погоны, отправился в Питер и на Невском, закадрив шикарную девицу, завалился с ней в полуподвальный кабак. Погоны, несколько квадратных сантиметров белых ниток, сразу расширили его возможности.

Но сейчас, когда он думал лишь о демобилизации, вспоминать о том первом загуле было стыдно, и он сменил тему:

— У вас, что, многие так думают? — спросил он Бороздыку.

— Вопрос ваш не офицерский, а скорее полицейский... Но я отвечу. Группы у нас нет, но есть общее чувство и общая идея. Она овладевает всеми честными людьми. Собственно, она всегда жила в их душах, но ее глушила ложно понятая стыдливость.

— Понятно.— Курчев поднялся.— Извините, что спать вам не дал.

— Ничего. Я очень рад.

Перейдя Садовое кольцо, Борис прошел Докучаевым переулком, мимо Ингиного дома, к вокзалам. В зале ожидания было суматошно и дымновато, но он, перекусив у стойки, все-таки сумел подремать тут еще часа четыре.

5. ШТАБНЫЕ АМБИЦИИ

Подполковник Затирухин, ладный, выбритый, щеголеватый,— фамилия никак ему не соответствовала — принял Курчева сразу, был вежлив, но все-таки полюбопытствовал, почему лейтенанта, минуя командующего армией, вызывают прямо на набережную, в штаб их войск.

— Писали куда-нибудь? — спросил подполковник, отглаживая длинными пальцами с аккуратными ногтями страницы папки. Но Курчев смекнул, что папка вынута для вида, и не стушевался:

— Писал, товарищ подполковник, Председателю Совета Министров. Мне зарез: невеста пропадает, а ехать в полк не может — аспирантка.

— Так.— Подполковник качнул красивой русой головой.— Так. Что ж, удастся демобилизоваться — ваше счастье. Не удастся — вам не позавидуешь. Есть, лейтенант, порядок, и перепрыгивать, особенно через голову генералов, не положено.

К зданию на набережной Курчев прибыл лишь к одиннадцати. С полчаса его мурыжили в бюро пропусков, но наконец голос в трубке, назвавший себя майором Поликановым, сказал:

— Хорошо, подымайтесь. Авось до перерыва успеем.

Курчев взбежал на седьмой этаж. В коридоре, возле майорской комнаты, сидели несколько золотопогонных капитанов. У одного, наголо бритого, подрагивала на кителе «Золотая Звезда» Героя, и Курчев понял, что до обеда его не примут. Капитаны явно ожидали назначений, робели и разговор вели неинтересный.

— Где тут гальюн? — стараясь придать бодрость голосу, спросил один.— Курить охота.

— Потерпишь,— отозвался второй.

— А вы, ребята, не дрейфьте,— сказал Герой Советского Союза. Лицо у него было хитроватое, но дерзкое.— Чего улыбаешься, технарь? — подмигнул он Курчеву.— Дальше Кушки не пошлют.

— Я назад прошусь, на гражданку,— ответил Борис.

Все повернулись к Борису.

— Неужели силком держат? — удивился Герой.

— Ага. У нас не увольняют.

— А это где у вас?

— У него узнайте,— ткнул Борис в майорскую дверь.

Дверь открылась, тучноватый майор прошел в конец коридора. Курчев привстал, но майор кивнул ему, мол, не вскакивай, здесь тебе не училище.

— Не тушуйся,— сказал Герой.

— А я не тушуюсь,— ответил Курчев.

— Я бы тебя, разгильдяя, сразу бы выгнал. На дух не выношу таких,— сказал один из капитанов.

— Жаль, что увольнялка у вас не выросла,— ответил Курчев.

Капитаны засмеялись.

— Ты какой-то чокнутый,— сказал Герой.— Случаем, не оттуда, ну, не из этого, особого, сам не знаю, как это зовут, ну, не от ...? — Он назвал фамилию генерала.

— Угу.

— Ну и как там? — спросил Герой.— Нас всех вроде туда направляют...— в его голосе послышалось уважение.

— Обыкновенно. Через день на ремень, через два на кухню.

Тучный майор, возвращаясь назад по коридору, неодобрительно поглядел на столпившихся вокруг техника строевых капитанов.

— Пока групп околачивают, а потом — не бей лежачего.— Борис не заметил тучного майора.— Ну, надбавку платят, чтобы не болтали очень. Печки дымят. Дрова пилим сами — солдат не дают. Военларек — дерьмо... Ну это, правда, как где... Хотя вообще — все на один фасон. Техника на первом месте.

— Чего ж когти рвешь?

— Душа болит, домой хочется. А вот вам — будет хорошо,— улыбнулся Курчев Герою.— Выше «ЗБЗ» [1] ни у кого в полку нет. У бати — «Звездочка», и то случайно. А такой,— он кивнул на «Золотую Звезду»,— я во всем ПВО не видел.

— Курчев кто тут? — раздался за спиной голос, и в дверном проеме вырос второй майор, рыжеватый и щуплый.

Клара Викторовна за две недели после катка ни на сантиметр не приблизилась к скальпелю эндокринолога. Первые дни она еще звонила в клинику, справлялась насчет очереди, но, определив, что та движется достаточно быстро и час неминуем, перестала звонить, впала в хандру, валялась на кушетке и читала немецкое издание «Тысячи и одной ночи». Восточные сказки отвлекали Клару Викторовну от ее неопределенного, хотя и по всем статьям неблагополучного состояния. Хотя вообще-то Клара Викторовна предпочитала Генриха или уж, на крайний случай, Томаса Манна. Но сейчас эти авторы не давали «забыться и заснуть», а ей только того и хотелось. Каждая их страница возвращала к не радовавшей ее жизни, и, расставив немецких классиков по полкам, Клара Викторовна решила покамест к ним не прикасаться.

Она просыпалась часа за два до рассвета, зажигала свет, принималась за сказки, потом лениво завтракала бутербродом или холодной котлетой и, полуумытая и нечесаная, в халате или псевдовосточных шелковых шароварах, валилась опять на постель и читала, читала запойно.

Курчев позвонил ей в первом часу. Голос у него был такой мрачный, что она даже удивилась. Но и мрачный лейтенант мог внести некоторое разнообразие в ее жизнь, и Клара Викторовна радостно крикнула в трубку:

— Заходи, заходи, лучший друг. Я по тебе соскучилась.

— Сейчас буду,— буркнул он.

Она кинулась причесываться, прибирать в комнате. Том сказок убрала в шкаф для посуды, на кушетку бросила «Доктора Фаустуса». Но не потому, что притворялась или стыдилась: просто ей не хотелось выпячивать свое дурное настроение.

— Что с тобой, лучший друг? — спросила Клара Викторовна, удивляясь, почему это лейтенант не обнял ее и не поцеловал, хотя она бросилась к нему в дверях на шею.

— Амба, Кларка. Хана мне — хоть топись.

— Ну что ты, лучший друг, что у тебя случилось?

— Все дерьмо,— повторил Курчев, отмякая.

[1] «За боевые заслуги» — медаль.

Полчаса назад майор Поликанов ввел его в кабинет, сел за стол и, уставясь на него необычайно светлыми, без ресниц глазами, спросил:

— Чего ты там агитировал?

Сидевший за вторым столом майор с интересом поднял голову.

— Вы где служите? — спросил майор Поликанов.— Что за политинформация в коридоре? Вы знаете этих людей? Вам поручено было с ними беседовать? Что за разболтанность? Разгильдяйство. Поглядите на себя, лейтенант. Разве так должен выглядеть офицер? Дай ему зеркало,— попросил майор Поликанов тучного сослуживца.

Тот вытащил из ящика большое — и откуда оно тут взялось? — прямоугольное зеркало.

— Возьмите,— брезгливо сказал майор Поликанов.

Курчев положил зеркало на край стола.

— У меня экзема,— соврал он.

— А сифона у вас нет?

— Был, но вылечили,— огрызнулся Борис.

— Ну так вот, полечитесь еще. До двух часов,— усмехнулся майор.— Понюхаем пока вас. Где его дело? — Он повернулся к напарнику.— Затирухин почесался или нет?

— Погляди у себя. Вчера чего-то присылали,— откликнулся тучный, и по его тону Курчев понял, что между зданиями на окраине и на набережной глухая вражда.

— В два часа возвращайтесь. Пропуск будет,— буркнул рыжий майор, ныряя с головой в открытую тумбу стола.

— Слушаюсь.— Курчев поднялся и, больше обычного сутулясь, вразвалку вышел из комнаты.

— Ну как? — спросил Герой: от любопытства он даже поднялся перед лейтенантом.

— Хана,— мотнул головой Борис; он решил, что вызов на два часа грозит не только отказом в демобилизации.

Перетянувшись в гардеробе портупеей, он выскочил на холодную мартовскую набережную и вдруг решил позвонить Шустовой.

Но теперь, сидя с ней рядом на кушетке, Борис едва ли не жалел, что завалился сюда. Псевдовосточные шаровары вместе с такой же блузкой не столько прятали, сколько обещающе обнажали полузабытые Курчевым прелести Клары Викторовны. Сама она была мила, даже нежна, гладила лейтенанта по щеке и прижималась грудью к его плечу.

Эх, не надо было мне сюда,— злился Борис, а сам между тем уже впивался в отдающие табаком и лимоном губы Клары Викторовны, а его руки уже высвобождали из-под псевдовосточного шелка ее большие груди и бедра.

— Ну, ну, полегче, лучший друг,— неестественно хихикнула Клара Викторовна, то ли сопротивляясь, то ли раззадоривая лейтенанта.

Его раздражал ее резковатый визгливый голос, но он уже пересек ту черту, когда еще можно заставить себя отсесть на край кушетки.

Полгода — не пустяк,— плыло в размягшем вялом мозгу: после Клары Викторовны женщин у него не было.— Черт... Сейчас опять сорвусь. И зачем я к ней пришел? Надо бы скинуть сапоги. Все-таки я подонок... Нельзя так.

Ему было не по себе, оттого что голова, хоть и вяло, но работала, жила отдельно от тела. Голова думала о своем, меж тем как тело все переместилось в низ живота, желая полного и быстрого исхода.

По-собачьи. Ну и подонок ты,— ползло в голове.— Подонок... Инге звонил... Влюбленный. Подонок. Надо бы раздеться. В два — к майору Поликанову.

— Ну, ну, лучший друг,— задыхалась Клара Викторовна.— Ну, опять торопишься,— уже не хихикала, а недобро шептала ему в ухо.

Наваляясь на нее почти всем пятипудовым весом, Курчев закрыл глаза, чтобы не видеть сероватое, в черных точечках, такое богатое и такое нелюбимое, но сейчас позарез нужное ему тело.

— Ну, ну,— хрипела женщина, позабыв прошлогодние мучения и надеясь, вдруг на этот раз повезет.— Ну, лучший друг,— она больно укусила его выше расстегнутого ворота. Теперь, когда они совсем слились, Курчева забило и, как ему казалось, било долго, дольше, чем всегда; он надеялся, что и Кларе Викторовне посчастливится больше, чем на юге. Но тут в нем что-то рухнуло, и он повалился рядом с ней, усталый, тяжелый и беспомощный, как после часового марш-броска в противогазах. Сквозь смеженные веки он видел, как недовольно, точь-в-точь капризная девчонка, дернулась большая, крепко сбитая женщина и, вскочив с кушетки, бросилась в коридор. Видимо, в квартире никого не было.

— Подонок,— сказал Курчев вслух.— Подонок. Не надо было сюда идти. Помера бы у парапета или в столовку сбегал.

Отогнув рукав кителя, он взглянул на круглую «Победу». Было три минуты второго.

— Не по-людски это. Не надо было,— пробормотал он печально, прислушиваясь

к плеску воды, проникавшему из коридора через незахлопнутую дверь.— Влиппуть боится.— Он встал с кушетки и выглянул в коридор.

Квартира была небольшая. В коридоре была еще одна, наглухо закрытая, видимо, соседская дверь, распахнутая дверь в кухню, да еще две узкие полудвери, видимо, от служб, за одной из которых бурно текла вода.

Он постучал. Вода все лилась. Он вновь постучал и обнаружил, что дверь не заперта. Клара Викторовна стояла под душем. Ее прежде сероватое тело белело в полутьме душевой, освещенной лишь узким тусклым оконцем. Ванны тут не было; под душем на полу лежала большая решетка.

— Промокнешь, лучший друг,— сказала женщина. Голос ее сквозь шум воды казался усталым, но не раздраженным. Она стояла спиной к двери.

— Ты что? — она обернулась, услышав стук сбрасываемых сапог.— Ты что, лучший друг?

— Завидно,— усмехнулся он и, подавляя остатки стыда, быстро разделся.

— Ты ополоумел,— засмеялась Клара Викторовна, когда он встал за ее спиной.— Щекотно. Часы сними, чижик.

От стащил с руки уже намокшие часы и бросил в раструб сапога.

— Щекотно,— повторила женщина. Он обнял ее сзади, ласково, без желания. В серой тьме душевой тело ее казалось лучше, да и Курчев не присматривался к нему, блаженно стоя под широкими струями воды, смывавшей и невыспанность, и провал с демобилизацией, и конфуз на кушетке.

Как лошади,— пронеслось в мозгу сравнение, но в нем не было ни стыда, ни скабреза. Он стоял за спиной женщины, приникая к ней, вжимаясь в нее, и желание хоть и росло, но росло медленно, плавно, без толчков, и пока что жалости и ласковости было в нем больше всего.

— Лучший друг, лучший...— шептала женщина, водя его рукой по своей груди, животу, бедрам, везде-везде, нежно распаляя его и грубо себя.

Под льющейся водой тело ее казалось непривычно радостным, в нем не было ни обиды, ни раздраженности, а только нежность и истовость. Курчев это чувствовал грудью, животом, низом живота, по-прежнему стоя сзади женщины, которая, не выпуская его руки, склонялась к стене, пока не оперлась на трубу, что поднималась от кранов к горловине душа.

Так Борис ее и взял, бережно и ласково, все еще испытывая больше жалости, чем страсти, и по-прежнему недоумевая, почему она так счастлива. А она была счастлива, вздрагивала, вскрикивала и замирала в шуме льющейся воды, и необыкновенно нежна потом, когда, переборов истому, вытирала его, как ребенка, огромным махровым, по-видимому, немецким полотенцем.

Банная идиллия,— застыдился Курчев. Но ощущение скромного довольства не покинуло его, когда в полной выкладке, в шинели, перетянутой офицерским ремнем, он прощался с женщиной в дверях. Соседей все еще не было, и Клара Викторовна больно целовала его в заросшее двухдневной бородой лицо.

— Приходи, лучший друг. Как открутишься, сразу приходи.

— Хорошо,— кивнул Курчев, не уверенный, что удастся открутиться.

Он сбежал по лестнице. Ветер возле ее дома дул не так сильно, как на набережной, и Курчев пошел не торопясь. Он все равно уже опоздал. Ноги шли в сторону набережной, а голова думала о Кларе Викторовне и о биологии — что ту, что другую он никак не мог растолковать.

Вот она, жалость. Жалость и нежность. Силой того не добьешься. Да и сила не так чтоб велика, а жалость города берет...— рассуждал он, щурясь от ветра.— Ну, города не города, а все-таки ей было хорошо. А мне? А мне так... Конечно, хорошо, потому что и ей, вернее, из-за нее... Тьфу, запутаешься! Главное, не с кем про это потолковать. Гришка уехал. А может, толковать про такое не надо. Не поймут. Еще раз так удастся — втюришься, и тебе конец... Ты тоже хорош. Не поговорил с ней — ей же в больницу ложиться. Придется возвращаться, хоть и страшно, и стыдно. Все не то... Вдруг еще полюбишь — и прощай все. И рефераты. И Инга.

Об аспирантке раньше надо было думать,— перебил он себя.

Да, с Ингой ничего не выйдет. Теперь зароют меня у Рацупкина на двадцать пять лет, и амба, Борис Кузьмич. Вот и остается жалость — религия рабов.— Он свернул в длинную тихую улицу, тут ветер шумел только вдоль первых домов. Навстречу часто попадались офицеры, и Курчев механически отмахивал замерзшей ладонью; вблизи набережной надевать рваные перчатки не стоило.

А что, раб и есть раб,— спорил он с кем-то невидимым, морщась от холода.— Раб не обязательно хам. Я не выбирал рабства. Так без меня вышло. Да и не фокус быть вольным на свободе. Ты вон свободным будь, когда давят со всех сторон. Ничего плохого нет в жалости. Ты пожалеешь, тебя пожалеют. Можно жениться на Кларке и потащить

ее в часть. Только обхохочут ее. Чертова биология. Не могу запросто относиться к этой штуковине. Переспишь днем, тянет жениться на всю жизнь. Да и добро бы по любви, а то совесть проклятая заставляет.

— На всех не переженишься,— сказал он, пробираясь между полуразрушенных бараков к набережной Москвы-реки. Снова задул холодный ветер, и, уже не размышляя о жалости, Курчев заспешил вдоль парапета к зданию, где должна была определиться его судьба.

Он опоздал на сорок минут, и в коридоре из четырех капитанов сидели только двое.

— Тебя уже вызывали,— сказали они разом.

Курчев кивнул и, не постучавшись, открыл дверь. В комнате прибавилось народу. За третьим столом восседал крохотный, очень моложавый подполковник, а сбоку от него — Герой Советского Союза. У тучного майора сидел второй капитан, и лишь рыжий Поликанов был свободен и держал перед собой стоймя журнал «Советский воин», как а вагоне метро, когда не желаешь уступать место женщине.

— Начальство задерживается... Позже не мог? — спросил он сердито, будто только ради Курчева и сидел в этой комнате.

— Виноват,— сказал Борис и, не ожидая приглашения, сел.

— Значит, сами четвертый? — раздался за спиной лейтенанта голос крохотного подполковника.— Жена и двое дочек? Старшая, 1939 года рождения, Наталья Федоровна?

— Так точно,— ответил Герой.

— Погодите, товарищ капитан, тут что-то не так...— подполковник шелестнул страницей.— Сами вы Игнатий Сергеевич? Накладка?

— Нет, все правильно,— глухо и, видимо, краснея ответил Герой, и Курчев с трудом удержался, чтобы не обернуться,— Я на вдове женился.

— Понятно.— Подполковник, чувствуя, что к ним прислушиваются, сбавил голос.

Майор Поликанов, тоже заинтересовавшись, подмигнул Курчеву: мол, вдова не промах — какого парня подцепила, и выбрал из лежащих на столе папок розовато-серую, курчевскую.

— Так, Курчев, Борис Кузьмич,— прочел он с некоторой даже торжественностью и, будто священнодействуя, раскрыл папку. Из белого бумажного кармашка высунулась фотография размером 9×12. Тесный казенный китель, в котором снимались по очереди курсанты всех четырех взводов, вкупе с четырехмесячными усами отдавал чем-то прошловековым, гусарским. Курчев, который никогда в жизни не был хорош и сегодня менее всего походил на армейского ухаря, поневоле залюбовался фотографией. Майор, поймав его взгляд, затолкнул снимок в кармашек.

— Покразуха, а? — Он снова подмигнул, намекая, что между лейтенантом и фотоснимком нету ничего общего. После обеда майор слегка подобрел.

Может, вроде меня, к какой-нибудь знакомой сбегал,— подумал Борис.

— Чего опоздал? У бабы был? — словно подслушав лейтенанта, спросил Поликанов.

— Ага.

— Вот еще потаскун на мою голову,— пробурчал майор и начал негромко читать личное дело техника-лейтенанта Курчева Бориса Кузьмича. Вопросов в анкете было много, и вопросы были длинные, зато ответы удивительно немногословные. Только пункт «образование» на минуту задержал глаза майора.

— Да, не соответствует,— вздохнул Поликанов.— На гражданке ты академик, а у нас — курам на смех.

— Так точно.

— Не участвовал, не находился, не привлекался, не имею, не имею, не имею,— медленно читал майор выведенные четкой тушью ответы.— Холост,— наконец дошел он до семейного положения.— А пишете — женат.

— Никак нет,— усмехнулся Борис.— Только собираюсь.

— Или ошибся? — Майор пролистнул дело. К нижней обложке папки было подколото курчевское письмо в Совет Министров.

— Вот.— Майор отцепил два листка послания, и Курчев пожалел, что не надел в коридоре очки. На первой странице наискось, размашисто и уверенно, была определена толстым синим карандашом его судьба, а как, он по близорукости не видел.

— Сиди, сиди. Это не для тебя.— Майор, заметив потуги лейтенанта, положил страницу текстом вниз.— Да, не женат,— проглядел он вторую.— Собираешься. У нее был?

Борис кивнул.

— И чего тебя на образованных потянуло? Бабам от образования один вред. Это у Затирухина с академиями носятся, технических набрали и нос дерут,— хмуро пробурчал Поликанов, и Курчев понял, что у самого майора с образованием худо и (что для Курчева было куда важней) тут, на набережной, завидуют их армии, ее особому статусу, побаиваются и, когда бы могли, с охотой насолили ее командованию.

— Образование — это хрен без палочки,— повторил майор.

— Я им и говорю,— кивнул Курчев,— а они держат... У меня ж всего курсы, а техника там... сами знаете.— Невинным взглядом он поглядел на Поликанова, понимая, что тот «овощехранилища» во сне не видел.

— Слышал, знаю,— отмахнулся майор.— Показуха одна. Показуха и сплошные разгильдяи, вроде тебя.— Он провел по своей гладковыбритой щеке. То ли его раздражала небритость Курчева, то ли у него плохо росла борода.

— Предложено с вами разобраться,— наконец сказал он.— Предложено,— повторил, и у Курчева сжалось сердце от тоски и унижения.

Этот щуплый ничтожный армейский чиновник лениво проглядит разные байки в тощем военном журнальчике, попытается решить кроссворд, зевнет и, как ему на душу ляжет, так и определит твою судьбу. И все. Будь ты разгениальный или раздерьмовый, будь ты злой или добрый, холостой или женатый, русский или татарин, молодой или старый — все одно. Как этому рыжему и щуплому пожелается, так и будет. Жаловаться некуда, писать некуда. Год назад был Сталин. Был Сталин, и, как Сталин хотел, так и было. Сталин менял кого вздумается, сажал, пускал в расход, возвращал из лагерей, снова сажал, выселял целые республики — и все считалось правильным, потому что это делал Сталин. Никто не кочевряжился. Все соглашались и аплодировали. Год, как Сталина нету: стали армию распускать, налог селу скостили, в Корее замирились — все вроде идет не хуже, чем при вожде. Даже бумаги втрое быстрее ходят. А сидят вместо Сталина такие вот щуплые и рыжие.

Напоить его, что ли? — соображал Борис, глядя на майора.— А как? Гришка бы придумал. А я — тюфяк...— И от бессилья и зависимости от этого плюгавенького человечка он, вместо того чтобы подольститься к майору, затравленно глядел на него.

— Ну и разобрались? — спросил, не разжимая челюстей.

— Разберемся. Не ерепенься. У меня все. Можете быть свободны.

Курчев поднялся, понимая, что дело его швах. Но оттого, что терять было нечего, напоследок спросил уже без всякого страха:

— А подполковнику Затирухину что доложить? Товарищ подполковник велел держать его в курсе: он сказал, если вы меня не уволите, он меня со света сживет.

— Можешь послать своего Затирухина,— усмехнулся майор, и Курчев тотчас просиял.— Спросит, скажи, без него решат. А сам позванивай. Почта когда еще до вас дойдет, а я тебе по проводу скажу, подписано или нет. Бывай. Счастливо.— И, привстав, майор протянул руку не помнившему себя от счастья лейтенанту.

Ожидая Курчева и добродушно поругивая начальство, которое для каких-то своих глупостей задерживало его, Клара Викторовна убралась в комнате, приоделась, надушилась, подкрасила губы, ресницы и устроилась в кресле. Настроение у нее было совсем вокзальное — казалось, подойдет сейчас счастливый поезд, и она помчится на нем бог знает куда, да и не важно куда, просто ей будет хорошо и весело.

Курчев не звонил, но Клара Викторовна сидела в кресле чинно и строго, словно была не в своей комнатенке, а в огромном зале ожидания, и на нее глядели тысячи мужских и женских глаз и пытались догадаться, кто она такая, куда едет и кого ждет. А она сидела в кресле (собственно, это было кресло-кровать), нарядная и таинственная, равнодушная к любопытным взглядам бесчисленных мужчин и пронзительно-завистливым и оценивающим женщин.

Она сняла с полки томик Томаса Манна (нельзя же при всех читать арабские сказки!). Это были «Признания авантюриста Феликса Круля» — самый легкий из манновских романов. Кстати, конец до сих пор не дописан, хотя, кажется, старику Манну уже под восемьдесят. Сегодня эта книга подходила к ее игривому настроению.

Молоденький лифтер уже стучался в номер жены фабриканта унитазов, назревал самый волнующий эпизод романа, и тут в коридоре прозвенел звонок.

Клара Викторовна медленно и спокойно, словно и в самом деле находилась в зале огромного вокзала, положила раскрытый томик Манна на подлокотник кресла-кровати и строгой, подчеркнутой высокими каблуками походкой вышла в коридор.

Ходят женщины разные,
Как изящны их талии...—

все-таки не выдержала она роли и пропела, возясь с английским замком.

— Это я,— сказала Марьяна.— Извини. Пятиалтынного не нашлось. Если выгонишь, мне хоть в петлю лезть.

В руке у нее был клетчатый чемодан.

— Что? — Округлив глаза, Клара Викторовна уставилась на подругу.

Ох, некстати,— подумала она.— Не хотелось бы, чтобы они тут встретились. Нам сегодня не надо никакого третьего...

— Снимай свою белку,— сказала она Марьяне, стараясь не показывать огорчения.— Смотри-ка, неплохо носится.— Она погладила буро-сероватый мех.

— Скорей я сношусь, чем она. Бр-рр, холодно.— Марьяна поежилась и, войдя в комнату, повалилась в кресло. Томик Манна упал на пол, примяв страницы.

— Извини. Что это? Ни бельмеса я по-гитлеровски. А, про официанта? Помню. Распаляет.

— Оставь,— улыбнулась Клара Викторовна.— Что у тебя стряслось?

— От Алешки ушла. Да, да. Взяла и ушла. У тебя поживу недельку. Это ведь раздвигается? — Она хлопнула по креслу.

— А через неделю вернешься? — Клара Викторовна все еще пыталась придать разговору шутливый тон.

— Не волнуйся. За неделю что-нибудь приищу. Осенью пойду в аспирантуру, авось общежитие дадут. Или Сеничкины расщедрятся, что-нибудь выделят. Все-таки я у них прописана.

— Клюкнуть хочешь? — спросила Клара Викторовна, все еще надеясь, что подруга отогреется и уйдет. Лейтенанту уже пора было возвращаться.

— Хочу,— кивнула Марьяна.— А ты сегодня нарядная, расфуфыр! Ух... А ну, повернись. Какая-то, черт возьми, особенная. Случилось что?

— Да нет, так,— зарделась Клара Викторовна.

— Ну, говори. Вижу, что распирает сказать...

— Нет, ничего. Ровным счетом ничего.

Она достала из немецкого шкафа-буфета заткнутую пробкой початую бутылку коньяка, рюмки, блюдца, сухарницу с печеньем и маленькое блюдце с нарезанными дольками лимона.

Ходят женщины разные,
Как прекрасны их талии,—

напевала она, расхаживая по тесной комнате на высоких каблуках.

Так прекрасны их ноги,
Цвет лица и так далее,—

улыбаясь, подтянула Марьяна.

И с эпохи язычества —
Чудеса мироздания,—
В них первична материя
И вторично сознание.

И такое создание
Вам закатит истерику,
Если дать ей сознание
И не дать ей материю.

— Нет. Честное слово, ты сегодня на себя не похожа. Каблуки. На бал, что ли, пригласили? Сто лет на танцах не была,— вздохнула Марьяна.— Ну не темни. Хочешь меня напоить и выгнать на западный манер? Не старайся. Все равно останусь. У меня дела — швах.

— У всех у вас дела — швах,— сказала Клара Викторовна.— Все вы приходите и плачетесь, а посмотришь на вас — все прямо кровь с молоком. В доноры вас гнать надо. «Амба. Швах»,— передразнила она Марьяну, а заодно и лейтенанта, который бог знает куда запропастился.

— Не кладут в больницу?

— Положат. Успеется... Что у тебя с Алешей?

— Ну и не ложись, раз такая красивая,— пропустила вопрос Марьяна.— Выпьем, Кларка, за твое счастье и мой швах. Честное слово, швах.

Она поставила рюмку на блюдце.

— Ты куда опаздываешь или ждешь кого?

— Не знаю. Еще не знаю...

— Ну, тогда я погреюсь и куда-нибудь подамся. А это у тебя серьезно?

— Не знаю. Пока — это хорошо.

— Ого. Рада за тебя, Кларка, хоть режешь меня без ножа. И Борька что-то не получает свою халупу, а то я бы у него пожила.

— Борька? Лейтенант? — покраснела Клара Викторовна.

— Он,— кивнула Марьяна.— Мне ведь с ним не спать. А халупа все равно пустая стоит. Мачеха с семейством уже выехала.

— Я и не знала, что он москвич.

— Москвич и вообще «неплох на вид». Жалко, что у тебя с ним не вышло... Вчера его у Крапивникова видела. Ничего, вписался.

— Я его не ругаю,— повеселела Клара Викторовна.— Просто чижик еще. Воспитывать было некогда. Вот если снова москвичом станет, тогда...— Она допила рюмку и облизнула губы.

— Бог в помощь,— усмехнулась Марьяна.— Мы теперь с ним друзья по несчастью. Он, бродяга, в Алешкину пассию втрескался.

В дверь позвонили.

Ошибаешься, голубушка,— с торжеством подумала Клара Викторовна, выходя в коридор.

Но это был не Курчев, а разносчица телеграмм.

«НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ СЛУЖБУ ИЗВИНИ ОБНИМАЮ БОРИС» — напечатано было на бланке. Отправлена телеграмма была час назад из подмосковного городка.

— Можешь оставаться, Марьяшка,— сказала Клара Викторовна, возвращаясь в комнату за рублем для разносчицы.— Он не придет.

— Соболезную. А кто он? — спросила Марьяна и бесцеремонно развернула сложенный вчетверо бланк.— Смотри, к ней поехал! — засмеялась она.

— К кому к ней?

— К Алешкиной пассии. Она от любовных печалей скрылась в доме отдыха.

— Всегда ты что-нибудь насочинишь.

— Да нет. Разведка доложила точно. Бедная девочка. Она ходит на лыжах там, а мой обалдуй-супруг сохнет здесь.

— Все ты знаешь, во все лезешь,— недовольно протянула Клара Викторовна.— Зачем же ты за ним следишь, если от него уходишь? Надоели, Марьяшка, твои фокусы. Всех оклевещешь, сама разнюнишься, а окажется, что все — одни пустяки.

— Как сказать. Для меня не пустяки. Мне вот так...— Она резанула ладонью выше груди.— Мне вот так все обрыдло. И я не люблю Алешку, и он меня. И никого я не ругаю. А если тебе жаль этого кресла, так и скажи.— И она по-девчоночьи подпрыгнула на нем.

— Я про другое,— сморщилась Клара Викторовна.— Я про лучшего друга. Он сегодня заходил и, знаешь, был совсем другой.

— Сегодня Левочка был нежен, как писала в дневнике Софья Андреевна,— усмехнулась Марьяна.— Нет, Кларка. Не втрескался он в эту аспирантку. Они и виделись-то всего раз. Это мой дурак в нее врезался, да так, что даже не спит с ней. А Борька здесь ни при чем. Это, кажется, его адрес. У Кости Ращупкина такой же. Ладно, ты только Борьку мне не испорть,— сказала Марьяна.

Счастливый, взмокший Курчев выскочил на набережную, где его тут же остановил артиллерийский полковник. Он сначала выговаривал Курчеву за незастегнутую шинель, потом перешел к нечищеным пуговицам и небритости. Борис молча стоял на ветру, матеря полковника, а тот пилил его, как теща.

А впрочем, спасибо старому хрычу,— решил про себя Курчев.— Второй раз буду аккуратней, глядеть надо, не то еще загремишь напоследок. Теперь улицу переходи только по шашечкам...— И бухнув: «Слушаюсь», быстро пошел вдоль парапета к метро.

Часть третья

ГОРОД

1. ЖИЛЬЕ

Вечером Восьмого марта в доме отдыха устраивали бал, и он прошел бы как обычные танцы, но дом отдыха неожиданно заполнили танковые офицеры и артиллерийские техники. Проходя по коридору в умывальную, Инга увидела, как четверо танкистов о чем-то сердито спорили с двумя техниками. Инга немного выпила: ухажеры кирпичниц принесли в комнату водку, а уклониться не удалось. После двух полных стопок она развеселилась — все равно жизнь пропадает!

— Господа, чего не поделили? — спросила Инга офицеров, сама себе удивляясь.— Идите в зал.

— С вами — всегда пожалуйста,— мрачно ответил красивый техник.

Когда минут через десять Инга возвращалась обратно, танкистов как ветром сдуло, а у второго техника, маленького и лысого, под глазом оплывал фонарь.

— Сначала было слово...— улыбнулась Инга, но офицеры не поняли.

Она весь вечер танцевала с ними, однако оба были мрачны: красавец, очевидно, от природы, а лысый — от синяка и связанных с ним переживаний.

Наконец низкорослый техник разошелся — стал вертеться бойчее и крепче сжимать Ингу, отчего ее разбирал смех. Маленький пыхтелкин,— думала она.

Красавец ей нравился ничуть не больше, и все же она согласилась пройти с ними два километра до ресторана.

В ресторан уже не пускали, и офицеры поплелись за ней в дом отдыха. Мороз прибавил, Инга жалела лейтенантов и гнала их домой, в полк. С полкилометра они кочевряжились, но потом остановили грузовик и полезли в кузов.

После Восьмого марта отдыхающие ходили с больными головами, опухшие. Денег ни у кого не было. Прострадав два дня, ухажеры кирпичниц перехватили у Инги полусотенную на опохмелку, но пить с ними она отказалась и, надев лыжи, побежала на почту. Было морозно, лыжи чересчур скользили. Оставалось всего пять дней — и ей стало жаль так бездарно загубленного времени. А что? Позвоню ему. Кстати, и Теккерея привезет. Тут в библиотеке нету.

Телефонная девушка вскинула голову и неодобрительно поглядела на Ингу, когда та возникла с лыжами у ее окошечка.

— Это через «Ядро» надо,— буркнула она, услышав номер части.— Без денег,— отмахнулась от Ингиной трешки.— Сейчас соединю. Страдаешь?

— Есть немного,— улыбнулась Инга.

— На, говори.— Телефонистка просунула в окошко нагретую трубку.

— Простите, это «Ядро»?

— Ну «Ядро». А тебе чего? — лениво ответил грубый голос.

— Лейтенанта Курчева, пожалуйста.

— Какого еще лейтенанта? Нет у нас лейтенантов. Курчева? Курчев имеется, а по телефону лейтенантов не бывает.— В трубке замолчали, потом тот же голос, но словно издалека спросил: — Курчева там нету? — и ответил вежливее: — Сейчас переключим.

Опять что-то защелкало, и бравый голос пропел:

— Дневальный Черенков слушает.

— Курчева можно? — опасливо повторила Инга.

— Опоздали, гражданочка, Курчев сегодня в отпуск отбыл.

— Куда? — не удержалась аспирантка.

— А вот это он вам сказать должен. Мы не в курсе,— засмеялся Черенков и добавил потише, видимо, кому-то объясняя: — Фря какая-то страдает. Лейтенант ей колун повесил.

Инга вернула трубку в окошко.

— Переживаешь? — спросила телефонистка.

— Не очень. Это несерьезно.

Это действительно было несерьезно, и Инга огорчилась, только выйдя из городка, где ветер дул ей в лицо.

На другой день в обед пришло письмо от матери:

«Девочка, дорогая!

Не знаю, огорчу тебя или обрадую — раньше тревожить не хотелось: ты бы кинулась нас провожать, а ездить туда-сюда — не отдых. Так вот, Ингушка, мы с папой завтра уезжаем в Кисловодск. Всё — твоя Полина. Дай ей Бог здоровья. Достала две путевки — заметь, не курсовки, а самые настоящие путевки. Нам дадут отдельную комнату, и отец наконец-то по-настоящему отдохнет и подлечится.

Я только немного тревожусь о тебе, и еще беспокоит Вава. По-моему, у нее нелады с сердечно-сосудистой. Но ведь ее не расспросишь, вернее, она не ответит. Что поделаешь — возраст! И все-таки она герой: ведь ей восемьдесят четыре, а мне порой кажется, что она моложе меня. Но что-то последние дни она чаще нет-нет да и прикорнет с книжкой, а читать — не читает. Ты, когда вернешься, не очень ее дразни. Впрочем, ты у меня умная, чуткая, и я это напоминаю тебе так, больше по старушечьей манере поучать. Будь здорова и не куксись.

Крепко тебя целую. Мама.

P. S. Отец еще в институте, а то бы приписал несколько строк. Он по тебе скучает».

Перечтя еще раз письмо, Инга собрала чемодан, завещала соседкам четыре ужина, три завтрака, три обеда и с легким сердцем пошла на станцию. Никто ее не провожал.

Не пришлась я и тут,— подумала она, усаживаясь в пустом вагоне.— И там я тоже не ко двору. Ну и ладно, ну и прекрасно. Хорошо бы, еще Вава куда-нибудь уехала. Мне одной всего лучше. Не нужно ничего — ни диссертации, ни этих болтунов, ни этого в страшных сапогах... «Колун повесил» — вспомнила она и рассмеялась.

— Давно надо было уехать,— сказала она громко, потому что вагон был все еще пуст.

Под ногами тепло и ласково, как огромная кошка, заурчал мотор, электричка на четверть наполнилась людьми, качнулась и поплыла в Москву. В оттотевшем окошке среди желтовато-серого снега замелькали редкие полузнакомые названия платформ, которые поезд проскакивал с изюбриным ревом, словно сожалея, что не может здесь зазимовать навсегда.

Спешить ему некуда,— думала Инга, отчего-то торопясь в ту самую Москву, из которой всего три недели назад бежала без оглядки.— Переберусь в большую комнату. Буду вставать когда вздумается... Нет, буду вставать рано и писать по восемь страниц в день. Алеше звонить не буду. И к телефону подходить не буду. Ну, если только случайно...— улыбнулась и тут же прикусила губу, потому что напротив сели двое солдат и они могли понять ее улыбку как заигрывание.

Теперь поезд бежал среди густых елей.

С Алешей — все. Я себя проверила и поняла: все. Да-да — все! — начала Инга сердиться на себя.— Рецидивы могут быть. Но три недели я о нем не вспоминала. Почти...

Однако, несмотря на нерешенность отношений с доцентом, Москва манила, притягивала, и за три остановки Инга прошла с лыжами и чемоданом в тамбур.

В Москве на Комсомольской таяло, но на Домниковке и в Докучаевом снег держался. Весна уже пришла, но пока пряталась, словно непрописанная квартираятка. Перекладывая чемодан и лыжи из руки в руку, Инга торопливо поднималась по переулку.

Дома было пусто и тихо. Вава сидела за шахматной доской, держа на отлете пухлую брошюрку. «Ботвинник—Смыслов» — прочла Инга на коричневой в клетку обложке.

— Готовишься? — спросила она, подходя к Ваве сбоку и осторожно целуя ее голубоаато-седую прядь.

— Зачем примчалась? — спросила старуха, отодвигая плечом племянницу.

— Готовишься? Где тут кто? — Инга кивнула на доску, густо заставленную облезлыми фигурками.

— Не вздумай уверять меня, что тебе интересно.

— Я что, такая тупая?

— Нет. Но это не для молодых. Это забава перед вечностью.— И старуха сердито смешала фигурки.

— Они еще не старые.— Инга взяла брошюру.

— Они — нет... А я — почти что мертвая...— Старуха качнула головой, пытаясь сбить нахлынувшую дрожь.

— Ты? Ты у нас воительница.

Но Вава за три последние недели явно сдала.

Это у них бывает,— подумала Инга.— Я и то часто ужасно выгляжу.

— Ну как, выиграет твой Смыслов? — спросила Инга.— Ты меня подучи немного. Я с тобой ходить буду.

Она поняла, что отъезд отца, тоже любителя прескучной деревянной игры, для Вавы был ударом. Вава три года ждала этого ничтожного, никому не нужного матча. Прошлый раз, когда состязались Ботвинник и этот, ну, с обычной еврейской фамилией, Вава не пропустила ни одной игры. Ужасно волновалась за (теперь Инга вспомнила) Бронштейна, считая, что он шалопай, но шахматист удивительный. Вся шипела, горела и жила полной жизнью.

У старухи не было денег. Пенсию в двести рублей (меньше стипендии первокурсника), несмотря на протесты матери, Вава вносила в общий котел. На прошлый матч билеты покупал ей Ингин отец...

— Не беспокойся. Тошка обо мне позаботился,— прошамкала Вава.

— А для меня не купил?

— Не ханжи, девочка. Я не рассыплюсь.

— Я не о тебе, а о себе. Шахматы становятся формой общественного сознания. В них одних сейчас полная демократия и свобода выбора. Я правильно говорю?

— Приблизительно. Только не воображай, что ты оригинальна. Еще Алехин писал, что шахматы расцветают там, где задавлена мысль.

— Вот видишь. Так что быть мне твоей верной личардой.

— Других дел нет? Без тебя телефон не умолкал.

— Кафедра?

— К сожалению, мужчины.

— А...— скривилась Инга.— Что ж, надо быть вежливой.

Она подошла к круглому столику и набрала номер Бороздыки.

— Игорь? Это Инга. Да, вернулась. Прекрасно. А что в ваших палестинах? Так-то и ничего?..— Уныло-величественный голос Бороздыки удивил ее.— У вас что — зубы болят? Ига, я вас тысячу лет не видела. Представляете, тысячу лет одних лыж и леса. Если вы не чересчур заняты Булгариным, выскакивайте на полчасика. Или подняться к вам?

Я,— подумала Инга,— навязываюсь.

— Минут через сорок,— ответил Бороздыка, не теряя торжественности.— Подходите к магазину радио, проводите меня к центру. Сегодня я впопыхах.

— Замечательно. Радиомагазин мне исключительно подходит.

— А говорят, ничего нового,— сказала она, кладя трубку.— Ига — и впопыхах! Это же нечто небывалое!

— Это что — тот, стрекулист? — спросила Вава.

Прошлой осенью Бороздыка часто обедал у Рысаковых, занимая старших литературными сплетнями. Поначалу он всех очаровал, потом к нему привыкли, заметили его

болтливость и несущественность, и вскоре он прекратил ходить в Докучаев. Рысаковы облегченно вздохнули, однако со временем, втайне друг от друга, стали по нему скучать. Игорь Александрович был как-никак, а развлечением в их улиточном быту.

— Почему стрекулист? — спросила Инга.— Разве он проныра? Хотя не без того...— Она достала из шкафа махровое полотенце.— Ну и что? Все равно я по нему соскучилась, а если не по нему, то по новостям.

— Не простудись,— буркнула Вава.

Через полчаса, замотав по-крестьянски голову шерстяным платком, Инга перебегала набитое машинами Садовое кольцо, напевая:

Стрекулист, стрюцкий,
Стрекулист, стрюцкий...

Было немного неловко, что «стрекулист» или «стрюцкий», которого ты не уважаешь, так тебе необходим. Но даже эта неловкость тонула в общем водовороте радости от того, что вот она, Москва, и все в ней новое, и вот он, первый вечер, с гудящими машинами, неоновой темнотой и ожиданием самого-самого по-студенчески неожиданного.

Если бы Иги не было, его пришлось бы изобрести,— усмехнулась Инга.

Возле радиомагазина редкими кучками подрагивали озябшие спекулянты, предлагая какие-то мудреные конденсаторы, лампы и дроссели.

— У меня нету телевизора,— отвечала Инга. Здесь был деловой народ, с ней не заигрывали.

Бороздыка подошел в длинном рваном пальто и в ушанке со спущенными ушами. Вид у него совсем запущенный,— подумала Инга.— Или я успела от него отвыкнуть? До чего же он удобный экземпляр. По сравнению с ним ты всегда в форме, сама сосредоточенность и работоспособность.

— Как ваш Булгарин? — спросила она, пожимая Бороздыке рукав выше локтя и беря его под руку.— Листа четыре готово?

— Булгарин подождет. Есть дела поважней.

— Любопытно, и что именно?

— Русская культура. Мы решили спасти ее.

— От кого?

— От всех. От марксидов в первую голову и от Запада — во вторую.

— Вот оно что? А как же мне теперь быть с Теккереем?

— Так и быть. На Теккерея, по-моему, никто не посягает. Нынче время космополитизма. Открывают прозападный журнал «Иностранная литература».

— «Интернациональная»?

— Нет, слава богу, иностранная. Но все равно — окно в Европу. Дорога на Запад. А что нам от Запада?

— Кофточки.

— На вас хороши и наши. Либо вы посвежели, либо вас красит эта шаль.

— Спасибо. Но западные платки не хуже. Если честно, Ига, меня Восток не привлекает. Даже в киплинговском исполнении.

— Вас растлили.

— Еще раз спасибо.

— Не за что. Вас растлили, а вы этого не замечаете. Что же до Востока, он никогда не был опасен России. Восток — это необозримые просторы, предназначенные для русского размаха. Только русские способны заселять безлюдные пространства.

— Американцы, конечно же, этого не умеют — где им.

— Американцы выжигали прерии. Только русские способны оживить тайгу и тундру. Янки выстроили цивилизованный крематорий.

— Очень интересно,— сказала Инга.— Интересно и своеобычно. Вам надо поскорее это записать.— Господи, какая скучища!..— подумала она.

— Это не только записано,— самодовольно сказал Бороздыка.— Мы уже кое-что делаем...

— Слово и дело?

— Не придирайтесь. Над страной надругались инородцы. Где величие России? В храмах запустение. В Новгороде и Пскове...

— Там были немцы.

— А Ростов Великий кто раскомиссарил?

— Вы говорите о вещах важных и существенных, но я мало что о них знаю,— смутилась Инга.— Мы еще к этому вернемся. Расскажите, что нового вообще.

— Понятия не имею. Я весь в наших делах и никого не вижу.

— Даже моего супруга?

— Супруг по шею в текучке. Журнал и только журнал.

— А дамы?

— Не знаю. Мне он свои дела не поверяет.

— А ваши дела его не волнуют?

— Нет, он книжник,— хмыкнул Игорь Александрович.

Господи, из него ничего не вытянешь,— подумала Инга.— Совсем ошалел или куражится?

— Вы не слышали, Юрка прочел реферат? Я вам говорила, один лейтенант технической службы написал кое-что о роли личности.

— Я сам его прочел и даже сгубил полночи на беседу с этим фендриком. Не бездарен, но в голове полная сумятица. Никакой ориентировки. Изобретает деревянный велосипед.

— А где он сейчас, не знаете? — отважилась Инга.

— Мы с ним два часа назад расстались. Он отправился к министерским родичам.

Инга почувствовала, что сейчас покраснеет. Но Бороздыка не смотрел на нее. Он шел, горделиво вскинув голову, глядя сквозь очки на ненавистную (прежде горячо любимую!) Москву. Сегодня Инга была ему почти безразлична.

— А как наш великолепный доцент? — осмелела она.

— Лучше, чем я ожидал. Прозревает. От него тут жена уходила, страдание, знаете ли, облагораживает...

— Вот как!..— Инга от неожиданности зарделась, и тут уж Бороздыка повернулся к ней.

— Неужели не слышали? — спросил он, отлично знавший, что его сообщение взбудоражит Ингу.

— Откуда, Ига? Я была в Тьмутаракани. Снег и сосны. Знаете, солнце, воздух и вода...

Господи, я теряю лицо,— мучилась Инга.— Вот тебе и Алексей Васильевич! Вот тебе и забыла-зачеркнула! Значит, мадам его бросила? Нравная мадам. Нет, это удивительно! Взяла и бросила. Бедный Алеша. Но уйти от мужа — это все-таки благородно. Возвышенно и благородно уйти от мужа, если муж тебя не любит. Я ведь ушла... А хорошо бы встретиться с мадам Фирсановой. Теперь ведь она Фирсанова? Здравствуйте, Марьяна Сергеевна. Или она Марианна, как Франция? Францию называют Марианной, а Париж — Лютецией. Кажется, так. Значит, она бросила Алешу. Я ей позвоню и приглашу в кафе... Брось! Что за глупости?! — тут же перебила себя.— Но, главное, он свободен. Почему же не звонит? Нет, звонит. Вава ведь сказала: обрывали телефон. Надо проститься с Игой на углу и сразу на троллейбус. Может быть, он сейчас набирает мой номер. Господи, какая тупость была торчать в доме отдыха! Три недели ухлопала впустую. Три недели. Мне скоро двадцать четыре года. Я уже дама в возрасте... Но какова Марьяна?! Взяла и ушла. Решилась. Наверно, собрала чемодан. А куда ушла? Она ведь, наверно, у них прописана. Он оставил ее без жилья? Нет, наверно, это он ушел. Он ловко... то есть не ловко, а умело... даже не умело... ну, словом, толково все объяснил Марьяне, и она поняла. Алеша помог ей бросить его так, чтобы не страдала ее гордость. А она, несмотря на профессию, оказалась разумной женщиной. Боже мой, у меня к ней почти сестринское чувство. Хоть у меня и не было сестры...

— А куда делась мадам Фирсанова? — спросила Инга ледяным голосом.

— Поначалу ушла к подруге.

...Ах, все-таки ушла. Впрочем, Сеничкины чего-нибудь придумают. Хотя люди они явно черствые. С лейтенантом они тоже как-то не так поступили. Но они-то они, а не Алеша...

— Вы с этой подругой, возможно, и не знакомы,— сказал Игорь Александрович.— Некая Клара Шустова. Она бывала с Марьяной у Юрки. Переводчица, кажется, с немецкого. Уезжала в советскую зону. Впрочем, погодите. В прошлом году она здесь появлялась. Ездила с Сеничкиным и лейтенантом, кажется, в Гудауты или еще куда-то... Видите, как все перепутано.

— Ужасно,— кивнула Инга.— Новостей хоть отбавляй, а вы, Игорушка, жадничали.

— Ну что это за новости...

...Да, действительно, все ужасно перепутано,— подумала Инга.— А лейтенант, оказывается, не промах. Но что-то я об этом слышала. Шустова? Что-то с разводом. Муж моложе и лейтенант тоже, значит, моложе... Что-то говорили на Новом годе. Чем-то она больна. Я тогда подумала, как все это от меня далеко: кто-то болен, а я весела и здорова и рассталась со старым мужем. Какое счастье, что мы оказались не нужны друг другу, что ему вообще женщины не нужны. То есть нужны, но ненадолго,— поправилась она.

— Ига, я вас тут покину и побегу домой, а то у меня Вава одна.

— Что ж, привет Варваре Терентьевне, мамаҥ и Антону Николаевичу.

— Спасибо. Они у меня в Кисловодске. А вы кланяйтесь доценту,— созорничала Инга, зная, что Алеша сейчас ей звонит.

— Передам,— ухмыльнулся Бороздыка.— Он звал меня в субботу к прокурорским предкам.

— Ах вот как?..— сказала Инга, твердо решив никогда не рыдать у Бороздыки на груди.

— Я вам не досказал. Вчера доцент явился к Шустовой, забрал чемодан и супругу

и увва за город. Понимаете, в таких случаях как: либо последняя попытка, либо сызнова медовый месяц.

— Понимаю, как не понять. Счастливого уик-энда, Ига. Привет Марьяне Сергеевне! — И выдернув руку из-под руки Бороздыки, Инга перебежала улицу и вскочила в троллейбус.

Сволочь! Ведь нарочно, нарочно!.. С оттяжкой, как гестаповец. Дрянь,— думала она.— Как тащится троллейбус. Я не выдержу. Гад. С оттяжкой... Так медленно, медленно, как пружину, оттягивал, чтобы ударила побольнее. И еще этот троллейбус еле тащится... Иге повезло. Не живи он на пятом этаже, я бы ему все стекла выбила,— подумала она, сворачивая со Сретенки в переулок.— Брось,— одернула себя.— Чего ты хочешь? Они муж и жена. Жена уходит, муж бежит за ней и возвращает... Твой муж тебя не возвратил. Его из Кащенко не выпустили. Но кому это интересно?.. Ты своему мужу была не нужна, а она своему нужна. Последняя попытка... Медовый месяц... Гад ползучий! Инородцы, величие России. В храмах запустение... Показала бы тебе запустение... Ну, ну, держись.— Она пыталась взять себя в руки.— Не распускайся. И не завидуй, если кто-то кого-то бросил, а кто-то кого-то догнал и воротил?! Тебе ни до кого нету дела. Иди домой. У тебя есть машинка, и печатай свою работу. Печатай главу, пока не отняли машинку. У тебя все отняли — молодость, любовь, любимого — и оставили только машинку... Как красиво! — снова перебила себя.— Как красиво! Ты еще зареви, что предки тебя бросили и развлекаются в Кисловодске.— Она как раз проходила мимо дома Бороздыки, в окно которого минуту назад собиралась запустить булыжником.— Любовь? Любимого?.. Ничего у тебя не было и нету. Ты нищая... Любимого?! Тебе дали его напрокат. Как машинку фирмы «Гермес-бэби». Дали, потому что был не нужен. На подержание. Тоже слово. От корня подержанный. Все мы подержанные. Как говорят, «бэу», бывшие в употреблении. Вы, Инга Антоновна, тоже бэу. Точнее, недобэу. Недоупотребили вас, вот вы и мечетесь. Вам угодно смазливого доцента? А ему вас не угодно. Ему нужны дом и жена и на стороне высокая любовь без постели. Он сытый мужчина. Ему нужна бесплотная красота. Возвышенная. А я не хочу возвышенной. Я хочу самого грубого, самого живого. Я надерусь, и бери меня все равно кто. Я закрою глаза, и бери, кто хочет, меня, потому что я надерусь.

Покачиваясь, будто пьяная, она перешла уже пустеющее Садовое кольцо и свернула со Спасской в свой Докучаев. Какой же он был сейчас тихий, печальный и безрадостный. Казалось, в него никогда не заглядывала весна. Но именно такой он был ей по душе и по мерке, словно он и она были сотворены одновременно.

Инга хлопнула дверью парадного и поднялась по темной старой лестнице. Вава лежала на своей кушетке, примостив шахматную доску на круглый материнский табурет.

— Тебе два раза звонили. Один и тот же голос,— сказала она, даже не пытаясь подняться.

Телеграмму от Елизаветы передали по телефону в среду вечером. Курчев прямо в «овощехранилище» написал рапорт и протянул майору Чашину. Тот оторвался от соседнего осциллографа и покачал головой.

— Ну вот. Только я вас похвалить хотел, а вы — в отпуск. Сейчас не сезон.

— Квартира горит, товарищ майор.

— Залетаев,— крикнул Чашин.— Пошлите солдата в штаб, а то лейтенант вибрирует — развертка вон куда полезла! — Он кивнул на осциллограф Бориса, где импульсы прыгали, как в пляске святого Витта.— Идите, Курчев. Все равно с этой минуты из вас работник, как... в общем, замнем для ясности.

— Слушаюсь. Идешь? — спросил Курчев появившегося в отсеке летчика.

— Иду. Сам передам рапорт,— сказал Залетаев и вышел вслед за Борисом.

По бетонке гулял холодный ветер, но даже сейчас, в темноте, чувствовалось, что с зимой — всё, что она демобилизована и лишь последние дни качает свои права, как сверхсрочник, с которым не продлили договора.

— Федька без тебя пропадет,— сказал Залетаев.

— Выкрутится,— отмахнулся Борис. Ему не хотелось думать о печальном. Только бы Ращупкин подписал!..

— Пропадет,— повторил летчик.— Ты ему вели на технику жать. Комиссуют — на завод устроится.

Только что сменился суточный наряд: из кабинета Ращупкина вышли два младших лейтенанта, оба с наганами, один с красной повязкой.

— Разрешите, товарищ подполковник? — Залетаев толкнул дверь.— К фиnу иди,— сказал он Курчеву, возвратившись через минуту.

— А к Журавлю?

— На хрен ты ему сдался?

Тут же распахнулась дверь, в ней воздвигся огромный Ращупкин в шинели и шапке. Залетаев посторонился и козырнул, а Курчев, не выдержав распиравшей его радости, выдохнул.

— Спасибо, товарищ подполковник.

— В армии, лейтенант, младшие по званию не благодарят,— презрительно, будто сплевывая, бросил на ходу Ращупкин.

Вечер обошелся без бутылки, поскольку военторг Лешка, прихватив Федьку Павлова сопровождающим, отбыл в Москву, а летчик ушел к буфетчице. Борис решил было задать храпака (благо в соседней комнатке сладко посапывал Секачев), но почувствовал, что не уснет, и, нервно помешав угли в топке, не надевая шинели, выскочил к монтажницам.

Ветер гулял вовсю — фонарь у забора раскачивался, как взбесившийся маятник.

Это бегство, и нечего себя обманывать,— думал Курчев.— Ты бежишь — тебе неохота бороться за общее благо. И справедливость ты видал в гробу и в тапочках.— А пальба вверх? — перебил себя, скользя накатанной ледяной дорожкой, по которой утром со смехом съезжали монтажницы.— Пальба тут ни при чем. Просто ты не хотел, чтобы почтальону били морду. А вообще-то тебе на всех наплевать. Ты лентяй и этот, как его... а общем — себялюбец. Я хочу объяснить мир,— снова перебил он себя.— Я хочу объяснить, что к чему, где свобода, а где необходимость. Не строй из себя ученого!.. Да, ученого! Дело ученого объяснить, что к чему, так, чтобы все поняли. А неуча — переделать? Нет. Если неуч начнет переделывать, то опять — двадцать пять, все начнется сначала, как мочало. И вообще, не придирайся к слову. Задача ученого, чтобы не было неучей. Вот так,— обрадовался, будто впрямь нашел ответ если не на все, то хотя бы на один вечный вопрос.— И многих ты обучил? — не унимался в нем второй, саркастический, Курчев. Тот всегда выбирал неподходящее время, чтоб мотать душу и нервы.

— Сколько мог, столько смог, и не приставай,— буркнул Борис, вытирая в сенях ноги.

В проходной комнате три младших огневика и пятеро монтажниц пили чай с круглыми черными коржиками.

— Не запылился! — Сонька-перестарка оторвала накрашенные губы от блюдца. Она сидела на койке рядом с только что сменившимся с дежурства младшим лейтенантом и, похоже, имела на него виды. Второй «микромайор» сидел на койке рядом с длинной, сухой, очень некрасивой инженершей Томилиной и говорил с ней о децибелах. Он окончил краткосрочные шестимесячные курсы, куда принимали с восемью классами, и, по-видимому, весьма смутно представлял себе даже логарифмы. Но сегодня крепко поддал и, сам не зная зачем, при этом обижаясь, хотел выяснить, как измерить грохот орудий.

Замученная инженерша не чаяла отцепиться от пьяного, однако покорно чертила на бумажке не нужные ни ему, ни ей цифры и графики.

— Можно, Александра Фадеевна? — спросил Курчев, садясь на ее койку.— Децибелы — по-английски блохи. А при женщинах о блохах не говорят,— подмигнул он огневику.

— Борис шутит,— сказала инженерша.

— Шути, знаешь, где,— обиделся огневик.

— Знаю. А ты не выпендривайся. На фиг тебе децибелы?

— Борис,— шепнула инженерша.

— Потолкуем, может? — спросил огневик.

— Вот, всегда он так. Придет, настроение всем испортит...— сказала Сонька.— Чего ты в нем, Валюха, нашла? Харя да лысина.

— Точно,— засмеялся сидевший рядом с Валькой третий младший лейтенант, маленький кучерявый владелец «Москвича-401», прозванный в полку Крохобором. На машину ушли все его суточные, подъемные, все жалованье за прошлый год и за полгода следующих, и младший лейтенант вечно стрелял рубли и трешки, не пил своей водки, не курил своих сигарет, не покупал ни мыла, ни пасты, с охотой ходил в наряд, потому что дежурный по части снимал в столовой пробу, и вечно норовил пожрать на стороне. Вот и сейчас он увлеченно грыз черный ржаной пряник.

Руки у Крохобора были чернее пряника. Он только числился по огневому объекту, а по сути заправлял всем полковым автохозяйством. Ращупкин пробивал ему эту должность, но у младшего лейтенанта было плоховато с образованием: он ушел шоферить, не окончив школы.

— Вот именно,— харя,— обрадовался огневик, интересовавшийся децибелами.

— Значит, раздумал толковать? — спросил Борис.

— Иди гуляй, пока трамваи ходят,— протрезвел любознательный огневик. Он ходил в любимцах у Ращупкина, драка с Курчевым была ему ни к чему.

— Как хочешь... Я завтра в отпуск, вдруг не вернусь?..— усмехнулся Борис.— И не узнаю, кто такие децибелы. Я вас, Александра Фадеевна, три раза спрашивал, и все вон из головы. Видно, умом не дорос.

Бориса все-таки смутило, что, несмотря на общую скуку, никто не услышал его слов об отпуске. Валька глядела мимо него. Возможно, ждала инженера Забродина; тот после обеда уехал в Москву вставлять золотые коронки (видно, готовился к свадьбе).

Посижу малость и смоюсь,— решил Борис.— Красивого прощания не выходит. Бог с ними. Жалко только инженершу. Нет, и Вальку тоже жалко. Вальку-инженершу,— улыбнулся он.

— Чего лыбишься? — огрызнулась Сонька.
— Ничего. Проститься пришел,— повторил Курчев и встал. Никто его не удерживал. Он выскочил на мороз и пожалел, что не накинул шинели: не хватало новой ангины.
Теперь спать, спать и спать. А завтра — айда, и аля-улю! Защитника угнетенных из тебя не вышло.
У пехотных света не было. В большой комнате печка прогорела, и заслонка была прикрыта. Федька и летчик еще не вернулись.

Утром Борис не поднялся со всеми, хотя не спал и слышал, как кряхтел Секачев, чертыхался Морев и жаловался на паскуду голозную боль Володька Залетаев. Федька Павлов — Ращупкин временно сунул его взводным, то есть на место, обещанное ранее Курчеву,— хотя вернулся с военторговской машиной за полночь, ушел ни свет ни заря.
— Вот и все,— вздохнул Борис. Он связал ремнями постель и вытащил из-под голой койки большой желтый, купленный еще в Питере на первое офицерское жалованье чемодан, где лежали тома Теккерея и Толстого.
— Смахивает на дезертирство,— сказал он громко.
Солнце уже поднялось над штабом и било прямо в глаза, отчего Курчеву казалось, что из окон всех финских домиков глядят, как он плетется со своим барахлишком.
Чхать,— решил Курчев, но тут увидел, как у штабного крыльца Ращупкин влезает в светло-серую «Победу».
Чего это он в Москву собрался? Впрочем, мне-то что? Я в отпуске.— И Курчев прошел в ворота, которые распахнул перед «Победой» Черенков.
— В отпуск, товарищ лейтенант? — спросил вечный дневальный.
— Так точно.
Впереди еще маячили серые цепочки офицеров, бредущие к «овощехранилищу». Курчев спустился в балку, надеясь, что Ращупкин быстро проедет. Идти по вытоптанной петляющей тропинке с узлом и чемоданом было неловко. Иглы впивались в матрас. Курчев то и дело останавливался, менял руки, но когда он выбрался на бетонку, офицеры уже зашли за проволоку, а серая автомашина, все равно как сторожевая собака, ждала на обочине.
— Садитесь, Курчев,— сказал Ращупкин.— Глядеть на вас стыдно.
— Ничего. Дойду.
— Садитесь.
Шофер Ишков распахнул изнутри заднюю дверцу. Курчев, стыдясь казенного в полоску матраса, пихнул его в ноги, а желтый чемодан поставил на обтянутое суровым полотном сиденье.
— Значит, все, лейтенант? — не оборачиваясь, спросил подполковник.— Затирухин сказал, бумаги ваши ушли. Я сегодня проверю. Позвоните завтра в полк.
— Слушаюсь.
— Слушаться теперь поздно. Думаю, отпуска на оформление хватит. Приедете, получите выходное — и вы вольная птица. Как с аспирантурой?
— Рано еще говорить...— Борису не хотелось врать напоследок.
— Устроится. У вас все устроится. Повезло вам, что на меня напали.
— Повезло.
— Вообще бы стоило сочинить вам такую характеристику, чтобы вы не то что аспирантуры, двух окладов и года за звание не увидели. Ну да ладно.
— У автобуса высади,— сказал Курчев водителю.
— Ничего. До дому довезем. Как, Ишков, довезем?
— Довезем, Константин Романович, квартиру посмотрим.— Шофер осклабился в зеркале.
— Чего смотреть? Хибара.
— Поглядим,— усмехнулся Ращупкин.
Вот еще гости на мою голову,— подумал Курчев.
— Значит, это я вам организовал жилье? — спросил подполковник.
— Так точно. Только благодарить мне вас не положено.
— Ничего. В Москве — положено. Гебен зи мир айн шлюссель?
— О, я, я, натюрлих! Вот он,— засмеялся Курчев и полез во внутренний карман кителя.
— Хорошо. Потом покажете. Может быть, я шучу. В общем, вы везучий, Борис Кузьмич. Жилье в Москве — это священная мечта каждого гражданина СССР.
А он — ничего,— подумал Курчев и сказал:
— У меня вам не понравится. Мебель еще от отца, какую в войну не успели сжечь...
— Мне без ночевой,— улыбнулся подполковник.— Новосельнов пишет?
— Пишет, в Москву перебирается.
— Бойтесь его, лейтенант,— посерьезнел подполковник.— По нему решетка плачет. Не помри Иосиф Виссарионович, за милую душу сидел бы. О дизелях слышали?

— Нет.
— Он тоже вроде вас — везучий.
Да и ты не из несчастных,— подумал Курчев.
— А все ж вы, лейтенант, маху дали. Надо было в партию подать, в аспирантуре когда еще вступите. Кажется, в учебных заведениях теперь прием ограничен или вовсе закрыт. Через три года, когда подойдет распределение, локти кусать будете.
— Так точно.
— Или вы вообще вступать не хотите?
— Теперь до двадцати восьми в комсомоле можно,— подал голос Сережка Ишков.
Они твою биографию назубок знают...— подумал Курчев.— Перемывают со скуки всем кости.
Москва катилась навстречу окраинами, притормаживая на перекрестках, серая и будничная, вовсе не похожая на ту, субботнюю, что Борис наблюдал из автобуса. Впрочем, теперь она стала своя, возможно, даже по гроб, а свое всегда если не хуже, то обычней. Солнце где-то затерялось. В городе было суетливо и пасмурно.
— Показывайте куда,— сказал Ращупкин.
Лучше б самому добираться,— подумал Курчев.— А то как под конвоем. Интересно, что у него за женщина? Хотя мне-то какой интерес? И куда деться? Разве что в баню сбегать...
«Победа» развернулась на перекрестке и ловко въехала в подворотню, куда, сколько помнил Курчев, до войны автомобили вползать не рисковали.
— Возьмите у лейтенанта вещи,— сказал Ращупкин Ишкову и пошел вслед за Курчевым по неровному, похожему на воронку, мощеному двору. Квартира помещалась в правом крыле дома. Входная дверь была незаметна. Курчев не наведывался сюда больше года, но в сенях ничего не переменилось.
— Здравствуйте,— приветствовала его единственная соседка Степанида — то ли вахтерша, то ли уборщица при Елизаветиной конторе.— Ой, офицерья сколько!
— Третий солдат,— уточнил Курчев и полез в китель за ключом. Замок почти амбарный, весом что-нибудь в килограмм, был хорошо смазан и открылся сразу.
— Ничего,— сказал Ращупкин, оглядывая комнату.— Транспорт, правда, ни к чему.
Как раз к остановке подошел троллейбус и закрыл собой все левое окно и полрамы правого...
— Похлопотать надо. Может, перенесут,— усмехнулся Борис.
Елизавета оставила отцовскую мебель и застелила новой клеенкой обеденный стол, на который выставила три тарелки, две кастрюли, сковородку, чугунный утюг, черную покоробившуюся тарелку громкоговорителя и старый, еще купленный матерью, облезлый патефон с кучей таких же старых пластинок. Особенно Курчева обрадовала большая, с выщербленными краями и зеленым на боку трактором фаянсовая чашка. В детстве он из нее хлебал молоко.
На кровати лежали стопкой газеты и рядом с десяток рулонов обоев: длинных и толстых — для стен и два тонких и коротких — потолочных.
— Кнопки есть? — спросил Ращупкин, глядя с неодобрением на голые окна.
— Были, кажется.— Курчев полез в полевую сумку.
— Распорядитесь. Я сейчас вернусь,— сказал подполковник и, пригнувшись, вышел из комнаты.
— Звонить пошел,— усмехнулся Ишков, ожидая, что лейтенант откликнется. Но Курчев, занятый маскировкой, промолчал.— Да, фатерка так себе,— вздохнул Ишков.
— Ты что — в машине пока загораешь? — спросил, не оборачиваясь, Курчев.
— Я не мерзну,— буркнул шофер.
При посторонних комната явно проигрывала. Особенно мешал троллейбус. Прикнопливая газеты к ветхим, изъеденным древоточцем рамам, Курчев совсем близко видел скучные лица пассажиров; одна молоденькая девчонка, наверное, школьница, высунула ему язык. Наконец троллейбус отошел, и Борис разглядел на другой стороне улицы автоматную будку и наполовину высунувшегося из нее Ращупкина.

Константин Романович говорил с Марьяной, та сегодня была с ним мила, даже нежна, но никак не могла встретиться — выезжала с минуты на минуту на следствие. На самом деле она собиралась с мужем к своим родителям за город на последний уик-энд или на второй медовый месяц, то есть закрывать брак или начинать его с начала — так они решили с Алешей.
— С радостью бы, Костенька, но не могу... Никак не могу,— щебетала она в трубку. Ей и впрямь хотелось встретиться с Ращупкиным. Она почти наверняка знала, что из попытки склеить брак ничего не выйдет. Но нужно было ехать, чтобы потом не терзаться: мол, не сделала всего, что могла...

Прикнопливая последнюю газету, Курчев глядел из потемневшей комнаты на переходившего улицу подполковника. Даже без очков было ясно, что тому сегодня не обломилось.

— Поехали, Ишков,— сказал Ращупкин, входя в сени.— Будем считать, что я пошутил. Желаю, лейтенант, удачи и надеюсь на вашу скромность.

— Этого вы могли бы не говорить,— ответил Курчев.

Ишков, ловко развернувшись в тесной воронке двора, поставил машину мордой к подворотне.

— До скорого,— кивнул Ращупкин, захлопывая дверцу.

— Проводили? — спросила Степанида, выходя из своей клетушки. Курчев сквозь дверную щель увидел узкую кровать с горкой подушек и образ с маленькой елочной свечкой.

— Идемте, покажу ваше,— сказала соседка.

Через четверть часа, сбегав через дорогу, Курчев принес бутылку водки, портвейна, полкило колбасы, буханку хлеба, две пачки пельменей и приступил к налаживанию отношений. От водки Степанида отказалась, для вина принесла две своих рюмки, а пельмени осудила как баловство, объяснив, что мясо «дешевше» и «кастрюли вам с верхом на три дня будет — тут тебе и первое, и второе. В сенях сейчас холодно. Только крышку перевернуть и камнем надавить — от кошек, а мышей нету».

— Жить тут можно. С Лизаветой ладили и с вами будем,— болтала она, накладывая на хлеб тонкие круги колбасы.— Жены у вас нет?

— Нет.

— Ну, ваше дело молодое, какая, может, и подвернется. Вам уже тридцать есть?

— Будет,— помрачнел Борис.

Чуть позже, убрав колбасу и водку в шкаф, а пельмени в холодные сенцы, он, перетянувшись ремнем, спустился по Переяславке к вокзалам, оттуда переулками дошел до городской комендатуры, набитой младшими офицерами всех родов и званий. По дороге он, правда, позвонил из автомата, но старушечий голос ответил, что Инга еще под Москвой.

С ощущением, что первый день пошел коту под хвост, он достоял очередь, отметил документы и поднялся по потемневшей улице до скверика у Красных Ворот. Там, в нужнике, построенном на манер бункера, он снял с шинели погоны и с шапки звезду.

Теперь все,— улыбнулся Борис и, чтобы по оплошке не козырять, сунул руки в карманы шинели. Так ходить он за четыре неполных года начисто отвык, зато руки не мерзли, да и спешить было некуда. В первом же попавшемся хозмаге он купил молоток, разводной ключ, гвозди, шурупы с гайками, маленькую одноручную пилу и три пачки клея. Клей был для обоев, с примесью какого-то порошка от клопов.

Теперь, с покупками, не козырять было легко. Он шел тихой Переяславкой, запоминая, где что — тут газеты наклеивают, тут пообедать можно, там на углу — прачечная. Аптеки не было, но хворать он не собирался.

Дома он вскипятил на газе чайник и, найдя в кухонном столе большую банку из-под сельди, развел клей. Переодевшись в хлопчатобумажную робу, Курчев сдвинул в угол стол и на чистом, почти белом, лишь кое-где испачканном сапогами Ращупкина и Ишкова полу стал намазывать газеты и клеить поверх старых обоев. Работа шла споро. Потолок был низкий, и Борис доставал с табурета до верха стены. Пустой фанерный шкаф легко сдвинулся с места, но оттуда, распахнув узкую створку, выпала бутылка водки и осталась цела лишь потому, что плюхнулась на узел с постелью. В шкафу что-то еще глухо стукнуло, и, открыв большую дверцу, Борис чуть не прослезился. Там лежали четыре ножки от табурета с продетыми болтами и навернутыми на болты гайками.

Да я бы в жизнь так не просверлил! — подумал он.— Голова садовая, сверла-то нету.

Он нагнулся к кроватному матрасу. У углов его тоже были заботливо просверлены отверстия.

— Вот, черт, забота об людях! — вздохнул Курчев, чувствуя, что на глаза и впрямь наворачиваются слезы.— И кто они мне? А? Нет, я вправду везучий.

Он разобрал кровать, вынес в сенцы раму с сеткой и когда-то никелированные спинки. Перевернув матрас пружинами вверх, он собрался было прикрутить к нему ножки, но, решив, что они несколько длинны, уложил их в ряд на табурете и отпилил ножовкой добрую треть.

— А подметать — двигать буду,— сказал Борис. Зато с низкого матраса обклеенная газетами комната казалась просторней и выше.

Жалко, обновить не с кем,— сказал себе, словно был завзятый ходок. Но, ей-богу, здорово! А что до стен, то без обоев даже лучше: читай — не хочу!

Он быстро доклеил газеты, распаковал тюк с постелью и впервые в жизни уснул праведным хозяйским сном.

— Умаялись? — спросила соседка, когда на другое утро в бриджах и нижней рубахе он вышел в кухню к рукомойнику.— Пельмени будете? Я трясла, стучат. Только разве это для мужчины питание? Вам супу надо. Завтра с утречка на рынок пойду. Денег дадите — мясу вам куплю. Лизавете я завсегда покупала.

— Спасибо.— Курчев обрадовался: тут не армия, и можно благодарить. Соседка была невысокая, коренастая, с морщинистым, удивительно неприметным лицом. Вчера он сидел с ней бок о бок, но сегодня, столкнись он с ней на улице или в троллейбусе, наверняка бы ее не узнал.

— А отца моего не помните? — неожиданно для себя спросил он, чувствуя, что симпатия к Степаниде дошла до высшей отметки. Ему хотелось спросить еще вчера, но за портвейном было неловко, потому что налаживание соседских контактов это одно, а отец для него был теперь чем-то высшим, мешать одно с другим не хотелось.

— Нет, не помню,— замкнулась она.— Я тут с войны. Как похоронка прибыла — помню, это при мне.

— Он приезжал. Его не сразу разбомбило,— все еще надеялся Борис.— Кучерявый такой.

— Нет, не помню,— повторила соседка и отвернулась, видимо, не желая чего-то договаривать. Может быть, помнила других путейцев, ночевавших у Елизаветы. Но Курчева это не касалось. Его занимал один отец. Отец еще потому был тайной, что Борька помнил его плохо, много хуже, чем разговоры о нем, поэтому расспрашивал об отце осторожно, словно дотрагивался до еле зажившей раны. Страх всегда пересиливал любопытство: а вдруг отец и в самом деле, как твердила бабка,— пустельга и выпивоха.

Эх ты, Иван не помнящий родства,— усмехнулся Курчев, возвращаясь в комнату.

Соседка вошла следом.

— Обклеились? Надо было старые содрать.

— Плотно висели.

— Ну и мостили бы поверх. Покажьте обои.

Курчев снял со шкафа рулон.

— С конторы Михалыч унес. У нас такие ж. Для жилья не годится. Вы б какие в цветочку взяли. На Мещанке бывают.

— Сойдут.

Ворованные с тонкими светло-синими полосами обои ему нравились. Но тут же он решил, что обклеит комнату белыми потолочными и позовет лысого художника; вдруг тот что-нибудь изобразит на них тушью или красками.

— А такие на Мещанке есть? — спросил Борис, разворачивая рулон поменьше.

— Навалом. Только этих вам за глаза хватит. А за в цветочку сходите. Клеить пока все одно нельзя. Не просохли.— И она для верности провела рукой по газетам.

Теперь не отвяжется,— подумал Курчев.— Не умеешь ты с людьми. Или отстраняешь их, или запанибрата... Вот и мучаешься.

Он достал из чемодана две общих тетради и сел к столу набрасывать проклятый реферат. Но фразы не вытанцовывались,— ни отпуск, ни собственное жилье не помогали. И промучившись два часа, он вдруг стал писать о лейтенанте Мореве.

«ЧТО ТАКОЕ БОЛОТО?»

— вывел Борис вверху страницы.— Эх, малявки нет,— вздохнул он и тут же начал обрывать слова и не ставить на обрывах точек:

«У реки есть цель. Река течет, и попробуй не пусти ее к морю. У горы тоже есть цель или назначение. Гора желает сохранить себя. Скажем, не обвалиться. Правда, геологи полагают, что горы самообразовались. Честно говоря, я в это не верю, но ведь в обозримый человеческий период горы не образовывались. Иначе бы не искали американцы на Арарате остатки Ноевой посудины.

Лес, говорят, движется со скоростью (ускорением?!) два метра в год. Представьте вымерший город или брошенный город, на который стеной идет лес».

За окном остановился троллейбус и прикрыл собой без того затемненные газетами окна.

На марлю придется разориться,— подумал Курчев, не поднимая головы.

«Вымер город или опустел. Стали трамваи, троллейбус застрял под окном, а лес прет, прет стеной и посылает подземный десант пробивать асфальт и с неба десант воздушный... Вот картина, а?! — писал он, не замечая, что разговаривает с самим собой.— У всего сущего есть цель. Только у болота ее нету.

Болото не может существовать для производства торфа. Болото уже было, когда торф никому еще не был нужен. Болото не может существовать для охоты. Если на болоте водится дичь, это дело дичи, а не болота. У болота какое-то иное назначение, какая-то своя необходимость.

Болото — это единство всего негодного. Именно — единство. На Хитровском рынке единства не было. Была свалка отбросов. А болото — это единство. И река заболачивается, и земля разжижается. Но болото не есть среднее между водой и сушей.

Болото нечто иное. Это собранная вместе масса с очень сложной и в то же время естественной организацией. В болоте есть свобода и неподвижность. Болото — это экспансия неподвижности. Оно ничего не хочет, но все получает. При всей своей вязкости оно необычайно прочно. (Я говорю не о прочности на морозе. На морозе болото все выдержит, как выдержит земля.)»

Нет, не клеится,— подумал Курчев.— Мороз, болото. Подмораживай болото. Нет, не то...

Он пошел в кухню вскипятить чайник и заодно побрился.

Не с того конца берешь. Слишком на красоту тянет. Решил писать о Мореве, а полез в образы. Масса, болота. Ну их в болото. Малявка будет — засяду.

Он вынул из шинельного кармана и с неохотой водрузил на место погоны и эмалевую звезду. Потом оделся, надраил у чистильщика сапоги и поехал в журнал к Крапивникову.

Георгий Ильич торопился разбросать дела, снять корректорские вопросы по верстке, проглядеть несколько статей: не хотелось тащить их домой. Осень и зима из-за всевозможных шатаний, шараханий, откатов и новых прогрессивных веяний оказались тяжелыми. Георгий Ильич вымотался, изнервничался и с нетерпением ждал среды — дня, когда сядет в поезд Москва — Симферополь и забудет этот трижды проклятый журнал, который только пьет кровь и не приносит ни радости, ни славы. Статьи писали в основном идиоты, за них приходилось все переписывать. А если попадались умники, с этими хлопот было еще больше, потому что умников надо было доводить до уровня полуидиотов, и они фордыбачили, цеплялись если не за идеи, то хотя бы за фразы, злились на Крапивникова, словно это ему нужно.

Крапивников сам статей не сочинял, разве если вылетал какой-нибудь нужный материал или надо было срочно отгрохать передовую. Тогда он садился и писал, как надо, не хуже и не лучше, а именно то, что можно тотчас запускать в машину.

В отличие от сидящего сейчас напротив него Бороздыки, Георгий Ильич махнул на себя рукой, понимая, что жизнь кончена и остались только женщины, которых он беззаветно любил, как-то сразу всех, никого не выделяя. Его редкие женитьбы были просто огрехами, производственным, что ли, браком. Впрочем, с бывшими женами Крапивников умудрялся сохранять самые милые и теплые отношения.

Сейчас Георгий Ильич торопился покончить с редакционным завалом, надеясь, что завтра, в субботу, его в журнал не вызовут, в понедельник он возьмет библиотечный день, во вторник явится с шампанским и шоколадным набором, сделает общий привет, и жизнь наконец станет прекрасной. Конечно, март — еще не сезон, но в таком курортном центре, как Ялта, и в марте цветут кое-какие розы. В предвкушении очаровательного романа он быстро просматривал верстку, снимал корректорские кресты и вымарывал раздражившие главного редактора или его заместителя абзацы. Работать из-за раздерганности он умел лишь в спешке и в шуме, и ноющий над ухом Бороздыка ему не мешал.

— Братья Киреевские,— бормотал Бороздыка.— Ты понимаешь, святее и чище людей не было...

— Да, конечно,— кивнул Крапивников, правя статью о 300-летии воссоединения Украины с Россией.— Не припомню, кто святее.— И машинально приподнялся в кресле, потому что в комнату вошла секретарша Серафима Львовна.

— К вам армейский товарищ. Уверяет, что на две минуты. Входите,— крикнула она в приемную, где переминался Курчев, на этот раз в начищенных сапогах.

— А, лейтенант,— вышел из-за стола Крапивников.

— Привет, Курчев.— Бороздыка кивнул, не поднимаясь со стула.

— Извините, я на полслова.— Борис покраснел, входя в тесную, выгороженную из большой приемной комнатенку, где уместились только письменный стол с двумя стульями да крохотный столик с большим приемником «Рига-10».

— Садитесь.— Крапивников с элегантностью ресторанного метра сдвинул рукописи с края стола в центр, освобождая место для лейтенанта. Больше посадить пришедшего было некуда.— Что-нибудь принесли?

— Нет. У меня практическая просьба: бумагу в Ленинку, в третий научный...

— Ради Бога! — засмеялся Крапивников и тем же ловким движением отправил рукописи назад, на край стола. На освободившееся пространство он взгромоздил портативную машинку «Москва» и на типографском бланке напечатал короткое прошение.

— Курчев, Борис Кузьмич? Я не ошибся? — Он протянул бланк под неодобрительным взглядом Бороздыки.— Прихлопните у Серафимы Львовны. Надолго в Москву?

— Возможно, насовсем.

— Тогда заходите. Только не позже среды.

— Спасибо,— кивнул Курчев.

— Я тоже пойду.— Бороздыка поднялся. В большой комнате он взял у лейтенанта бланк и положил перед секретаршей.

— Этого достаточно? — женщина с сомнением посмотрела на текст и достала печать.

— Я от себя кое-кому замолвлю,— заважничал Бороздыка и увел лейтенанта из редакции.

— Такси! — Он поднял у подъезда руку, подвез лейтенанта до улицы Калинина и лично расплатился с водителем.

— Не робейте, у меня тут связи.— Бороздыка кивнул на величественное здание Ленинки.

— Спасибо,— сказал Борис.

Но билет ему выдали тотчас, связи не понадобились.

— Вот и вы приобщились к науке,— усмехнулся Игорь Александрович, намекая, что хоть лейтенант и обосновался в привилегированном зале, дистанция между ним и кандидатом наук Бороздыкой от этого ничуть не уменьшилась.

— Спасибо,— повторил Борис, надеясь, что Игорь Александрович застрянет в библиотеке, но тот вышел вместе с ним.

— Я к брату,— сказал Борис.

— Он уехал сегодня утром за город с прокуроршей. Попытка примирения. Пойдем ко мне.

— Чемодан забрать надо. Я вроде демобилизуюсь.

— А вот это зря. Армии нужны образованные люди. Там вы абсолютно на месте. А что вы штатский? Нуль! Неужели при вашем образе мыслей вы подадите в аспирантуру?

— Еще не решил.

— Не играйте с собой в прятки. Вам, русскому человеку, в армии самое место.

— Мне? — удивился Курчев.

— Вам. Ваша судьба темно служить в далеком полку. Вы умны, не тщеславны, вы крепь России.

— Спасибо, но, увы, это не так.

— Так, так,— воодушевился Игорь Александрович.— К Жорке несколько лет назад захаживал артиллерист, майор, потом, кажется, подполковник. Красавец-детина. Косая сажень в плечах. Росту — на двоих достанет. А уже порченый, с тухлинкой. На московских аривисток заглядывался. Пижон, голосом своим любуется. А когда молчит, ну прямо Георгий Победоносец. Забыл фамилию. Рагозин, Рогаткин?..

— Может, Ращупкин? — неожиданно спросил Курчев.

— Вот-вот. Вы знакомы?

— Встречался.

Ничего себе кино,— подумал Борис.— Вон куда Журавль затесался! Недоставало только, чтобы он в мою фатеру привел Ингу. А что? Вполне возможно! Он звонил из автомата — ему не обломилось, а Инги как раз нет в Москве. Хотя нет... У нее доцент...

— Чудно́,— сказал он Бороздыке.— Вот уж не думал, что Ращупкин вхож к вашим. По-моему, полная несовместимость.

— Безусловно. Фанфарон. Но кого только у Жорки не бывает?! Ращупкин ваш, кажется, через немку, учительницу свою, проник. Да вы ее знаете. Алексей Васильевич говорил, вы на юг вместе ездили.

— Через Клару Викторовну? Ого! — обрадовался Борис.— Прямо как в игре — тепло-горячо-жарко...

— Лохшваге? — Бороздыка скорчил рожу.

— Нет,— отмахнулся Курчев. Он случайно знал это жаргонное слово.— Нет, общих женщин у нас не было. Просто чудно́, что он оказался так близко.

— Большой ходок?

— Там, где он, не расходишься.

Бедная Кларка,— подумал Борис, поднимаясь с Бороздыкой по бывшей Поварской.— Так вот он, праздник тела?! Н-да... Крыть нечем.

Было немного не по себе. Зато кончились все сложности с Кларой Викторовной.

Звонить ей не буду,— решил Борис.— А она при чем? — тут же перебил себя.— Она ж не знала, что Журавль будет моим полком командовать?

— Ваш брат метко окрестил вашего Ращупкина: Голиаф. В смысле — такой большой и такой ненужный,— сказал Бороздыка.

— Чья бы корова...— не удержался Курчев.

— Что, вы с ним не в ладах? А мне, признаться, последнее время ваш кузен стал нравиться. Разумеется, в нем много наносного. Но внутри незамутненное, абсолютно русское нутро.

— Я так далеко не опускался,— съязвил Борис. Но Бороздыка его не слушал.

— Я и сам этого не ожидал. Человек занимается Западом, и вдруг такие исконно русские мысли и склад ума. И даже — трудно поверить — начатки религиозного мировоззрения.

— Он что, сам в этом признался? — вздрогнул Курчев.

— В чем? Просто мы проговорили несколько вечеров, и оказалось, что этот с виду англоман, мимошник весь в поисках, в смятении, но в то же время с чувством дороги...

— Это у него от семейных неурядиц. Помните, Толстой сказал, что в несчастливых семьях пробуждается либерализм.
— А соборность тоже от неурядиц? Я вам, лейтенант, еще в прошлый разговор объяснял, что вы духовно недоразвиты. Вы ползете, а нужен полет. В вашем кузене есть чувство соборности.
— Сами догадались или он рассказал?
— Такие вещи не рассказывают. Это или есть, или нет. В Алексее Васильевиче есть.
— В Греции все есть. Мне сюда,— Борис кивнул на дом Сеничкиных.
— А мне дальше,— сказал Бороздыка.— Звоните. И запомните, на выпады я не отвечаю. По сути, мы с вами единоверцы.
Ну, наплел,— вздохнул Курчев. Минуя лифт, он поднялся по узкой, вполне чистой лестнице.— Темно служи в полку. Тоже, нашел Николая Ростова. И Ращупкин хорош! Счастье еще, что у него не с Ингой... А тебе какая разница? — перебил себя.
— Разница,— сказал громко и позвонил в дверь.
Дядька стоя допивал компот, сплевывая косточки в блюдце, которое держала перед ним Ольга Витальевна.
— Опоздал, брат. Раньше бы,— подмигнул он племяннику.
— Уже поздно, Вася. Торопись,— сказала Ольга Витальевна, подала мужу пиджак и вытянула у него из-за ворота салфетку.
— Я на минуту, штатское забрать,— объяснил Борис.— Елизавета выехала.
— Ух ты, поздравляю! — Министр положил руку на плечо племянника, но тетка тут же ее сняла и сунула в рукав синего драпового пальто.
— Ну что ты, Вася, как маленький? Борис еще придет.
— Приду. Я в отпуске.— Курчев прошел в кладовку за чемоданом и, вернувшись, спросил уже выходившего министра: — Подкинете?
— Давай,— сказал дядька, но Ольга Витальевна была, как всегда, начеку:
— Поезжай, Вася. А мне надо побеседовать с Борисом. Раздевайся, Боря.
Курчев с неохотой снял шинель — он чувствовал себя, как в деканате после долгого прогула. Полтора таксишных червонца не дала сэкономить. Может, шеф бы еще у магазина на Мещанке постоял. Идея потолочных обоев с намалеванными на них абстракциями не оставлила Курчева.
— Садись,— сказала тетка, проведя его в гостиную.— Нет, погоди. Лучше сюда.— И она увела его в соседнюю с ванной спальню, где он еще ни разу не был: уходя или уезжая, Ольга Витальевна непременно ее запирала.
Золото у нее там или крест из алмазов? — гадал когда-то Борис.
Спальня выходила во двор, но из-за двух больших окон была необыкновенно светлой. В ней стояли две кровати, большое трюмо и кресло.
— Садись.— Тетка толкнула его, как первоклашку, в кресло и повернула ключ.
С чего это она? — подумал Борис.— Неужели хочет выдать гульдены, понятно, споловинив? Черт с ней. Половина больше нуля.
— Ты знаком с некоей Рысаковой? — вдруг спросила тетка.
— Нет,— не краснея, ответил Курчев, глядя в ее напудренное нестарое лицо.
— Пожалуйста, не притворяйся. Ты ее видел у нас, даже провожал домой. Аспирантка Инга Рысакова.
— Ингу помню, а Рысакову нет. Я не знал, что она Рысакова.
— Да. Рысакова, если не поменяла фамилии. Ее бывший муж печатает Алешу у себя в журнале. Что ты можешь о ней сказать?
— Ничего. Красивая девушка.
— Девушка? Ничего себе девушка... Мужа отбивает.
— Василия Митрофановича?
— Не паясничай! Ты что, злить меня собрался? Алешу. Алешу у Марьяны из-под носа уводит. Пойми меня, Боря. Между нами большой любви нет, но дядю Васю ты любишь, и Алеша тебе как брат. Пойми, рушится семья. Ты видишь: это не простая семья. Ты знаешь то, чего никто не знает. Надька — и та не догадывается, а ты в курсе.— Она приглушила голос, хотя дочери не было дома.— Пойми, Боря. Все это мне далось,— она сделала охватывающий жест, намекая не только на квартиру,— не просто. Ты маленький был. Ты нашей прежней жизни не видел. Не помнишь, какая я была и каким тогда был Вася. Васька-плотник, вот кто он был. Загульный плотник. Вроде... Ну, чего там...
Это она про отца,— подумал Борис.
— Ты не знаешь, чего мне стоило поднять Васю. А Алешу? Алеше двадцати восьми нет, и уже доцент. Жареный петух Алешу не клевал. А теперь пристает: кто мой отец да что мой отец? Да расскажи про деда. Иконы, видите ли, ему нужны. Собирать задумал. А тут вчера перед отъездом (слава богу, уломала уехать за город с Марьянкой, авось помирятся!..), вчера перед отъездом такое сказал, что я капли пила: «Я, мать, еще, может быть, верну свою настоящую фамилию». Понимаешь?
— Сильно забирает!
— Представляешь, каково Васе? Ведь Вася ему отец. Ну, согласна, Сретенский звучит красивей. Но ведь я сама уже давно Сеничкина — и ничего. Заслуженная учительница. А Сретенских где теперь сыщешь?..
— Не расстраивайтесь. Это он больше для фасону.
— Думаешь?
— Факт. Что он, пойдет в отдел кадров или в райком и скажет: мол, так и так, обманывал вас и партию? Никакой я не сын в ранге министра — отец мой посажен еще когда, а мать — вообще дочь расстрелянного? Черта лысого скажет. Может, сейчас уже не посадят, но доцента отберут и из партии вытурят. Очень он им нужен без ранга министра...
— Ну, ты это, положим...— заикнулась тетка.— Так ты думаешь, не пойдет?
— Нет. Кишка тонка.
— Пожалуйста, без этих твоих словечек. Тут тебе не казарма.
— Извините, говорю как умею.— Он поднялся.
— Боря, держи себя. Я с тобой, как с родным. Нехорошо пользоваться чужой беспомощностью.
— Бросьте, Ольга Витальевна! Все это чепуха, нечего волноваться.
— А эта Инга Рысакова, она что — тоже славянофилка?
— Не думаю.
— Пожалуй, ты прав. Она Теккереем занимается, а он англичанин.
— У вас хорошая информация.
— А ты как себе представлял? — Тетка не услышала насмешки.— Но какова Марьинка? Я ожидала сцен, а она тихо уложила чемодан (едва твой не взяла — он ей больше понравился) и ушла к подруге. Скажите, пожалуйста! Ни за что бы не поверила! Гордость! А где, интересно, была ее гордость, когда Алеша ее знать не хотел, когда я его сосватала со Светланой Филипченко? Где была ее гордость, когда она, незваная, явилась на Новый год на чужую правительственную дачу?
— Я, кажется, понял,— засмеялся Курчев.
Ох, чуть не проболтался,— спохватился он.— Ну, теперь все ясно. Марьяшка шьется с Журавлем. И как мне раньше в голову не пришло?
— Что ты понял? — спросила тетка.— Что тут вообще можно понять?
— Ничего. У нее была гордость, но Марьяшка ее подавляла, а теперь ей надоело ее подавлять.
— Умник. Подавляла, перестала. Я всегда догадывалась, что это за особа, и предвидела все ее похождения. Но уж если расписался с такой, то держись. И что Алешка нашел в аспирантке? Гладильная доска!
— А вам что, киоск с пивом нужен?
— Ох, ох! Значит, и ты влюбился? Ну что ж, потягайся с Алешей.
— Спасибо.
— Ты понимаешь: о нашем разговоре — никому...
— Не понимаю.
Он повернул ключ в замке, надел в коридоре шинель.
— Не сердись, Боря. У нас сейчас нет денег,— сказала Ольга Витальевна.
Он козырнул ей и поднял чемодан.
— Пожалей такую, а она на тебя ушат дерьма выльет,— бормотал, спускаясь по лестнице.— И все равно жалко. И еще смешно: тетке скоро пятьдесят, а ни одной близкой подруги. Всю жизнь — прячься и таись. Меня в советчики зовет, хотя какой из меня советчик? А самой на меня плевать: в грош не ставит. «Денег у нас нет сейчас, Боря...» Будто я просил. Съедят они Ингу. А Алешка, гусь лапчатый, фраер. Вот бы кому я с удовольствием врезал. И вправду жареный петух его не клевал.
Он вышел из подъезда и влез в автоматную будку. Старуха сказала, что Инга вернулась, но выскочила куда-то на полчаса. Тогда он схватил на стоянке такси, доехал до хозмага на Мещанке и купил десять рулонов потолочных обоев.
— Погоди минутку,— кинул он шоферу и снова позвонил. Прошло двадцать восемь минут, но Инга еще не вернулась.
Он влез в такси, открыл чемодан — уложить в него хоть часть рулонов. Не хотелось обижать соседку. Костюм и рубашка оказались скомканными. Видно, Марьяна и впрямь освобождала от них его чемодан.
Он вылез из такси и медленно побрел мимо своих окон, занавешенных изнутри газетами. Степаниды дома не было, но в полутемных сенцах на лавке, поигрывая от скуки облезлыми никелированными шишечками от кровати, сидела Валька-монтажница.
— Ты как здесь? — спросил он, доставая с притолоки ключ от коридора.
— Мог бы повежливей.
— Давно ждешь? — уже помягче спросил Курчев, надеясь, что Степанида ушла до Валькиного появления.
— Недавно,— сказала девушка, вольной походкой вошла за ним в коридор и, напевая, ждала, пока он снимет со своей двери замок.

Продолжение следует

Лев Лосев

По слухам, Лев Лосев никогда не улыбается. Это как-то явствует из существа его поэтического облика: лик истинного остроумца строг, он, по-видимому, смеется в одиночестве. Правда и это — некое улыбчивое всеведение змия. (Лосев уверенно отучает читателей от кавычек и прочих костылей культуры.)

Рожденный по Борхесу, в библиотеке, Лосев явил собою идеального читателя и идеального понимателя литературы. Это Майти-Маус российской словесности. По существу, жизнь внутри текста интереснее жизни вне его, считает поэт, снявший своим псевдонимом извечное противоречие царства млекопитающих. Кормилица у нас одна — литература, и Лосев доказывает, что мучительное право любить и проклинать он почерпнул из нее навсегда.

Поэзия Льва Лосева — это доказательство наших неиспользованных читательских возможностей. Он лишь развил в своих стихах то, что в зачаточном виде присутствует в любом интеллигентном разговоре,— полуцитаты, полунамеки, разнонаправленные ассоциации, окультуренный контекст; поэтому у лосевского читателя постоянное ощущение своей интеллектуальной полноценности, карнавала собственной образованности.

Сознание Лосева — это бытие в контексте культуры. Он пишет так, что его американским ученикам-славистам до следующей звездной ночи в Вифлееме не расшифровать скрытых цитат. «Эзопов язык в русской литературе» — не случайное название диссертации этого американского профессора ленинградского происхождения.

«...я родился,— говорит он,— в семье литераторов, рос в литературной среде, а такое детство, по крайней мере, отучает от самоуверенного юношеского эпигонства, от преувеличенно серьезного отношения к собственному творчеству». К чужому творчеству тоже,— скажет читатель Лосева, если не сумеет разглядеть в сдержанной мимике поэта не просто бесстрастную игривость (версификаторскую акробатику), но бегство от достоевщинки. Лосев, должно быть, человек очень ранимый и считает, по-видимому, открытую беседу бестактной. Добрые намерения, свои и читательские, он даже и не оговаривает, но признание в орфеизме чуждо его натуре.

Позиция изгнанника позволила Лосеву огласить некоторые наши табуированные темы («он предал Русь, он предает Сион»), и, как заметил Борис Парамонов, Лосев нуждался не в свободе слова, но в доступности печатного станка. На Западе он издал два поэтических сборника — «Чудесный десант» (1985) и «Тайный советник» (1987), а также уже упомянутую диссертацию и сборник статей «Закрытый распределитель» (1984).

Легко представить себе оппонентов поэта. «Удивительно, как это В. Лифшиц, написавший целый ряд хороших стихотворений, до сих пор не может понять, что все эти забавные штучки являются не чем иным, как литературной дешевкой»,— писал пятьдесят лет назад никому теперь не интересный критик об отце Лосева. Боязнь штучек, забота о постненьком — традиция столь же неумирающая, как и любовь к ним.

Тексты Лосева печатаются по сборнику «Чудесный десант», стихотворение «Почерк» — по «Тайному советнику», стихотворение «Записки театрала» — по присланной автором рукописи.

Ив. Толстой

* * *

Он говорил: «А это базилик».
И с грядки на английскую тарелку —
румяную редиску, лука стрелку,
и пес вихлялся, вывалив язык.

Он по-простому звал меня — Алеха.
«Давай еще, по-русски, под пейзаж».
Нам стало хорошо. Нам стало плохо.
Залив был Финский. Это значит — наш.

О, родина с великой буквы Р,
вернее, С, вернее, *Еръ* несносный,
бессменный воздух наш орденоносный
и почва — инвалид и кавалер.
Простые имена — Упырь, Редедя,

союз (ц/з)чека, быка и мужика,

лес имени товарища Медведя,
луг имени товарища Жука.

В Сибири ястреб уронил слезу.
В Москве взошла на кафедру былинка.

Ругнулись сверху. Пукнули внизу.
Задребезжал фарфор, и вышел Глинка.
Конь-Пушкин, закусивший удила,
сей китоврас, восславивший свободу.
Давали воблу — тысяча народу.
Давали «Сильву». Дуська не дала.

И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пес умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо.
И ничего, конечно, не растет
на грядке возле бывшего залива.

* * *

Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.
Пел цыган. Абрамович пиликал.
И, тоскуя под них, горемыкал,
заливал ретивое народ
(переживший монгольское иго,
пятилетки, падение ера,
сербской грамоты чуждый навал;
где-то польская зрела интрига,
и под звуки падепатинера
Меттерних против нас танцевал;

под асфальтом все те же ухабы;
Пушкин даром пропал, из-за бабы;
Достоевский бормочет: бобок;
Сталин был нехороший, он в ссылке
не делил с корешами посылки
и один персонально убег).
Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка —
не пропить, так хоть ворот рвануть.

ПУШКИН

Собираясь в дальнюю дорожку,
жадно ел моченую морошку.
Торопился. Времени в обрез.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги — слишком шаткие ступени.
Что еще? За дверью слезы, пени.
Полно плакать. Приведи детей.

Подведи их под благословенье.
Что еще? Одно стихотворенье.
Пара незаконченных статей.
Не отправленный в печатню нумер.
Письмецо, что не успел прочесть.
В общем, сделал правильно, что умер.
Все-таки всего важнее честь.

ПОЧЕРК

Треть пропить-прокутить,
треть в кулак просвистеть,
треть оставить сыночку и дочке.
Неприятно на собственный почерк смотреть,
на простывшие эти следочки.

Погулять погулял,
покутить покутил,
наследил карандашиком серым.
Сам не знаешь, как в эту дыру угодил
и каким это вышло манером.

Ни бумаги не надо,
ни карандаша,
только б сыпало инеем с веток
да, посвистывая б, погуляла душа,
погуляла б душа напоследок.

Я помню: в попурри из старых драм,
производя ужасный тарарам,
по сцене прыгал Папазян Ваграм,
летели брызги, хрип, вставные зубы.
Я помню: в тесно́м зале МВД
стоял великий Юрьев в позе де
Позы по пояс в смерти, как в воде,
и плакали в партере мужелюбы.

За выслугою лет, ей-ей, простишь
любую пошлость. Превратясь в пастиш,
сюжет, глядишь, уже не так бесстыж,
и сентимент приобретает цену.
...Для вящей драматичности конца
в подсветку подбавлялась зеленца,
и в роли разнесчастного отца
Амвросий Бучма выходил на сцену.

Я тщился в горле проглотить комок,
и не один платок вокруг намок.
А, собственно, что Бучма сделать мог —
нас потрясти метаньем оголтелым?
Исторгнуть вой? Задергать головой?
Или, напротив, стыть как неживой,
нас поражая маской меловой?
Нет, ничего он этого не делал.

Он обернулся к публике спиной,
и зал вдруг поперхнулся тишиной,
и было только видно, как одной
лопаткой чуть подрагивает Бучма.
И на минуту обмирал народ.
Ах, принимая душу в оборот,
нас силой суггестивности берет
минимализм, коль говорить научно.

Всем, кто там был, не позабыть никак
потертый фрак, зеленоватый мрак
и как он вдруг напрягся и обмяк,
и серые кудельки вроде пакли.

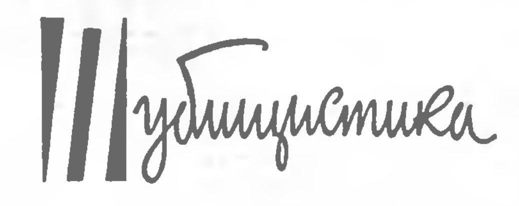
Но бес театра мне успел шепнуть,
что надо расстараться как-нибудь
из-за кулис хотя б разок взглянуть
на сей трагический момент в спектакле.

С меня бутылку взял хохол помреж,
провел меня, шепнув: «Ну, ты помрэшь»,
за сцену. Я застал кулис промеж
всю труппу — от кассира до гримера.
И вот мы слышим — замирает зал:
Амвросий залу спину показал,
а нам лицо. И губы облизал.
Скосил глаза. И тут пошла умора!

В то время как, трагически черна,
гипнотизировала зал спина
и в зале трепетала тишина,
он для своих коронный номер выдал:
закатывал глаза, пыхтел, вздыхал,
и даже ухом, кажется, махал,
и быстро в губы языком пихал —
я ничего похабнее не видел.

И было страшно видеть, и смешно
на фоне зала эту рожу, но
за этой рожей вроде Мажино
должна быть линия — меж нею и затылком.
Но не видать ни линии, ни шва.
И вряд ли в туше есть душа жива.
Я разлюбил театр и едва
ли не себи в своем усердье пылком.

Нет, мне не жаль теперь, что было жаль
мне старика. Что гений — это шваль.
Я не Крылов, мне не нужна мораль.
Я думаю, что думать можно всяко
о мастерах искусств и в их числе
актерах. Их ужасном ремесле.
Их тренировке. О добре и зле.
О нравственности. О природе знака.



Т. А. Нечаева

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБАКОВ

Какого качества души человеком был протоиерей Владимир Рыбаков — это читатель узнает из записок его внучки Т. А. Нечаевой, внушающих безоговорочное доверие уже своим тоном, которого подделать нельзя. Это записки, убеждающие своей беспримесной простотой и прямотой, своей трезвостью. В них нет ни грана псевдожитийной ходульности. Ни грана экзальтации, которую по обстоятельствам тоже, кажется, можно было бы понять и простить,— а вот нет ее. Если наше ухо не отучилось различать правду, мы услышим: то, что нам рассказывают, чистая правда. Правда о безупречно правдивом человеке, к которому подошли бы евангельские слова: «в нем же льсти нет».

На правах византиниста скажу несколько слов о научном труде отца Владимира. Ему принадлежит очень основательное и совершенно оригинальное исследование, посвященное жизни и творчеству византийского поэта-гимнографа Иосифа Сикелиота и выполненное на основе огромной работы с рукописным материалом. Исследование это, по причинам, всем нам отлично известным, до сих пор не увидевшее света, сохраниет свою научную ценность и ныне, через шестьдесят лет с лишним. В советской науке происходит в настоящее время оживление законного интереса к таким жанрам византийской литературы, как гимнография (впереди идут пока грузинские коллеги),— однако работ, посвященных Иосифу Сикелиоту, не появлялось; но и в мировой науке систематическое исследование творчества этого плодовитейшего из гимнографов Византии до сих пор относится к области неисполненных благих пожеланий. Здесь перед нами совершенно реальный случай неоспоримого приоритета русской науки, до сих пор, однако, никому не известный. Со времен о. Рыбакова по Иосифу не появилось ничего, кроме нескольких публикаций текстов, уже обследованных и описанных русским ученым-подвижником по древним рукописям.

Из записок Татьяны Александровны мы видим, какого мужества потребовало самое завершение труда. Жесткое, волчье слово «лишенец» — ну да, дети иных времен слыхали, что лишенцу нельзя было избирать и быть избранным, но про электричество-то, про электричество отключенное где они еще прочитают?.. Гибель впереди. И полнота внутренней свободы, данная лишь тому, кто «тверд в путях своих», у кого мысли не двоятся. И радостный, размеренный, сосредоточенный труд. У английского писателя К. С. Льюиса есть мысль о том, что человеческая культура вообще не была бы создана, если бы ее творцы вздумали дожидаться подходящего момента, благоприятных условий, если бы не было у человека этой неистребимой склонности — слагать песни накануне боя и додумывать мысли накануне казни. А Мандельштам в 30-е гг. сердито сказал собеседнику и, конечно, самому себе: «Если вам есть что сказать, вы скажете это при любых условиях». Кому есть что сказать, тому не до сарказмов и не до жалости к себе. А беда — это беда, иначе она не называется.

Под конец — три вывода.

Во-первых, о научном труде русского ученого и русского подвижника о. Владимира Александровича Рыбакова. За академическую ценность книги — ручаюсь. Но ведь еще и святой труд: в каких обстоятельствах написан! Но ведь еще и вдвойне святой труд: в каких обстоятельствах сбережен! Неужели мы его не напечатаем? Не нагнемся, чтобы поднять ценность с земли?

«Рукописи не горит» — ну, это как когда; но потом-то что с ними, с несгоревшими, делается?

Во-вторых, о нас самих. О слабосильном племени. О великой всенародной беде нам дано вспоминать в грамматической форме прошедшего,— но жизнь остается жизнью, и ни одному поколению не обещано, что она будет гладкой. Когда подступит соблазн уныния, когда захочется поплакать над собой — вспомним, что они вытерпели и *как* они терпели. «Крепкие души, крепкие ребра — где вы, о люди минувших дней?» И да будет нам стыдно.

В-третьих — о замысленном и обсуждаемом Мемориале жертвам лихих лет. Не могу представить себе этого Мемориала без того, чтобы было там место для *церковного поминания* жертв. Непрестанного поминания. В крайнем случае для христиан разных вероисповеданий достанет одного помещения, где рядом стояли бы алтари. Прецеденты есть: из самых известных — храмы Иерусалима и Вифлеема, где алтари православные, католические и армяно-григорианские стоят рядом (в крипте католической церкви в итальянском городе Бари, подле гробницы Николая Угодника, хозяева церкви тоже разрешили поставить рядом со своим алтарем — православный). А поблизости, но отдельно — поминальная синагога, и так далее. *Там*-то все веры были — вместе.

Без этого почтить достойно таких людей, как о. Владимир Рыбаков, мы не сможем.

С. Аверинцев

Мой дед по материнской линии Владимир Александрович Рыбаков родился в 1870 году в семье священника Александра Павловича Рыбакова и жены его Наталии Павловны, урожденной Кустовой (у нас в доме ее называли — бабушка Наташа).

Род Рыбаковых — старый поповский род, во всяком случае, известно, что прадед Александр, прапрадед Павел и отец его (имени не знаю) служили в селе Каменка тогда Николаевского уезда Самарской губернии (ныне Пугачевский район Оренбургской области). Вообще же первый из Рыбаковых стал священником в XVIII веке и вот при каких обстоятельствах: во время одного из моровых поветрий — то ли чумы, то ли холеры — вымерла вся семья одного из оренбургских казаков, кроме единственного мальчика, которого всем миром кормили и учили, чтобы стал он молитвенником за этот мир.

Судя по известным мне фактам, Александр Павлович, так же как и Владимир Александрович, обладал мягким и одновременно необыкновенно твердым характером.

Прабабушка Наташа была дочерью самарского протоиерен (кажется, даже настоятеля собора), кончила четыре класса пансиона для благородных девиц (разумеется, где учились лишь купеческие и поповские дочки, а отнюдь не дворянские), обучалась там кроме прочих наук французскому языку и танцам и щеголяла по Самаре в шляпках. Вот такой и привез ее, шестнадцатилетнюю, Александр Павлович в Каменку, село хоть и большое, даже по теперешним временам (в начале века было там семь тысяч жителей), но, как теперь говорят, расположенное в дальней глубинке. Видимо, тамошний уклад во многом показался ей диким, и, когда прадедушка сказал ей: «Ташенька,— так он ласково называл ее всю жизнь,— сельской матушке в шляпке ходить не положено»,— она завернула своего первенца, а моего дедушку, в шаль и убежала к родителям. (По семейным преданиям, именно шляпка сыграла свою роковую роль в этом поступке.) Естественно, родители быстро вернули ее в дом мужа.

Известно, что это была на редкость нежная пара, где каждый был другому истинной опорой и помощником во всех начинаниях. У Александра Павловича и прабабушки Наталии было тринадцать детей, из которых в младенчестве, детстве и отрочестве умерло десять. Косила, как тогда говорили, «глотошная» — видимо, дифтерит, скарлатина, корь. И несмотря на то, что у прабабушки хватало и забот и бед, она организовала женскую богадельню для неимущих вдовиц, сирот и старух, которая содержалась за счет приходского дохода. Село Каменка было богатым — крепостничества там не было никогда, а места славились пшеницей, но семья о. Александра жила очень скромно, так как кроме нее была еще и семья обездоленных женщин, опекаемая прабабушкой Наташей. Когда в 1914 году скончался Александр Павлович (он угорел в бане) и приехал на его место новый священник, вспомнили, что своего дома Рыбаковы так и не нажили, а всю жизнь жили в приходском. С тех пор прабабушка жила в семье старшего сына Владимира Александровича, впрочем, она очень быстро ушла вслед за отцом Александром.

После 1905 г. о. Александр был депутатом Государственной думы и, судя по сохранившейся фотографии, имел два ордена.

Из тринадцати человек детей прадедушки Александра и прабабушки Наташи до взрослого, даже пожилого возраста дожили трое сыновей: самый старший — Владимир Александрович, средний — Михаил Александрович и самый младший — Алексей Александрович.

Старший стал священником. Средний, в 10-е годы примкнув к террористам, стрелял в генерал-губернатора, за что и был сослан в Якутск. Впоследствии он вступил в партию большевиков, стал крупным военным и был расстрелян по делу Тухачевского. В конце 20-х годов он прислал старшему брату письмо, где писал, что не может (или не хочет — не знаю) иметь с ним ничего общего. Младший перед войной 1914 г. поступил на естественный факультет Петербургского университета, во время войны стал вольноопределяющимся, попал в германский плен, а после заключения Брестского мира окончил Московскую военно-инженерную академию, при которой сразу был оставлен и вскоре стал заведовать кафедрой мостостроения. Скончался он в 1943 г. от инфаркта во время тяжелых летних учений. К старшему брату Алексей Александрович относился с огромной любовью, большим почтением, и, когда в 1934 г. хоронили о. Владимира, от Никольского собора до Смоленского кладбища он шел в своей военной форме с тремя шпалами за гробом среди огромной погребальной процессии одним из первых и плакал горько, по-детски, всю дорогу.

* * *

О детстве и юности дедушки я знаю такие факты: когда ему было лет пять и прабабушка Наташа еще сама мыла ему голову, выяснилось, что голова эта пробита, а рана засыпана землей. Сельские ребятишки баловались ли, дрались ли — и случилась такая оказия. Ни стона, когда землю отмачивали, ни жалобы, ну в, естественно, ни слова о виновнике, впрочем, в семье Рыбаковых этот вопрос и возникнуть не мог. Доносчику, как известно, первый кнут. Однажды прабабушка Наташа вгорячах, схватив полотенце,— а человек она была много более острых реакций, чем Рыбаковы,— огрела моего шестилетнего деда пониже спины. Это не больно, но оскорбительно. Дедушка не протестовал, но и не терпел — он положил в карманы своих холщовых штанов пшенной каши, которая постоянно варилась в кухне, и ушел в каменоломни, откуда его какое-то время спустя привели рабочие.

Самарскую семинарию мой дед кончал экстерном, так как из последнего класса его отчислили за чтение работ Белинского, Добролюбова, Чернышевского.

Что меня необыкновенно подкупает в дедушке — свобода ума без капли авторитарной зависимости, причем ума без гордыни. При этом, насколько я знаю жизненный путь его, складывается впечатление, что для него не существовало проблемы Достоевского «о проклятой необходимости свободы выбора». То есть проклятьем эта необходимость для него не была, она была естественным, логическим, свойственным его натуре путем, поэтому все, что он делал, и все решения, которые принимал, были совершенно осознанны и одновременно единственно для него возможны.

Воистину, как писал апостол Иаков, «человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях». Так вот о. Владимир был тверд, ибо он обладал гармонией духа и разума.

К примеру, выбирать для него было не из чего — уезжать ли после революции за границу (такая возможность представлялась ему дважды, один раз в Канаду, другой раз — в Рим), оставаться ли в России (при этом он обладал очень реалистическим и глубоким умом, так что предвидел почти наверное, каков будет его конец на родине). Конечно, оставаться: отечество каждому дается Богом, его не выбирают, а на пастырский путь он стал обдуманно — это личная ответственность, так что он отвечает во сто крат больше за всю оставляемую паству. При этом он искренне не осуждал никого, кто поступал не так, как он: у всякого свой путь, и не в осуждении смысл, а в просьбе о помощи для всякого, в том числе и для него на его пути.

И все это без доли ханжества и какой бы то ни было аффектации. Вообще, насколько я могу судить по маме, которая, говорят, внутренне во многих проявлениях была похожа на Владимира Александровича, для него абсолютно неприемлема велеречивость, елейность и многоглаголенье, увы, столь свойственные и по сию пору многим церковным деятелям.

Итак, после отчисления из семинарии он начал учительствовать в церковноприходской школе одного из сел Самарской губернии, а через год сдал экзамены. Учительствовать он продолжал до двадцати четырех лет, то есть до 1894 г. В том году он женился на моей бабушке Надежде Евгеньевне Наумовой, которой в ту пору было восемнадцать лет. Бабушка была второй в многодетной семье псаломщика (там было шестнадцать человек детей). Она училась в последнем классе Самарского епархиального училища, когда прадедушка Евгений скончался.

После окончании училища бабушка была оставлена там помощницей классной дамы

Вскоре после женитьбы Владимир Александрович был рукоположен во диакона, а затем очень быстро во иерея и начал служить в одном из сельских приходов (в каком, не знаю) той же Самарской губернии. О том периоде жизни о. Владимира и бабушки знаю очень мало. Знаю только, что очень они горевали о том, что у них нет детей. С первого дня иерейского служения (может, и раньше) дедушка решил поступать в Духовную академию, а для этого необходимо было скопить какую-то сумму денег для жизни в Петербурге.

Это было для них не так просто, ибо Рыбаковы максимально старались помочь многодетной и осиротевшей бабушкиной семье.

В 1907 году Рыбаковы переехали в Петербург, и о. Владимир поступил в Духовную академию. Поселились на Староневском, недалеко от Александро-Невской лавры, в маленькой квартирке. В 1908 г., на Кирилла и Мефодия — учителей Словенских, у них родилась дочь, которую назвали в честь равноапостольной Нины,— единственное их дитя, вымоленное у Бога.

Владимир Александрович был человеком чрезвычайно образованным. Конечно, тот багаж знаний, с которым он пришел к концу академии,— а окончил он ее, когда ему был 41 год,— был приобретен им не только за четыре года учебы. Из европейских языков свободно (то есть говорил) он владел французским, и это дала ему академия, по-английски и немецки лишь читал и переводил, но без словаря. Характерная для него черта: однажды летом 31-го года мой отец зашел к нему (мои родители жили отдельно) и увидел испанские книги. Выяснилось, что в свои 60 лет дедушка принялся изучать испанский. Из древних языков он свободно владел греческим, латынью, древнееврейским и арабским.

Меня всегда поражало, как при такой уплотненной нагрузке, кроме академических занятий и преподавания закона Божия — стипендии и небольших сбережений не хватало — о. Владимир умудрялся посещать вечерние классы Академии художеста. Он писал маслом, я помню висевшую в нашей с бабушкой комнате картину — зимняя дорога солнечным днем, березовый перелесок и вдали церковь. Не могу сейчас судить о степени одаренности автора, но детское свое ощущение помню — радость. То, что график он был хороший,— это я понимаю. К сожалению, в конце 60-х годов у меня исчез небольшой кожаный альбомчик, где дедушка пером рисовал маленькой моей маме кошку, собак, лошадей (которых любил со степного своего детства и, говорят, был отличным наездником) и даже паровоз. Бабушка же к своим домашним заботам прибавила занятия пением — у нее был хороший голос, а в селе брать уроки было не у кого.

В 1911 г. Владимир Александрович закончил академию вторым и выбрал себе приход в храме Спаса-на-Водах (памятник погибшим морякам в русско-японскую войну). Храм этот находился на Английской набережной (теперь набережная Красного Флота). Интерьер его в какой-то степени представлял собой синодик, так как по стенам были написаны имена погибших русских моряков,— так что поминались они как бы за каждой литургией.

Церковь взорвали в 1929 г. на глазах у деда и у художника Бруни, который осуществлял там мозаичные работы. Мама говорила, что 80-летний Бруни рыдал навзрыд, а Владимир Александрович закрыл лицо ладонями. Подготовку к взрыву и взрыв они наблюдали из окна дедушкиного кабинета (Рыбаковы жили в доме при церкви).

Поскольку Владимир Александрович кончил вторым, он кроме права выбора прихода получил годичную заграничную командировку, чтобы собрать материал для магистерской диссертации. Часть 1911—1912 гг. он провел в Константинополе, на Афоне и в Иерусалиме.

Магистерская диссертация была защищена, вероятно, до 1914 г., т. к. с начала войны о. Владимир был на фронте, ведь храм Спаса-на-Водах числился по военному ведомству. (Кстати сказать, одной из причин выбора именно этого прихода была та, что доход настоятеля состоял здесь лишь из выплачиваемого тем же военным ведомством жалования — 75 рублей. Во взаимоотношениях священник — паства дух какой бы то ни было денежной зависимости не мог в данном случае возникнуть в принципе.)

Судя по тому, что в докторской диссертации «Св. Иосиф песнописец и его песнотворческая деятельность», над которой о. Владимир начал работать уже после революции, он использует рукописные материалы Крипто-Ферратской библиотеки и Ватопедского Афонского монастыря (после командировки 1911—1912 гг. он доступа к ним иметь не мог), магистерская диссертация, видимо, была посвящена тому же кругу вопросов.

На войне Владимир Александрович был по положению приравнен к полковническому званию и имел соответственно трех денщиков. Как вспоминала бабушка, он никак не мог понять, что ему с ними делать, по его представлениям и одного было более чем достаточно. Во время войны о. Владимир стал заместителем протопресвитера о. Георгия Шавельского. Когда именно это случилось, не знаю, но известно, что Пасху 1916 года он служил в царской ставке в Могилеве. Насколько я могу понять, общение с августейшим семейством было для него как священника не из приятных. Император, естественно, подходил под благословение, но при этом вежливо и мягко говорил: «Батюшка, нельзя ли покороче?» Николай II, видимо, не отдавал себе отчета в том, что кесарю в дела Боговы вмешиваться не до́лжно.

Бабушка с мамой ранней весной 1917 года уехала в сад под Пугачев. Дело в том, что прадедушка Александр Павлович в начале века арендовал семь десятин земли в степи на берегу реки Иргиз и насадил там плодовый сад. Постепенно соорудили небольшой домик с большой, по всему периметру, верандой, для того чтобы сыновья, невестки и будущие внуки могли приезжать летом в родные места. Начиная с 1909 года бабушка с ранней

весны до поздней осени проводила время в саду. Так было и в 1917 году, но происшедшая революция, а затем гражданская война задержали их в Пугачеве до 1920 года.

Владимир Александрович вернулся в Петроград и продолжал служить в храме Спаса-на-Водах. После заключения Брестского мира вернулась в Петроград и дедушкина двоюродная сестра Вера Ниловна Промптова, которая в 1914 г. закончила четвертый курс женского медицинского института и, как многие медички последнего курса, с началом войны была мобилизована в качестве зауряд-врача для работы на санитарном поезде.

Вера Ниловна поселилась на Английской набережной. Время было трудное, голодное, холодное, но в обоих была огромная душевная крепость, и никакие обстоятельства не могли заставить их впасть в уныние. Дедушка посадил огород и кусты ягод возле дома и выгонял прямо фантастические урожаи. Оба они с теткой Верой (она моя крестная) научились тачать обувь. При этом все, что бы дедушка ни делал, делалось, во-первых, по-умному, а во-вторых, самым тщательным образом. Понятие «кое-как» для него не существовало в принципе, так же как и понятие «мелочь».

В 1919 г. Владимир Александрович перенес тиф в тяжелейшей форме, а поправившись, начал очень интенсивно работать над проблемой литургического богословия, точнее, продолжил работу, прерванную войной.

На первый взгляд это может показаться странно, но мне кажется, что в какой-то степени послереволюционные годы сделали о. Владимира более свободным. То есть свободен внутренне он был всегда, как может быть свободен только истинно верующий человек, вникнувший «в закон совершенный, закон свободы» (апостол Иаков), но с него был снят груз внешних условных обязанностей. Постараюсь расшифровать: материальные лишения — да; правовые лишения — тоже; вплоть до того, что у них как у лишенцев на Английской, в центре Ленинграда, было отключено электричество, и Рыбаковы жили с керосиновыми лампами, более того, несколько раз дедушку арестовывали, правда, быстро отпускали. И при всем том... При всем том он перестал быть официальным лицом, когда в силу занимаемого им положения должен был служить в ставке или быть одним из главных действующих лиц при встрече патриарха Антиохийского в 1912 году.

В первые послереволюционные годы, как я себе представляю, в той среде, в которой существовал Владимир Александрович, очень активно происходил процесс поляризации. Образовывалась некая тесная общность людей, связанная нравственно-этическими представлениями. О. Владимир, будучи служащим иереем, определился и как серьезный ученый (как раз предложение о выезде за границу он получил через Академию наук), причем имя его стало известно не только среди гуманитариев, в частности византологов, но он был близок с И. П. Павловым, с тогдашним президентом Академии наук А. П. Карпинским и др.

А жизнь на Английской шла своим чередом и, несмотря на лишения всех видов, была насыщена и трудом, и весельем. По-прежнему растили огород во дворе, сами подшивали валенки и латали обувь, перешивали, вязали, вышивали (в начале 20-х годов на Английской кроме дедушки с бабушкой, мамы и тетки Веры постоянно жил кто-то из бабушкиных младших сестер, какие-нибудь двоюродные или просто земляки из Самарской губернии). Кто учился, кто работал. Неизменной обязанностью молодежи было доставать билеты в симфонические концерты и на оперные спектакли. (После революции все зрелища стали бесплатными, но за билетами надо было становиться с вечера.) Иногда Владимир Александрович отрывал время от занятий и шел вместе со всеми в Мариинский театр или Народный дом.

Время у него было по-прежнему предельно уплотнено, если он при службе сумел практически к 1926 г. кончить колоссальную свою работу о Св. Иосифе-песнописце, но при этом, как вспоминает мама и как говорит папа, он вроде как и никуда и никогда не спешил. Формулировок вроде «мне некогда», «потом», «я не могу», которые так легко отлетают почти у всех нас от зубов, для него не существовало. Если некогда или по каким-то крайним соображениям он не может в данный момент, то всегда точно оговаривалось время, когда именно возможно, и при этом не ставились условия: «у меня есть для вас две минуты и сорок одна с половиной секунда». И это очень правильно: чем человек менее зажат, тем быстрее можно понять, что он хочет. А нуждающихся в его совете, утешении, добром слове, просто беседе было великое множество, в том числе и у мятущейся потерянной снобистской интеллигенции. У меня такое впечатление, что у о. Владимира был и данный ему свыше и наработанный им самим очень четкий внутренний ритм, который мог замедляться или ускоряться, но никогда не давал сбоя.

Итак, в 1926 г. была окончена основная работа его жизни «Св. Иосиф песнописец и его песнотворческая деятельность» с колоссальным научным аппаратом, насчитывающая более сорока печатных листов. Кроме материалов, которые он нашел во время командировки 1911—1912 гг., очень много о. Владимир почерпнул после революции в рукописном отделе Ленинградской Публичной библиотеки, в Румянцевской библиотеке.

Работа готовилась как докторская диссертация, хотя Владимир Александрович понимал, что защищать ее негде, так как Духовная академия была закрыта. Более того, к 1927 г. о. Владимир, как я уже говорила, знал почти наверное, какая судьба его ожидает,

и он позаботился о том, чтобы работа эта не пропала. Все три экземпляра перепечатанной мамой рукописи он роздал трем разным знакомым. Один из экземпляров находился в семье И. П. Павлова.

После уничтожения церкви Спаса-на-Водах дедушка до декабря 1933 г. служил в Никольском соборе. В декабре его арестовали, а в начале марта 1934 г. моим родителям позвонила сиделка одной из ленинградских больниц и сообщила, что о. Владимир находится у них. Мои родители туда прибежали, дедушка лежал, а точнее сидел в подушках в отдельной палате — Владимир Александрович лежать не мог, так как у него были отбиты легкие. Как это тогда называлось, его сактировали, то есть списали как смертника, но, как ни странно, не в тюремную больницу, а в городскую. И это чудо, что он простился с близкими, что его причастили и соборовали, что его отпевали по иерейскому чину в храме, где он служил последние годы. И, наконец, чудо, что в последний путь на Смоленское кладбище в суровом 34-м году его провожали, как говорила тетка Вера Ниловна, более двух тысяч человек — целая демонстрация.

У нас дома еще в блокаду хранился складной крест, который о. Владимир сделал себе сам в тюрьме,— две палочки, соединенные шпоночкой; когда шел надзиратель или его вели на допрос, шпоночка поворачивалась и получалась просто двойная палочка, а потом снова шпоночка поворачивалась — и снова крест, который постоянно был с ним.

* * *

Получилось так, что Владимир Александрович — человек, многим людям известный при жизни, вроде бы не оставил следа после смерти, кроме следа в сердцах человеческих. Но людей этих практически не осталось в живых: те, кто был старше, естественно, ушли очень давно, но и те, кто моложе, тоже давно покойные. У очень многих конец жизни сложился так же, как и у о. Владимира. Кто-то в 20-е годы уехал за границу. Из церковных деятелей, с кем в 1922—1927 гг. был связан Владимир Александрович, последним скончался, видимо, Святейший патриарх Алексий. Судя по маминым словам (в эти годы ей было соответственно четырнадцать — девятнадцать лет, т. е. человеком она была уже взрослым), тогда еще епископ Алексий бывал довольно часто в их доме, но в основном в кабинете у дедушки, за общим чаем в столовой она его помнит всего несколько раз.

Думаю, что магистерская диссертация опубликована не была, хотя и была защищена, т. к. почти сразу началась первая мировая война, а докторская — по причинам, о которых я уже говорила.

Во время нынешней войны наша семья переехала в Москву, и дома у нас считали работу потерянной. У меня же все последние годы было ощущение, что не может не остаться хоть какого-то следа деятельности Владимира Александровича. И вот 18 декабря 1984 года, под Николин день, в библиотеке Ленинградской Духовной академии мне дали два тома работы о Св. Иосифе-песнописце, на титульном листе которой заглавие и автор — В. Рыбаков. Что он священник — не указано. Видимо, из тех же соображений, из которых экземпляры работы хранились у разных знакомых. В целях непотопляемости. Это второй экземпляр машинописного текста с большим количеством рукописных вставок по-гречески, сделанных дедушкиной рукой под копирку.

Работа передана в ЛДА в мае 1957 г. Кем — можно установить по архивам библиотеки. Судя по состоянию страниц, она так и пролежала без малого двадцать восемь лет, и никто ее не читал.

Новые переводы

Уильям Фолкнер

Ход конем

Повесть

I

Кто-то из них постучал. Но дверь распахнулась, пока стук еще продолжался, она вырвалась из-под костяшек пальцев стучавшего, так что, когда он — Чарльз — и его дядя подняли глаза от шахматной доски, оба гостя были уже в комнате. Тут-то дядя их и узнал.

Это были Гаррисы. Брат и сестра. С первого взгляда они могли показаться близнецами — причем не только посторонним, но и большинству джефферсонцев. Ибо во всем округе Йокнапатофа едва ли даже десяток жителей знал, кто из них старше. Они жили в шести милях от города, на участке земли, что двадцать лет назад был самой обыкновенной плантацией, где выращивают хлопок на продажу, да еще кукурузу и сено на корм мулам, с помощью которых этот хлопок производится. Но теперь эта квадратная миля земли являла собою достопримечательность округа (как, впрочем, и всего Северного Миссисипи) — пастбища, обнесенные белыми изгородями из жердей и досок, конюшни с электрическим светом и некогда простой сельский дом, ныне преображенный в нечто чуть поменьше голливудского макета довоенного[1] плантаторского особняка.

Оба вошли и остановились — розовые, юные, холеные, разрумянившиеся от вечерней декабрьской стужи. Дядя поднялся.

— Мисс Гаррисс, мистер Гаррисс,— начал он.— Впрочем, вы уже здесь, и я не могу...

Но юноша и этого не стал дожидаться. Теперь он — Чарльз — увидел, что юноша держит сестру — не за плечо, не за локоть, а за руку над запястьем — словно на старинной литографии, изображающей полицейского со съежившимся арестантом или опьяненного победой воина с перепуганной пленницей-сабинянкой. И только тогда он увидел лицо девушки.

— Вы — Стивенс,— начал юноша. Он даже не требовал ответа. Он просто констатировал факт.

— Это отчасти верно,— отозвался дядя.— Но не в этом дело. Чем я могу...

Однако юноша и этих слов не стал дожидаться. Он повернулся к девушке.

— Это Стивенс,— объявил он.— Расскажи ему.

Но она молчала. Она просто стояла, в вечернем платье и в меховой шубе,— цена их во много раз превышала сумму, о какой ни одна девушка (или женщина) в Джефферсоне и в округе Йокнапатофа не могла даже и помыслить,— стояла, не сводя с его дяди воспаленного взгляда. На лице ее застыло выражение страха, ужаса или невесть чего еще, а на запястье все белее и белее выделялись костяшки пальцев юноши.

— Расскажи ему,— повторил юноша.

И тогда она заговорила. Еле слышно.

— Капитан Гуальдрес. В нашем доме...

Дядя сделал несколько шагов в их сторону. Теперь он тоже стоял посреди комнаты и смотрел на девушку.

— Да,— проговорил он.— Расскажите мне.

Казалось, однако, что этим внезапно иссякшим порывом все и ограничилось. Она

[1] Имеется в виду американская война Севера с Югом 1861—1865 гг. *(прим. перев.)*.

просто стояла, пытаясь сказать что-то — что бы там ни было — одними глазами, сказать его дяде, а впрочем, и им обоим, поскольку он ведь тоже находился здесь. Правда, они довольно быстро узнали, что́ именно она собиралась сказать или, по крайней мере, что́ юноша хотел заставить ее сказать, за руку притащив ее для этого в город. Или, по крайней мере, что, как он — Чарльз — думал, она хотела сказать. Ведь он должен был тогда знать, что его дядя наверняка уже знает больше, чем юноша или девушка еще только собирались сказать, а может, он уже тогда знал всё. Но пройдет еще какое-то время, прежде чем он окончательно это поймет. А доходило это до него так медленно только из-за дяди.

— Да,— сказал юноша тем же голосом и тоном, каким он отказывал человеку старше себя в знаках вежливости или уважения к возрасту, а он — Чарльз — наблюдал за юношей, тоже не сводившим взгляда с его дяди. Черты лица юноши были такими же тонкими, как у его сестры, но в выражении глаз никакой тонкости не было. Они — эти глаза — вперились в дядю, даже не стараясь выразить настойчивость, они просто ждали.— Капитан Гуальдрес, так называемый гость нашего дома. Мы хотим вышвырнуть его из нашего дома, а заодно и из Джефферсона.

— Понятно,— сказал дядя. И добавил: — Я состою в местной призывной комиссии. Что-то не припомню, чтобы ваша фамилия значилась в списках.

Но взгляд юноши ничуть не изменился. В нем даже не было презрения. Он просто ждал.

И тогда дядя посмотрел на сестру; голос его теперь звучал совсем по-другому.

— И в этом все дело? — спросил он.

Но она ничего не ответила. Она просто не сводила с дяди отчаянного взгляда; рука ее свисала вдоль тела, а на запястье белели костяшки пальцев брата. Теперь дядя заговорил с юношей, хотя все еще наблюдал за девушкой, и голос его звучал все еще ласково или, во всяком случае, спокойно:

— Почему вы пришли ко мне? С чего вы взяли, что я могу вам помочь? И чего ради?

— Вы тут кто — представитель Закона или нет? — сказал юноша.

Дядя все еще наблюдал за его сестрой.

— Я окружной прокурор.— И обращался он все еще к ней.— Но если б я даже имел возможность, чего ради я стал бы вам помогать?

Ответил, однако, снова юноша.

— Потому что я не позволю какому-то ничтожному латиноамериканскому авантюристу жениться на моей матери.

Теперь ему — Чарльзу — показалось, будто дядя в первый раз по-настоящему посмотрел на юношу.

— Понятно,— сказал дядя. Теперь дядин голос изменился. Он не стал громче, просто в нем уже не звучала ласка, словно дядя в первый раз смог заговорить (или, во всяком случае, заговорил) не с сестрою, а с братом.— Это ваше дело и ваше право. Я опять вас спрашиваю: чего ради я должен что-то по этому поводу предпринимать, даже если б я и мог?

И теперь они оба — его дядя и юноша — заговорили быстро и отрывисто, словно, стоя лицом к лицу, отпускали друг другу оплеухи.

— Он был помолвлен с моей сестрой. Когда он узнал, что деньги останутся у нашей матери до конца ее жизни, он переметнулся.

— Понятно. Вы хотите применить федеральные законы о высылке нежелательных иностранцев, чтобы отомстить человеку, который нарушил обещание жениться на вашей сестре.

На этот раз даже и юноша не нашелся, что ответить. Он просто смотрел на старшего с такой холодной, сдержанной, бесконечной злобой, что он — Чарльз — увидел, как дядя и в самом деле на мгновенье остановился, прежде чем снова повернуться к девушке и заговорить с ней — опять ласковым тоном, хотя даже теперь дяде пришлось повторить свой вопрос, прежде чем она ответила:

— Это правда?

— Мы не помолвлены,— прошептала она.

— Но вы его любите?

Однако юноша даже не дал ей времени, он никому не дал времени.

— Что она смыслит в любви? — сказал он.— Вы возьметесь за это дело или мне придется жаловаться на вас вашему начальству?

— Вам не кажется, что вы сильно рискуете, покидая свой дом на столь длительный срок? — сказал дядя кротко. Этот тон был ему — Чарльзу — хорошо знаком: если бы дядя заговорил таким тоном с ним, у него бы волосы встали дыбом. Но юноша и глазом не моргнул.

— Скажите это по-человечески, если можете,— потребовал он.

— Я не возьмусь за ваше дело,— отвечал дядя.

Юноша еще с минуту смотрел на него, держа девушку за руку. Потом ему — Чарльзу — показалось, что юноша сейчас сдернет ее с места и попросту вытолкает за дверь. Однако он даже выпустил сестру, собственноручно (не дожидаясь, пока хозяин, владелец двери, через которую он уже один раз прошел безо всякого позволения, не говоря о приглашении, ее откроет) открыл дверь, потом посторонился, пропуская девушку вперед,— пантомима, некий знак уважения и учтивости, пусть даже и машинальное следствие привычки и полученного еще в раннем детстве воспитания — долгой привычки и первоклассного воспитания, приобретенных под руководством первоклассных преподавателей, учителей и знатоков правил поведения в том кругу, который дамы округа Йокнапатофа безусловно назвали бы избранным. Но теперь это не имело значения — осталось лишь высокомерие — развязное, оскорбительное не только для человека, которому оно было адресовано, но также и для всех, кто это видел; он даже не смотрел на сестру, перед которой распахнул дверь, а все еще не сводил глаз с человека вдвое старше себя, неприкосновенность жилища которого он теперь нарушал уже вторично.

— Отлично,— сказал юноша.— Не вздумайте говорить, что вас не предупреждали.

Потом они ушли. Дядя закрыл дверь. Но еще мгновение дядя не двигался с места. Это была пауза, задержка, почти бесконечно малый миг неподвижности, столь краткий и бесконечно малый, что навряд ли кто-нибудь, кроме него — Чарльза,— обратил бы на него внимание. Да и он заметил этот миг лишь потому, что никогда прежде не видел, чтоб его дядя, этот нервный, стремительный, щедрый на слова и на движенья человек, раз начав что-либо говорить или делать, вдруг заколебался и запнулся. Потом дядя повернулся и возвратился туда, где он, Чарльз, продолжал сидеть за шахматной доской, даже не успев отдать себе отчет — до того стремительно все это произошло,— что сам он не только не встал с места, но навряд ли успел бы встать, если б ему даже это и пришло в голову. Не исключено, что он слегка разинул рот (ему еще не стукнуло восемнадцать, а ведь даже человек, наделенный дядиным чутьем к опасности, призна́ет, что даже и восемнадцатилетний может — пусть изредка — попасть в такое положение, когда ему наверняка не удастся или просто не понадобится сразу понять суть дела при виде того, как кто-то снимает шляпу или хлопает дверью), когда сидел за недоигранной шахматной партией и смотрел, как дядя возвращается к своему стулу, садится и начинает откидываться на спинку и протягивать руку за опрокинутой кукурузной трубкой, лежащей на подставке,— и все это одним махом.

— Предупреждали? — спросил он.

— Он назвал это так,— сказал дядя; он окончательно уселся, поднес ко рту мундштук трубки и уже вынул спичку из коробка, лежащего на подставке, так что, раскуривая погасшую трубку, он как бы продолжал свое возвращение от двери.— Лично я назвал бы это угрозой.

И он повторил то же самое, возможно, все еще с разинутым ртом.

— Ладно. А ты бы как это назвал? — сказал дядя; чиркнув спичкой и тем же взмахом руки поднеся пламя к остывшему в трубке пеплу, он продолжал говорить сквозь мундштук в полую форму невидимых клубов дыма — пройдет еще секунда или две, прежде чем он осозна́ет, что закурить ему теперь осталось только спичку.

Потом дядя бросил спичку в пепельницу, а другой рукой сделал ход, несомненно задуманный им задолго до того, как послышался стук в дверь, на который он опоздал, или во всяком случае не успел отозваться или даже просто сказать: «войдите». Он сделал этот ход даже не глядя, он передвинул пешку, поставив Чарльзову ладью под удар своей туры — видимо, еще задолго до возникновения этого плана дядя не сомневался, что он, Чарльз, забыл за нею проследить, после чего, продолжая спокойно сидеть — худощавое подвижное лицо, копна преждевременно поседевших волос, ключик Фи Бета Каппа, десятицентовая кукурузная трубка и костюм, у которого был такой вид, словно его хозяин спал в нем каждую ночь с тех пор, как его приобрел,— он передвинул свою пешку и сказал: — Твой ход.

Однако он, Чарльз, вовсе не был настолько глуп, хоть рот его и был слегка разинут. По правде говоря, он даже не особенно удивился после первого шока, вызванного этим вторжением, столь внезапным и столь неучтивым, да еще в такой поздний час и в такой холод: юноша, несомненно, за руку протащил девушку прямо через парадный ход, не дав себе труда ни позвонить, ни постучать, потом через чужую прихожую, которую если он когда и видел прежде, то лет семнадцать или восемнадцать назад, будучи еще грудным младенцем; подтащил к чужой двери, на сей раз и впрямь постучал, но, не дожидаясь ответа, ворвался в комнату, где — знал он о том, не знал или просто знать не хотел — его, Чарльзова, мать могла как раз раздеваться, готовясь ко сну.

Но удивил его именно дядя — этот бойкий на язык, говорливый человек, который говорил так много и так бойко, особенно о предметах, абсолютно его не касавшихся, что это явно свидетельствовало о раздвоении его личности: одна ее половина — юрист, окружной прокурор, ходил, дышал, вытеснял воздух, другая же — голос, неутомимый и ровный, до такой степени неутомимый и ровный, словно, утратив всякую связь с действительностью, он читает вслух не просто какую-то безделку, а серьезное произведение изящной словесности.

Однако два чужих человека ворвались не только в его дом, а в его собственную гостиную и произнесли сначала категорический приказ, затем угрозу, после чего стремительно

аырвались из дома, а дядя спокойно возвратился к шахматной партии, которую ему помешали доиграть, и к трубке, которую ему помешали докурить, и сделал задуманный еще раньше ход, словно не только не заметил никаких помех, но словно ему вообще никто не мешал. И асе это в обстоятельствах, которые должны были дать простор и пищу дядиной неутомимой многоречивости до конца вечера,— ведь изо всех возможных вещей, которые могли бы явиться в эту комнату с самых дальних концов округа, меньше всех касалась его имеино эта: домашиие недоразумения, затруднения или свары в доме, расположенном в шести милях от города, четверо владельцев или, во всяком случае, обитателей которого были едва ли знакомы хотя бы десятку жителей округа настолько, чтобы просто заговорить с ними на улице,— богатая вдова (по утверждению округа, миллионерша), слегка увядшая, но все еще миловидная женщина лет под сорок; двое избалованных детей-погодков лет двадцати от роду и гость, армейский капитан из Аргентины,— все четверо, включая даже иностранного авантюриста, ни дать ни ваять стандартные персонажи романа, печатающегося с продолжениями в популярном журнале.

Вот почему (хотя, чтоб убедить в этом его, Чарльза, потребовалось бы нечто гораздо большее, чем даже неправдоподобное дядино молчание) дяде вовсе не было нужды на эту тему говорить. Ведь уже двадцать лет, даже задолго до появления каких-либо детей, не говоря о чем-либо, способном приалечь иностранного авантюриста, округ следил за развитием этих событий — так подписчики читают роман, нетерпеливо ожидая выхода очередного номера журнала.

Эти двадцать лет охватыаали время, когда и его, Чарльза, тоже еще не было. Тем не менее они принадлежали ему, он их унаследовал, в свою очередь получил их по наследству, как получил бы по наследству от отца и матери (в свою очередь получивших ее по наследству) книжную полку в комнате, расположенной чере8 прихожую от той, где он сейчас сидел с дядей, полку с книгами — не с теми, что выбрал или в свою очередь получил в наследство от своего отца его дед, а с теми, что выбирала и покупала его бабушка, когда раз в полгода приезжала в Мемфис,— темные тома, изданные еще до появления ярких суперобложек: на их форзацах можно было прочесть выцветшие надписи, выведенные аккуратным почерком выпускницы семинарии для молодых девиц,— имя его бабушки, ее адрес и даже адрес магазинов или лавки, где она их купила, а также даты, относящиеся к девяностым годам прошлого века и к началу нынешнего,— тома, которые обменивали, давали почитать и аозвращали, которые станоаились темой докладов на очередном собрании литературного клуба; их пожелтевшие страницы даже сорок и пятьдесят лет спустя хранили отпечатки засушенных и исчезнувших цветов; по ним чинно двигались благовоспитанные тени мужчин и женщин, давших имена целому поколению,— Клариссы, Джудит, Маргариты, Сентэлмо, Роланды и Лотэры — женщины, которые всегда были леди, и мужчины, которые всегда были храбрецами, двигались в каком-то бессмертном лунном свете без тоски и без боли, начиная с рождения, не запятнанного иепотребством, до смерти, не затронутой тленом, так что и вы могли бы вместе с ними плакать, вовсе не обязательно страдая или сокрушаясь, вместе с ними ликовать, вовсе не обязательно одерживая аерх или торжествуя победу.

Таким образом эта легенда тоже принадлежала ему. Он даже получил часть ее непосредственио от бабушки, просто слушая, что иеизбежно случается в детстве, и оставляя в стороне мать, которой а каком-то смысле тоже отводилась в ней роль. И до нынешнего вечера оиа — легенда — даже оставалась столь же безобидной и нереальной, как эти старинные пожелтевшие тома: старинная плантация в шести милях от города, которая была старинным поместьем уже во времена его бабушки,— небольшое по площади, но с плодородной и как следует ухоженной и обработанной землею; на ней дом — тоже небольшой, просто дом, жилище, скорее спартанское, нежели комфортабельное даже для тех дней, когда люди желали комфорта, нуждались в нем лишь потому, что проводили в своих домах какое-то время; вдовец-владелец, который остался дома и вел хозяйство на унаследованной им земле; долгими летними вечерами, сидя в самодельном кресле у себя на веранде, он читал по-латыни римских поэтов; под рукой у него стоял неизменный бокал разбавленного виски, а у ног дремала старая собака-сеттер; ребенок, дочка, оставшаяся беа матери девочка, которая выросла в этом почти монастырском уедииении без компаньонок и подруг, совершенно одинокая, если не считать нескольких чернокожих служанок и уже немолодого отца, который (опять же по утверждению города и округа) не обращал на нее почти никакого внимания и который, рааумеется, никогда не говоря ни слова никому, тем более девочке, а может, даже и самому себе, все еще считал рождение дочери причиной смерти жены, которая несомненно была единственной любовью всей его жизни; а она (девочка) в возрасте семнадцати лет, не предупредив никого, во всяком случае, никого из жителей округа, вышла замуж за человека, о котором никто в этой части Миссисипи прежде и слыхом не слыхал.

Но было и кое-что еще: приложение или, во всяком случае, добавление; легенда по поводу, внутри или на заднем плане настоящей, подлинной или первоначальной легенды; апокриф об апокрифе. Он, Чарльз, не только не мог вспомнить, слышал ли он об этом от матери или от бабушки, он не мог даже вспомнить, видели ли это его мать или бабушка

саоими глазами, узнали ли об этом из первых рук или сами от кого-то услышали. Речь шла о какой-то прежней связи, еще до свадьбы — о помолвке, об обручении по всей форме, с формального (так гласила легенда) согласия отца, о помолаке, позже отмененной, нарушенной, не состоиашейся, или о чем-то в этом роде — еще до того как человек, за которого она потом вышла замуж, вообще появился на сцене,— об обручении, согласно легенде, по всей форме, но столь неопределенном, что даже двадцать лет спустя, после того как сидевшие на верандах сплетники, которых его дядя называл йокнапатофскими старыми девами обоего пола, а течение двадцати лет укутывали романтической тогой плечи каждого мужчины моложе шестидесяти лет, из тех, кто когда-либо выпил рюмку с ее отцом или купил у него кипу хлопка, спустя эти самые двадцать лет второй участник упомянутой помолвки все еще не имел не только имени, но даже и лица — их, по крайней мере, имел другой человек, незнакомец, хотя он и явился без предупреждения прямо иоткуда и женился на ней, так сказать, одним махом, одним духом, не оставив ни времени, ни места для чего-то, обозначаемого столь пустым словом, как помолвка, не говоря об ухаживании. Таким образом, это событие — первая, другая, настоящая помолвка, достойная такого назаания по той простой причине, что она не имела иных последствий, кроме эфемерных апокрифических примечаний, уже поблекших, как-то: аромат, тень, шепот, девичье «да» на аллее старинного сада в сумерках, цветок, которым обменялись или сохранили на память, и не осталось ничего, кроме, быть может, этого самого цветка, розы, засушенной между страницами книги по обычаю представительниц поколения, сменившего поколение его, Чарльзовой, бабушки,— это событие, вероятно, было, несомненно должно было быть последствием какого-то сгоаора между мальчиком и девочкой, когда она еще ходила в школу. Однако в нем несомненно было замешано какое-то лицо в Джефферсоне или, во всяком случае, а округе. Ведь она до сих пор никогда не бывала ни в каком месте, где могла бы скрепить каким-либо обязательством свои симпатии, а потом их утратить.

Но у этого мужчины (или мальчика) не было ни лица, ни имени. В сущности, у него не было никакой материальной субстанции. У него не было ни прошлого, ни вчера; герой воображаемого романа молодой девушки, он был тенью, призраком, столь же нетронутым и чистым, сколь сама эта девственная затворница. Даже те пять или шесть девиц (одной из них была его, Чарльзова, мать), которые с наименьшей натяжкой могли считаться ее подругами в течение трех или четырех лет, проведенных ею в женской половине Академии, не были уверены в существовании помолвки, не говоря о человеке, являвшемся вторым ее участником. Ибо сама она о помолвке никогда не говорила, и даже слух, беспочвенная легенда о легенде, возник скорее всего из случайного замечания, которое однажды обронил ее отец и которое само вошло составной частью в легенду, насчет того, что шестнадцатилетняя девочка, ставшая соучастницей помолвки, подобна слепцу, стаашему совладельцем подлинной рукописи Горация.

Но у дяди, по крайней мере, была причина не рассказывать об этой части легенды, потому что дядя узнал о первом обручении лишь два или три года спустя, да и то из вторых рук. Потому что его — дяди — там в то время ие было: шел 1919 год, и Европа — то есть Германия — была снова открыта для студентов и туристов со студенческими визами, и дядя уже уехал обратно в Гейдельберг кончать диссертацию на эвание доктора философии, а когда он череэ пять лет возвратился, девочка была уже замужем за другим человеком, за тем, кто имел и лицо и имя, пусть даже ни один житель города или округа ие видал первого и не слыхал о втором чуть ли не до тех пор, пока новобрачные не обвенчались и не произвели на свет двоих детей, после чего она уехала с ними в Европу, а о том, прежнем, предмете, который в сущности никогда не был ничем, кроме тени, забыли даже в Джефферсоне,— разве что у шестерых единственных ее подруг, собравшихся по какому-то неясному поводу за чашкой кофе или чая или дамского пунша, возникло в памяти какое-то неясное воспоминание (оно стало еще более неясным, когда у них появились собственные плетеные колыбельки).

Итак, она вышла замуж за человека, чужого не только в Джефферсоне, но и во всем Северном Миссисипи, а может, и во всей остальной части Миссисипи — насколько это кому-нибудь было известно — и о котором город знал лишь то, что он не был материализовавшейся наконец безымянной тенью другого романа, никогда не появлявшегося на свету достаточно ярком, чтобы в нем могло участвовать двое настоящих живых людей. Ведь не было никакого обручения — затянувшегося или отложенного до тех пор, пока невеста не станет иа год старше; а его — Чарльзова — мать говорила: стóит хоть разок посмотреть иа Гаррисса, и сразу станет ясно, что он никогда не отступит ни на йоту и не уступит никому ни йоты из того, что считает своим.

Он был старше невесты более чем вдвое и по возрасту вполне мог быть ее отцом — крупный, вульгарный, обходительный, смешливый челоаек, глядя на которого вы сразу замечали, что глаза его не смеются; вы очень быстро замечали, что глаaа его не смеются, и потому лишь позже осознавали, что смех вообще никогда не распространялси намного дальше его зубов,— человек, обладавший тем, что дядя называл прикосновением Мидаса, и, по словам дяди, окруженный ореолом грабителя вдов и несовершеннолетних, подобно тому, как иные бывают окружены ореолом неудач и смерти.

По правде говори, дидя утверждал, будто весь сюжет был перевернут с ног на голову. Он — его дядя — опять возвратился домой, теперь уже навсегда, а его сестра и мать, то есть мать и бабушка Чарльза (и все другие женщины, которых ему, наверное, невольно приходилось слушать), рассказали ему о свадьбе и о другой, призрачной помолвке, что уже само по себе должно было развязать дядин язык, если этого не сделало нарушение неприкосновенности его жилища; именно по той причине, что эта история не просто не имела отношения лично к нему, она имела столь ничтожное отношение к действительности вообще, что в ней не содержалось ничего, способного поставить его — дидю — в тупик или как-то ограничить.

А он, Чарльз, хотя уже почти два года не бывал у бабушки в гостиной, в своем воображении мог увидеть, как дядя, точно такой же, каким он был раньше и каким останется всегда, сидит возле бабушкиной скамеечки для ног и кресла-качалки, с кукурузной трубкой, снова набитой специальным табаком для белых, и пьет кофе (бабушка терпеть не могла чай и говорила, что его пьют только больные), сваренный для них его, Чарльзовой, матерью; мог увидеть дядино худощавое подвижное лицо, копну спутанных волос, которые уже начали седеть, когда он в 1919 году вернулся домой после трех лет службы санитаром во французской армии и провел ту весну и лето, не делая ничего, о чем бы хоть кто-нибудь знал, а после уехал обратно в Гейдельберг заканчивать диссертацию на звание доктора философии; мог услышать дядин голос, который беспрерывно говорит — не потому, что его хозяин любит разговаривать, а потому, что знает: пока он говорит, никто не сможет сказать то, о чем он сам предпочитает умолчать.

Весь сюжет был повернут задом наперед, сказал дядя, все роли и действующие лица пьесы смешались и перепутались: дочь играла и произносила то, чему следовало быть ролью и репликами отца; не отец, а дочь отстранила героя детского романа (неважно, сколь непрочной и эфемерной эта связь была, сказал дядя и — по словам его, Чарльзовой, матери — во второй раз спросил, знает ли кто-нибудь, как звали этого героя и куда он девался), чтобы уплатить по закладной на поместье; дочь сама выбрала человека вдвое старше себя, но обладающего прикосновением Мидаса, хотя роль отца должна была именно в том и заключаться, чтобы его найти и, если нужно, даже оказывать давление, чтобы старый роман (и его, Чарльзова, мать рассказала, как дядя опять повторил: неважно, сколь никчемный и эфемерный) был окончательно порван и забыт, а свадьба состоялась, хуже того: если бы даже супруга выбрал отец, сюжет бы все равно развивался наоборот, так как деньги (по словам его, Чарльзовой, матери, дядя и про это спросил дважды: был ли этот тип Гаррисс уже богат или просто казалось, что он разбогатеет, если получит в свое распоряжение достаточно времени и достаточно людей) уже принадлежали отцу, даже если их было не так много — ведь, как сказал дядя, человек, который читает по-латыни ради удовольствия, не захочет иметь больше, чем он уже имеет.

Однако они поженились. Затем следующие пять лет те, кого дядя называл многочисленным поколением незамужних старых тетушек, которое спустя семьдесят пять лет после Гражданской войны все еще существует, составляя опору общественного, политического и экономического единства Юга, следили за ними, как читатели следят за ходом событий в очередном продолжении романа.

В свадебное путешествие они поехали в Новый Орлеан, как в те времена поступали в тех краях все, кто считал свой брак законным. Потом они возвратились и недели две ежедневно приезжали в город в старой потрепанной виктории (у ее отца автомобиля никогда не было и никогда не будет), запряженной парою рабочих лошадей, с кучером-негром, который на них пахал, облаченным в комбинезон со следами спавших в нем или на нем кур, а может даже и сов. Потом она — виктория — иногда проезжала по Площади; в ней сидела только молодая жена, и лишь через месяц город обнаружил, что ее муж уехал, воротился в Новый Орлеан к своему бизнесу — так впервые стало известно, что у него есть бизнес и где таковой находится. Однако даже и тогда и еще целых пять лет они не узнают, что это был за бизнес.

Итак, теперь город и округ мог смотреть только на молодую жену, которая в своей старой виктории одна приезжала за шесть миль в город, то ли навестить его, Чарльзову, мать или другую из шести своих прежних подруг, то ли просто прокатиться по городу и по Площади, а затем вернуться домой. Потом, еще месяц она просто проезжала по Площади, да и то лишь раз в неделю, тогда как прежде это случалось чуть ли не каждый день. Потом, еще через месяц, в городе не появлялась даже виктория. Казалось, она наконец сообразила, напоследок поняла то, о чем уже два месяца весь город да и округ тоже говорил и думал,— ведь ей тогда едва исполнилось восемнадцать, а по словам его, Чарльзовой, матери, ей даже и столько нельзя было дать — она, эта худенькая, темноволосая, темноглазая молодая женщина ростом с маленькую девочку, выглядывавшая из-под балдахина виктории, словно из входа в какую-то пещеру, сидела, притулившись одна на заднем сиденье, где свободно могли разместиться пять или шесть таких, как она; по словам его матери, она даже и в школе не отличалась особыми способностями, да к этому и не стремилась, а по словам дяди, может, вовсе в них и не нуждалась, будучи созданной для простой любви и скорби; то есть, по всей вероятности, для любви и скорби, ибо наверняка не для над-

менности и гордости — ведь ей не удалось (если она вообще когда-нибудь ставила себе такую цель) напустить на себя самоуверенность или даже выказать браваду.

И теперь многие, а не только те, кого дядя называл незамужними старыми тетками, вообразили, что знают, каким именно бизнесом Гаррисс занимается, и что бизнес этот давно уже завел его гораздо дальше Нового Орлеана — наверняка миль на четыреста или пятьсот дальше,— ведь хотя дело и происходило в двадцатые годы, когда люди, скрывавшиеся от суда, все еще считали Мексику достаточно далекой и безопасной, человек, о коем идет речь, вряд ли нашел в этом семействе и на этой плантации достаточно денег, чтобы без Мексики никак нельзя было обойтись, не говоря о том, чтоб до нее добраться,— или вообще счел, что бегства ему не избежать, и, наверное, лишь собственные страхи заставили его проехать даже те триста миль, которые составляли расстояние до Нового Орлеана.

Однако они ошиблись. Он возвратился к Рождеству. И как только он действительно вернулся туда, где они смогли опять увидеть, что он ничуть не изменился, что он все тот же — мужчина неопределенного возраста, обходительный, краснолицый, вкрадчивый, лишенный воображения и изящества, все сразу встало на свое место. В сущности, никогда и не было иначе; даже те, кто раньше и увереннее всех утверждали, будто он ее бросил, теперь были больше всех убеждены, будто нисколько этому не верили, и когда он после Нового года уехал опять, как любой другой муж, которому не повезло в том смысле, что его работа, бизнес, находится в одном месте, а семья — в другом, никто даже не заметил дня его отъезда. Теперь их не интересовал даже его бизнес. Теперь они знали, чем он занимается — незаконной торговлей спиртным, и не просто сбывает из-под полы какую-нибудь жалкую бутылку виски в гостиничных цирюльнях — ведь теперь, когда его жена в одиночестве проезжала по Площади в своей виктории, на ней была меховая шуба, и как только джефферсонцы эту шубу увидели, он сразу вырос в глазах и города и округа и завоевал их уважение. Ведь он не только добился успеха, но, следуя лучшим традициям, тратил деньги на своих женщин. Мало того — традиция, которой он придерживался, была для Америки еще более старинной и прочной: он добился успеха не просто вопреки Закону, он победил Закон, словно побежденным им противником была не какая-нибудь неудача, а сам этот Закон, и теперь, возвратившись домой, он ходил среди них не просто в ореоле успеха, романтики, бравады и запаха выдохшегося бездымного пороха, но также и в ореоле деликатности, ибо у него хватило такта делать свой бизнес в другом штате за триста миль отсюда.

А бизнес был крупный. В то лето он вернулся домой в самом большом и сверкающем автомобиле изо всех, каким когда-либо случалось заночевать в границах округа, с незнакомым негром в униформе, который только и делал, что этим автомобилем управлял, мыл его и полировал. Потом появился первый ребенок, а с ним и кормилица — светлокожая негритянка, намного бойчее и уж во всяком случае шикарнее любой белой или чернокожей женщины в Джефферсоне. Потом Гаррисс снова уехал, и теперь ежедневно можно было видеть, как все четверо — жена, младенец, облаченный в форму шофер и кормилица — в большом сверкающем автомобиле раза два-три в день проезжают взад-вперед по Площади и по городу и даже не всегда где-нибудь останавливаются, а вскоре округ и город узнали, что куда, а может даже и когда они поедут, решали негры.

На то Рождество, а потом на следующее лето Гаррисс приехал снова, и родился второй ребенок, а первый начал ходить, и теперь все прочие жители округа, а не только его, Чарльзова, мать и остальные пятеро подруг ее юности, наконец узнали, мальчик это или девочка. А потом их дед умер, и тем Рождеством Гаррисс взял в свои руки плантацию и от имени жены или, вернее, от своего собственного имени пребывающего в отсутствии лендлорда вступил с неграми-арендаторами в соглашение, сделку, согласно которой им надлежало целый год обрабатывать землю, в сделку, из которой, как все знали, ничего путного получиться не может — о чем, как полагал округ, сам Гаррисс даже не дал себе труда позаботиться. Ведь ему это было безразлично; он делал деньги сам, и прервать свой бизнес лишь ради того, чтоб управлять скромной хлопковой плантацией даже в течение одного года, было равносильно тому, как если бы заядлый жокей в самый разгар сезона сошел с беговой дорожки с целью развозить молоко.

Он делал деньги и ждал, и вот и впрямь наступил день, когда больше ждать было незачем. В то лето, возвратившись домой, он провел там два месяца, а после его отъезда в доме был уже электрический свет и водопровод, а вместо скрипенья ручного колодезного ворота и мороженицы воскресными утрами денно и нощно раздавались механические звуки — стук и гуденье насоса и динамо-машины, а от старика, почти пятьдесят лет просидевшего на веранде со своим пуншем да с Горацием, Катуллом и Овидием, теперь не осталось ничего, кроме самодельного кресла-качалки из гикори, отпечатков пальцев на книжных переплетах из телячьей кожи, серебряного бокала, из которого он пил, да старой собаки-сеттера, которая дремала у его ног.

Его, Чарльзов, дядя заметил, что влияние денег оказалось даже сильнее, чем призрак старого стоика, провинциального домоседа-космополита. Возможно, дядя считал это влияние даже сильнее, чем присущую дочери старика способность к скорби. Так, во вся-

ком случае, считали все прочие жители Джефферсона. Ибо прошел тот год, и Гаррисс приехал на Рождество, а потом на месяц летом, и оба малыша уже ходили, то есть должны были ходить, хотя никто в Джефферсоне не мог в том поручиться — ведь никто никогда не видел их нигде, кроме как в проезжавшем мимо автомобиле; старая собака — сеттер — была уже мертва, и в тот год Гаррисс отдал всю пахотную землю чохом в аренду человеку, который даже не жил в округе, а во время сева и сбора урожая каждое воскресенье вечером приезжал за семьдесят миль из Мемфиса и всю неделю ночевал в заброшенной негритянской лачуге, пока субботним полднем не наступало время возвращаться в Мемфис.

Потом настал следующий год, и той весною арендатор привез своих собственных батраков-негров, так что теперь не было даже тех негров, которые жили в старом поместье и поливали своим потом его землю еще до рождения миссис Гаррисс, и теперь от старого хозяина не осталось совсем ничего, потому что его самодельное кресло, серебряный бокал и ящики с потрепанными книгами в переплетах из телячьей кожи лежали на чердаках у его, Чарльзовой, матери, а человек, который арендовал землю, жил в доме в качестве управляющего.

Потому что миссис Гаррисс тоже уехала. Она тоже не уведомила Джефферсон о своем отъезде. Это даже был некий сговор, ибо его, Чарльзова, мать знала, что она уезжает, и знала куда, а раз его мать знала, то и остальные пятеро тоже знали.

Сегодня она была там, в доме, из которого, как думали джефферсонцы, она никогда не захочет сбежать — вопреки тому, во что он этот дом превратил, вопреки тому, что дом, где она родилась и прожила всю свою жизнь, кроме двухнедельного медового месяца в Новом Орлеане, стал теперь чем-то вроде мавзолея, опутанного электрическими проводами, водопроводными трубами, снабженного автоматическими машинами для приготовления пищи и стирки, а также синтетическими картинами и мебелью.

А назавтра она уехала — она сама, двое детей, двое негров, которые, прожив четыре года в деревне, все еще оставались городскими неграми, и даже длинный, сверкающий, похожий на катафалк автомобиль,— уехала в Европу для поправления здоровья детей: так, по крайней мере, говорили, хотя никто не знал, кто именно это говорил — ведь этого не говорила ни его, Чарльзова, мать, ни одна из тех пятерых, кто во всем Джефферсоне и во всем округе знал об ее отъезде, ни, разумеется, она сама. Но она уехала, бежала, и, возможно, город думал, будто он знает, от чего. Но чего она искала — если она вообще чего-то искала,— даже его дядя, у которого всегда было что сказать (и слова его довольно часто имели смысл) о том, что не слишком его касалось, даже дядя на сей раз не знал или, во всяком случае, не сказал.

И теперь за происходящим следил не только Джефферсон, но и весь округ, и не только те, кого дядя называл незамужними старыми тетками, которые посредством слухов и предположений (а может, и надежды) следили со своих веранд, но и мужчины тоже, причем не только горожане, которым надо было проехать всего шесть миль, но и фермеры, которым надо было пересечь весь округ.

Они приезжали целыми семьями в запыленных потрепанных автомобилях и фургонах или поодиночке верхом на лошадях и мулах, накануне вечером выпряженных из плуга, останавливались на обочинах дороги и наблюдали, как команды чужаков, оснащенные таким количеством машин, какого хватило бы для постройки шоссе или водохранилища, рыхлили и превращали в газоны старые поля, некогда отведенные под незатейливую прибыльную кукурузу и хлопок, и засевали их кормовыми травами, фунт которых ценится дороже сахара.

Миновав протянувшиеся на много миль выкрашенные белой краской дощатые заборы, они сидели в автомобилях и фургонах или верхом на лошадях и мулах и смотрели на длинные ряды конюшен, построенных из материала намного лучшего, чем бо́льшая часть их домов, и освещенных электрическими лампами, светящимися часами, водопроводом и окнами, забранными сеткой, каких не было в большей части их домов; они возвращались на мулах, может, даже не сёдлая их, а просто закрепляя петлей на хомуте постромки плуга, чтобы они не волочились по земле, и смотрели, как из одного автофургона за другим выгружают великолепных кровных жеребцов, кобыл и жеребят, чьих предков в пятидесятом колене (как его, Чарльзов, дядя мог бы сказать, но не сказал, ибо именно в тот самый год он перестал много говорить о чем бы то ни было) изгнанный на холке приводил в не меньший ужас, чем домашнюю хозяйку волос в масленке.

Он (Гаррисс) перестроил дом. (Он теперь каждую неделю совершал полеты на аэроплане; говорили, будто на этом же аэроплане он перевозит виски с Мексиканского залива в Новый Орлеан.) То есть новый дом должен был занять столько же места, сколько заняли бы четыре старых, сколоченных вместе. Это был просто дом, одноэтажный, обнесенный по фасаду верандой, где старый хозяин сидел, бывало, на своем самодельном кресле со своим пуншем и Катуллом; когда Гаррисс закончил перестройку, дом стал похож на южный особняк из кинофильма, только раз в пять больше и раз в десять южнее.

Потом он начал привозить с собой друзей из Нового Орлеана — на субботу и воскресенье или на более длительное время, и не только на Рождество и летом, а четыре-пять раз в год, словно деньги теперь текли к нему столь быстро и гладко, что ему даже незачем было оставаться там и следить за ними. Иногда сам он даже не приезжал, а только присылал гостей. У него был домоправитель, постоянно живший в доме,— не тот, старый, первый арендатор, а другой, из Нового Орлеана, которого он называл дворецким. Этот толстый не то итальянец, не то грек в отсутствие гостей разгуливал в белой шелковой рубашке без воротничка и с пистолетом в кармане штанов. Но когда приезжали гости, он брился, надевал ярко-красный галстук-самовяз из мягкого шелка, а в очень холодную погоду еще и пиджак; в Джефферсоне говорили, будто он носит пистолет даже когда подает на стол, хотя никто из жителей города и округа не мог этого видеть, ибо никогда за этим столом не сидел.

Итак, Гаррисс иногда просто посылал в дом и препоручал заботам дворецкого своих друзей — холодных, лощеных, щегольски одетых мужчин и женщин, с виду холостых и незамужних, даже если они время от времени, случалось, и состояли друг с другом в законном браке; эти странные чужеземцы проносились на сверкающих спортивных автомобилях по городу и по дороге, часть которой все еще оставалась простым проселком — что бы он там на одном ее конце ни построил,— по дороге, где в прохладной пыли валялись собаки и куры и бродили без присмотра мулы, телята и свиньи; но вот резкий толчок, летят во все стороны перья; удар, потом лай или визг (а если попадется лошадь, мул, корова или — что хуже всего — кабан, то вмятина на бампере или на крыле), но автомобиль даже не замедляет ход; и в конце концов дворецкий стал держать запас монет, банкнот и подписанных, но не заполненных Гарриссом чеков; он сунул их в холщовый мешок, повесил на внутреннюю ручку парадной двери, и когда к парадному подъезжал фермер, его жена или сын и говорил: «кабан» или «мул» или «курица», дворецкий, даже не выходя из дверей, брал мешок, отсчитывал деньги или заполнял чек, платил им, и они уезжали — это стало дополнительным источником дохода для поселян, живших близ этого шестимильного отрезка дороги, вроде сбора и продажи яиц и ежевики.

Имелась там и площадка для игры в конное поло. Она была расположена возле шоссе; жители города — коммерсанты, адвокаты, помощники шерифа — теперь могли приезжать и смотреть на всадников, даже не выходя из своих автомобилей. И жители сельской местности: фермеры, арендаторы, издольщики и кропперы — люди, которые надевали башмаки лишь в тех случаях, когда неизбежно приходилось шагать по грязи, а верхом на лошадях ездили лишь, чтобы не ходить пешком из одного места в другое; в той же одежде, что надели перед завтраком, они приезжали на лошадях и мулах, выпряженных из плуга, стояли возле изгороди и смотрели — немножко на великолепных лошадей, но больше на костюмы женщин и даже мужчин, которые не могли ездить верхом иначе как в начищенных сапогах и специальных штанах, и на других, тоже в штанах, сапогах и котелках, которые даже и верхом не ездили.

А теперь они приезжали посмотреть и на кое-что еще. Насчет конного поло они слышали и даже поверили, что такая игра существует, еще прежде, чем ее увидели. Но про другое они все еще не верили, даже когда собственными глазами увидели это самое дело и приготовления к нему: как команды работников вырезают целые куски в дорогих дощатых заборах и в наружных, тоже дорогих, проволочных изгородях, а в образовавшиеся бреши вставляют низкие загородки из жердочек и планок чуть потолще спичек, которые не задержали бы даже солидную собаку, не говоря о телке или муле; а в одном месте ставят щит из какого-то материала, обработанного и выкрашенного под каменную стенку (говорили, будто это бумага, хотя жители округа, конечно, этому не верили — не потому, что не верили, будто бумаге можно придать такой вид, а просто потому, что вообще ничему этому не верили; они были убеждены, что эта штука не каменная, именно потому, что она выглядела как каменная, а они были заранее готовы к тому, что им будут врать насчет материала, из которого она на самом деле изготовлена). Эту стенку два человека, взявшись за нее с двух сторон, могли поднять и отодвинуть — все равно как две служанки передвигают парусиновую раскладушку; а в другом месте, посреди пастбища акров этак в сорок, пустого и голого, как бейсбольная площадка, стоял кусок живой изгороди — он рос даже не в земле, а в деревянном ящике наподобие корыта для корма свиней — а за ним находилась специально вырытая яма, заполненная водой, которую качали из дома по оцинкованной трубе длиной чуть ли не в целую милю.

А после того, как это дело произошло раза два или три и молва о нем разнеслась по всему округу, половина его мужского населения приехала посмотреть, как двое мальчишек-негров посыпают бумажными полосками дорожку от одной загородки к другой, а потом мужчины (один в красной куртке и с медным рожком) и женщины в штанах и высоких сапогах едят по этой дорожке верхом на тысячедолларовых лошадях.

А на следующий год появилась настоящая свора гончих, хороших гончих, слишком хороших, чтобы быть просто собаками,— точно так же, как лошади были слишком хороши, чтобы быть просто лошадьми, слишком чисты и как-то слишком необычны — они тоже жили в защищенных от непогоды клетках с водопроводом, а ухаживать за ними были приставлены специальные люди — точь-в-точь как и за лошадьми, у которых тоже все это было. И теперь вместо двух негров с обрезками бумаги в двух длинных мешках для сбора

хлопка один-единственный негр ехал верхом на муле, волоча по земле на канвте джутовый мешок, в котором было что-то запрятано; он старательно подтаскивал мешок к каждой загородке, слезал с мула, привязывал его к чему попало, брал мешок, старательно втаскивал его на загородку, переваливал через нее, потом снова садился на мула и волочил мешок к следующей загородке, и таким манером объезжал весь длинный истляющий круг вплоть до исходной точки на том пастбище, что находилось ближе всего к шоссе и к забору, где стояли привязанные мулы с нагнетами на холках и рабочие лошади и приехавшие на них неподвижные мужчины в комбинезонах.

Затем негр останавливал мула и сидел на нем, вращая белка́ми, а кто-нибудь из зрителей, кто уже видел все это раньше, во главе с шестью, двенадцатью или пятнадцатью другими, которые еще не видели, перелезал через забор и, даже не глядя на негра, проходил мимо мула, шел дальше, поднимал с земли мешок, а эти шесть, или двенадцать, или пятнадцать поодиночке подходили, нагибались и нюхали его. Потом он клал мешок обратно на землю, и опять без единого слова или звука все они шли обратно, перелезали через забор и опять становились вдоль него — мужчины, способные ночь напролет просидеть на корточках вокруг тлеющего пня или бревна с кувшином кукурузной водки и по голосу угадать и назвать имена гончих, что носятся и лают где-то за целую милю от них; они стояли и не только смотрели на лошадей, которым не надо мчаться за добычей, но также слушали яростный лай собак, которые преследуют даже не призрак, а химеру; стояли, облокотясь о белый забор, неподвижные, сдержанные, с сардоническим выражением на лицах, жевали табак и отплевывались.

И каждое Рождество и Новый год его, Чарльзова, мать и остальные пять бывших подруг ее юности получали поздравительные открытки. На марках стоял штемпель Рима, Лондона, Парижа, Вены или Каира, но открытки были куплены не там. Они вообще не были куплены где-либо в течение последних пяти или десяти лет, потому что их выбирали, приобретали и складывали во времена более спокойные, чем нынешние, когда дома́, в которых люди рождались, даже не всегда знали, что в них не хватает электрических проводов и водопроводных труб.

От этих открыток даже пахло стариной. Теперь существовали не только быстроходные суда, но и авиапочта через океан, и он, Чарльз, думал о мешках с письмами из всех столиц мира, с письмами, которые были проштемпелеваны сегодня, а доставлены, прочитаны и забыты чуть ли не на следующий день, и о затесавшихся среди них стародавних открытках давних времен, которые потихоньку шептали о старых чувствах и старых мыслях, невосприимчивых к чужеземным именам и языкам, словно миссис Гаррисс привезла их с собой через океан, вынув из ящика секретера в старом доме, которого все эти пять или десять лет уже не существовало.

А в промежутках между открытками, в дни рождения его матери и остальной пятерки приходили письма, которые не изменились даже за эти десять лет, письма, постоянные в своих чувствах, выражениях и сомнительном правописании, выведенные рукою шестнадцатилетней девочки, которая по-прежнему рассказывала о старых домашних делах в тех же старых провинциальных выражениях, словно за десять лет, проведенных в пышном блеске света, она не увидела ничего такого, чего не привезла бы с собой,— рассказывала не об именах и городах, а о здоровье и занятиях детей, не о посланниках, миллионерах и пребывающих в изгнании монархах, а о семьях швейцаров и официантов, которые были добры или хотя бы внимательны к ней и к детям, и о почтальонах, приносивших письма из дома; она часто забывала упомянуть, а тем более подчеркнуть названия дорогих фешенебельных школ, в которых учились ее дети, словно даже не знала, что они дорогие и фешенебельные. Так что молчаливость вовсе не была чем-то новым; уже тогда он видел, как дядя сидит и держит в руке одно из писем, полученных его, Чарльзовой, матерью,— неисправимый холостяк, единственный раз в жизни столкнувшийся с предметом, о котором ему явно нечего сказать, точно так же, как теперь, десять лет спустя, он сидел здесь за шахматной доской, все еще безгласный и, конечно, все еще молчаливый.

Однако ни дядя, ни кто другой не мог бы сказать, что жизненный путь Гаррисса перевернут вверх тормашками. А он, Гаррисс, продвигался по этому пути, и притом быстро: ты женишься на девушке, девочке вдвое моложе себя, за десять лет в десять раз увеличиваешь ее приданое, а потом в одно прекрасное утро секретарь твоего адвоката звонит твоей жене по междугородному телефону в Европу и сообщает, что ты сию минуту умер, сидя за своим письменным столом.

Не исключено, что он и вправду умер за письменным столом; не исключено даже, что этот стол стоял в конторе, как подразумевалось в сообщении. Ведь человека можно застрелить за столом в конторе с таким же успехом, как и в любом другом месте. И не исключено, что он и вправду просто умер, сидя за столом,— ведь к тому времени сухой закон даже на законном основании скончался, а когда сухой закон отменили, Гаррисс уже разбогател, и после того, как адвокат с десятком расфранченных лакеев с пистолетами под мышкой привез его домой и поставил гроб для прощания в его роскошных родовых апартаментах десяти лет от роду, гроб больше не открывали, а что до лакеев, то в каждой комнате первого этажа размещалось по лакею с пистолетом, так что теперь любой житель Джефферсона, если ему заблагорассудится, мог пройти мимо гроба, украшенного цветами, среди которых лежала большая белая карточка с отпечатанной рукописным шрифтом цифрой $ 5500, а также осмотреть дом изнутри, прежде чем адвокат вместе с лакеями увез его обратно в Новый Орлеан или, во всяком случае, куда-то прочь отсюда и похоронил.

Все это происходило в том самом году, которому предстояло стать первым годом новой войны в Европе или, вернее, второй фазы той старой войны, в которой участвовал его, Чарльзов, дядя; как бы то ни было, в течение следующих трех месяцев семье пришлось вернуться домой.

Они вернулись меньше чем через два. И тут он, Чарльз, впервые увидел их, то есть мальчика и девочку. Миссис Гаррисс он тогда не видел. Да ему и не надо было ее видеть; он слишком долго слушал рассказы своей матери; он уже знал, как она будет выглядеть, словно не только видел ее раньше, но так же долго, как его мать, знал эту худенькую хрупкую темноволосую женщину, которая даже в тридцать пять лет все еще казалась девочкой, в сущности не многим старше собственных детей, возможно, потому, что обладала способностью, склонностью, а возможно, даром, уделом прожить десять лет среди людей, которых сестра его, Чарльзовой, бабушки назвала бы коронованными владыками Европы, прожить, даже не отдавая себе отчета, что уехала из округа Йокнапатофа; она казалась не столько более взрослой, чем ее дети, сколько более мягкой, спокойной, постоянной, а возможно, просто более тихой.

Он видел их всего несколько раз, да и остальные, насколько ему было известно, тоже. Юноша катался верхом, но лишь там, у себя в загоне или на площадке для игры в конное поло, и, очевидно, не ради забавы, а просто чтоб выбрать несколько самых лучших лошадей, которых надо было оставить себе, ибо не прошло и месяца, как в одном из маленьких загонов они устроили аукцион и распродали их всех, кроме десяти или двенадцати. Но он явно знал толк в лошадях, ибо те, что остались, были превосходные.

А люди, которые его видели, сказали, что ездить верхом он тоже умеет, хотя и как-то мудрёно, по-заграничному, высоко поднимая колени, что было ново для Миссисипи или, во всяком случае, для округа Йокнапатофа, каковой округ вскоре услыхал, что молодой Гаррисс не меньше преуспел в чем-то даже еще более заграничном, нежели верховая езда,— он был первым учеником у какого-то знаменитого итальянского учителя фехтования. И время от времени люди видели его сестру — она приезжала в город на одном из автомобилей и ходила по лавкам, как все девицы, которые ухитряются найти и купить что-то им нужное в любой, даже самой захудалой лавчонке,— неважно, выросли они в Париже, Лондоне, Вене или просто в Джефферсоне, Моттстауне или Холлиноу, что в штате Миссисипи.

Однако миссис Гаррисс он, Чарльз, в тот раз так и не увидел. И потому он воображал, как она ходит по этому немыслимому дому, который она, наверное, и узнала-то лишь по топографическому местоположению,— ходит не как привидение, ибо — по крайней мере, для него, Чарльза — ничего призрачного в ней не было. Она была слишком... слишком...— потом он нашел слово — стойкая. Стойкость — постоянство, невосприимчивость, тихая мягкая уступчивость — позволила ей прожить десять лет в блестящих европейских столицах, даже не поняв, что она нисколько им не поддалась, а, напротив, осталась просто мягкой, просто уступчивой — так ящик старинного шкафа или комода из старого дома упорно и твердо не поддавался всем переменам и переделкам и не только их не воспринял, но даже понятия не имел, что устоял против изменений, хотя и находился внутри этого чудовищного гриба, воздвигнутого выскочкой Гаррисом; но вот кто-то, случайно проходя мимо, с грохотом выдвинул этот ящик, и из него пахну́ло ароматом старинного саше — и тут ему, Чарльзу, внезапно открылась истинная картина, истинное положение вещей: призраком была вовсе не она, видением был чудовищный дом Гаррисса — одного легкого дуновенья, одной мимолетной струйки аромата от саше из этого потревоженного ящика было достаточно, чтобы весь необъятный размах стен, все бесконечные изгибы просторных галерей в одно мгновение ока стали прозрачными и бесплотными.

Но в тот раз он ее так и не увидел, потому что через два месяца они снова уехали, на сей раз в Южную Америку, так как в Европу въезд был закрыт. И еще год к его матери и к остальной пятерке приходили открытки и письма, в которых о чужих странах опять говорилось не больше, чем если бы письма писались в соседнем округе; теперь в них говорилось не только о детях, но и о доме — не о чудовище, в которое превратил его Гаррисс, а о том, каким он был прежде, словно, когда она еще раз увидела место, занимаемое им в пространстве, перед нею возник его образ во времени, словно в ее отсутствие он остался нетронутым, словно просто держался, ожидая ее возвращения; и все еще казалось, будто даже приближаясь к сорока годам, она еще меньше, чем когда-либо, была склонна к новизне, к восприятию новых вещей и чувств. Потом они возвратились. Теперь их было четверо — с ними приехал кавалерийский капитан из Аргентины, он преследовал, провожал или, во всяком случае, обхаживал явно не дочь, а мать, и таким образом этот сюжет тоже был перевернут вверх тормашками: ведь капитан Гуальдрес был примерно на столько же старше девушки, на сколько ее отец был в свое время старше своей невесты, и в сюжете, по крайней мере, наблюдалась некая закономерность.

И вот в одно прекрасное утро, когда они с дядей переходили Площадь и размышляли (он, Чарльз, во всяком случае) о чем угодно, только не об этом, он вдруг поднял глаза и увидел ее. И оказалось, что он прав. Она выглядела именно так, как, по его мнению, должна была выглядеть, и тогда и даже еще прежде, чем они остановились, он ощутил этот запах — аромат старинного саше, лаванды, тимьяна или чего-то в том же роде, и если вначале могло показаться, будто от первого соприкосновения с мирским блеском он исчезнет, то уже в следующий миг становилось ясно, что этот аромат, запах, дуновение, шепот силен и долговечен, а вспыхнул и померк как раз изменчивый и преходящий блеск.

— Это Чарльз,— сказал дядя.— Сын Мэгги. Надеюсь, вы будете счастливы.

— Простите? — сказала она.

Дядя повторил:

— Надеюсь, вы будете очень счастливы.

И он, Чарльз, сразу понял: тут что-то не так; он понял это даже прежде, чем она сказала:

— Счастлива?

— Да,— сказал дядя.— Разве я не вижу это по вашему лицу? Или мне нельзя этого видеть?

И тогда он понял, что́ именно не так. Это было в дяде; казалось, что тот год — десять лет назад,— когда дядя перестал разговаривать, длится уже слишком долго. Наверно, потому, что разговаривать это все равно, что играть в гольф или стрелять влет — тут нельзя пропускать ни единого дня, а если пропустишь целый год, то ни прежнего навыка, ни глазомера никогда уж больше не вернешь.

И он тоже стоял там, наблюдая, как она стоит и смотрит на его дядю. Потом она покраснела. Он наблюдал, как румянец, возникнув, пополз вверх и покрыл ее лицо, подобно движущейся тени облака, которая пересекает пятно света. Потом румянец коснулся даже ее глаз — нечто подобное происходит, когда облако-тень коснется воды и можно увидеть не только тень, можно даже увидеть самое облако — а она все стояла и смотрела на дядю. Потом быстро наклонила голову, а дядя отошел в сторону, чтобы ее пропустить. Потом дядя тоже повернулся, наткнулся на него, и они двинулись дальше, но даже после того, как они с дядей прошли сотню футов — если не больше,— ему казалось, что он все еще слышит этот запах.

— Сэр? — сказал он.

— Ну что тебе? — отозвался дядя.

— Вы что-то сказали.

— Разве? — сказал дядя.

— Вы сказали: «Мир встречается редко».

— Будем надеяться, что нет,— возразил дядя.— То есть я хочу сказать не мир, а эта цитата. Но предположим, я это сказал. Зачем нужны Гейдельберг, Кембридж, Джефферсонская средняя или Объединенная Йокнапатофская школа, если не для того, чтобы человек мог приобрести способность бойко изъясняться на мириадах известных ему языков?

Так что, может, он и ошибся. Возможно, дядя вовсе и не потерял этот год: так старый игрок в гольф или стрелок — пусть он даже чуточку расслабился, потерял форму, пусть все его выстрелы один за другим бьют мимо цели — способен, однако, в конце концов добиться своего, и не только когда его припрет, а когда он сам того пожелает. Ведь не успело это даже прийти ему в голову, как дядя — этот бойкий на язык, как всегда стремительный, неисправимо говорливый, вечно перескакивающий с одного предмета на другой человек, у которого всегда было в запасе какое-нибудь на редкость верное, но всегда чуть-чуть экстравагантное высказывание почти обо всем, что совершенно его не касалось,— дядя, шагая вперед, сказал:

— Ладно, будь что будет. Наименьшее, что мы можем пожелать капитану Гуальдресу, затесавшемуся в нашу среду чужаку, это чтобы мир бывал не редко или вообще не бывал никогда.

Ибо к этому времени весь округ уже знал капитана Гуальдреса — понаслышке, а многие даже в лицо. А потом однажды он, Чарльз, тоже его увидел. Капитан Гуальдрес проезжал по Площади верхом на одной из гаррисовых лошадей, и дядя объяснил ему, Чарльзу, что это такое. Не кто́ этот человек, и не что́ он собою представляет, а что́ представляют собою они — человек и лошадь вместе. Это даже не кентавр, а единорог, сказал дядя. От него веяло каким-то безразличием и твердостью — не вялым безразличием дворецких Гаррисса, проистекавшим от чрезмерно веселой жизни, а твердостью металла, безупречно чистой стали и бронзы. Казалось, это существо подверглось десикации и было лишено почти всяких признаков пола. И как только дядя это сказал, он — Чарльз — тоже смог увидеть это конеподобное существо из древнего эпоса, с одним-единственным рогом, причем не из кости, а из какого-то металла, столь необычайного, несокрушимого и страшного, что даже мудрецы не смогли бы дать ему название; это был сплав, выкованный из первоисточника человеческих снов, мечтаний и страхов, чья формула утрачена, а быть может, и нарочно уничтожена самим Кузнецом; нечто намного более древнее, чем сталь или бронза, намного более прочное, чем вся сила страданий, ужаса и смерти, заключенная в обыкновенном золоте и серебре. Вот почему, сказал дядя, человек этот кажется частью коня, которого он оседлал: это свойство человека, составляющего живую часть живого коня,— составное существо может умереть и умрет, должно умереть, но кости останутся лишь от коня; со временем кости рассыплются в прах и исчезнут в земле, человек же пребудет нетронутым и неподвластным тлену, там, где они оба пали.

Сам человек, однако, был вполне нормальным. Он говорил на каком-то неестественном, сухом английском языке, который не всегда можно было понять, но говорил он на нем со всяким встречным и поперечным и скоро стал не просто известен, но хорошо известен, и не только в городе, но и во всем округе. За месяц или два он, казалось, побывал везде, где только способна пройти лошадь; он наверняка знал все проселки, тропинки и закоулки, которые даже его, Чарльзов, дядя, ежегодно во время предвыборной кампании объезжавший округ, чтоб сохранить своих избирателей, едва ли когда-нибудь видел.

Он не только изучил весь округ, он завел себе в нем друзей. Скоро всякие люди стали ездить туда — не к Гариссам, а к чужаку, в гости не к женщине, владевшей поместьем, чью фамилию они знали на протяжении всей ее жизни, равно как и жизни ее отца и деда, а к чужаку, иностранцу, о котором еще полгода назад они и слыхом не слыхали, чьи речи еще год спустя не смогут толком разобрать; люди, проводящие бо́льшую часть времени на открытом воздухе, обычно холостяки — фермеры, механики, кочегар паровоза, инженер-строитель, двое молодых людей из дорожно-ремонтной службы, профессиональный торговец лошадьми и мулами — приезжали по его приглашению покататься верхом на лошадях, принадлежавших женщине, которая, как известно, была его хозяйкой, и чьим любовником (все жители округа были уверены — еще до того, как они его впервые увидели,— что его интерес или, во всяком случае, намерения связаны со старшей женщиной, с матерью, которая уже распоряжалась деньгами, ибо на девушке, дочери, он мог жениться в любое время, еще задолго до отъезда семейства из Южной Америки) он наверняка уже был и чьим мужем мог стать в любое время, стоило ему только захотеть — что, очевидно, произойдет, когда он в конце концов вынужден будет это сделать,— ведь будучи не только иностранцем, но и латинянином, он, наверно, вел свой род от многих поколений холостых Дон Жуанов и скорее всего был распутником — даже не потому, что предпочитал распутство, просто оно было для него так же естественно, как пятнистая шкура для леопарда.

Вообще о нем уже кто-то сказал, что будь миссис Гарисс не женщиной, а лошадью, он бы давным-давно на ней женился. Ибо скоро все поняли, что он питает к лошадям такую же пылкую страсть, какую другие мужчины питают к спиртному, наркотикам или картам. По округу пронеслась молва, будто ночами — и лунными и темными — он отправляется на конюшню, седлает полдюжины лошадей и поочередно скачет на них до зари; а в то лето он устроил трассу для скачек с препятствиями, по сравнению с которой трасса, построенная Гариссом, была беговой дорожкой для грудных младенцев,— он не вставлял в забор отрезки брусков или стенок, а устанавливал их фута на два выше забора, и препятствия на сей раз состояли не из спичечной соломки, а из крепких балок, пригодных на стропила; не из папье-маше, а из настоящих камней, привезенных не откуда-нибудь, а из восточной части Теннесси и из Виргинии. И теперь многие приезжали даже из города, ибо там было на что посмотреть: человек и лошадь сливаются, соединяются, становятся единым существом, затем преступают даже и эту позицию, это скрещение; хладнокровно испытывают, чуть ли не физически нащупывая точку, где даже на взаимно согласованном пределе возможного им опять придется резко разорваться на две части — так пилот ракеты при махе [1] 1, потом 2, потом 3 летит (и сам и его машина) к собственному последнему пределу высоты, где железный аппарат взрывается и исчезает, а его нежная незащищенная плоть продолжает стремительно нестись вперед, преодолевая звуковой барьер.

Хотя в данном случае (человек и лошадь) все было наоборот. Словно человек знал, что сам он неуязвим и несокрушим и что из них двоих подвести может только лошадь, а беговую дорожку и барьеры человек построил лишь для того, чтобы узнать, где лошадь в конце концов дрогнет. Что по всем законам этого сельскохозяйственного и конного края считалось совершенно правильным; именно так и следовало ездить верхом на лошади; Рейф Маккалем, один из тех, кто постоянно его наблюдал и который всю жизнь разводил, выращивал, выезжал и продавал лошадей и наверняка знал о лошадях больше любого жителя округи, говаривал: пока лошадь в конюшне, обращайся с ней так, словно она стоит тысячу долларов, но когда ты используешь ее для того, что тебе нужно или что и тебе и ей нравится, обращайся с ней так, словно ты мог бы купить десяток ей подобных за ту же тысячу — только центов.

А примерно месяца три назад произошло — или, по крайней мере, началось — нечто такое, о чем весь округ должен был узнать или, по крайней мере, составить себе мнение, по той простой причине, что это было единственной стороной или частью жизни капитана

[1] Мах — М-число или число Маха — отношение скорости полета к скорости звука; по фамилии австрийского физика Э. Маха (1838—1916) (*прим. перев.*).

Гуальдреса в штате Миссисипи, которую он когда-либо пытался если не сохранить в тайне, то хотя бы скрыть от посторонних глаз.

Конечно, тут была замешана лошадь, потому что тут был замешан капитан Гуальдрес. Вообще-то, округ даже знал, какая именно лошадь. На всех этих необъятных, обнесенных дощатыми заборами и причесанных землях она была единственным из всех животных — или существ, включая самого капитана Гуальдреса,— которое не принадлежало Гаррисам даже номинально.

Ибо эта лошадь принадлежала самому капитану Гуальдресу. Он купил ее по собственному выбору и на собственные деньги — или на деньги, которыми пользовался, как своими, и покупка лошади на деньги, которые, по мнению округа, принадлежали его любовнице, была одним из самых ловких, а может быть самым ловким поступком в североамериканском духе, какие капитан Гуальдрес когда-либо совершил или мог совершить. Если б он воспользовался деньгами миссис Гаррисс, чтобы купить себе девушку,— а этого жители округа все время ожидали, потому что он был моложе миссис Гаррисс,— то их презрение и отвращение к нему уступало бы лишь их презрению к миссис Гаррисс и стыду за нее. А коль скоро он благопристойно потратил ее деньги на лошадь, жители округа заранее простили его prima facie[1]; благодаря своей честности и воздержанности этот ловкий соблазнитель приобрел в их глазах репутацию своего рода мужской респектабельности и сохранял ее почти полтора месяца, в течение которых самолично съездил в Сент-Луис, купил там лошадь и привез ее с собою на грузовике.

Это была кобыла, молодая кобылка, дочь знаменитого, ввезенного из-за границы скакового жеребца, начинавшая слепнуть от травмы; эту лошадь он — капитан Гуальдрес,— как думал округ, купил наверняка в качестве племенной конематки (последнее, с их точки зрения, служило доказательством, что капитан Гуальдрес рассчитывал прожить в Северном Миссисипи не меньше года), ведь всякому ясно, что с кобылой — пусть даже самой чистокровной,— которая через год окончательно ослепнет, делать больше решительно нечего. И такого мнения жители округа держались еще полтора месяца, даже после того, как они узнали, что капитан Гуальдрес не просто наблюдает за естественным ходом вещей, а использует кобылу с какой-то целью; с какой именно — они не знали, но что у него была какая-то цель, им стало ясно — по той причине, что это оказалось первым его делом по конской части, которое он пытался сохранить в тайне.

На сей раз не было ни наблюдателей, ни зрителей, и не только потому, что с кобылой капитан Гуальдрес занимался поздно ночью, а потому, что он сам попросил их не приезжать и не смотреть, попросил с тем латинским пристрастием к этикету и любезности, которое вошло в его плоть и кровь вследствие общения с собственным взбалмошным племенем и пробивалось даже сквозь его лингвистическую ущербность:

— Вы не приезжаете смотреть, потому что, клянусь честью, теперь нет на что смотреть.

И они не приезжали. Они уступили, возможно, не из уважения к его латинской чести, но уступили. Возможно, там и вправду не было ничего достойного обозрения, во всяком случае, ничего такого, ради чего стоило бы в столь поздний час ехать в такую даль, и лишь случайно какой-нибудь сосед, возвращаясь домой мимо поместья, погруженного в ночное безмолвие, слышал стук копыт в одном из загонов за конюшнями близ дороги: рысь, галоп, потом остановка, звук прекращался, наступала гробовая тишина; пока она длилась, слушатель успевал сосчитать до двух или даже трех, а потом все начиналось сначала, но уже в обратном порядке — лошадь с места пускалась галопом и, постепенно замедляя шаг, переходила на рысь, словно капитан Гуальдрес одним махом схватил, дернул, осадил ее, продержал в полной неподвижности две или три секунды, после чего снова погнал вскачь — чему он ее так обучал, не понял никто, и лишь один остряк из парикмахерской высказал предположение, что, раз кобыла все равно ослепнет, капитан скорей всего обучает ее увертываться от транспорта на дороге в город, куда она отправится выправлять себе пенсион.

— Может, он учит ее брать препятствия,— сказал парикмахер, чистенький щеголеватый человечек, чья утомленная испитая физиономия напоминала цветом изнанку шляпки гриба — в полдень ему ежедневно приходилось дважды пересечь залитую солнцем улицу, отделявшую парикмахерскую от трактира «Всю-то-ночку-напролет», чтобы там пообедать; если он когда и сидел на лошади, то лишь будучи беззащитным младенцем, еще не способным постоять за себя.

— Ночью? — поинтересовался его клиент.— В темноте?

— Если лошадь слепнет, откуда ей знать, что на дворе ночь? — возразил парикмахер.

— Но зачем заставлять лошадь ночью брать препятствия? — спросил клиент.

— А зачем вообще заставлять лошадь брать препятствия? — сказал парикмахер, взбалтывая кисточкой пену в кружке.— И вообще зачем лошадь?

Тем дело и кончилось. Все это не укладывалось в рамки здравого смысла. А если, по мнению жителей округа, капитан Гуальдрес вообще был кем-то, он был человеком здравомыслящим. И его здравый смысл — или, во всяком случае, практичность — проявился даже в тех самых действиях, которые несколько уменьшили уважение к нему жителей округа. Ибо теперь они узнали, зачем ему понадобилось возиться с этой слепой кобылой, да к тому же еще и по ночам. Он, этот непревзойденный наездник, использовал лошадь не как лошадь, а как ширму; он, этот безнравственный ловец стареющих вдов, обнаружил всю свою безнравственность.

Впрочем, какая там нравственность, была бы хоть совесть. Насчет его нравственности иллюзий у них никогда не было — откуда ей взяться у иностранца и латиняшки,— и потому они заранее примирились с ее отсутствием. Но совесть, моральный кодекс, они ему сами навязали, асучили, а теперь он доказал, что и совести у него тоже нет, и этого они ему простить не могли.

Дело было в женщине, в другой женщине; им, наконец, пришлось примириться с тем, чего, как им теперь стало ясно, они всегда ожидали от иностранца и латинянина; теперь они наконец узнали, зачем ему понадобилась лошадь, именно эта лошадь, слепнущая лошадь; теперь они поняли, что, наверно, никто никогда не узнает, зачем поздней ночью раздается стук ее копыт, но и разбираться в этом тоже никто не станет. Это не что иное, как троянский конь; иностранец, все еще едва говоривший по-английски, не поленился отправиться в Сент-Луис разыскать и купить на собственные деньги лошадь, которая отвечала бы его требованиям: слепую, чтобы объяснить ночные отлучки; уже обученную или такую, какую он сам сумеет обучить по сигналу — может даже по электрическому звонку, действующему от часового механизма каждые десять или пятнадцать минут (к этому времени воображение округа взмыло на такие высоты, что и во сне не снились даже тем, кто лошадьми торговал; не говоря о тех, кто просто их обучал),— с ходу пускаться в галоп и скакать по кругу в пустом загоне, пока он вернется с любовного свидания, бросит хлыст, поставит эту лошадь на место и угостит ее в награду сахаром или овсом.

Разумеется, речь шла о женщине помоложе, возможно, это была девушка, даже наверняка девушка — ведь его твердое, суровое, прозаическое мужское начало вполне соответствовало и даже было под стать его латинской чопорности — точно так же, как ему вполне естественно пришлись к лицу и оказались в самый раз фрак и белый галстук молодого человека. Но не в том дело. В сущности, одни только развратники гадали, с кем он мог вступить в связь. Для всех остальных, прочих, для большинства новая жертва имела столько же значения, сколько сама миссис Гаррисс. Они сурово осуждали не соблазнителя, а просто еще одного дикого самца-оленя, который бродит по округе, словно местных запасов ему мало. А когда они вспоминали миссис Гаррисс, то лишь как равные и даже превосходящие ее миллионеры. Они называли ее не «несчастной женщиной», а «несчастной дурой».

И некоторое время, сразу после того как все они вернулись из Южной Америки, молодой Гаррисс ездил верхом вместе с капитаном Гуальдресом. А он, Чарльз, уже убедился, что юноша умеет и любит ездить верхом; глядя, как он пытается следовать за капитаном Гуальдресом по трассе с препятствиями, можно было понять, что такое настоящая верховая езда. И он, Чарльз, думал, что коль скоро в доме гостит человек, в жилах которого течет испанская кровь, у юноши наверное будет с кем фехтовать. Однако фехтовали они или нет, никто так никогда и не узнал, а спустя некоторое время юноша перестал даже и верхом ездить с гостем матери, или ее любовником, или со своим будущим отчимом, или кем он там ему приходился, и теперь юношу видели только изредка, когда он на полном газу проезжал по Площади в спортивном автомобиле с откинутым верхом и кучей барахла на заднем сиденье, либо куда-то направляясь, либо просто возвращаясь домой. И через полгода, если ему — Чарльзу — случалось столкнуться с юношей достаточно близко, чтобы увидеть его глаза, он думал: *«Если б даже на свете было всего две лошади, и обе принадлежали ему, мне надо было очень сильно захотеть покататься на одной из них, чтобы я решил покататься с ним, будь даже мое имя капитан Гуальдрес».*

II

И вот эти люди — марионетки, бумажные куклы; эта ситуация — тупик, моралите, спектакль с рекламой патентованных лекарств — назовите, как вам угодно,— ни с того ни с сего свалились на дядю холодным поздним вечером за месяц до Рождества, и все, что дядя счел уместным, все, что он был расположен или счел необходимым сделать,— это вернуться к шахматной доске, передвинуть пешку и сказать: «Твой ход», словно ничего подобного не случилось, да и вообще на свете не было; он не просто от этого отмахнулся, он все это отбросил и отверг.

Но он, Чарльз, пока что никакого хода не сделал. И на этот раз упрямо повторил:

— Все дело в деньгах.

И дядя на этот раз тоже повторил — отрывисто, кратко, даже резко:

— В деньгах? Этому мальчишке плевать на деньги. Он наверняка терпеть их не может, он умирает от злости всякий раз, когда ему приходится таскать с собой пачку

[1] За отсутствием доказательств обратного *(лат.).*

банкнот для какой-нибудь покупки или поездки. Если б дело было только в деньгах, я о нем бы никогда и не услышал. Ему бы не понадобилось врываться ко мне в десять вечера сначала с царским указом, потом с лживым заявлением, потом с угрозой — и все лишь для того, чтобы помешать своей матери выйти замуж за человека, у которого нет денег. Даже если б у этого человека совсем не было денег, а ведь в случае с капитаном Гуальдресом это, может, и не соответствует действительности.

— Допустим,— сказал он, Чарльз, очень упрямо.— Он не хочет, чтобы его мать или сестра вышла за этого иностранца. Капитан Гуальдрес ему просто не нравится, и этого более чем достаточно.

Теперь дядя и в самом деле перестал говорить; он сидел за шахматной доской и ждал. Потом он заметил, что дядя смотрит на него — неотрывно, задумчиво и очень строго.

— Ладно, ладно,— сказал дядя.— Ладно, ладно, ладно.

Он смотрел на него, Чарльза, и тот почувствовал, что еще не разучился краснеть. Но ему пора было привыкнуть к этому — или, по крайней мере, к тому, что дядя наверняка это помнит, пусть даже у него, Чарльза, это выскочило из головы. Тем не менее он не сдал своих позиций, не опустил голову и, хотя лицо его залил горячий румянец, ответил дяде таким же неотрывным взглядом и словами:

— Да еще и притащил с собой сестру, чтобы заставить ее соврать.

Дядя смотрел на него, теперь уж не насмешливо, даже не пристально, просто смотрел, и все.

— Почему те, кому семнадцать...— сказал дядя.

— Восемнадцать,— сказал он.— Или почти.

— Ладно,— сказал дядя.— Восемнадцать или почти — почему они так уверены, что восьмидесятилетние старики вроде меня не способны принять как должное, отнестись с уважением или даже просто вспомнить, что́ молодые понимают под страстью и любовью?

— Возможно, потому, что старики уже не способны увидеть разницу между этими чувствами и обыкновенными приличиями — вроде того, чтобы холодным поздним декабрьским вечером не тащить свою сестру за шесть миль с целью заставить ее соврать.

— Ладно,— сказал дядя.— Значит, до тебя дошло. Надеюсь, этого достаточно? Видишь ли, я знаю одного восьмидесятилетнего старика пятидесяти лет от роду, который не сомневается, что семнадцати-, восемнадцати- и девятнадцатилетний — да и шестнадцатилетний тоже — способен на все, и уж во всяком случае на страсть и любовь или на соблюдение приличий, или на то, чтобы ночью притащить свою сестру за шесть или двадцать шесть миль с целью заставить ее соврать, взломать сейф или совершить убийство — если, конечно, ему пришлось ее тащить. Ее никто не заставлял сюда ехать — я, по крайней мере, наручников на ней не видел.

— Однако она приехала,— сказал он, Чарльз.— И соврала. Она отрицала даже то, что они с капитаном Гуальдресом обручились. Но когда ты прямо спросил ее, любит ли она его, она сказала «да».

— И за эти слова ее выдворили из комнаты,— сказал дядя.— Это произошло после того, как она сказала правду, на что я, между прочим, считаю способными семнадцати-, восемнадцати- и даже девятнадцатилетних, когда тому находится причина. Она явилась сюда, они оба явились сюда, заранее условившись, как будут мне врать. Но она испугалась. И тогда каждый из них попытался использовать другого для достижения цели. Только цели-то у них разные.

— Однако, убедившись, что у них ничего не вышло, они оба отступили. Он отступил очень быстро. Он отступил почти так же грубо, как и начал. Мне на минутку показалось, что он вот-вот вышвырнет ее в прихожую, словно она тряпичная кукла.

— Да,— сказал дядя.— Слишком быстро. Как только он убедился, что на нее полагаться нельзя, он отбросил этот план и решил испробовать что-нибудь другое. А она отступила еще раньше. Как только начала понимать, либо что от него толку не будет, либо что я не собираюсь принимать их слова на веру и, значит, от меня наверное тоже толку не будет. Таким образом, они оба уже решили испробовать что-нибудь другое, и это мне не нравится. Ибо они опасны. Опасны не потому, что глупы — глупость в этом возрасте (прошу прощенья, сэр) вполне естественна,— а потому, что никогда не встречали никого, кто внушил бы им достаточно уважения или страха, чтобы они ему поверили... Твой ход.

Казалось, что вопрос исчерпан; во всяком случае, для дяди; было ясно, что, по крайней мере на эту тему, от него ни слова больше не добиться.

Видимо, вопрос был и впрямь исчерпан. Он сделал ход. Он задумал этот ход очень давно, еще раньше, чем дядя, если считать не только то время, которое уже истекло, а то, которое еще длится, как это делают летчики — ведь ему не требовалось совершить посадку, достаточно длительную, чтобы отбросить вторгшегося противника, а потом снова подняться в воздух, как это требовалось дяде. Своим конем он дал шах и дядиной королеве, и ее ладье. После чего дядя уступил ему пешку, и он, Чарльз, сделал ход, потом ход сделал дядя, а потом, как всегда, все было кончено.

— Может, мне надо было взять королеву двадцать минут назад, когда представилась возможность, а ладью уступить,— сказал он.

— Всегда,— сказал дядя, начиная разбирать белые и черные фигуры, меж тем как он, Чарльз, протянул руку к ящику на нижней полке подставки.— Чтобы взять одновременно и ту и другую, тебе надо было сделать два хода. А конь может двигаться на две клетки одновременно и даже в двух направлениях одновременно. Но он не может сделать два хода зараз,— добавил дядя, подталкивая к нему черные фигуры.— Теперь белыми буду играть и, вот ты и попытайся.

— Уже одиннадцатый час,— сказал он.— Почти половина одиннадцатого.

— Да,— сказал дядя, расставляя черные фигуры,— это часто бывает.

— Мне, наверно, пора спать,— сказал он.

— Да, наверно, пора,— незамедлительно и очень ласково отозвался дядя.— Ты не возражаешь, если я еще посижу?

— Может, это будет даже лучше,— сказал он, Чарльз.— Ведь, наверное, очень интересно заставать врасплох самого себя.

— Прекрасно, прекрасно,— сказал дядя.— Разве я не говорил, что до тебя дошло? Будешь ты играть или не будешь, а фигуры по местам расставь.

Вот и все, что́ он тогда узнал. Ничего другого он даже и не заподозрил. Но он быстро учился — или быстро схватывал. На этот раз сперва послышались шаги — легкий, звонкий, четкий стук, который производят девушки, шагая по прихожей. За время, проведенное им на дядиной половине, он уже усвоил, что в любом доме или здании, где живут хотя бы две более или менее самостоятельных семьи, никогда не слышно звука шагов. И потому он в ту же секунду (еще прежде, чем она успела постучать, и даже прежде, чем дядя успел сказать: «Теперь твоя очередь опоздать открыть дверь») понял: он, как и сам дядя, наверное все время знал, что она вернется. Только сперва он подумал, что это брат опять послал ее сюда, и лишь потом начал гадать, каким образом она ухитрилась так быстро от него уйти.

Вид у нее был такой, словно она с тех пор безостановочно бежала, а когда он открыл дверь, на минутку остановилась, придерживая одной рукой полы меховой шубы, из-под которой выглядывало длинное белое платье. И быть может, лицо ее все еще выражало страх, но взгляд не казался застывшим. И на этот раз она даже долго на него смотрела, хотя в прошлый раз, сколько он мог судить, даже не заметила, что он был в комнате.

Потом она отвела от него взгляд. Она вошла и быстро двинулась туда, где (на этот раз) возле шахматной доски стоял дядя.

— Мне надо поговорить с вами наедине,— сказала она.

— Мы и так наедине,— сказал дядя.— Это Чарльз Мэллисон, мой племянник. Садитесь,— добавил он, отодвигая от доски один из стульев.

Но она не шевельнулась.

— Нет,— сказала она.— Наедине.

— Если вы не можете сказать мне правду, когда нас тут трое, вы наверное не скажете, если мы будем вдвоем,— возразил дядя.— Садитесь.

Но она опять ни шагу не ступила. Он, Чарльз, не видел ее лица, так как она стояла к нему спиной. Но теперь голос ее звучал совсем иначе.

— Да,— сказала она. Она повернулась к стулу. Потом опять остановилась и, уже нагнувшись, чтобы сесть, полуобернулась и посмотрела на дверь, словно не только ожидала услышать шаги брата, идущего по прихожей, но и готова была бегом вернуться к парадной двери посмотреть, не идет ли он по улице.

Но это едва ли можно было назвать паузой, потому что она села, рухнула на стул в стремительном вихре юбок и ног, как это свойственно всем девушкам, словно их суставы сочленены не так и расположены не так, как у мужчин.

— Можно я закурю? — сказала она.

Но не успел дядя протянуть руку к пачке сигарет, которых сам не курил, она достала сигарету неизвестно откуда — не из платинового портсигара с драгоценными камнями, как можно было ожидать, нет, она просто вытащила одну-единственную согнутую и измятую сигарету, из которой сыпался табак, словно та уже много дней валялась у нее в кармане; при этом она поддерживала запястье одной руки другой, словно для того, чтоб рука не задрожала, когда она протянет сигарету к спичке, зажженной дядей. Потом она выдохнула дым, сунула сигарету в пепельницу и положила руки на колени — не складывая, а просто плотно прижимая свои маленькие руки к темному меху.

— Он в опасности,— сказала она.— Я боюсь.

— А,— сказал дядя.— Ваш брат в опасности.

— Нет, нет,— сказала она немного раздраженно.— Не Макс, Себас... капитан Гуальдрес.

— Вот оно что,— сказал дядя.— Капитан Гуальдрес в опасности. Я слышал, что он увлекается верховой ездой, хотя ни разу не видел его на лошади.

Она взяла сигарету, сделала две быстрых затяжки, раздавила сигарету в пепельнице, положила руки обратно на колени и снова посмотрела на дядю.

— Хорошо,— сказала она.— Я люблю его. Я это вам уже говорила. Но с этим все в порядке. Тут ничего не поделаешь. Мама увидела его первой, или он увидел ее первой.

Как бы там ни было, они принадлежат к одному поколению. А я нет, потому что Себ... капитан Гуальдрес старше меня лет на восемь или десять, а может и больше. Но это неважно. Потому что дело не в этом. Он в опасности. И если он даже предпочел мне маму, я все равно не хочу, чтобы ему причинили вред. Во всяком случае я не хочу, чтоб моего брата за это посадили в тюрьму.

— Тем более, если его даже и посадят, сделанного этим не вернешь,— сказал дядя.— Я с вами согласен: гораздо лучше посадить его прежде.

Она взглянула на дядю.

— Прежде? — спросила она.— Прежде чем что?

— Прежде чем он совершит деяние, за которое его могут посадить,— незамедлительно откликнулся дядя тем фантастически ласковым голосом, который способен был придать не только ясность, но и некую солидную основательность самой фантастической несуразице.

— А,— сказала она. Она посмотрела на дядю.— Посадить его сейчас? — сказала она.— Я не очень разбираюсь в законах, но знаю, что нельзя посадить человека лишь за намерение что-то сделать. К тому же он просто даст какому-нибудь юристу в Мемфисе десять или триста долларов и на следующий же день выйдет на свободу. Разве нет?

— Да,— сказал дядя.— Просто диву даешься, глядя, как иной юрист готов за триста долларов в лепешку разбиться.

— Значит, ничего хорошего из этого не выйдет? — сказала она.— Вышлите его.

— Выслать вашего брата? — сказал дядя.— Куда? За что?

— Перестаньте,— сказала она.— Перестаньте. Вы же прекрасно знаете, что если б я могла пойти к кому-нибудь другому, я бы здесь не сидела. Вышлите Себ... капитана Гуальдреса.

— Ах, вот оно что,— сказал дядя.— Капитана Гуальдреса. Боюсь, что иммиграционные власти лишены не только той целеустремленности, но и того размаха, какими отличаются трехсотдолларовые юристы из Мемфиса. Чтобы его выслать, потребуется много недель, а может, и месяцев, тогда как, если для ваших страхов есть основание, даже двух дней будет слишком много. Интересно, что ваш брат будет все это время делать?

— Вы хотите сказать, что вы, юрист, не можете засадить его куда-нибудь и держать там, пока Себастьян не уедет из Америки?

— Засадить кого? — сказал дядя.— И держать где?

Она перестала смотреть на дядю, хотя и не пошевелилась.

— Можно я возьму сигарету? — сказала она.

Дядя дал ей сигарету из пачки, лежавшей на столе, поднес спичку, она опять откинулась на спинку стула и, быстро попыхивая сигаретой, продолжала говорить сквозь дым, все еще не поднимая глаз на дядю.

— Ладно,— сказала она.— Когда отношения между ним и Максом в конце концов стали такими скверными, когда я в конце концов поняла, что Макс ненавидит его так сильно, что вот-вот случится нечто ужасное, я уговорила Макса...

— ...спасти жениха вашей матери,— сказал дядя.— Вашего будущего отчима.

— Хорошо,— сказала она, быстро выдыхая дым и держа сигарету двумя пальцами с острыми накрашенными ногтями.— Ведь они с мамой ничего определенного не решили — если вообще им было что решать. И во всяком случае мама не хотела что-нибудь на этот счет решать, потому что... У него и так были бы лошади или хотя бы деньги на покупку новых лошадей, на которой бы из нас он ни женился...— Она быстро попыхивала сигаретой и не смотрела ни на дядю, ни на что другое.— Поэтому, когда я убедилась, что, если ничего не предпринять, Макс рано или поздно его убьет, я условилась с Максом, что, если он подождет сутки, я поеду с ним к вам и уговорю вас выслать его обратно в Аргентину...

— ...где у него не будет ничего, кроме капитанского жалованья,— сказал дядя.— И тогда вы поедете за ним.

— Хорошо,— сказала она.— Да. Поэтому мы приехали к вам, и я увидела, что вы нам не верите и не намерены ничего предпринимать, и значит, единственное, что мне остается сделать, это в вашем присутствии показать Максу, что я тоже его люблю, и тогда Макс сделает что-нибудь с целью заставить вас поверить, что хотя бы он говорит что думает. И он так и сделал, и он именно так и думает, и он опасен, и вы должны мне помочь. Должны.

— А вы тоже должны что-то сделать,— сказал дядя.— Вы должны наконец сказать правду.

— Я вам сказала правду. И теперь тоже правду говорю.

— Но не всю. Что произошло между вашим братом и капитаном Гуальдресом? Но на этот раз не втирайте мне очки.

Она быстро взглянула на дядю сквозь дым. От сигареты теперь остался только маленький окурок, зажатый кончиками наманикюренных ногтей.

— Вы правы,— сказала она.— Дело не в деньгах. Деньги его не интересуют. Их более чем достаточно для Себ... для всех нас. Дело даже не в маме. Дело в том, что Себастьян

всегда его побеждал. Во всем. Когда Себастьян появился, у него даже не было собственной лошади, и хотя Макс тоже прекрасно ездит верхом, Себастьян его победил, победил его на лошадях Макса, на тех самых лошадях, которыми — что Макс отлично знает — Себастьян завладеет, как только мама соберется с духом и скажет «да». И Макс был самым лучшим из всех учеников Паоли, а Себастьян однажды взял метлу для камина и парировал два укола, а Макс не выдержал, сорвал шишечку и пошел на него с голой рапирой, а Себастьян вместо рапиры отбивал его выпады метлой, пока наконец кто-то схватил Макса...

Она дышала не так тяжело, как часто, стремительно, чуть не задыхаясь, все еще пытаясь затянуться сигаретой, которая была бы слишком коротка, если б даже рука ее была достаточно твердой, чтобы твердо эту сигарету держать; сжавшись в комочек, она притулилась на стуле, словно в облаке белого батиста и шелка и густых переливов темных шкурок убитых зверьков, не столько бледная, сколько слабая и хрупкая, и не столько хрупкая, сколько эфемерная и холодная, как один из тех ранних белых весенних цветов, что расцвели до поры среди снега и льда и уже заранее обречены умереть у вас на глазах, даже не зная, что умирают, даже не чувствуя боли.

— Это было после,— сказал дядя.

— Что? После чего?

— Это случилось,— сказал дядя.— Но это было после. Никто не хочет видеть другого мертвым лишь потому, что тот заткнул его за пояс на лошади или на рапирах. Во всяком случае, не пытается превратить желаемое в действительное.

— Да,— сказала она.

— Нет,— сказал дядя.

— Да.

— Нет.

Она наклонилась и положила окурок в пепельницу так осторожно, словно это было яйцо или капсула с нитроглицерином, и снова откинулась на спинку стула, даже не сложив руки, а просто оставив их свободно лежать на коленях.

— Ну хорошо,— сказала она.— Я этого боялась. Я говорила... я знала, что вы этим не удовлетворитесь. Тут замешана женщина.

— А...— сказал дядя.

— Я думала, вы удовлетворитесь,— сказала она, и голос ее опять изменился, в третий раз с тех пор, как она менее десяти минут назад вошла в комнату.— Там, в двух милях от нашего заднего крыльца. Дочь фермера. Да,— добавила она,— я и это знаю: Вальтер Скотт, или Гарди, или еще кто-то триста лет назад — молодой лендлорд и вилланы, droit du seigneur [1] и все такое прочее. Но только на этот раз ничего такого не было. Потому что Макс подарил ей кольцо.— Теперь она снова сжала руки, оперлась ими на подлокотники и опять не смотрела на дядю.— На этот раз все было иначе. Лучше, чем бы мог придумать Гарди или Шекспир. Потому что на этот раз было двое городских юношей: не только богатый молодой граф, но и чужеземный друг молодого графа или, во всяком случае, гость семейства, безвестный романтический чужеземный рыцарь, который победил молодого графа, разъезжая верхом на лошадях молодого графа, а потом с помощью каминной метлы отобрал у молодого графа шпагу. И наконец ему осталось только подъехать ночью к окошку подруги молодого графа и свистнуть... Подождите,— сказала она.

Она поднялась. Еще не успев встать на ноги, она уже двинулась вперед. Она пересекла комнату и, прежде чем он, Чарльз, успел хотя бы шевельнуться, рывком распахнула дверь, и в прихожей послышался громкий торопливый стук ее каблуков. Потом хлопнула парадная дверь. А дядя все стоял, глядя на открытую дверь.

— Что? — сказал он.— Что?

Но дядя не ответил, дядя все еще смотрел на дверь, и чуть прежде, чем дядя успел ответить, они снова услышали хлопанье парадной двери, потом громкий гулкий стук девичьих каблуков в прихожей — теперь их было две пары,— и девица Гаррисс быстро вошла, пересекла комнату, закинула руку назад и сказала:

— Вот она,— пошла дальше и снова вихрем опустилась на стул, а они с дядей тем временем смотрели на вторую девицу — это была деревенская девушка, он и раньше встречал ее в городе по субботам, но теперь этих деревенских девушек трудно было отличить от городских, потому что и те и другие красили губы, щеки, а иногда и ногти, а одежда фирмы «Сирс и Роубак» теперь совсем не походила на «Сирс и Роубак», а иногда вовсе не была куплена у «Сирса и Роубака», даже если ее и не отделывали норкой стоимостью в тысячу долларов,— девушка примерно того же возраста, что и девица Гаррисс, но пониже ростом, стройная, но в то же время плотная, какими бывают девушки, выросшие в деревне, темноволосая, черноглазая — она мельком взглянула на него, а потом на дядю.

— Входите,— сказал дядя.— Я мистер Стивенс, а ваша фамилия Моссоп.

— Знаю,— сказала девушка.— Нет, сэр. Это моя мама была Моссоп. А мой отец Хенс Кейли.

— Кольцо при ней,— сказала девица Гаррисс.— Я попросила ее захватить его,

[1] Право господина (*фр.*).

я знала, что вы не поверите — я ведь тоже не поверила, когда про него услыхала. Я не осуждаю ее за то, что она его не носит. Я бы тоже не носила кольцо человека, который сказал бы мне то, что Макс сказал ей.

Девица Кейли с минуту смотрела на девицу Гаррисс своими черными глазами — холодным, немигающим, очень спокойным взглядом,— меж тем как девица Гаррисс взяла из пачки еще одну сигарету, но на этот раз никто не подошел зажечь ей спичку.

Потом девица Кейли опять посмотрела на дядю. В глазах ее пока не было ничего особенного. Они просто наблюдали.

— Я это кольцо никогда не носила. Мне отец не велел. Он сказал, что от Макса толку не будет. Да я и сама его кольцо даже держать у себя не собираюсь, и как только я его найду, сразу же ему отдам. Потому что я теперь тоже так не думаю...

Девица Гаррисс издала какой-то звук. Он, Чарльз, подумал, что навряд ли она могла научиться издавать такие звуки в швейцарском монастыре. Девица Кейли еще раз глянула на нее задумчивым твердым взглядом своих черных глаз. Но в глазах ее все еще не было ничего особенного. Потом она снова посмотрела на дядю.

— Я не обиделась на то, что он мне говорил. Мне не понравилось, как он говорил. Может, он тогда иначе сказать не мог. А надо было. Да только я на него не сердилась — значит, он думал, что говорит так, как надо.

— Понятно,— сказал дядя.

— Я бы не обиделась на эти слова,— сказала она.

— Понятно,— сказал дядя.

— Но он был неправ. Он с самого начала был неправ. Он сказал, что ты, мол, лучше кольцо пока не носи, а то люди увидят. Я даже не успела ему сказать, что я и так отцу не скажу, что я у него кольцо взяла...

Девица Гаррисс снова произвела тот же звук. На этот раз девица Кейли замолчала, очень медленно повернула голову и секунд пять или шесть смотрела на девицу Гаррисс, а та сидела, держа пальцами незажженную сигарету. Потом девица Кейли опять посмотрела на дядю.

— Это он сказал, что нам лучше не обручаться, кроме как по секрету. А раз я не обручилась кроме как по секрету, я не видела причины, почему бы капитан Гольдез...

— Гуальдрес,— сказала девица Гаррисс.

— Гольдез,— сказала девица Кейли,— или кто другой не может приехать, посидеть у нас на крыльце и с нами поболтать. А я люблю кататься верхом, да еще на лошадях, у которых нет нагнетов, и потому, когда он приводил вторую лошадь для меня...

— Откуда ты могла узнать, есть у ней нагнеты или нет, если было темно? — спросила девица Гаррисс.

Теперь девица Кейли, все еще неторопливо, повернулась всем телом и посмотрела на девицу Гаррисс.

— Что? — проговорила она.— Что вы сказали?

— Ну-ну,— сказал дядя.— Прекратите это.

— Ах вы, старый дурак,— сказала девица Гаррисс. На дядю она даже не смотрела.— Неужели вы думаете, что какой-нибудь мужчина, кроме такого, как вы, который уже одной ногой в могиле, станет один каждую ночь ездить взад-вперед по пустой площадке для конного поло?

Тут девица Кейли зашевелилась. Она быстро пошла вперед, нагнулась, задрала подол юбки, на ходу вытащила у себя из чулка какой-то предмет, остановилась перед стулом, и будь это нож, и он, Чарльз, и дядя опять бы опоздали.

— Встаньте,— сказала она.

Теперь уже девица Гаррисс, подняв глаза и все еще держа возле рта незажженную сигарету, сказала:

— Что?

Но девица Кейли больше ничего не произнесла. Своими стройными плотными ногами она сделала шаг назад, подняла руку и, хотя дядя уже рванулся было к ней с криком: «Прекратите! Прекратите!», размахнулась, ударила девицу Гаррисс по лицу, по сигарете и по державшей сигарету руке — все разом,— а девица Гаррисс дернулась на стуле, но осталась сидеть, держа трясущимися пальцами сломанную сигарету; на щеке у нее появилась длинная тонкая царапина, а потом кольцо с большим брильянтом, посверкивая, прокатилось по ее шубе и упало на пол.

Девица Гаррисс какой-то миг смотрела на сигарету. Потом она посмотрела на дядю.

— Она меня ударила! — сказала она.

— Я видел,— сказал дядя.— Я как раз сам хотел...— Тут он подпрыгнул, и не напрасно, потому что девица Гаррисс быстро поднялась со стула, а девица Кейли уже снова отступила. Но дядя их опередил; на этот раз он очутился между ними, одной рукой отбросил девицу Гаррисс, другой — девицу Кейли, и обе тотчас разразились громким ревом — ни дать ни взять две трехлетние девчонки после драки,— а дядя, секунду понаблюдав за ними, нагнулся и поднял кольцо.

— Хватит,— сказал он.— Перестаньте. Обе. Ступайте в ванную и умойтесь. Вон в ту

дверь. Только не вместе,— быстро добавил он, когда обе двинулись вперед.— По одной. Сначала вы,— сказал он девице Гаррисс.— Там в шкафчике есть кровеостанавливающее. Если хотите и если боитесь бешенства. Проводи ее, Чик.

Но она уже ушла в спальню. Девица Кейли стояла, вытирая нос ладонью, и дядя протянул ей свой носовой платок.

— Извиняюсь,— сказала она, шмыгая носом и сопя,— она сама виновата.

— Не надо было ее слушать,— сказал дядя.— Она, наверно, оставила вас дожидаться внизу в автомобиле. Подъехала к вашему дому и взяла вас с собой.

Девица Кейли высморкалась в носовой платок.

— Да, сэр,— сказала она.

— В таком случае тебе придется отвезти ее домой,— не оборачиваясь, сказал дядя ему, Чарльзу.— Вдвоем им нельзя...

Но девушка уже привела себя в порядок. Она тщательно вытерла нос справа и слева и уже собралась было вернуть дяде платок, как вдруг опустила руку и остановилась.

— Я поеду с ней,— сказала она.— Я ее не боюсь. Даже если она довезет меня только до своих ворот, там всего две мили остается.

— Вот и хорошо,— сказал дядя.— Возьмите,— он протянул ей кольцо. Кольцо было с большим брильянтом, и он тоже остался цел. Девица Кейли едва на него взглянула.

— Я его не возьму,— сказала она.

— Я б на вашем месте тоже не взял. Но из уважения к себе вы должны вернуть его своей рукой.

Девица Кейли взяла кольцо, потом девица Гаррисс возвратилась, а она пошла умываться, все еще держа в руке платок. Девица Гаррисс вновь приняла обычный вид, только на щеке у ней осталась глазированная полоска кровеостанавливающего средства, которым она замазала царапину; и теперь при ней была платиновая коробочка — отделанная драгоценными камнями — с пудрой и прочим. Она не смотрела ни на него, ни на дядю. Она смотрелась в зеркало на крышке коробочки и приводила в порядок свое лицо.

— Мне, наверно, надо извиниться,— сказала она.— Но я думаю, что юристам в их профессиональной практике приходится сталкиваться со всякими неожиданностями.

— Мы пытаемся избегать кровопролития,— сказал дядя.

— Кровопролития...— повторила она. Тут она забыла про свое лицо и про платиновую пудреницу, грубости и нахальства как не бывало, и когда она посмотрела на дядю, глаза ее снова выражали страх и ужас, и тогда он понял: каковы бы ни были их с дядей предположения о том, что ее брат сможет, захочет или сумеет сделать, она никаких сомнений на сей счет не питает.

— Вы должны что-то сделать,— сказала она.— Должны. Если б я знала, к кому кроме вас обратиться, я бы вас не беспокоила. Но я...

— Вы сказали, что он обещал вам в течение суток ничего не делать,— сказал дядя.— Как вы думаете — считает ли он еще, что связан этим обязательством, или он последует вашему примеру и предпримет что-нибудь у вас за спиной?

— Не знаю,— сказала она.— Вот если б вы могли запереть его на то время, пока я...

— Чего я не могу, равно как и добиться высылки второго еще до завтра. Почему бы вам самой его не выслать? Вы же говорили, что вы...

Теперь ее лицо выражало и страх, и отчаяние.

— Я не могу. Я пыталась. Может, мама в конце концов более мужественный человек, чем я. Я даже пыталась сказать ему... Но он такой же, как вы — он тоже не верит, что Макс опасен. Он говорит, это все равно, что удирать от младенца.

— Вот именно,— сказал дядя.— Именно поэтому.

— Что — «именно поэтому»?

— Ничего,— сказал дядя. Он не смотрел на нее, не смотрел ни на кого из них и, насколько он, Чарльз, мог судить, ни на что вообще. Он просто стоял и потирал большим пальцем чашечку кукурузной трубки.

Потом она сказала:

— Можно я возьму еще одну сигарету?

— Почему бы нет? — сказал дядя.

Она вынула сигарету из пачки, и на этот раз прикурить ей дал он, Чарльз; он прошел мимо дяди к подставке, осторожно ступая между рассыпанными по полу шахматными фигурами; когда он зажигал спичку, в комнату вошла девица Кейли, она тоже ни на кого не посмотрела и сказала дяде:

— Он на зеркале.

— Что? — сказал дядя.

— Ваш носовой платок,— сказала девица Кейли.— Я его выстирала.

— А...— сказал дядя, а девица Гаррисс сказала:

— Разговаривать с ним бесполезно. Вы уже раз пытались.

— Не помню,— сказал дядя.— Не помню, чтобы кто-нибудь, кроме него, сказал хоть слово. Но насчет разговоров вы правы. Сдается мне, будто все это дело началось из-за того, что кто-то уже слишком много наговорил.

Но она даже не слушала.

— И сюда нам его тоже во второй раз не затащить. Поэтому вам придется поехать туда...

— Спокойной ночи,— сказал дядя.

Она совсем его не слушала.

— ...утром, пока он еще не встал и куда-нибудь не уехал. Утром я вам позвоню и скажу, когда будет подходящее время...

— Спокойной ночи,— опять сказал дядя.

После этого они удалились — прошли через дверь гостиной, разумеется, оставив ее открытой, то есть оставила ее открытой девица Гаррисс, но когда он пошел закрывать дверь, девица Кейли вернулась, чтоб это сделать, однако, увидев его, передумала. Когда он уже готов был закрыть дверь, дядя сказал: «Подожди»; он остановился, придерживая дверь, и они услышали из передней громкий гулкий стук девичьих каблуков, а потом, как и следовало ожидать, хлопнула парадная дверь.

— То же самое мы думали в прошлый раз,— сказал дядя.— Сходи и проверь.

Однако на этот раз они ушли. Стоя у открытой парадной двери в свежей зябкой безветренной декабрьской тьме, он услышал рев мотора и стал смотреть, как огромный автомобиль, с ходу взяв предельную скорость, накренился, взвыл, визжа шинами, завернул за угол, хвостовые огни тоже с чрезмерной быстротою всосала тьма, и еще долго после того, как машина уже наверное пересекла Площадь, ему все еще казалось, будто он слышит запах истерзанной резины.

Потом он возвратился в гостиную, где дядя теперь сидел среди разбросанных шахматных фигур и набивал трубку. Не останавливаясь, он поднял доску и положил ее на стол. К счастью, драка разыгралась с другой стороны, так что на фигуры никто не наступил. Он собрал их вокруг дядиных ног, расставил по местам на доске и даже выдвинул белую ферзевую пешку, как полагалось в традиционном дебюте, на котором настаивал дядя. Дядя все еще набивал трубку.

— Значит, они все-таки не ошиблись насчет капитана Гуальдреса,— сказал он.— Тут была замешана девушка.

— Какая девушка? — сказал дядя.— Ведь одна из них сегодня вечером дважды проехала шесть миль лишь с целью убедиться, что мы поняли: она хочет, чтобы ее имя связывали с капитаном Гуальдресом, причем на любых условиях; а вторая не только прибегла к рукоприкладству, чтобы опровергнуть клевету, но не может даже правильно произнести его фамилию.

— Да...— начал было он. Но ничего не сказал. Он подвинул свой стул и опять уселся. Дядя внимательно смотрел на него.

— Ну как, выспался? — спросил дядя.

Это тоже не сразу до него дошло. Но ему оставалось только ждать — расшифровывать свои остроты дядя не торопился, особенно, когда они были действительно остроумны, действительно блестящи, а тем более, когда он просто прибегал к красному словцу.

— Полчаса назад ты уже собирался ложиться. Я даже не мог тебя остановить,— сказал дядя.

— И чуть не пропустил что-то интересное,— сказал он.— На этот раз я ничего пропускать не намерен.

— Сегодня больше ничего интересного не будет.

— Я тоже так подумал,— сказал он.— Эта Кейли...

— ...благополучно сидит дома,— сказал дядя.— Где, надеюсь и верю, она и останется. И вторая тоже. Твой ход.

— Я уже сделал ход,— сказал он.

— В таком случае, сделай еще один,— сказал дядя, выдвигая свою пешку навстречу белой.— И на этот раз смотри в оба.

А он-то думал, что смотрит, и вообще всегда следит и наблюдает. Да только все его наблюдения, казалось, свелись к одному: он чуть быстрей обычного убедился, что эта партия закончится точь-в-точь как предыдущая, но тут дядя неожиданно очистил доску и поставил перед ним одну-единственную задачу, для решения которой требовались всего лишь два коня, две ладьи и две пешки.

— Так ведь это уже не игра,— сказал он.

— Все то, в чем могут отразиться, а затем найти подтверждение все человеческие страсти, надежды и безумства, никогда и не было просто игрой,— сказал дядя.— Твой ход.

На сей раз зазвонил телефон, и на сей раз он знал, что это будет именно звонок по телефону, и даже что́ именно по телефону скажут; ему даже не надо было слушать, да и у дяди разговор не занял много времени:

— Да? Говорит... Когда? Понятно. Как только вы приехали домой, вам сообщили, что он упаковал чемодан, взял автомобиль и сказал, что едет в Мемфис... Нет, нет, никогда не следует учить ученого и приглашать на прогулку почтальона.— С этими словами дядя положил телефонную трубку и, не отнимая от нее руки, сидел не шевелясь, даже как будто не дыша, даже не потирая пальцем чашечку курительной трубки; сидел так долго, что он, Чарльз, хотел было уже заговорить, но тут дядя поднял трубку и вызвал номер в Мемфисе — что также не заняло много времени — номер мистера Роберта Марки, адвоката и политического деятеля, который учился с дядей в Гейдельберге:

— Нет, нет, не надо полицейских; они не смогут его задержать. Да я и не хочу, чтобы его задерживали, я только прошу установить за ним наблюдение, чтоб он не мог уехать из Мемфиса тайком от меня. Хороший частный детектив, просто чтобы незаметно за ним следить — если только он не попытается уехать из Мемфиса... Что? Я никогда не санкционирую кровопролитие, тем более при свидетелях... Да, пока я не приеду и не займусь им сам, завтра или послезавтра... В гостинице... Там ведь только одна — Гринбсри. Вы когда-нибудь встречали жителя штата Миссисипи, который бы знал о существовании какой-нибудь другой гостиницы? (Это вполне соответствовало действительности — существовала даже поговорка, что штат Северное Миссисипи начинается в холле гостиницы Гринбери...) Под чужой фамилией? Он? Последнее, чего он избегает, это известность. Он наверняка позвонит во все газеты, чтобы они, не дай бог, не перепутали его фамилию и местопребывание и непременно опубликовали эти сведения... Нет, нет, просто утром сообщите мне телеграммой, что вы взяли его под наблюдение, и держите его под наблюдением, пока я вам не позвоню.— Он положил трубку, встал, но к шахматной доске не вернулся, а вместо этого пошел к двери, открыл ее и держал ручку, пока он, Чарльз, наконец к нему не присоединился. Он встал и взял книгу, которую начал читать наверху три часа назад. Но на этот раз он заговорил, и на этот раз дядя ему ответил.

— Чего ты от него хочешь?

— Ничего,— сказал дядя.— Я всего лишь хочу знать, что он в Мемфисе и остается там. Так он и сделает; он хочет, чтобы и я, и все на свете были уверены: он благополучно пребывает в Мемфисе или в любом другом месте, кроме Джефферсона, штат Миссисипи, и никому не причиняет вреда, и хочет он этого вдесятеро больше, чем я хочу об этом знать.

Но до него, Чарльза, это тоже не сразу дошло, ему пришлось задать еще один вопрос.

— Ему нужно алиби,— сказал дядя.

Вот оно что.

— Для всего, что он собирается предпринять, для любого фокуса, который он придумал, чтобы запугать жениха своей матери и заставить его отсюда уехать.

— Фокус? — спросил он.— Какой фокус?

— Почем я знаю? — сказал дядя.— Спроси сам себя; тебе восемнадцать лет или вот-вот стукнет восемнадцать, и потому ты знаешь, что сделает девятнадцатилетний мальчик: может, это будет письмо за подписью Черной Руки, а может, даже довольно меткий выстрел в окно спальни. Мне пятьдесят; я знаю только, что девятнадцатилетние способны решительно на все, и мир взрослых может чувствовать себя в безопасности лишь благодаря одному: они заранее настолько уверены в успехе, что принимают желание и намерение за совершившийся факт, а скучные технические подробности их просто не интересуют.

— Значит, если фокус не удастся, тебе не о чем беспокоиться,— сказал он.

— Я и не беспокоюсь,— сказал дядя.— Это меня беспокоят. Хуже того — раздражают. Мне только нужно, чтобы я — или мистер Марки — мог держать его в поле зрения до тех пор, пока я завтра смогу позвонить его сестре, и она — или их мать, или любой другой член семьи, который способен или считает себя способным хоть сколько-нибудь воздействовать на него, или на одного из них в отдельности, или на обоих вместе — сможет поехать туда, забрать его и поступить с ним так, как они сочтут нужным; я бы посоветовал связать его и посадить в конюшню, чтоб его будущий отец (возможно, после этого капитан Гуальдрес даже преодолел бы свою девичью нерешительность и согласился на немедленное бракосочетание) хорошенько отделал его хлыстом.

— Да,— сказал он.— Во всяком случае, ясно, что дело вовсе не в этой Кейли. Может, если бы он приехал сюда сегодня вечером и увиделся с ней, когда его сестра...

— Никто и в мыслях не имел, что все дело в Кейли, разве только его сестра,— сказал дядя.— Это она внушила ему, будто дело только в ней, и затеяла всю эту историю. Чтобы заполучить своего мужчину. Может, она думала, что стоит ее брату направить капитана по ложному следу, как он тотчас отсюда уедет. А может, надеялась, что для воздействия на капитана достаточно будет осторожности и здравого смысла; в обоих случаях ей придется последовать за ним в любое место в Соединенных Штатах или даже обратно в Аргентину (где, разумеется, нет других женщин) и посредством неожиданного обходного маневра или просто компромисса победить, превратив его в приверженца моногамии. Но она его недооценила, она бросила тень на его репутацию, приписав ему еще и преступную зрелость.

Дядя держал дверь открытой и смотрел на него.

— В сущности, единственная их болезнь — это молодость. Однако — впрочем, я, кажется, уже говорил, что молодость очень напоминает бубонную чуму или оспу.

— Да,— снова сказал он.— Может, это относится и к капитану Гуальдресу. Насчет него мы ошиблись. Я думал, ему лет сорок. Но она сказала, будто он старше ее всего лет на восемь или десять.

— Значит, она думает, что он старше лет на пятнадцать,— сказал дядя.— Значит, он наверняка старше лет на двадцать пять.

— На двадцать пять? — сказал он.— Это возвращает его в ту категорию, к которой он и принадлежал.

— А разве он когда-нибудь из нее выходил? — сказал дядя. Он все еще держал дверь открытой.— Ну? Чего ты ждешь?

— Ничего,— сказал он.

— В таком случае, спокойной ночи и тебе тоже,— сказал дядя.— Ступай домой и ты. Этот детский сад на сегодня закрыт.

III

Ну что ж, раз так, то он пошел к себе наверх и лег спать, предварительно сняв военную форму или, как выражались в Службе подготовки офицеров запаса, «сбросил коричневую шкуру». Дело в том, что был четверг, а по четвергам батальон всегда занимался строевой подготовкой. А он в этом году был назначен курсантом-подполковником, а кроме того, строевую подготовку вообще никто не пропускал,— ведь хоть в Джефферсонской школе проводилось только начальное военное обучение, она получила одну из высших оценок в стране за подготовку офицеров запаса, и на последнем смотре сам генеральный инспектор сказал курсантам: когда начнется война, каждый, кто сможет доказать, что ему исполнилось восемнадцать лет, почти автоматически получит право поступить в офицерское училище.

Следовательно, и он тоже — ведь до восемнадцати ему оставалось совсем чуть-чуть. Да только теперь неважно, будет ему восемнадцать, восемь или восемьдесят,— ведь даже если восемнадцать ему исполнится завтра утром, он все равно опоздает. Пока он сможет добраться до офицерского училища, а тем более завершить курс, война кончится, и люди уже обретут способность о ней забывать.

Да и вообще, для Соединенных Штатов она уже кончилась: англичане, горстка мальчишек — кто его ровесники, а кто и моложе,— летавшие на истребителях Королевских военно-воздушных сил, остановили их на западе, и теперь всей этой необоримой волне победы и разрушения оставалось только исчезнуть в бесконечных просторах России — подобно тому, как подгоняемая шваброй грязная вода расползается по кухонному полу,— так что в течение пятнадцати месяцев начиная с осени 1940 года, всякий раз, снимая военную форму или вешая ее обратно в шкаф (это и в самом деле была саржа цвета хаки, какую носят настоящие офицеры, только вместо сержантских нашивок на ней красовались голубые петлицы и канты Службы подготовки офицеров резерва, вроде эмблем студенческих братств, а также невинные металлические ромбы наподобие тех, что вечно красуются на плечах спесивых гостиничных швейцаров или капельмейстеров циркового оркестра,— все для того, чтоб еще больше отдалить эту форму от царства доблести, риска и томления духа, жаждущего почета и славы), всякий раз, глядя на нее, томясь духовною жаждой (если то была она) и чувством невосполнимой утраты, которое владело им эти последние месяцы, когда он понял, что уже слишком поздно, что он слишком долго оттягивал, мешкал и медлил, и не только от недостатка смелости, но и от отсутствия желания, воли и жажды,— всякий раз этот коричневый цвет менялся, претерпевал несуразные превращения, рассеивался и, словно отдельный кинокадр, переходил в синий цвет Британии, в загнутые крылья ныряющего сокола и скромные галуны воинского звания, но самое главное — в синеву, в синий цвет, который горстка молодых англосаксов провозгласила и назначила столь наглядным синонимом славы, что лишь прошлой весною профсоюз американских галантерейщиков и мужских портных сделал его непременным атрибутом своей торговой рекламы, и теперь каждый удачливый обитатель Соединенных Штатов, располагавший соответствующей суммой, мог пасхальным утром явиться в церковь, осиянный ореолом доблести и в то же время застрахованный от знаков ответственности и разноцветных нашивок риска.

Однако он все же совершил нечто вроде попытки (впрочем, воспоминание о ней ничуть его не утешало). В нескольких милях от города жил фермер, капитан Уоррен, служивший командиром авиаотряда в прежних Британских воздушных силах сухопутной армии, до того, как они стали Королевскими военно-воздушными силами; он съездил к нему два года назад, когда ему только-только исполнилось шестнадцать.

— Как вы думаете, если я сумею добраться до Англии, они меня примут? — спросил он.

— Шестнадцать — это маловато. А добраться до Англии сейчас трудно.

— Но если я все-таки туда доберусь, они меня возьмут?

— Возьмут,— сказал капитан Уоррен. Потом капитан Уоррен добавил: — Послушай. У тебя уйма времени. У нас у всех будет еще уйма времени, пока все кончится. Почему бы не подождать?

Вот он и ждал. Да только ждал он слишком долго. Он мог сказать себе, что последовал

совету героя, и это хотя бы отчасти утолило его духовную жажду — ведь коль скоро он внял совету героя, то пусть даже ему и не хватило смелости, стыдиться ему нечего.

Потому что теперь было слишком поздно. Да и вообще, для Соединенных Штатов ничего и не начиналось, и потому Соединенным Штатам все это будет стоить только денег; деньги же, по словам дяди, самое дешевое из всего, что можно потерять или потратить; цивилизация и придумала-то их затем, чтоб они стали той единственной субстанцией, посредством которой человек может делать покупки и с выгодой для себя за них расплачиваться.

Поэтому цель призыва на военную службу состояла, очевидно, только в том, чтобы дядя смог констатировать факт уклонения Макса Гаррисса от явки на призывной пункт, а коль скоро констатация этого факта повлекла за собой лишь перерыв шахматной партии и убыток в размере шестидесяти центов, уплаченных за телефонный разговор с Мемфисом, дело даже и того не стоило.

Вот он и лег спать; завтра пятница, и значит, ему не придется надевать псевдохаки, чтобы потом эту коричневую шкуру сбрасывать, и еще целую неделю он не будет мучиться духовной жаждой (если это была она). Утром он позавтракал; дядя уже поел и ушел; по дороге в школу он забежал в дядину контору за тетрадкой, которую оставил там накануне, и узнал, что в Мемфисе Макса Гаррисса нет — пока он был в конторе, принесли телеграмму от мистера Марки: *«Отсутствующий принц отсутствует здесь тоже что дальше»;* еще до его ухода дядя попросил рассыльного подождать и написал ответ: *«Дальше ничего только спасибо»*. Ну что ж, подумал он, значит, тем дело и кончилось; в полдень, когда он подошел к тому углу, где дядя ждал его, чтоб вместе идти домой обедать, он даже ничего не спросил; дядя сам сказал ему: мистер Марки позвонил и сообщил, что Гаррисса, как видно, хорошо знают не только все клерки, телефонистки, негры-швейцары, посыльные и официанты в гостинице Гринбери, но и приказчики всех винных лавок и водители такси в той части города, и что он, мистер Марки, даже справлялся в других гостиницах на тот невероятный случай, если существует хотя бы один житель штата Миссисипи, который слышал о существовании в Мемфисе других гостиниц.

И тогда он, подобно мистеру Марки, спросил:

— Что дальше?

— Не знаю,— сказал дядя.— Хотелось бы верить, что он отряхнул со своих ног прах всех их вместе взятых и сейчас находится где-нибудь на расстоянии добрых пятисот миль отсюда и едет дальше, да только я не могу бросить тень на его репутацию, заочно приписав ему здравомыслие.

— Может, оно у него есть,— сказал он.

Дядя остановился.

— Что? — сказал он.

— Ты ведь только вчера вечером говорил, что девятнадцатилетние способны на все.

— А,— сказал дядя.— Да,— сказал дядя.— Конечно,— сказал дядя и пошел дальше.— Может, и есть.

Вот, собственно, и все: после обеда он проводил дядю до угла той улицы, где помещалась контора, а потом сидел на уроке истории, который мисс Мелисса Хогганбек теперь называла «Международные Дела» (оба слова с заглавной буквы) и который дважды в неделю наносил духовной жажде (если то была она) намного больше ущерба, чем неизбежные будущие четверги, когда снова придется таскать на себе «коричневую шкуру», саблю и вечные звездочки на погонах и с серьезным видом изображать из себя участника фальшивой игры в войну; а пока что неутомимый, хорошо поставленный голос высокообразованной «леди» с каким-то фанатическим неистовством толковал о мире и безопасности: нам теперь ничто не угрожает, ибо старые, изнуренные европейские народы слишком хорошо усвоили урок 1918 года и не только не смеют на нас напасть, а просто не могут этого себе позволить,— толковал до тех пор, пока не начинало казаться, будто весь одичавший расшатанный мир сошел на нет и превратился в это бесплотное неумолчное бормотанье — оно даже не отдается эхом в надежно изолированных глухих стенах классной комнаты, а с действительностью связано во сто крат меньше, чем даже сабля и звездочки. Ведь сабля и звездочки — по крайней мере атрибуты того, что они пародируют, тогда как вся Национальная служба подготовки офицеров резерва, по мнению мисс Хогганбек, вообще совершенно необъяснимый и ненужный элемент системы образования, особенно в младших классах.

Все осталось по-прежнему, даже когда он, возвращаясь из школы, увидел ту лошадь. Она находилась в кузове заляпанного грязью фургона для перевозки лошадей, стоявшего в переулке за Площадью, а вокруг торчало полдесятка мужчин, которые с весьма почтительного расстояния этот фургон рассматривали, и он даже не сразу увидел, что лошадь привязана к бортам фургона, причем не веревками, а стальными цепями, словно это был лев или слон. Дело в том, что вначале он даже толком не успел посмотреть на фургон. Он даже еще не разобрал, не усвоил, что в нем стоит лошадь, потому что как раз в ту самую минуту заметил, что по переулку идет сам мистер Маккалем, и перешел улицу, намереваясь с ним поговорить. Они с дядей часто ездили за пятнадцать миль от города на ферму

Маккалемов стрелять куропаток, а прошлым летом, пока школьники еще не вступили в резерв, он ездил туда один и ночевал в лесу или в пойме ручья, где вместе с близнецами — племянниками Маккалема — охотился на лис и енотов.

И тут он узнал лошадь — не потому, что ее увидел (он ведь прежде никогда ее не видел), а потому, что увидел мистера Маккалема. Ведь все жители округа знали про эту лошадь — про этого чистокровного, породистого, но абсолютно никуда не годного жеребца; они — жители округа — утверждали, будто, купив его, мистер Маккалем единственный раз в жизни прогадал — даже если расплатился не деньгами, а купонами на табак или мыло.

Этот конь был испорчен — его то ли совсем молодым жеребенком, то ли позже испортил кто-то из владельцев, пытавшийся страхом или силой сломить его дух. Однако дух его не был сломлен, но из своего жизненного опыта (в чем бы таковой ни заключался) он вынес ненависть к каждому, кто стоит вертикально и ходит на двух ногах,— ненависть или омерзение, злобу и желание раздавить насмерть, какое многие люди испытывают даже к безобидным неядовитым змеям.

Жеребец не годился ни для верховой езды, ни для продолжения рода. Рассказывали, будто он убил двоих мужчин, которые случайно оказались по ту же сторону забора, что и он. Впрочем, последнее было маловероятно — в этом случае его бы просто-напросто пристрелили. Высказывалось предположение, будто мистер Маккалем купил этого жеребца у человека, который хотел его пристрелить. Возможно, он думал, что сумеет его укротить. Во всяком случае, он упорно отрицал, что жеребец кого-то убил, и скорей всего надеялся его продать — ведь еще ни одна лошадь на свете не была так плоха, как утверждал ее покупатель, или так хороша, как уверял ее продавец.

Однако мистер Маккалем знал, что эта лошадь способна убить человека, а жители округа не сомневались, что по его мнению она обязательно кого-нибудь убьет. Ведь хотя сам мистер Маккалем и приходил на луг, где лошадь паслась (однако никогда не заходил ни в конюшню, ни в денник, где она могла бы загнать его в угол), он не пускал туда никого другого; говорили, будто кто-то хотел купить у него эту лошадь, но он ее не продал. Что тоже смахивало на легенду — ведь мистер Маккалем сам говорил, что охотно продаст любую тварь, которая неспособна стоять на задних лапах и называть его по имени, ибо в том состоит его бизнес.

И вот эта лошадь связана, закована цепью и заперта в конский фургон за пятнадцать миль от родной конюшни, а он, Чарльз, спрашивает у мистера Маккалема:

— Значит, вы наконец ее продали?

— Надеюсь,— отвечает мистер Маккалем.— Впрочем, пока за лошадью не закроется дверь конюшни, она еще не продана.

— Но, по крайней мере, дело к тому идет.

— По крайней мере, идет.

Что, впрочем, не имело большого значения, скорее, не имело вообще никакого значения, разве что мистеру Маккалему придется с пеной у рта доказывать, что он ее даже и не продал. Сделка наверняка состоится во тьме, и притом в полной тьме,— ведь уже четыре часа, а тот, кто вознамерился купить эту лошадь, должно быть, живет где-то очень далеко, если он о ней ничего не слышал.

Потом он подумал: тот, кто купил эту лошадь, скорей всего живет слишком далеко для того, чтобы туда можно было добраться засветло даже двадцать второго июня, не говоря о пятом декабря, и потому, наверное, неважно, в котором часу мистер Маккалем выедет, и он пошел в дядину комнату, и тем дело кончилось, если не считать постскриптума, а тот не заставил себя долго ждать; на столе лежало краткое изложение юридического казуса и справочники, приготовленные для него дядей, он принялся за работу, и ему показалось, что когда стало смеркаться и он зажег настольную лампу, тотчас же зазвонил телефон. Едва он поднял трубку, как услыхал девичий голос, который уже говорил, говорил без умолку, так что прошло секунды две, прежде чем он этот голос узнал:

— Алло! Алло! Мистер Стивенс! Он был здесь! Никто даже понятия не имел! Он только что уехал! Мне позвонили из гаража, я ринулась туда, а он уже сидит в машине с заведенным мотором и говорит, если вы хотите его видеть, стойте у себя на углу через пять минут, говорит, что не сможет зайти к вам в контору, и потому будьте на углу через пять минут, если вы хотите его видеть, а если нет, можете позвонить ему и условиться о встрече в гостинице Гринбери завтра...— голос все еще говорил, и тут вошел дядя и взял трубку и секунду послушал, а голос, наверно, продолжал говорить даже после того, как дядя повесил трубку.

— Через пять минут? — сказал дядя.— Шесть миль?

— Ты никогда не видел, как он ездит,— сказал он.— Он наверняка уже пересекает Площадь.

Однако это было бы, пожалуй, слишком быстро даже для Гаррисса. Они с дядей вышли на улицу и в холодных сумерках минут десять простояли на углу, и тут его осенило, что это продолжение той неразберихи и сумятицы, в самом средоточии или, во всяком случае, на краю которой они со вчерашнего вечера пребывают, и теперь им остается лишь одно — ждать и стараться не упустить того, о чьем появлении их только что предупредили.

В конце концов они его увидели. Сначала они услышали шум мотора и сирену — молодой Гаррисс нажал ладонью на кнопку звукового сигнала, а может, просто сунул руку под панель приборов или под капот, оторвал и замкнул провод, идущий на массу, и если он в ту минуту вообще о чем-нибудь подумал, то наверняка пожалел, что у него не включается глушитель, как было на старых машинах. А он, Чарльз, подумал, что ночной полицейский Хэмптон Килигру, наверно, выбегает из бильярдной, или из харчевни «Всю-то-ночку-напролет», или еще откуда-нибудь, где он в ту минуту находился, и тоже слишком поздно, потому что автомобиль с воем и ревом мчится по улице в сторону Площади, у него включено все освещение — дальний свет, противотуманные фары и стоп-сигнал,— проносится между кирпичными стенами домов там, где улица у выхода на Площадь сужается; и лишь потом он, Чарльз, вспомнил, как в пронесшихся мимо полосах света мелькнул силуэт подпрыгнувшей кошки, который в первую секунду показался ему очень длинным — с добрый десяток футов, а во вторую — высоким и узким, как убегающая жердь забора.

Однако к счастью, на перекрестке, кроме них с дядей, никого больше не было, и Гаррисс сразу их увидел и направил свет на них, словно собираясь въехать прямо на тротуар. В последний момент они успели отскочить, и он, Чарльз, мог бы дотронуться рукою до лица и блестевших зубов Гаррисса, но автомобиль пронесся мимо, вырвался на Площадь, пересек ее, вышел из заноса, со скрипом прокатился по мостовой и выскочил на Мемфисское шоссе. Вой сирены, визг шин и рокот мотора становились все тише и тише, так что под конец они с дядей даже услыхали, как Хэмптон Килигру, крича и ругаясь, бежал к перекрестку.

— Ты дверь закрыл? — спросил дядя.

— Да, сэр,— ответил он.

— В таком случае пошли домой ужинать,— сказал дядя.— По дороге можешь зайти на телеграф.

Он зашел на телеграф и отправил мистеру Марки телеграмму — слово в слово как велел дядя: *«Он сейчас Гринбери случае необходимости используйте полицию просьбе начальника джефферсонского управления»*, после чего вышел и догнал дядю на следующем углу.

— Зачем теперь полиция? — спросил он.— По-моему, ты говорил...

— Чтоб эскортировать его через Мемфис туда, куда он едет. В любую сторону, за исключением той, что ведет сюда.

— Но зачем ему куда-то ехать? — спросил он.— Ты же вчера говорил, что меньше всего он хочет скрыться, меньше всего он хочет находиться там, где никто не сможет его увидеть, пока...

— Значит, я ошибся,— сказал дядя.— Я его оклеветал. Я, очевидно, приписал девятнадцатилетним бóльшую сообразительность, нежели та, на какую они способны. Пошли. Ты опаздываешь. Тебе надо не только поужинать, но и вернуться в город.

— В контору? — спросил он.— К телефону? Неужели они не могут позвонить тебе домой? К тому же, раз он вовсе не собирается остановиться в Мемфисе, о чем они могут сообщить тебе по телефону?

— Нет,— сказал дядя.— В кино. И пока ты еще не успел спросить, скажу тебе сразу, зачем — это единственное место, где ни человек девятнадцати лет или двадцати одного года от роду по имени Гаррисс, ни человек, которому вот-вот стукнет восемнадцать, по имени Мэллисон, не сможет со мной разговаривать. Я намерен поработать. Я проведу вечер в обществе негодяев и злодеев, которые не только не боятся творить свое черное дело, но и умеют его творить.

Ему было известно, что это значит: Перевод. Поэтому он даже не зашел в дядину гостиную. А так как дядя после ужина первым встал из-за стола, он его больше не видел.

Если бы он, Чарльз, не пошел в кино, он бы вообще не увидел дядю в тот вечер; он неторопливо поужинал, потому что времени у него было много, и столь же неторопливо, потому что времени все еще было много, двинулся сквозь холодную свежую мглу по направлению к Площади и к кинотеатру; он не знал, чтó там показывают, и даже особенно не интересовался; может, он идет на очередной фильм про войну, но и это не имело значения; он думал, вспоминал, что раньше для духовной жажды не было и не могло быть ничего хуже фильма про войну, а теперь это совсем не так — ведь между фильмом про войну и уроками мисс Хогганбек пролегло расстояние, в тысячу раз непреодолимее, чем то, что отделяет «Международные Дела» мисс Хогганбек от сабли и звездочек Службы подготовки офицеров резерва; он думал, что, если бы род человеческий мог все время смотреть кино, не было бы ни войн, ни других созданных человеком бедствий, но человек не может столько времени смотреть кино, ибо скука — единственная человеческая страсть, которую фильмам не одолеть, и человеку придется смотреть их всего лишь восемь часов в сутки, потому что другие восемь он должен спать, а по словам дяди, единственное, что человек может выдержать восемь часов подряд, кроме сна,— это работа.

Вот он и отправился в кино. А если б он не отправился в кино, он не прошел бы мимо

харчевни «Всю-то-ночку-напролет» и у тротуара перед нею не увидел бы и не узнал пустой конский фургон, пустые цепи и оковы, продернутые сквозь щели в дощатых бортах, а повернув голову к окну, не разглядел бы у стойки и самого мистера Маккалема, который что-то ел, прислонив к стойке тяжелую дубовую палку, которая неизменно была при нем, когда ему приходилось иметь дело с незнакомыми лошадьми и мулами. И если б у него не оставалось еще четырнадцать минут до того часа, когда обычно (кроме суббот и тех дней, когда бывали вечеринки) ему полагалось возвращаться домой, он бы не вошел в харчевню и не спросил у мистера Маккалема, кто купил ту лошадь.

Луна уже взошла. Когда освещенная Площадь осталась позади, он получил возможность наблюдать, как обрубленные тени его ног обрубают тени безлистых ветвей, а потом и тени кольев забора, но это длилось недолго — подойдя к углу двора, он перелез через забор, сократив расстояние оттуда до ворот. И теперь в окне дядиной гостиной он смог увидеть отсвет из-под абажура настольной лампы, и не шагом, не торопливо, а скорее увлекаемый изначальной волной удивления, изумления и (непонятно почему) лихорадочной спешки, тогда как инстинкт побуждал его остановиться, избежать, уклониться, сделать все что угодно, лишь бы не нарушить этот запрет, этот час, этот ритуал Перевода (слово это вся семья произносила как бы с заглавной буквы «П») — переложения Ветхого завета обратно на классический древнегреческий язык, на который он был некогда переведен со своей утраченной младенческой древнееврейской версии,— Перевода, которым дядя занимался уже двадцать лет, на два с лишним года дольше, чем он, Чарльз, прожил на свете; для этого дядя удалялся в гостиную регулярно раз в неделю (а порой раза два или три, если он бывал чем-то недоволен или возмущен) и закрывал за собою дверь, и никто — мужчина ли, женщина, ребенок, клиент, доброжелатель или друг,— никто не смел коснуться даже ручки этой двери, пока дядя не поворачивал ее изнутри.

И он, Чарльз, подумал, что, будь ему восемь лет, а не без малого восемнадцать, он бы не обратил внимания даже на эту настольную лампу и на эту закрытую дверь, а будь ему не восемнадцать, а двадцать четыре, то лишь из-за того, что другой девятнадцатилетний юноша купил лошадь, его бы здесь не было вовсе. Потом он подумал, что, может, как раз наоборот — в двадцать четыре года он мчался бы во весь опор, а в восемь не пришел бы вообще — ведь в восемнадцать лет он мог только выказать торопливость, изумление, спешку, ибо, вопреки или, напротив, согласно мнению дяди, он с точки зрения своих восемнадцати лет никоим образом не мог себе представить, как девятнадцатилетний Макс Гаррисс надеется перехитрить или наказать кого-то при помощи этой лошади.

Да и зачем? Ведь об этом позаботится дядя. Все, что требовалось от него,— это спешка, скорость. Вот он к ним и прибег — начиная с первого шага, он всю дорогу бежал быстрой и ровной рысью; выскочив из дверей харчевни, он завернул за угол, добрался до двора, пересек двор, взбежал по ступенькам в прихожую, подбежал к закрытой двери, схватился за ручку, открыл дверь и очутился в гостиной, где дядя, без пиджака, с зеленым козырьком на лбу, сидел за письменным столом под лампой; он даже не поднял глаз от стоявшей перед ним на подставке раскрытой Библии; рядом лежал греческий словарь; возле дядиного локтя покоилась кукурузная трубка, а на полу у дядиных ног валялась добрая половина стопы двойных листов желтоватой писчей бумаги.

— Он привез эту лошадь,— сказал он, Чарльз.— Зачем ему эта лошадь?

Но дядя и тут не поднял глаз и не шевельнулся.

— Надеюсь, для верховой езды,— сказал дядя. Потом дядя поднял глаза и потянулся за трубкой.— Я полагал, что всем известно...

Дядя вдруг замолчал; трубка, чубук которой он повернул было ко рту, повисла в воздухе, а рука, едва успев поднять ее со стола, неподвижно застыла. Он, Чарльз, уже и раньше это наблюдал, и на секунду ему показалось, будто теперь наступило мгновенье, когда дядины глаза его уже не видят, а где-то на заднем плане с шумом и треском формируется бойкая, короткая фраза — порой она состояла даже меньше чем из двух слов,— фраза, которая словно ветром сдует его из комнаты обратно в прихожую.

— Ладно,— сказал дядя.— Какая лошадь?

Он отозвался, тоже кратко:

— Лошадь Маккалема. Тот жеребец.

— Ладно,— повторил дядя.

На этот раз он, Чарльз, все сразу понял, и никакой расшифровки ему не потребовалось.

— Я только что видел Маккалема в харчевне, он там ужинает. Он отвез жеребца туда сегодня днем. Я видел грузовик в переулке, когда шел домой обедать, но я не...

Дядя совсем его не видел, дядины глаза были так же пусты, как глаза девицы Гаррисс, когда накануне вечером она в первый раз переступила порог этой комнаты. Потом дядя что-то сказал. На греческом, древнегреческом языке — ведь дядя был погружен в те стародавние времена, когда Ветхий завет был впервые переведен, а может даже и написан. Дядя иногда поступал так: говорил ему по-английски что-нибудь, чего не надо было слышать его, Чарльзовой, матери, а потом повторял то же самое по-древнегречески, и хотя он, Чарльз, не знал древнегреческого, слова эти звучали гораздо убедительнее и гораздо точнее выражали смысл того, что дядя хотел сказать. И это была одна из таких фраз, и она

тоже не напоминала ничего, что можно извлечь из Библии, во всяком случае, с тех пор, как за нее взялись пуритане-англосаксы. Дядя уже встал из-за стола, сорвал козырек, отшвырнул его в сторону, оттолкнул назад кресло и схватил с другого кресла пиджак и жилет.

— Пальто и шляпу,— сказал дядя.— На кровати. Бегом.

И он ринулся бегом. Они выскочили из комнаты, промчались по прихожей — дядя впереди, в жилете и пиджаке с развевающимися фалдами, а он, Чарльз, следом, пытаясь засунуть дядины руки в рукава его пальто.

Потом они пронеслись по освещенному луной двору (он все еще держал в руке дядину шляпу), вскочили в автомобиль; не прогревая мотор, дядя на подсосе осадил назад, со скоростью тридцать миль в час выехал с подъездной дорожки на улицу, скрипя шинами, с ходу развернулся, все еще не выключая подсос, понесся по улице, срезал угол, заехав на полосу встречного движения, почти с такой же скоростью, с какой прежде мчался Макс Гаррисс, пересек Площадь, резко затормозил перед харчевней рядом с грузовиком мистера Маккалема и выскочил на мостовую.

— Жди здесь,— сказал дядя и вбежал в харчевню, через окно которой он, Чарльз, увидел, что мистер Маккалем все еще сидит за стойкой и пьет кофе, а его палка все еще стоит рядом; но тут подбегает дядя, хватает палку и, даже не остановившись, поворачивает обратно, увлекает за собой из харчевни мистера Маккалема, точь-в-точь как две минуты назад увлек за собой из гостиной его, Чарльза, подбегает к машине, рывком распахивает дверцу, велит ему, Чарльзу, пересесть за руль, швыряет в машину палку, заталкивает на сиденье мистера Маккалема, влезает сам и захлопывает дверцу.

— Жми,— сказал дядя.— Уже без десяти десять. Но богатые ужинают поздно, так что мы, может, еще успеем.

Вот он и жал. Вскоре они выехали за город, и он пустился во весь опор, хотя дорога была гравийная — построить шоссе длиной в шесть миль до города барон Гаррисс забыл или просто не успел, потому что умер. Но ехали они очень быстро, и дядя, притулившись на краешке сиденья, тянулся вперед и следил за стрелкой спидометра, словно готов был при первом же ее колебании выскочить из машины и ринуться вперед.

— Черта с два «здоро́во, Гэвин»,— сказал дядя мистеру Маккалему.— Вот привлеку я тебя за соучастие, тогда и скажешь «здоро́во».

— Он знал эту лошадь,— сказал мистер Маккалем.— Приехал ко мне домой и твердил, что хочет ее купить. Еще до восхода солнца он спал в машине у ворот, а из кармана пальто у него торчала пачка денег — не то четыреста, не то пятьсот долларов,— словно кучка листьев. В чем дело? Он заявляет, что он несовершеннолетний?

— Ничего он не заявляет,— сказал дядя.— Он вообще держит свой возраст под секретом от всех — даже от дядюшки Сэма, который призывает его в армию. Но не в том суть. Что ты сделал с лошадью?

— Поставил в конюшню, в стойло,— отвечал мистер Маккалем.— Там все в порядке. Конюшня маленькая, в ней всего одно стойло, и больше ничего в ней нет. Он сказал, чтоб я не беспокоился, там ничего больше и не будет. Когда я приехал, все уже было готово. Но я сам проверил и дверь и забор. Конюшня что надо. Иначе я б эту лошадь там не оставил — сколько б он мне за нее ни посулил.

— Знаю,— сказал дядя.— Это которая конюшня?

— Та, что на отшибе, он ее прошлым летом построил за деревьями, подальше от других конюшен и загонов. При ней свой загон, а внутри всего одно большое стойло, да еще чулан для упряжи; я и в него заглянул — там только седло, узда, попоны, скребница, щетка и немного корма. И он сказал, что каждый, кто возьмет седло, узду или корм, будет заранее знать про эту лошадь, а я ему говорю: да, пусть непременно знают — тот, кто придет на этот участок и откроет дверь в конюшню, воображая, что найдет там обыкновенную лошадь, сильно навредит не только себе, но и ее владельцу. А он говорит, вы-то тут уж никак ни при чем, потому что вы всего лишь ее продали. Но конюшня в полном порядке. Там даже есть наружное окно, чтоб человек мог залезать на чердак и сбрасывать корм оттуда, пока лошадь к нему не привыкнет.

— А когда она привыкнет? — спросил дядя.

— Я знаю, как ее приучить,— отозвался мистер Маккалем.

— Значит, через минуту-другую мы сможем на тебя посмотреть,— сказал дядя.

Они уже почти добрались до места. Может, и не с такой скоростью, как Макс Гаррисс, они все же быстро проехали между белыми заборами, которые в лунном свете казались не многим солиднее полосок глазури на торте и за которыми простирались залитые лунным светом обширные пастбища,— дядя наверняка помнил, что на них прежде рос хлопчатник, во всяком случае, наверняка стал бы уверять, будто помнит,— а старый хозяин сидел в самодельном кресле на веранде, временами окидывал взором эти поля, после чего вновь обращался к своей книге и к своему пуншу.

Потом они повернули и въехали в ворота; теперь оба — и дядя и мистер Маккалем — сидели на краешке сиденья, а потом все трое помчались по подъездной дорожке между подстриженными и причесанными газонами, деревьями и кустами, аккуратными, словно

ухоженный хлопок, и бежали, пока перед ними не возникло то, что некогда было домом старого хозяина — расползшаяся не меньше чем на пол-акра громада колонн, флигелей и балконов.

Они поспели вовремя. Капитан Гуальдрес, вероятно, вышел из боковой двери как раз в ту минуту, когда фары их автомобиля осветили подъездную дорожку. Во всяком случае, они увидели, что он уже стоит в лунном свете, а когда они втроем вышли из машины и подбежали к нему, он все еще стоял там с непокрытой головой, в короткой кожаной куртке и в сапогах, а на руке его болтался тонкий хлыстик.

Разговор начался по-испански. Три года назад он, Чарльз, записался в школе на факультативный курс испанского языка и сам позабыл, да в сущности так и не понял, как и почему он за это дело взялся, точь-в-точь как прежде это сделал дядя, и в результате ему, Чарльзу, пришлось изучать испанский, к чему он вовсе не стремился. Никто его не убеждал и не уговаривал, да и дядя говорил, что никого не надо уговаривать сделать то, что ему хочется или нужно, и совсем неважно, знал ли он тогда, что это ему нужно или со временем понадобится, или не знал. Возможно, его ошибка заключалась в том, что он имел дело с юристом; во всяком случае, он все еще изучал испанский, прочел «Дон Кихота», мог читать бóльшую часть мексиканских и южно-американских газет и даже начал «Сида» [1], но только это было в прошлом году, а прошлый год был 1940 годом, и дядя сказал:

— Почему? «Сид» будет легче «Дон Кихота», потому что он про героев.

Но он не смог бы объяснить никому, тем более человеку пятидесяти лет, и даже собственному дяде, как трудно утолить духовную жажду запыленной хроникой прошлого, когда всего в полутора тысячах миль, в Англии, мужчины не многим старше его самого ежедневно пишут своей кровью бессмертный комментарий к его эпохе.

Поэтому он понимал почти все, что они говорили, и только иногда испанская речь становилась для него слишком быстрой. Но ведь и для капитана Гуальдреса английская речь тоже иногда становилась слишком быстрой, и один раз ему даже показалось, что они оба — и он и капитан Гуальдрес — не поспевают за испанской речью дяди.

— Вы идете кататься верхом,— сказал дядя.— При луне.

— Но разумеется,— сказал капитан Гуальдрес, все еще вежливо, все еще лишь слегка удивленно, лишь слегка приподняв свои черные брови,— так вежливо, что голос его вовсе не выдавал удивления, и даже в тоне его голоса совсем не слышался вопрос (в той форме, в какой мог бы задать его испанец): «Ну и что?»

— Я — Стивенс,— проговорил дядя все так же быстро, а это, как он, Чарльз, понял, было для капитана Гуальдреса гораздо хуже, чем просто быстро,— ведь для испанца быстрота и резкость, наверно, самый тяжкий грех, но в том-то и беда, что теперь совсем не оставалось времени, у дяди не было времени что-нибудь сделать, и он мог только говорить.— Это — мистер Маккалем. А это — сын моей сестры Чарльз Мэллисон.

— Мистер Маккалем я знаю хорошо,— сказал по-английски капитан Гуальдрес; он повернулся, и перед ними блеснули его зубы.— У него есть один великий лошадь. Печально.— Он пожал руку мистеру Маккалему, неожиданно, быстро и крепко. Но даже и при этом он казался бронзовым изваянием, хоть на нем была мягкая поношенная, блестевшая в лунном свете кожаная куртка, а волосы были намазаны бриллиантином, словно весь он — волосы, сапоги, куртка и все прочее — был отлит из металла, причем из одного цельного куска.— Молодой человек — не так хорошо.— Он и ему, Чарльзу, пожал руку — тоже быстро, коротко и крепко. Потом он отступил назад и на этот раз руки не протянул.— И мистер Стивенс не так хорошо. Тоже печально, быть может.

И в тоне его голоса опять не прозвучало: *«Вы теперь можете принести свои извинения»*. В нем даже не прозвучало: *«Что вам угодно, господа?»* И лишь сам голос, в высшей степени учтиво, в высшей степени холодно, без всякого нажима, произнес:

— Вы приехали кататься верхом? Сейчас нет лошадь здесь, но на маленький campo [2] много. Мы идем поймать.

— Подождите,— сказал дядя.— Мистер Маккалем и так каждый день видит столько лошадиных задниц, что ему навряд ли сегодня вечером захочется покататься верхом, а сын моей сестры и я видим их слишком мало и тоже не хотим кататься. Мы приехали сделать вам одолжение.

— О...— сказал капитан Гуальдрес, тоже по-испански.— И это одолжение?

— Ладно,— сказал дядя, все еще быстро, стремительной скороговоркой родного языка капитана Гуальдреса, звучного, не очень музыкального, как звон частично отожженного металла: — Мы очень торопились. Быть может, я приехал так быстро, что мои хорошие манеры не могли за мной угнаться.

— Такая вежливость, которую человек может перегнать,— сказал капитан Гуальдрес,— принадлежала ли она ему когда-нибудь? — И добавил почтительно: — Какое одолжение?

---

[1] «Песнь о моем Сиде» — испанская эпическая поэма XII в. (*прим. перев.*).

[2] Поле (*исп.*).

И он, Чарльз, тоже подумал: *«Какое одолжение?»* Капитан Гуальдрес не шевельнулся. В его голосе ни разу не прозвучало ни тени недоверия или сомнения, а теперь в нем не было даже удивления. И он, Чарльз, готов был с ним согласиться: ведь с ним может произойти все что угодно, от чего дяде или кому-нибудь другому придется его предостеречь или спасти; и ему, Чарльзу, представилось, как не одна только лошадь мистера Маккалема, а целый табун ей подобных топчут его копытами, валяют в пыли и в грязи, а может, даже кусают или мнут ему бока — но не более того.

— Пари,— сказал дядя.

Капитан Гуальдрес не шевельнулся.

— В таком случае просьба,— сказал дядя.

Капитан Гуальдрес не шевельнулся.

— В таком случае одолжение мне,— сказал дядя.

— О,— сказал капитан Гуальдрес. Но он даже и тут не шевельнулся; он произнес одно-единственное слово, не по-испански и не по-английски, ибо оно звучало одинаково на всех языках, о каких он, Чарльз, когда-либо слышал.

— Вы едете верхом сегодня вечером,— сказал дядя.

— Истинно,— сказал капитан Гуальдрес.

— Позвольте пойти с вами в конюшню, где вы держите вашу ночную верховую лошадь,— сказал дядя.

Капитан Гуальдрес сделал движение, хотя всего лишь глазами, и он — Чарльз — и мистер Маккалем увидели, как сверкнули белки капитана Гуальдреса, когда тот взглянул на него, потом на мистера Маккалема, потом опять на дядю, а потом он больше не шевелился, совсем не шевелился, казалось, даже перестал дышать, и это длилось так долго, что он, Чарльз, успел бы, наверно, сосчитать до шестидесяти. Потом капитан Гуальдрес все-таки сделал какое-то движение и повернулся.

— Истинно,— сказал он и зашагал вперед, и они трое вслед за ним обогнули дом, который был слишком велик; прошли по лужайке, где росло слишком много кустов и деревьев; миновали гаражи, способные вместить больше автомобилей, чем могли за всю свою жизнь использовать четыре человека; оранжереи и теплицы, где произрастало больше винограда и цветов, чем могли за всю свою жизнь эти же четыре человека съесть или понюхать; пересекли из конца в конец все это притихшее в лунном свете, выбеленное в лунном свете, примолкшее в лунном свете огромное поместье вслед за капитаном Гуальдресом,— он шагал на крепких кривых ногах, обутых в начищенные сапоги, которые блестели, как поршни духовых инструментов; за ним шел дядя, за ним он, Чарльз, за ним мистер Маккалем со своей дубовой палкой,— все трое гуськом за капитаном Гуальдресом, словно трое гаучо, принадлежащих к его семейству (если у капитана Гуальдреса было семейство).

Путь их, однако, лежал не к большим конюшням с электрическими часами и лампами, с позолоченными фонтанчиками для питья и кормушками, и даже не к проулку, который к ним вел. Они пересекли этот проулок, перелезли через белую изгородь, прошли по освещенному луной пастбищу, направились к небольшому перелеску, обогнули его, а за ним было то, к чему они направлялись, и ему даже почудилось, будто он слышит рассказ мистера Маккалема про этот маленький загон, обнесенный своей отдельной белой изгородью, и про одну-единственную конюшню величиной с гараж на две машины — все совершенно новое, построенное только в нынешнем сентябре, аккуратное, свежевыкрашенное, на ослепительно белом фоне зияет черный квадрат открытой верхней половины единственной двери в конюшню, и вдруг за спиной у него, Чарльза, мистер Маккалем издает какое-то подобие звука.

И с этой минуты события начали развиваться так стремительно, что он, Чарльз, не мог за ними уследить. Капитан Гуальдрес теперь принял свое испанское обличье; повернувшись спиной к изгороди, крепкий, подтянутый, он каким-то образом ухитрился выглядеть выше ростом, и, стоя лицом к лицу, они с дядей заговорили на родном языке капитана Гуальдреса такой немыслимой скороговоркой — ни дать ни взять два плотника, швыряющие друг в друга горстями мелких гвоздей. Правда, дядя начал было по-английски, и капитан Гуальдрес сперва отвечал ему тем же — дядя, наверно, считал, что мистер Маккалем вправе узнать хоть малую толику:

— Итак, мистер Стивенс. Вы объясняете?

— Если вам угодно,— отвечал дядя.

— Истинно,— сказал капитан Гуальдрес.

— Здесь вы держите свою ночную лошадь, ту, которая слепая.

— Да,— подтвердил капитан Гуальдрес.— Нет другой лошадь здесь, только маленькая кобыла. Для ночь. Negrito [1] ставит ее в конюшню каждый вечер.

— И после обеда или ужина или в полночь, когда достаточно стемнеет, вы приходите сюда, входите в этот загон, подходите к этой двери и открываете ее — в темноте, как сейчас.

---

[1] Негр (*исп.*).

Вначале он, Чарльз, подумал, что их здесь слишком много — один, во всяком случае, лишний. Теперь он понял: наоборот, не хватает одного — парикмахера,— потому что капитан Гуальдрес сказал:
— Прежде я ставлю барьеры.
— Барьеры? — спросил дядя.
— Маленькая кобыла не видит. Скоро она будет не видеть навсегда. Но она еще может прыгать, ей помогает не зрение, но осязание и слух. Я ее учу — как это сказать? — вере.
— Я думаю, слово, которое вам нужно, это неуязвимость,— сказал дядя.
Потом они заговорили по-испански, очень быстро, и если б оба не стояли неподвижно, это напоминало бы схватку боксеров. Он, наверно, мог бы уследить за Сервантесом, во всяком случае, в письменной форме, но то, что бакалавр Самсон и предводитель янгуасцев прямо у него под носом торгуются из-за лошади, дошло до него, лишь когда уже все кончилось (так он, по крайней мере, думал), и дядя объяснил ему, в чем было дело,— вернее, объяснил настолько, насколько он, Чарльз, вообще мог ожидать.
— И что тогда? — спросил он.—Что ты сказал ему тогда?
— Не много,— отвечал дядя.— Я только сказал: «Это одолжение». А Гуальдрес сказал: «За которое натурально я заранее вас благодарю». А я ему сказал: «Но в которое вы натурально не верите. Но цену которого вы натурально желаете узнать». И мы условились о цене, и я сделал это одолжение, и на том дело кончилось.
— Какова же была цена? — спросил он.
— Это было пари,— ответил дядя.— И мы побились об заклад.
— На что? — спросил он.
— На его судьбу,— сказал дядя.— Он сам назвал ставку. Ибо единственное, во что такой человек верит, это в свой рок. В судьбу он не верит. Он ее даже не приемлет.
— Ну хорошо,— сказал он.— Вы заключили пари. А ты на что спорил?
На это дядя даже не стал отвечать, он просто смотрел на него язвительным, капризным, загадочным, но все же знакомым взглядом, хотя он, Чарльз, только сейчас обнаружил, что совсем не знает своего дядю. Потом дядя сказал:
— Конь неожиданно является ниоткуда — допустим, с запада — и одним и тем же ходом дает шах и королеве и ладье. Что надо делать?
Теперь он по крайней мере знал ответ.
— Спасать королеву и уступать ладью.— И на второе замечание он тоже отозвался: — Из западной Аргентины.— И добавил: — Речь шла о той девице. О девице Гаррисс. Ты заключил с ним пари на эту девицу. Чтобы он не входил в этот загон и не открывал дверь этой конюшни. И он проиграл.
— Проиграл? — спросил дядя.— Вместо того чтобы лишиться части своего скелета, а может даже и мозгов, он получил принцессу и половину замка. По-твоему, он проиграл?
— Он проиграл королеву,— возразил он.
— Королеву? — сказал дядя.— Какую королеву? А, ты имеешь в виду миссис Гаррисс. Может, он понял, что королеву передвинули в ту самую минуту, когда он понял, что ему придется объявить свою ставку. Может, он понял, что потерял и королеву, и зáмок еще в ту минуту, когда разоружил шваброй принца. Если королева вообще была ему нужна.
— В таком случае, что он тут делал? — сказал он.
— То есть, чего он ждал? — сказал дядя.
— Может, ему нравилась эта клетка. Тем, что с нее он мог продвинуться одним ходом не только на две клетки, но и в двух направлениях,— сказал он, Чарльз.
— Как бы там ни было, лучше бы он так и сделал,— сказал дядя.— Его угроза и его обаяние заключаются в его способности к передвижению. На сей раз он забыл, что в этом еще и залог его безопасности.
Но все это будет завтра. А сейчас он, Чарльз, даже не мог уследить за тем, что происходит у него перед глазами. Они с мистером Маккалемом просто стояли, смотрели и слушали, как дядя и капитан Гуальдрес, стоя лицом к лицу, осыпают друг друга звонкими дребезжащими слогами, а потом капитан Гуальдрес сделал какое-то движение — не то пожал плечами, не то поклонился,— а дядя, обернувшись к мистеру Маккалему, сказал:
— Ну как, Рейф? Хочешь пойти туда и открыть дверь?
— Пожалуй,— отозвался мистер Маккалем.— Да только я не пойму...
— Я побился об заклад с капитаном Гуальдресом,— сказал дядя.— Если ты не хочешь, придется мне.
— Подождите,— сказал капитан Гуальдрес.— Я думаю, я должен...
— Вы сами подождите, мистер капитан,— сказал мистер Маккалем. Он переложил свою толстую палку из одной руки в другую, с полминуты постоял, глядя поверх белой изгороди на пустой, залитый лунным светом, огороженный участок, на глухую белую стену конюшни и один-единственный черный квадрат над половинкой двери. Потом еще раз переложил палку из одной руки в другую, залез на изгородь, перекинул через нее ногу, обернулся и посмотрел вниз на капитана Гуальдреса.— Теперь-то я понял, в чем тут дело,— сказал он.— И вы тоже сейчас поймете.
Потом они смотрели, как он все еще неторопливо перелезает через изгородь, спускается на участок — плотно сбитый, легкий на ногу, уравновешенный человек, окруженный таким же ореолом, как капитан Гуальдрес, и так же, как он, чем-то неуловимо напоминающий лошадь,— и, залитый лунным светом, ровным шагом идет к гладкой белой стене, в центре которой зияет единственный черный квадрат пустоты, полного и абсолютного безмолвия, подходит к конюшне, поднимает тяжелую железную щеколду, открывает запертую нижнюю половину двери и лишь после этого немыслимо быстрым движением так сильно толкает вперед половинку двери, что она поворачивается на петлях, потом тянет ее на себя, вместе с нею отскакивает обратно и останавливается между дверью и стеной; вцепившись другой рукой в свою тяжелую палку, он успевает спрятаться за дверью буквально за секунду до того, как жеребец, такой же чернильно-черный, как кромешная тьма внутри конюшни, с грохотом вырывается на лунный свет, словно он был привязан к двери шнурком не длиннее цепочки от часов.
Он выскочил наружу с ревом. Казалось, он даже оторвался от земли и всей своей огромной разъяренной глыбой несется к луне, словно языками черного пламени объятый взметнувшимся в небо хвостом и развевающейся гривой; казалось, это даже не смерть — ибо смерть это неподвижность, оцепенение,— а исчадие ада, на века обреченный погибели бешеный зверь; устремившись к лунному свету, он с диким ревом скакал галопом по кругу, мотал головой в поисках человека, и только увидев мистера Маккалема, замолк и ринулся к нему, однако узнал его лишь тогда, когда тот отошел от стены и его окрикнул.
Тогда жеребец остановился, припал на передние ноги, привалился на них туловищем и стоял, пока мистер Маккалем опять с той же немыслимой быстротою подбежал к нему, размахнулся и изо всех сил огрел его палкой по морде, после чего тот снова взревел, завертелся, закружился, с ходу перешел на галоп, а мистер Маккалем повернулся и пошел к изгороди. Он не бежал, он шел шагом, и хотя, прежде чем он добрался до изгороди и перелез через нее, жеребец успел описать вокруг него два полных круга галопом, но больше ни разу на него не бросился.
А капитан Гуальдрес все это время стоял неподвижно; твердый как сталь, непоколебимый, он даже не побледнел. Потом капитан Гуальдрес обратился к дяде, и хотя они опять говорили по-испански, он, Чарльз, на этот раз все понял.
— Я проиграл,— сказал капитан Гуальдрес.
— Не проиграли,— сказал дядя.
— Истинно,— сказал капитан Гуальдрес.— Не проиграл.— Потом капитан Гуальдрес добавил: — Спасибо.

IV

Потом наступила суббота; весь этот свободный от школы, ничем не оправданный день, когда нужно сидеть в конторе, приводить все в порядок, разбираться во всех тех мелочах, которые еще оставались,— так он, по крайней мере, думал, ибо даже под конец этого декабрьского дня еще не вполне осознал свою способность удивляться, приходить в изумление.
Он в сущности даже не верил, что Макс Гаррисс вернется из Мемфиса. Мистер Марки, находясь в Мемфисе, явно тоже в это не верил.

— Полиция города Мемфиса не может препроводить арестованного обратно в штат Миссисипи,— сказал мистер Марки.— Вы это знаете. Вашему шерифу придется когонибудь послать...
— Он не арестован,— сказал дядя.— Скажите ему это. Скажите, что я просто прошу его вернуться сюда и поговорить со мной.
С полминуты в телефонной трубке не было слышно ничего, кроме слабого жужжания той далекой силы, которая держит провода под напряжением и стóит кому-то денег независимо от того, передаются по ним голоса или нет. Потом мистер Марки сказал:
— Вы в самом деле надеетесь опять его увидеть, если я передам ему это сообщение и скажу, что он может ехать?
— Передайте ему мои слова и скажите, что я прошу его вернуться сюда и поговорить со мной,— повторил дядя.
И Макс Гаррисс вернулся. Он приехал как раз перед двумя остальными, и пока они поднимались по лестнице, как раз успел пройти в контору через приемную; он, Чарльз, закрыл дверь в приемную, а Макс остановился перед дверью и посмотрел на дядю — юный, стройный и все еще с иголочки одетый, слегка утомленный и как бы не в своей тарелке, словно эту ночь не выспался, и только в глазах его не было ни молодости, ни утомления. Глаза эти смотрели на дядю точно так же, как позавчера вечером, и совершенно ясно свидетельствовали, что с ним далеко не все в порядке. Однако что бы они ни выражали, подобострастия в них не было.
— Садитесь,— сказал дядя.
— Спасибо,— отозвался Макс, незамедлительно и резко, однако без всякого презре-

ния, просто решительно и незамедлительно отверг это предложение. В следующую секунду он тронулся с места, подошел к письменному столу и стал с преувеличенной язвительностью оглядывать контору.

— Я ищу Хемпа Килигру,— сказал он.— А может, у вас тут сам шериф? Куда вы его упрятали? В бак для охлаждения воды? Если вы затолкали туда одного из них, он, наверно, уже помер от страха.

Но дядя все еще молчал, и тогда он, Чарльз, тоже на него глянул. На Макса дядя даже не смотрел. Он даже повернул вращающееся кресло в сторону и смотрел в окно, сидя совершенно неподвижно и лишь еле заметно поглаживая большим пальцем чашечку остывшей трубки, которую держал в руке.

Потом Макс тоже умолк и стоял, глядя сверху вниз на дядин профиль холодным мрачным взглядом, не выражавшим ни покоя, ни вообще ничего такого, что должно выражаться во взгляде молодых глаз.

— Ладно,— сказал Макс.— Вы не смогли доказать ни намерения, ни умысла. Все, что вы можете доказать, доказывать вовсе незачем. Я все заранее признаю. И подтверждаю. Я купил лошадь и поставил ее в отдельную конюшню на участке земли, принадлежащей моей матери. Я, видите ли, тоже немножко разбираюсь в законах. Я, кажется, усвоил как раз то незначительное количество второстепенных сведений, какие требуются первоклассному адвокату в захолустном городишке штата Миссисипи. А может, даже члену законодательного собрания штата, хотя, по-моему, даже чуть больше, чем нужно, чтобы меня избрали в губернаторы.

Дядя по-прежнему сидел не шевелясь, если не считать движений его большого пальца.

— На вашем месте я бы сел,— сказал дядя.

— На моем месте вы бы еще и не то сейчас сделали,— сказал Макс.— Ну так что?

Теперь дядя зашевелился. Опершись коленом о стол, он повернул кресло так, чтобы посмотреть Максу прямо в лицо.

— Мне вовсе не надо ничего доказывать,— сказал дядя.— Вы ведь не собираетесь ничего отрицать.

— Не собираюсь,— мгновенно отозвался Макс. Он произнес это с презрением, но без всякой злобы.— Я ничего не отрицаю. Ну, что дальше? Где ваш шериф?

Дядя внимательно посмотрел на Макса. Потом сунул в рот мундштук холодной трубки, затянулся, словно в ней горел табак, и заговорил мягко, почти небрежно.

— Я полагаю, что, когда мистер Маккалем привез лошадь и вы поставили ее в принадлежащую капитану Гуальдресу конюшню, вы сказали конюхам и прочим неграм, что капитан купил ее сам и не велел никому трогать. Чему они легко поверили, так как капитан Гуальдрес уже раньше купил лошадь, которую тоже не велел трогать.

Но Макс на это ничего не ответил — точно так же, как позавчера, когда дядя спросил, почему он не зарегистрировался в призывной комиссии. Он ждал, что́ дядя скажет еще, и на лице его не было даже презрения.

— Ну ладно,— сказал дядя.— Когда капитан Гуальдрес и ваша сестра намерены сочетаться браком?

И тут он, Чарльз, понял, что́ еще выражали эти мрачные холодные глаза. Они выражали тоску и отчаяние. Он увидел, как в них вспыхнул гнев; гнев горел, пылал и иссушал их, и они уже не выражали ничего, кроме этого гнева и ненависти, и он подумал, что дядя, может, и прав: на свете существуют страсти более низменные, чем ненависть, а если ты кого-нибудь ненавидишь, то наверняка того, кого тебе не удалось убить, пусть он даже ничего об этом и не знает.

— Я недавно заключил одну сделку,— сказал дядя.— И скоро узнаю, остался я внакладе или нет. А теперь я хочу заключить еще одну сделку — с вами. Вам не девятнадцать лет, а двадцать один, но вы даже еще не зарегистрировались в призывной комиссии. Вступайте в армию.

— В армию? — спросил Гаррисс.

— Да, в армию,— отвечал дядя.

— Понятно,— сказал Гаррисс.— Вступайте, а не то...

И тут Гаррисс разразился смехом. Он стоял перед столом, смотрел сверху вниз на дядю и смеялся. Но глаза его совсем не смеялись, и смех, постепенно сходя с его лица, покинул и глаза, хотя они и не смеялись, и в конце концов они стали такими же, какими были у его сестры позавчера,— в них выражались тоска и отчаяние, но ни ужаса ни страха не было; а дядины щеки тем временем двигались, как бы попыхивая холодной трубкой, словно в ней был дым.

— Нет,— сказал дядя.— Никаких «а не то». Вступайте, и все. Послушайте. Вы играете в покер. Я полагаю, что вы разбираетесь в покере или хотя бы — подобно многим другим — так или иначе в него играете. Вы прикупили карту, показывая этим, что у вас есть к чему прикупать. Если же карта, на которую вы надеялись и рассчитывали, к вам не пришла, вы не станете бросать игру, а будете до последнего цента притворяться, что она у вас имеется, причем даже не ради денежного выигрыша, а ради того, чтобы провести остальных игроков, молчаливо следующих той же тактике.

Потом оба застыли в неподвижности, и дядя даже перестал делать вид, будто курит. Потом Гаррисс глубоко вздохнул. В наступившей тишине был ясно слышен вдох и выдох.

— Сейчас? — спросил Гаррисс.

— Да,— отвечал дядя.— Сейчас. Сейчас же возвращайтесь в Мемфис и вступайте.

— Я...— начал Гаррисс.— У меня есть дела...

— Знаю,— сказал дядя.— Но я бы на вашем месте сейчас туда не ездил. После того, как вы вступите в армию, вам разрешат на несколько дней съездить домой и, скажем... привести свои дела в порядок. А сейчас возвращайтесь. Ваша машина внизу? Сейчас же возвращайтесь в Мемфис и вступайте.

— Да,— сказал Гаррисс. Он еще раз глубоко вздохнул.— Спускайтесь с этих ступенек, садитесь в машину и поезжайте. Почему вы думаете, что вы, или армия, или кто-то другой в конце концов меня поймает?

— Я об этом вовсе не думал,— сказал дядя.— Может, вам будет легче, если вы дадите мне слово?

Тем все и кончилось. Гаррисс еще немножко постоял у стола, потом пошел к двери и остановился, слегка наклонив голову. Потом поднял голову, и он, Чарльз, подумал, что Макс готов и на это — пройти через приемную, где сидят те двое. Но дядя успел его опередить.

— Окно,— сказал дядя, встал с кресла, подошел и открыл окно, выходящее на наружную галерею, откуда лестница вела прямо на улицу. Макс вылез через окно на галерею, дядя закрыл окно, и тем все кончилось: с лестницы донесся шум шагов, но на сей раз не было ни визга шин, ни замирающей вдали сирены, а если на сей раз Хемптон Килигру или еще кто-нибудь с криком погнался за ним, они с дядей и этого не услышали. Потом он подошел к двери в приемную и пригласил капитана Гуальдреса и сестру Макса войти.

Даже в темном двубортном костюме — из тех, какие большинство мужчин носят или во всяком случае имеют,— капитан Гуальдрес по-прежнему казался изваянием из бронзы или иного металла. И в нем по-прежнему было что-то лошадиное. Потом он, Чарльз, сообразил: это оттого, что лошади как раз и недоставало, и тут он впервые заметил, что жена капитана Гуальдреса немного выше капитана Гуальдреса. Словно при отсутствии лошади облик капитана Гуальдреса лишился своей законченности, утратив не только неподвижность, но и часть роста, словно когда он стоял на своих ногах, они вовсе не предназначались для того, чтобы их можно было видеть и сравнивать с другими.

На ней было тоже темное платье, того темно-синего цвета, в каком новобрачные отправляются в свадебное путешествие, и роскошная меховая шуба с бутоньеркой (разумеется, из орхидей. Он, Чарльз, всю жизнь слышал об орхидеях и поэтому понял, что прежде никогда их не видел. Но он их сразу узнал — на такой шубе и у такой новобрачной ничего другого быть не могло), приколотой к воротнику, а на щеке все еще виднелся тонкий след от ногтя девицы Кейли.

Капитан Гуальдрес сесть не пожелал, и потому они с дядей тоже остались стоять.

— Я приехал говорить до свиданья,— сказал капитан Гуальдрес по-английски.— И получить ваши... как это называется...

— Поздравления,— сказал дядя.— И я тысячу раз желаю вам всего наилучшего. Позвольте мне спросить, как давно?

— Всего...— капитан Гуальдрес быстро взглянул на часы,—...один час назад. Мы сейчас покидали падре. Наша матушка сейчас возвращалась домой. Мы решаем не ожидать. И так мы приезжаем говорить до свидания. Я говорю это.

— Не до свидания,— сказал дядя.

— Да. Теперь есть...— капитан Гуальдрес снова взглянул на часы,—...пять минут, и мы уже не здесь. (Дядя не зря говорил, что капитан Гуальдрес отличается одним свойством — он не только точно знает, что́ он намерен делать, но довольно часто это делает.) Обратно в моя страна. Campo. Быть может, я должен был не покидать его сначала. Ваша страна... Она великолепна, но слишком много для простого gaucho, paysano [1]. Но для сейчас все равно. Для сейчас это есть кончено. И так я прихожу говорить еще до свидания и еще сто gracias [2].— Дальше опять пошло по-испански. Но он, Чарльз, все понимал: — Вы знаете испанский. Моя жена получила воспитание только в наилучших монастырях Европы для богатых американских дам и потому не знает языка. В моей стране, в campo, есть поговорка: женатый — мертвый. Но есть другая поговорка: если хочешь знать, где всадник сегодня ночует,— спроси лошадь. Но и это тоже неважно, это тоже кончено. Поэтому я приехал сказать до свидания и поблагодарить и поздравить себя, что у вас нет приемных детей, которым тоже надо дать средства для жизни. Но я, право, и в том не уверен, потому что нет ничего невозможного для человека с вашими способностями и достоинствами, а также воображением. Итак, мы вовремя возвращаемся в мою — нашу — страну, где вас нет. Потому что я думаю, что вы очень опасный человек, и я вас не люблю. Итак, с богом.

---

[1] Крестьянин (*исп.*).
[2] Спасибо (*исп.*).

— С богом,— сказал дядя тоже по-испански.— Я бы не хотел вас торопить.

— Вы не можете,— сказал капитан Гуальдрес.— Вам это даже не нужно. Вам не нужно хотеть, чтобы вы могли.

После этого они тоже удалились — назад через приемную; они с дядей услышали, как хлопнула дверь, потом увидели, что они прошли к лестнице мимо окна, выходившего на галерею, и тогда дядя вынул из жилетного кармана тяжелые часы с цепочкой, на которой висел золотой ключик, и вверх циферблатом положил их на стол.

— Пять минут,— сказал дядя.

Этого времени как раз хватит. Это был как раз подходящий момент, чтобы он, Чарльз, мог спросить, на что́ дядя заключил пари с капитаном Гуальдресом накануне вечером, да только теперь он понял, что ему и спрашивать не надо: необходимость спрашивать отпала в ту самую минуту, когда в четверг вечером он закрыл парадную дверь за Максом Гаррисом и его сестрой и вернулся в гостиную и убедился, что дядя не собирается ложиться спать.

Поэтому он ничего не сказал, а только смотрел, как дядя кладет часы на стол, встает, слегка разводит руки, опирается ими о стол по обе стороны часов и даже не садится.

— Для приличия. Для выдержки,— сказал дядя; потом, уже двигаясь с места и даже не переводя дыхания, дядя сказал: — Но, может, я уже высказал слишком много и того и другого,— взял часы, положил обратно в карман жилета, прошел через приемную, взял пальто и шляпу и, выходя из наружной двери, даже не бросил через плечо: «Запирай», а просто спустился по лестнице и, когда он, Чарльз, его догнал, уже стоял возле машины, держа ее дверцу открытой.

— Садись за руль,— сказал дядя.— И помни — сейчас не вчерашний вечер.

Итак, он сел за руль, пересек Площадь, где по случаю субботы толпился народ, и даже выехав за город, вынужден был маневрировать среди возвращавшихся домой легковых машин, грузовиков и телег. Но сама дорога все еще позволяла ехать чуть быстрее — гораздо быстрее,— будь он Максом Гаррисом, который уезжал из дома, а не каким-то Чарльзом Мэллисоном, который вез дядю в обратном направлении.

— Что с тобой? — спросил дядя.— Что-нибудь не в порядке? Или у тебя нога уснула?

— Ты же сам только что сказал, что сейчас не вчерашний вечер.

— Конечно, нет,— сказал дядя.— Сейчас нет лошади, которая поджидает капитана Гуальдреса, чтобы его уничтожить,— если для этого нужна была лошадь. На сей раз у него имеется нечто гораздо более действенное и фатальное, нежели какая-то бешеная лошадь.

— Что именно?

— Голубка,— сказал дядя.— Так чего ты ползешь, как черепаха? Ты что, скорости боишься?

Они неслись вперед, примерно раза в два медленнее, чем Макс Гаррис, по дороге, которую барон не успел заасфальтировать, что́ он непременно осуществил бы, отложив все прочие дела, если б только его вовремя предостерегли, причем не ради собственного удобства — ведь он по ней не ездил, а в Новый Орлеан и обратно летал на собственном аэроплане, и джефферсонцы видели его, лишь когда выезжали в окрестности его владений,— а ради уникальной возможности потратить кучу денег на предмет, которым он не только не владел, но, по мнению всех, кто его знал, даже никогда и не думал воспользоваться — точь-в-точь как Хью Лонг в Луизиане стал основателем, владельцем и покровителем журнала — дядя считал его лучшим литературным журналом в мире,— вероятно, даже ни разу не заглянув в него и не интересуясь, что думают о нем авторы и издатели этого журнала — во всяком случае, не больше, чем барон интересовался, что думают о нем фермеры, чья скотина без присмотра бродила по этой дороге и с ревом подыхала под торопливыми колесами автомобилей его гостей; теперь они с дядей быстро катили по этой дороге, а декабрьский день — шестой день зимы, как говорят старики, ведущие счет от первого декабря,— клонился к вечеру.

А дорога уходила к тем давним временам, когда здесь еще не знали гравия, петляла по рыжему грунту среди холмов, спрямлялась и чернела, опускаясь на плоскую плодородную равнину с жирной аллювиальной почвой, где тучные богатые поля кукурузы и хлопка вплотную подступали к ней, и она сужалась настолько, что здесь едва могли разминуться два человека, и ее обозначали только две тонких колеи от железных ободов телег и экипажей да отпечатки копыт лошадей и мулов в форме разорванной буквы О; дорога уходила к тем временам, когда ее прежний владелец, тесть нынешнего барона, три-четыре раза в год оставлял своего Горация и бокал с пуншем лишь затем, чтоб ненадолго съездить в город проголосовать на выборах, продать хлопок, побывать на похоронах или на свадьбе и возвратиться к пуншу и страницам латыни по тому же немощеному грунту, на котором даже подковы — если только лошади не бежали галопом — не производили ни малейшего звука, не говоря о колесах да и обо всем прочем, кроме скрипящей сбруи; возвратиться к своим землям, границы которых существовали только в его памяти и поддерживались доверием соседей, и которые даже не везде были огорожены, тем более заборами из жердей и досок, изготовленных на фабриках Гранд-Рапидс из стволов дуба и гикори, срубленных в лесах Лонг-Айленда и Виргинии; к газону, который в те дни был всего лишь лужайкой, заросшей лохматыми дубами, не знавшей садовых ножниц, секаторов, сучкорезов и газонокосилок, окруженных прозрачным туманом паров бензина; к дому, что был просто домом, служившим опорой для веранды, на которой он мог сидеть со своим серебряным бокалом и с книгой в потертом кожаном переплете; к саду, что был просто садом, тоже запущенным, густо заросшим неизменными вечными безымянными розами, кустами сирени, маргаритками и бессмертными стойкими флоксами, буйно расцветавшими вопреки осенней пыли,— все в той же скромной традиции долготерпенья и долговечности, что и оды Горация, и разбавленное виски.

Дядя сказал, что это покой. То есть в первый и единственный раз он сказал это двенадцать лет назад, когда ему, Чарльзу, не было еще и шести и он только-только начал понимать, что́ дядя имеет в виду:

— Не то что ты достаточно вырос, чтобы это слышать; просто я еще достаточно молод, чтобы это сказать. Через десять лет я уже таким не буду.

А он спросил:

— Ты хочешь сказать, что через десять лет это будет неправда?

И дядя ответил:

— Я хочу сказать, что через десять лет я этого не скажу, потому что через десять лет я буду на десять лет старше, а единственное, чему учит нас возраст,— это не страх и уж никак не большее количество правды, но всего лишь стыд.

— Та весна, весна 1919-го, была как сад на конце туннеля, полного крови, нечистот и страха; целое поколение молодых людей всего мира жило в нем четыре года подобно обезумевшим муравьям, каждый сам по себе, в ожидании того мгновенья, когда придет его черед войти в ту безвестность, что таится за всей этой кровью и грязью; каждый сам по себе (что как раз и подтверждало одну из дядиных мыслей, а именно мысль о правде), вечно гадая, видят ли другие его страх так же ясно, как он сам. Ибо у пехотинца в те минуты, когда он ползет по земле, и у авиатора в уплотненные секунды отпущенного ему времени не больше друзей и товарищей, чем у свиньи над кормушкой или у волка в стае. А когда туннель наконец обрывается, и они — если им повезло — из него выходят, ни друзей ни товарищей у них по-прежнему нет. Ведь они (он, Чарльз, во всяком случае надеялся, что насчет стыда дядя был прав) потеряли нечто, некую часть своего существа, драгоценную и незаменимую, и она рассыпалась, рассеялась, превратилась в общее достояние всех прочих лиц и тел, которые тоже остались в живых; я теперь уж не просто некий Джон Доу[1] из Джефферсона, я теперь и Джо Джинотта из Ист-Оранджа, штат Нью-Джерси, и Чарли Лонгфезер из Шошони, что в штате Айдахо, и Гарри Бонг из Сан-Франциско, а Гарри, Чарли и Джо все вместе составляют некоего Джона Доу из Джефферсона, штат Миссисипи. Но в эту сложную смесь по-прежнему входит каждый из нас, и потому мы не можем ее отвергнуть. Вот откуда взялись Американские Легионы. И хотя мы смогли спокойно примириться с тем, что́ на наших глазах сделали вполне реальные Чарли, Джо и Гарри в лице некоего воображаемого Джона Доу из Джефферсона, мы не можем отречься и уйти от того, что сделал этот Джон Доу, воплотившийся в реальных Гарри, Джо или Чарли. И поэтому Американские Легионы, пока они еще были молоды и верили в жизнь, сообща напились до потери сознания.

Ибо правильным было лишь замечание насчет стыда — ведь дядя высказал эту мысль двенадцать лет назад и с тех пор никогда больше ее не повторял. Ибо во всем остальном он ошибся — ведь даже двенадцать лет назад, когда ему было только под сорок, он уже потерял связь с настоящею правдой, а именно: человек идет на войну (а молодые люди всегда идут на войну) ради славы, ибо нет иного, столь же славного способа ее добиться, а риск и страх смерти — не только единственная цена, за которую сто́ит купить то, что человек купил, но и самая низкая, какую могут с него запросить, и трагедия состоит не в том, что он умирает, а в том, что его здесь больше нет и он этой славы не увидит; он не хотел уничтожить жаждущее славы сердце, он хотел утолить эту жажду.

Но это было двенадцать лет назад; теперь дядя сказал только:

— Остановись. Я сяду за руль.

— Нет, не сядешь,— сказал он.— Мы и так едем достаточно быстро.

Оставалось не больше мили до белого забора, а когда они проедут две, то доберутся до ворот и даже увидят дом.

— Покой,— сказал дядя.— Я из-за него сперва даже не спал по ночам. Но не в том дело, спать я не хотел, я не хотел пропустить эту бесконечную тишину, мне хотелось просто лежать в постели и в темноте вспоминать, что впереди завтра и завтра, и полная красок весна — апрель, май и июнь, ничем не занятое утро, полдень и вечер, а потом снова стемнеет и воцарится тишина, в которой можно просто лежать, ибо спать мне было не нужно. А потом я увидел ее. Твоя мать ошибалась. Она была совсем не похожа на разоде-

[1] Джон Доу — анонимный, воображаемый истец в судебном процессе; средний человек, «человек с улицы» (*прим. перев.*).

тую куклу. Она была похожа на девочку, которая сидит в домике-карете и играет во взрослую, причем играет с убийственной серьезностью — так внезапно осиротевшая малышка лет двенадцати, на чьи плечи свалились заботы о целом выводке младших братишек и сестренок, а может и о престарелом дедушке, кормит младенцев, меняет и стирает им пеленки; сама совсем еще дитя, она неспособна даже косвенно заинтересоваться той таинственною страстью, которая произвела их на свет, а тем более вникнуть в смысл этой тайны и осознать свое прямое к ней отношение, хотя лишь это могло бы помочь ей нести тяжкое бремя, связанное с их кормежкой, или просто понять его необходимость.

Разумеется, ничего подобного и в помине не было. У нее был только отец, да и вообще дело обстояло как раз наоборот: отец не только вел хозяйство и на земле и в доме, но распоряжался им так, что из плуга всегда можно было выпрячь лошадей и вместе с погонщиком отправить за шесть миль в город допотопную карету, на необъятных подушках которой она, эта сдержанная, тихая и скромная девочка, на десять лет отставшая от своего возраста и на пятьдесят лет — от своей эпохи, напоминала старинную миниатюру. На меня она произвела впечатление девчушки, которая играет в дочки-матери в этом глухом, неподвластном времени саду на конце вонючего кроваво-красного туннеля, и однажды я вдруг окончательно и бесповоротно понял: просто тишина это еще не мир. Это произошло, когда я увидел ее в третий, в десятый или в тридцатый раз, точно не помню, но однажды утром я очутился возле остановившейся кареты с босоногим негром на козлах, а она, словно картинка со старинной открытки с поздравлением по случаю Валентинова дня или с коробки конфет производства 1904 года, на фоне полинялого засаленного необъятного сиденья (когда карета проезжала мимо, снаружи виднелась только ее рука, а сзади даже и руки не было видно, хотя упряжку вместе с кучером оторвали от плуга явно не для того, чтобы тот один прокатился в город и обратно); однажды утром я очутился возле остановившейся кареты, по обе стороны которой с пронзительным скрежетом и ревом проносились яркие блестящие новые автомобили — ведь мы выиграли войну, и теперь каждый человек разбогатеет, а на земле воцарится вечный мир.

«Я Гэвин Стивенс,— сказал я.— И мне скоро стукнет тридцать лет».

«Я знаю»,— отозвалась она.

Однако хоть мне еще не исполнилось тридцати, я чувствовал себя тридцатилетним. Ей было шестнадцать. А как (по обычаю тех времен) сказать девочке: «Назначьте мне свидание»? И как тридцатилетнему в этом случае себя вести? Ведь нельзя же просто пригласить это дитя — надо обратиться за разрешением к родителям: Вот почему, когда начало смеркаться, я остановил автомобиль твоей бабушки у ворот и вышел. В то время там был сад, а не мечта пейзажиста-цветовода. Он занимал гораздо больше места, чем расстеленные рядом пять или шесть ковров; там были старинные кусты роз и чашецвета, некрашеные полуразвалившиеся беседки и решетки для вьющихся растений, клумбы с многолетними цветами, что размножаются самосевом без докучливой посторонней помощи и без помех, а посреди всего этого стояла она и смотрела, как я вхожу в ворота и шагаю по тропинке, смотрела до тех пор, пока я не скрылся у нее из виду. И я знал, что она не сойдет с того места, где стоит, и поднялся по ступенькам на веранду, где старый джентльмен сидел в своем кресле из гикори, у ног его притулился щенок-сеттер, а на столе стоял серебряный бокал и лежала книга с пометками, и я сказал:

«Позвольте мне с нею обручиться (заметь, как я это выразил — мне с нею). Я знаю,— сказал я,— знаю: не теперь. Просто позвольте нам обручиться, и нам даже не надо будет снова об этом вспоминать».

А она так и не сошла с того места, где стояла, и даже не пыталась слушать. Впрочем, она стояла слишком далеко, и оттуда ничего нельзя было услышать, да она в том и не нуждалась; она просто стояла в сумеречной полутьме и даже не пошевелилась, не отпрянула, вообще никак не отозвалась, и мне самому пришлось поднять ее лицо, что, впрочем, потребовало не более усилий, чем если бы я поднял ветку жимолости. Ощущение было такое, словно я пригубил шербет.

«Я не умею,— сказала она.— Вам придется меня научить».

«Ну и не учитесь,— отозвался я.— Хорошо и так. Это совсем не важно. Вам вовсе не надо учиться».

Это и вправду было как шербет: конец весны, лето и долгий конец лета, тьма и тишина; а ты лежишь, вспоминая вкус шербета; ты не пробуешь его снова, ибо пробовать шербет снова нет никакой нужды, для этого не надо много шербета — ведь вкус его не забывается. Потом настала пора возвращаться в Германию, и я привез ей кольцо. Я сам продел в него ленточку.

«Вы хотите, чтоб я его пока не носила?» — сказала она.

«Да,— сказал я.— Нет,— сказал я.— Ладно. Если хотите, можете повесить его сюда, на куст. Это всего лишь цветная железка с осколком стекла, она, наверно, и тысячи лет не продержится».

— И я вернулся в Гейдельберг, и каждый месяц приходили письма, в которых говорилось ни о чем. Да и как могло быть иначе? Ей было всего шестнадцать лет, а разве с шестнадцатилетними случается что-нибудь, о чем можно написать или даже рассказать?

И каждый месяц я ей отвечал, и в моих письмах тоже говорилось ни о чем, да и как шестнадцатилетняя могла перевести письмо, если я сам ей его не перевел? И этого я так никогда и не узнал,— закончил дядя.

Теперь они уже почти добрались до места, и он, Чарльз, сбавил скорость, чтобы въехать в ворота.

— Я не понял, не как она сумела перевести с немецкого,— сказал дядя,— а как человек, который перевел ей с немецкого, перевел также и с английского.

— С немецкого? — удивился он.— Ты писал ей на немецком?

— Было два письма,— сказал дядя.— Я написал их одновременно. И перепутал конверты.— Потом дядя крикнул: — Осторожно! — и даже потянулся к рулю. Но он, Чарльз, успел выровнять машину.

— Второе письмо тоже было к женщине,— сказал я.

— Она была русская,— сказал дядя.— Она бежала из Москвы. Это стоило больших денег, которые пришлось выплачивать по частям, долгое время и разным людям. Она тоже прошла войну. Я познакомился с ней в Париже, в 1918-м. Когда я осенью девятнадцатого года возвращался из Америки в Гейдельберг, я думал, я был даже уверен, что забыл ее. Но однажды, посреди океана, я вдруг обнаружил, что не вспоминал о ней с весны. И тогда я понял, что я ее не забыл. Я переменил билет, поехал сначала в Париж, и мы условились, что она последует за мной в Гейдельберг, как только кто-нибудь завизирует ей те документы, которые у нее были. Я обещал писать ей каждый месяц, пока мы будем этого ждать. А может, пока ждать буду я. Ты должен учесть мой возраст. Я тогда был европейцем. Я переживал свойственный каждому чуткому американцу критический период, когда он верит, что если в будущем американцы смогут претендовать даже не на человеческий дух, а хотя бы просто на элементарную цивилизованность, то она придет из Европы. Но, может, я ошибся. Может, дело было просто в шербете, и не то чтобы шербет был мне противопоказан или вовсе на меня не действовал, но просто был мне ни к чему, а написал я эти два письма одновременно оттого, что сочинение одного из них не требовало никаких умственных усилий, и это письмо вышло откуда-то из внутренностей и добиралось до пальцев, до кончика пера и чернил обходным путем, минуя мозг; вследствие чего я даже никогда так и не смог вспомнить содержания письма, которое попало не по адресу, хотя особых сомнений это и не вызывало; мне никогда не приходило в голову обращаться с этими письмами поаккуратнее — ведь они существовали как бы в разных мирах, хотя их писала одна и та же рука на одном и том же столе на сменявших друг друга листах бумаги одним и тем же почерком при свете одного и того же электричества, за которое были заплачены те же два пфеннига в течение того самого промежутка времени, когда под движущуюся стрелку уполззал один и тот же сектор циферблата.

Но вот они приехали. Не успел дядя сказать ему: «стоп», как он уже поставил автомобиль на пустую подъездную дорожку, слишком прилизанную, слишком тщательно выметенную и посыпанную гравием, слишком широкую даже для многоместного автофургона, двух-трех автомобилей с откидным верхом и одного лимузина, да еще какого-нибудь средства передвижения для прислуги; а дядя, не дожидаясь полной остановки, выскочил из машины и направился к дому, в то время как он, Чарльз, еще только заканчивал фразу:

— Мне ведь не надо туда идти?

— По-моему, ты уже зашел слишком далеко, чтобы теперь бить отбой,— сказал дядя.

Тогда он тоже вышел из автомобиля и по дорожке, слишком широкой и вымощенной слишком большим количеством плит, вслед за дядей зашагал к боковой галерее — будучи всего лишь боковой, она вполне годилась для размещения президента вместе с кабинетом министров или Верховным судом, хоть и была, пожалуй, маловата для конгресса; весь же дом напоминал нечто среднее между достойным самого Гаргантюа гигантским свадебным тортом и свежевыбеленным цирком шапито; а дядя, не замедляя шага, шел впереди и продолжал:

— Мы испытываем странное равнодушие к некоторым весьма разумным иностранным обычаям. Вообрази, какой получился бы великолепный костер, если пропитать бензином шпалы, устроить из них помост, водрузить на верхушку гроб и спалить весь этот дом заодно с его строителем.

Потом они вошли внутрь; чернокожий дворецкий, отворив им дверь, мгновенно исчез, и они с дядей остались стоять в комнате, где капитан Гуальдрес (если допустить, что он кавалерист или когда-нибудь был таковым) мог бы устроить смотр своему эскадрону, к тому же еще и верхами; впрочем, он, Чарльз, мало что там заметил, кроме опять-таки орхидей,— он узнал их сразу, не удивившись и даже не обратив на них особого внимания. А потом он забыл даже об их приятном запахе и огромных размерах, потому что вошла она — ее шаги послышались сначала в прихожей, затем в комнате, но он еще до этого ощутил аромат, словно кто-то нечаянно, неуклюже, по ошибке выдвинул ящик старинного комода, и сорок служанок в туфлях на резиновых подошвах ошалело понеслись по длинным коридорам и комнатам, уставленным сверкающими хрустальными вазами, чтобы поскорее задвинуть этот ящик обратно,— вошла в комнату, остановилась, и даже не успев

взглянуть на него, Чарльза, протянула руки ладонями вперед, потому что дядя, который так и не остановился, уже шел ей навстречу.

— Я Гэвин Стивенс, и мне теперь без малого пятьдесят лет,— сказал дядя, приближаясь к ней даже после того, как она отступила, попятилась назад, воздевая вверх руки, обращенные ладонями к дяде, а дядя шел прямо к этим рукам, хотя она все еще пыталась удержать его настолько, чтобы успеть изменить свое намерение повернуться и убежать, но увы — слишком поздно — конечно, при условии, что именно так она хотела или, во всяком случае, считала нужным поступить — слишком поздно, и потому дядя тоже смог остановиться и, обернувшись, на него посмотреть.

— Ну, что дальше? — спросил дядя.— Может, ты все-таки что-нибудь скажешь? Хотя бы: «Здравствуйте, миссис Гаррисс»?

Он начал было говорить: «Простите», однако тотчас придумал нечто лучшее.

— Да благословит вас Бог, дети мои,— сказал он.

V

Была суббота. Завтра седьмое декабря. Но еще до его отъезда витрины магазинов уже сверкали игрушками, искрились искусственным снегом и мишурой, а предвкушение и запах Рождества бодрили и веселили как любым другим декабрем любого другого года, хотя грохот орудий, свист пуль и звук разрываемой ими человеческой плоти уже всего через несколько месяцев или даже недель начнет отдаваться эхом прямо здесь, в Джефферсоне.

Но когда он увидел Джефферсон в следующий раз, была весна. Фургоны и пикапы фермеров с холмов, пяти- и десятитонные грузовики плантаторов и торговцев с поймы уже стонали под погрузкой возле семенных лавок и складов минеральных удобрений, а тракторы и запряженные парами или тройками мулы скоро потянут по темным, пробуждающимся от зимней спячки полям плуги, бороны, дисковые культиваторы и лущители; скоро зацветет кизил и закричат козодои; однако шел всего только 1942 год, и оставалось еще некоторое время до того, как по телефонным проводам начнут передавать телеграммы Военного и Морского министерства, а в какой-нибудь четверг утром сельский почтальон опустит в почтовые ящики еженедельник «Йокнапатофский Горн» с фотографией и кратким извещением о смерти, уже слишком хорошо знакомым, но все еще загадочным, как санскрит или китайская грамота; на фотографии будет изображено лицо деревенского парня, слишком юное для взрослого мужчины, чье обмундирование, недавно снятое с полки интендантского склада, все еще хранит на себе складки, а в извещении будут упомянуты названия географических пунктов, о которых те, кто произвели на свет это лицо и эту плоть,— очевидно, лишь затем, чтобы они могли в муках расстаться там с жизнью,— никогда и слыхом не слыхали и уж конечно не знают, как их произносить.

Генеральный инспектор был прав: Бенбоу Сарторису, который стоял в списке класса всего лишь на девятнадцатом месте, уже присвоили офицерское звание, и теперь он служит в Англии на каком-то сугубо секретном объекте. Что — если учесть первое место, которое он, Чарльз, занимал в списке батальона, а также звание курсанта-полковника — мог бы делать и он, пока еще не стало слишком поздно, но, как всегда, ему не повезло, и у него не было даже ни офицерского ремня с портупеей, ни сабли, а была всего лишь голубая лента на фуражке, и хотя тот факт, что он курсант-полковник, да еще и первый в списке, может, и сократил немного предполетную подготовку, все равно пройдет никак не меньше года, прежде чем крылышки перекочуют с фуражки на свое место над левым нагрудным карманом (он надеялся, что вместе со щитом пилота посредине, или хотя бы с глобусом штурмана, или, на худой конец, с бомбой бомбардира).

И ехал-то он даже не домой, а только мимо дома по пути от предполетной подготовки к основной, в конце концов на настоящих самолетах, и задержался здесь лишь для того, чтобы мать успела сесть на тот же поезд и проводить его до узловой станции, где он пересядет на другой поезд, идущий в Техас, а она вернется обратно на следующем местном; и вот уже совсем близко, вот начинаются знакомые места: привычные пересечения дорог, поля и леса, в которых он бродил ребенком, подростком, а потом, когда вырос настолько, что ему уже доверили ружье, охотился на кроликов и стрелял влет куропаток.

Потом пошли убогие трущобы, живучие и долговечные, знакомые, как его собственная прожорливая, жадная и ненасытная душа или тело — руки, ноги, волосы и ногти; показались первые негритянские лачуги, некрашеные, ветхие, и постепенно становилось ясно, что они не просто обветшали, а немножко, совсем немножко скособочились, и не просто отклонились от вертикали, а вообще не имеют к ней никакого отношения, словно их задумал и построил в совершенно другой системе координат другой архитектор для совершенно другой цели и, во всяком случае, у них совсем другое прошлое — они уцелели, сохранились, не ведая о непогоде и суровом климате и неподвластные ему, и стоят себе, каждая в своем миниатюрном, заросшем, как дикие джунгли, но ухоженном огородике, и у каждой в загончике, слишком тесном для вольготной жизни любой свиньи, тем не менее процветает поросенок, стоит на привязи корова, гуляет стайка кур; и все вместе взятое — лачуга, отхожее место, умывальник под навесом и колодец — кажется чем-то временным, неосновательным, чужеродным и тем не менее незыблемым и долговечным, как пещера Робинзона Крузо; а еще дальше — дома белых, размером не больше негритянских, однако отнюдь не лачуги (попробуйте в присутствии хозяев назвать их так, и неприятностей не оберетесь); они выкрашены или, во всяком случае, когда-то были выкрашены, и все их отличие от негритянских состоит лишь в том, что в них не так чисто.

И вот, наконец, родные места — мощеный перекресток близ дома, в котором он родился; над деревьями уже показался и тотчас скрылся из виду резервуар с водой и золотой крест на шпиле епископальной церкви; как восьмилетний мальчик, он прижимается лицом к закопченному стеклу; поезд замедляет ход на грохочущих, лязгающих стрелках среди крытых товарных вагонов, вагонов для перевозки скота, цистерн и открытых платформ; и вот все они здесь, он смотрит на них глазами восьмилетнего мальчика, слегка потрясенного несоразмерностью этих мелких, но в то же время поразительно стойких человечков с необъятной громадой Земли — его мать, его дядя, его новая тетя; мать двадцать лет была замужем за одним человеком и вырастила другого, а новая тетя примерно за это же время была замужем за двумя, а другие двое в ее собственном доме, у нее на глазах дрались конями и швабрами — и потому он не удивился и даже не совсем понял, как все это случилось: мать уже вошла в вагон, новая тетя вернулась к стоящему в ожидании автомобилю, а они с дядей обменивались прощальными словами:

— Ну что ж, сударь,— говорит он,— вы не только лишний раз сходили по воду, вы даже бросили в колодец кувшин и сами прыгнули туда вслед за ним. Я привез вам весточку от вашего сына.

— От кого? — удивился дядя.

— Ладно,— говорит он.— От вашего зятя. От мужа вашей дочери. От того, который вас не любит. Он посетил лагерь, чтобы со мной повидаться. Он теперь кавалерист. То есть, я хочу сказать, солдат американской...— и занудливо, со скукой в голосе резюмирует: — Понимаешь? Как-то вечером один знакомый американец пытался убить его при помощи лошади. На следующий день он женился на сестре этого американца. А еще через день один японец сбросил бомбу на другого американца на маленьком островке за две тысячи миль оттуда. И потому на третий день он добровольно вступил в армию — не в свою армию, в которой он уже состоял офицером резерва, а в иностранную, тем самым отказавшись не только от своего офицерского чина, но и от своего гражданства, и наверно воспользовался услугами переводчика, чтоб объяснить свои намерения и своей молодой жене, и своему приемному правительству...— продолжая свое резюме, он вспоминает — не изумленно, а если даже и изумленно, то с неподвластным времени и усталости изумлением ребенка, который, точно так же презрев усталость и время, не сводит глаз с одного и того же ярмарочного балагана,— вспоминает тот день, когда он ни с того ни с сего был вызван в канцелярию подразделения, а там его ждал капитан Гуальдрес в форме рядового, больше чем когда-либо прежде смахивающий на лошадь, быть может оттого, что он сам выбрал для себя то единственное на всей поверхности земли положение или место — а именно кавалерийский полк армии Соединенных Штатов в 1942 году,— где ему до конца войны ни разу не придется иметь дело с лошадьми,— и он, Чарльз, продолжает: — Он казался не храбрым, а скорее неукротимым, он не предлагал свою жизнь никому, никакому правительству ни в качестве благодарности за что-либо, ни в качестве протеста против чего-либо, словно в этот последний решающий миг он был столько же склонен к притворным сентиментам по поводу праздного свиста шальных пуль, которые могут посыпаться на него в будущем, сколько по поводу праздного топота хрупких лошадиных копыт в прошлом; он не питал ненависти ни к немцам, ни к японцам, ни даже к Гаррисcам, а воевать с немцами пошел не потому, что они опустошили целый континент и превращали в удобрения и смазочное масло целый народ, но потому, что они исключили лошадей из кавалерии цивилизованных стран; а когда я вошел в канцелярию, он встал со стула и сказал: «Я прибыл сюда затем, чтоб вы могли меня видеть. Теперь вы меня видите. Теперь вы возвращаетесь к вашему дяде и говорите ему: „Быть может, вы теперь удовлетворены“».

— Что? — спросил дядя.

— Я тоже не знаю, что,— отвечал он.— Он сказал, что прибыл туда аж из самого Канзаса, чтобы я мог увидеть его в этом коричневом обмундировании, а потом вернуться к тебе и сказать: «Может, вы теперь удовлетворены».

Но вот настало время ехать; ручную тележку для срочной клади уже откатили от дверей багажного вагона, а служитель даже высунулся наружу, оглядываясь назад; проводник, мистер Мак-Уильямс, с часами в руках стоял на ступеньках тамбура, но, по крайней мере, не прикрикивал на него, Чарльза, ибо он, Чарльз, был в военной форме, а в 1942 году штатские еще не успели привыкнуть к войне. И потому он сказал:

— Да, чуть не забыл. Те письма. Два письма. Два перепутанных конверта.

Дядя взглянул на него:

— Ты не любишь совпадений?

— Я их обожаю,— сказал он.— Совпадение — одна из самых важных вещей в жизни.

Как девственность. Но как и девственностью, совпадением можно воспользоваться только один раз. Свою девственность я покуда намерен приберечь.

Дядя окинул его загадочным, недоуменным, печальным взглядом.

— Смотри,— сказал он.— А то можешь попробовать. Улица. В Париже. Внутри квартала, про который у нас в Йокнапатофе сказали бы, что это — точная копия Буа-де-Болонь среднего размера; настолько нован, что свое название она получила лишь незадолго до последних сражений 1918 года и Версальского договора, и, следовательно, в то время ей было меньше пяти лет; она была такой изысканной и скромной, что ее местоположение знали только мусорщики да служащие бюро по найму старших лакеев и младших секретарей иностранных посольств. Впрочем, неважно, теперь ее уже не существует, и к тому же ты все равно туда не попадешь и ничего там не увидишь, если бы даже она и существовала.

— Может, я туда пойду,— сказал он.— Может, и посмотрю, где она была.

— Ты можешь сделать это здесь. В библиотеке. Открой соответствующую страницу Конрада и ты увидишь тот самый навощенный пол, покрытый красным и черным кафелем; мебель, отделанную золоченой бронзой; фаянсовые вазы, буль — все вплоть до высокого зеркала, которое, подобно серебряному блюду, сгустило и вобрало весь дневной свет, и в чьих глубинах, подобно лилии, плывущей на собственном отражении, затаился этот невинный, гладкий, чуждый мысли лоб, отмеченный лишь отпечатком верности и скорби...

— Откуда ты узнал, что она там? — спросил он.

— Прочел в газете,— ответил дядя.— В парижском издании «Геральда». Правительство Соединенных Штатов (получив короткую передышку) стало неплохо освещать действия своего первого экспедиционного корпуса во Франции. Однако его успехи были ничто по сравнению с тем, как парижское издание «Геральда» освещало действия второго экспедиционного корпуса, который начал высаживаться в Европе в 1919 году.

Однако на челе женщины, к которой они тогда приехали, не отпечаталось ровно ничего; она по-прежнему напоминала девочку, которой теперь уже все на свете помогали играть в королеву, и на сей раз никто не явился воздать должное умершему, ибо человек, чью весточку этот посетитель ей принес, отнюдь не умер, он отправил своего посланца из далекого Гейдельберга не с известием, а с требованием: он хотел узнать, что произошло. Вот почему вопрос об этом задал я. «Но почему вы меня не дождались? Почему вы не телеграфировали?»

— И она ответила? — спросил он, Чарльз.

— Разве я не говорил тебе, что это чело не было омрачено даже нерешительностью,— отозвался дядя.— Она ответила: «Вы во мне не нуждались,— сказала она.— Я была для вас недостаточно умна».

— А ты что сказал?

— Я тоже дал правильный ответ,— промолвил дядя.— Я сказал: «Здравствуйте, миссис Гаррисс». Ну как, сойдет?

— Вполне,— сказал он.

Теперь и в самом деле пора было ехать. Машинист даже дал ему свисток. Мистер Мак-Уильямс ни разу не крикнул: «Садись, парень, если хочешь с нами ехать!», как поступил бы пять лет (а впрочем, даже и пять месяцев) назад; он, этот человек, который, когда не спал, беспрерывно разговаривал, который ничуть не пожалел бы своих голосовых связок, чтоб на него прикрикнуть, единственно из уважения к его еще не испытанной в деле военной форме не издал ни звука; вместо этого, лишь потому, что он носил эту форму, локомотив нетерпеливо выпустил две коротких острых струйки пара — дипломированный специалист, повелевающий стотонной машиной ценою в сто тысяч долларов, потратил на три или четыре доллара угля и несколько струй добытого тяжким трудом пара, дабы напомнить восемнадцатилетнему юнцу, что он уже достаточно посплетничал со своим дядей, и он, Чарльз, подумал: наверно, эта страна, этот народ, этот образ жизни и в самом деле непобедимы, если они способны не только примириться с войной, но и мгновенно к ней приспособиться, заключив с нею сделку, так сказать, левой рукой, причем не отвлекая, не рассеивая, даже не приковывая к ней внимания правой руки, которая по-прежнему делает свое стародавнее, изначальное, извечное дело.

— Да,— сказал он.— Так лучше. Я даже готов этому поверить. И это было двадцать лет назад. И тогда это было правильно или, по крайней мере, достаточно для тебя тогда. Но прошло двадцать лет, и теперь это неправильно, или, по крайней мере, недостаточно, или, по крайней мере, недостаточно для тебя теперь. Интересно, как одни только годы все это сделали?

— Они сделали меня старше,— сказал дядя.— Я изменился к лучшему.

Перевод с английского М. Беккер

Из истории отечественной науки

Академик В. И. Гольданский

ЗА ЖЕЛЕЗНЫМИ СТАВНЯМИ СЕКРЕТНОСТИ

Судьба науки драматична. Чаще всего мы это осознаем, размышляя над судьбой какого-то одного ученого или одного изобретения. Однако есть в истории науки страницы особенно драматичные, когда в орбиту осуществления идеи вовлекалось множество людей, когда от потенциала, от уровня многих областей фундаментальной науки, от таланта, подготовленности и самоотверженности исследователей и людей, выполняющих практические задачи, зависела судьба государства, а быть может, и судьба мира. Одна из таких именно страниц развернута перед нами в документальном повествовании Вениамина Ароновича Цукермана и Зинаиды Матвеевны Азарх «Люди и взрывы».

До сих пор нам были известны только основные факты. 6 августа 1945 года, через три месяца после того, как для нашей страны закончилась тягчайшая война с фашистской Германией, американская атомная бомба обрушилась на жителей японского города Хиросима, а 9 августа — на город Нагасаки. Далеко не все люди смогли тогда сразу осознать, что мы оказались в совершенно новой ситуации. Изменилась на Земле расстановка сил, и это могло иметь очень далеко идущие последствия. Атомными взрывами Соединенные Штаты показали всему миру, что они одни обладают сверхмощным оружием и готовы пустить его в ход, если, с их точки зрения, к тому явится необходимость.

Для устранения такой односторонней угрозы, снятия опасности ядерного шантажа у СССР был только один выход — самому создать столь же мощное оружие.

Сегодня все мы с вами знаем: да, всего через четыре года, 29 августа 1949 года, была успешно испытана советская атомная бомба. Более того, еще через четыре года СССР овладел еще более мощным — термоядерным — оружием. Ядерная монополия американцев кончилась. И можно с уверенностью сказать, что на этом этапе истории «ядерное сдерживание» сыграло положительную роль в предотвращении третьей мировой войны.

Это было выдающимся событием в истории науки, в истории общества. Но как оно было осуществлено в обескровленной, разоренной стране и в такие немыслимо сжатые сроки? Вот этого — как осуществилось невозможное — мы с вами до последнего времени не знали. Все сведения были сверхсекретными, а герои анонимными. Вскоре мы узнали имя руководителя советского атомного проекта — академика Игоря Васильевича Курчатова. Много позднее стало известно имя генерального конструктора советского атомного оружия — академика Юлия Борисовича Харитона. Раскрылась огромная роль академиков И. Е. Тамма, А. Д. Сахарова, Я. Б. Зельдовича и других.

И все же, как это происходило в советских разработках ядерного оружия? Чего стоила реализация исходных идей? Документальное повествование участников событий — В. А. Цукермана и его жены и помощника З. М. Азарх — один из первых прорывов за железные ставни секретности.

И в авторском введении и в заключительных строках повествования звучат вопросы, которые больше всего тревожат авторов: «Будут ли интересны эти воспоминания молодым читателям? Будут ли их волновать наши проблемы и тревоги?» Смею ответить — будут! Будут потому, что речь идет о поистине замечательных людях и об их делах подлинно исторического значения, будут и потому, что написана книга не наблюдателями со стороны, а активными творцами, чувства и мысли которых все время ощущает читатель.

Многие из людей, о которых здесь пишется, так же, как и ряд описываемых событий, вызывают во мне и собственные воспоминания. Поэтому я имею возможность сверять возникаю-

щие на страницах повествования образы с собственными впечатлениями и убеждаться в их адекватности, так что чтение работы В. А. Цукермана и З. М. Азарх стало для меня вдвойне интересным, приятным и — вместе с тем — ностальгически грустным.

Думаю, что это чувство ностальгии испытает каждый, кто так или иначе принимал участие в работах. Хотя приходится с печалью отметить, что очень многие ушли из жизни, не дождавшись этого *открытого* признания.

Наиболее ранние события, о которых рассказывают авторы, связаны с военными годами, когда после Сталинградской битвы, победы на Курской дуге, словом, после перелома в ходе войны, в 1943 году, страна, хоть и с великими усилиями, смогла приступить к работам по освоению атомной энергии.

Здесь необходимо сразу сказать о том, что все эти работы возникли отнюдь не на пустом месте, не с нуля. Основу их заложили выдающиеся достижения советской фундаментальной науки в довоенные годы. Именно они обеспечили успех всего дела. Это как раз то, о чем непростительно часто забывает сегодня наш чиновничье-бюрократический аппарат. Больно видеть, как сдает свои позиции в мире наша фундаментальная наука из-за того, что государственный и хозяйственный аппарат не хочет или попросту не в силах понять, что задача большой науки — это познание законов природы и общества, добывание принципиально нового Знания, а не только внедрение конкретных разработок и научных результатов в хозяйственную практику. Это проблема жизненно важная для государства, и я не случайно остановился на ней, вспоминая об истории создания атомной бомбы. Именно фундаментальные работы по теории взрыва и детонации, по разделению изотопов, глубокие, разноаспектные химические исследования *позволили* в 1943 году развернуть исследования в области атомной физики и энергетики. Без этого фундамента — без основополагающих работ Н. Н. Семенова, И. В. Курчатова, Ю. Б. Харитона, Я. Б. Зельдовича, Г. Н. Флерова и К. А. Петржака, В. Г. Хлопина — никакие титанические усилия не привели бы к столь быстрому успеху.

Естественно, что В. А. Цукерман и З. М. Азарх коснулись не всех проблем и рассказали далеко не о всех «подразделениях» армии, штурмовавшей проблему,— за пределами повествования остались решения многих физических, химических, конструкторских задач, связанные с работой ядерных зарядов. Но это было бы просто невозможно при таком характере рассказа, когда авторы делятся тем, что пережили сами. Может быть, наиболее важное и привлекательное как раз и состоит в том, что В. А. Цукерман и З. М. Азарх на примере своего опыта воспроизвели атмосферу, которая была характерна для *всех коллективов*, участвовавших в решении атомной проблемы. В разоренной стране, где не хватало электроэнергии даже для освещения, где уникальные приборы приходилось «лепить» буквально из ничего, из каких-то подножных средств вроде валяющегося на улице старого трансформатора или выпрошенного в парикмахерской зеркала, люди творили, забывая об усталости. Все были друг другу не просто единомышленниками, но верной и надежной человеческой опорой, невзирая на звания и чины.

Никаких бюрократических рогаток. Каждое изобретение не только не нуждалось в мучительном «пробивании» — оно внедрялось тут же, сразу и вызывало общее ликование. Именно поэтому, рассказывая об экспериментах, связанных со взрывами и детонацией, авторы в равной степени воздают должное и академику, и стеклодуву, и людям, которые обеспечивали нормальный ритм работ, если они сделали что-то действительно замечательное для общего дела.

Такое не забывается. И, оглядываясь на те напряженные месяцы и годы, участники создания атомного оружия невольно вспоминают не только конечную победу, которую на Западе называли не иначе как чудом, не только колпак бериевской системы слежки, который над всеми ними грозно нависал, но и ту ауру добра и взаимопомощи, которая очень способствовала рождению чуда. К сожалению, в сильно обюрократившихся научных подразделениях и системах сегодня она встречается редко, если не иссякла вообще. Не пора ли нам вспомнить, что без этой атмосферы ростки пробудившихся идей, как правило, вызревают чахлыми...

Прошли годы, и наступили дни, когда один из создателей водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров, человек, который, по его словам, «не сомневался в жизненной важности создания советского сверхоружия для нашей страны и для равновесия во всем мире», в числе первых выступил за сокращение и постепенное уничтожение ядерного оружия. Что это? Противоречие, измена самому себе, как иногда доводится слышать? Нет, конечно, это — диалектика развития науки, развития цивилизации и способность подлинного Ученого ее понять и признать.

Такова логика истории. В тот момент атомное оружие было попросту жизненно необходимо, и создание его явилось подвигом. Сейчас оно опасно в чьих бы то ни было руках, и потому его необходимо уничтожить. Можно было бы сказать: Sic transit Gloria mundi, но славным это оружие никак не назовешь. Славными можно назвать неподвластные времени страницы истории нашей науки, еще недавно находившейся за семью печатями, и людей, чьи имена навечно запечатлены на этих страницах.

Сейчас во всем мире крепнет движение не только против ядерного оружия, но и вообще против использования энергии атомного ядра. Однако история учит нас в глобальных, критических ситуациях сохранять мудрость и не поддаваться инстинкту толпы.

Конечно, накопленные массы ядерной взрывчатки в условиях взаимного недоверия в мире сами по себе, уже одним фактом своего существования создают угрозу. Однако новое мышление, новые горизонты в развитии взаимоотношений между народами СССР, США, других стран, открывшиеся в последние годы, отход от традиционного «образа врага», всеобщая тяга к взаимопониманию открывают возможности превращения взрывчатки в горючее, перековки мечей на орала.

Вот почему жизненно важно для судьбы Земли крепить ниточку доверия, протянувшуюся между народами, через все океаны и материки. Ведь от того, сумеем ли мы *все вместе* разумно распорядиться потенциалом ядерной энергии, не поставив существование человечества под угрозу ни апокалипсиса ядерной войны, ни мучительной медленной гибели от радиации сотен Чернобылей, зависит будущее нашей цивилизации, зависит ответ на вопрос «быть или не быть» нашей планете, нашему общему дому.

В. А. Цукерман, З. М. Азарх

ЛЮДИ И ВЗРЫВЫ

Когда 29 августа 1949 года мир облетело известие об успешном испытании в СССР атомной бомбы — испытании, которое вырвало у Соединенных Штатов монополию на самое грозное оружие современности,— корреспонденты западных газет, радио и телевидения терялись в догадках, как Советский Союз, только что перенесший самую разрушительную из войн, смог решить все проблемы, связанные с производством делящихся материалов и конструкцией бомбы. Это был подвиг нашего народа, его ученых, инженеров, рабочих.

Академик Д. С. Лихачев писал, что слова «подвиг» не существует ни в одном из европейских языков, кроме русского. Общий высокий уровень советской науки в значительной степени определил наши успехи. В довоенные годы в стране велись работы по теории взрыва и детонации, разветвленным химическим реакциям, по разделению изотопов. В Союзе и за рубежом были известны работы Я. Б. Зельдовича, Н. Н. Семенова, Ю. Б. Харитона, И. В. Курчатова. В 1940 году Г. Н. Флеров и К. А. Петржак открыли спонтанное (самопроизвольное) деление урана. Уже в предвоенные годы стало ясно: освоение атомной энергии требует капитальных затрат, строительства новых институтов и заводов. В условиях войны Советский Союз не мог пойти на такие затраты.

После наших побед под Сталинградом и на Курской дуге положение на фронтах Отечественной войны настолько изменилось к лучшему, что мы смогли приступить к развертыванию исследований в области атомной физики и энергетики. Во главе проблемы был поставлен выдающийся экспериментатор и удивительный человек — Игорь Васильевич Курчатов. В 1943 году к работам над ядерным оружием он привлек Юлия Борисовича Харитона. Летом 1946 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР о проектировании и строительстве ряда специализированных институтов. Руководство отдельными проблемами поручалось крупным ученым и организаторам. Напряженная творческая работа большого числа высококвалифицированных ученых, конструкторов, рабочих, их самоотверженный, целенаправленный труд позволили решить проблему ядерного оружия в предельно сжатые сроки. Спустя шесть лет после испытания первой советской атомной бомбы, 22 ноября 1955 года, на нашем полигоне в Семипалатинске была сброшена с самолета советская термоядерная бомба, мощность которой в сто раз превосходила мощность американских бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Американские ученые убедились, что нам первым удалось создать термоядерное оружие, решив ряд важных принципиальных и технологических проблем. К этому времени американцы провели только экспериментальные наземные взрывы термоядерных устройств.

Работа, которую вы, читатель, держите в руках,— рассказ о том, почему мы были привлечены к работам по созданию советского ядерного оружия, о героических людях, работавших рядом. У работы два автора, хотя повествование, как правило, ведется от первого лица. Такая форма оказалась более удобной для изложения биографических сведений и других материалов, имеющихся в нашем распоряжении.

Наши очерки связаны только с теми опытами и исследованиями, в которых мы принимали непосредственное участие. Многие исследователи и ученые, внесшие значительный вклад в общее дело, либо не попали в книгу, либо отмечены поверхностно. Это относится к лицам, которых авторы знали недостаточно, чтобы иметь право быть их биографами.

Сейчас, когда весь цивилизованный мир говорит о запрещении и ликвидации ядерного оружия, могут показаться неуместными наши усилия, энтузиазм и энергия, вложенные в решение задачи создания советского ядерного оружия. Однако четыре десятилетия тому назад существовала иная ситуация — необходимо было как можно скорее ликвидировать монополию США на новое оружие. Выполнение этого условия обеспечивало мир не только нашей Родине, но и для всей Земли.

Неоценимую помощь в написании книги оказали многие друзья и сотрудники. Авторы считают своим приятным долгом сердечно поблагодарить: Э-Г. В. Александровича, Л. В. Альтшулера, Э. И. Арсеньеву, Е. М. Барскую, С. М. Бахраха, В. Н. Беляева, А. М. Воинова, Г. Б. Воинову, М. Ф. Ковалеву, В. А. Назарова, Р. З. Людаева, И. Ш. Моделя, Н. Г. Павловскую, М. В. Синицина, В. Я. Френкеля, Л. Н. Худякову, Н. Д. Юрьеву.

Все, что написано в этой книге,— правда. Читателю может показаться, что некоторые факты и события граничат с вымыслом. Это не так.

Цукерман Вениамин Аронович (р. 1913), доктор технических наук, лауреат четырех Государственных и Ленинской премии, Герой Социалистического Труда. Работает в области физики ядерных взрывов.

Азарх Зинаида Матвеевна. Окончила Архитектурный институт. Работает совместно с мужем в области физики ядерных взрывов.

ВВЕДЕНИЕ

Каждый пишет, что он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить.
Так природа захотела.
Почему — не наше дело,
Для чего — не нам судить.

Булат Окуджава

«Тук. Тук-тук-тук. Тук-тук». Это дятел. Он сидит на высокой сосне и стучит клювом по стволу. Очень похоже на звуки старого телеграфного аппарата Морзе. Правда, дятел отстукивает только точки и передает свои сигналы медленно, на уровне начинающего радиста. Вот стук прекратился. Птица перелетела на соседнее дерево. Снова стук, но на этот раз намного тише. Так и есть: облюбованная лесным телеграфистом сосна находится на бо́льшем расстоянии от окна. Застучала пишущая машинка. Ее звуки перекликаются со стуком дятла. Он замолчал. Быть может, удивился? Но вот его сигналы стали громкими. Лесной радист перебрался под крышу нашего деревянного дома, где мы живем уже более четверти века.

Справа от пишущей машинки стопка белой бумаги. После того, как найдены нужные слова, напечатанные страницы ложатся слева от машинки. Так создается эта книга. В удивительной жизни, которую довелось прошагать мне и моим друзьям, было много такого, о чем давно пора рассказать.

Когда начинаешь новую рукопись, возникают сомнения: будет ли она полезна людям. События и факты, составляющие ее содержание, могут оказаться мало интересными «племени младому, незнакомому». Оно не пережило то, что довелось пережить нам. «Великаны духа» — так можно назвать многих людей, с которыми посчастливилось работать вместе не одно десятилетие.

Давно тянет к машинке. Уже готовы литературные заготовки. В бессонные ночи мучают отдельные фразы и абзацы. Их необходимо поскорее предать бумаге, пока они не растворились в буднях текущих дел.

Эту книгу трудно отнести к какому-либо определенному жанру. В ней будет довольно много сведений о новой науке — дочери и наследнице удивительного века, который, покидая нас, оставит куда больше вопросов, чем ответов.

Дятел перестал стучать. Машинка, наоборот, набирает темп. И вечный вопрос — получится ли? — завис над столом. Хочется верить — должно получиться.

1. ВИТЕБСК — МОСКВА — КАЗАНЬ — МОСКВА

МОЙ ВИТЕБСК (1913—1928 ГОДЫ)

«Неужели вы были в Витебске? Нет, в самом деле вы были в Витебске?»

Ю. Трифонов. «Посещение Марка Шагала»

Если б всемирно известный художник Марк Шагал обратился с подобным вопросом ко мне, я бы ответил однозначно. Да, я родился в этом городе и прожил там первые 15 лет своей жизни. Ходили даже слухи, что Шагал — наш дальний родственник. Но родные, знавшие родословную, либо были уничтожены в войну, либо умерли.

Когда в 1958 году мы побывали на моей родине — потрясли разрушения города. На месте школы, в которой я учился, занимавшей большое трехэтажное здание на берегу Западной Двины, ничего не осталось. Превратилась в бульвар улица Фрунзе, включая дом № 16, где мы жили с 1917 по 1928 год. Неведомая случайность сохранила двухэтажный кирпичный дом, в котором я родился. Этот дом и сейчас стоит на улице Димитрова, напротив входа в сад Тихантовского — так до революции называли парк, в котором находился летний театр. Память сохранила первые детские впечатления: по улице марширует полк солдат, возглавляемый духовым оркестром.

Научился читать в 6 лет. Учился читать по вывескам. Первые книги, которые прочитал самостоятельно от начала до конца, были «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и «Давид Копперфильд» Ч. Диккенса. Эти две книги на всю жизнь запали в душу как источники добра. Они сделали из меня убежденного интернационалиста, привили понимание важности делать добро людям.

Музыка... В комнате, где печатаются эти строки, стоит старое пианино вишневого цвета. Оно на несколько лет старше меня. На его передней крышке вырезаны вишневые грозди. Вот уже более семи десятилетий пианино следует за мной по различным городам.

Играть по нотам я так и не научился. Помешало рано проснувшееся увлечение техникой и ясное понимание того, что трудно делить небольшой досуг между музыкой и техникой. Научился подбирать мелодии из оперетт, модные вальсы и мазурки. Мама была музыкально одаренным человеком. Она знала множество русских, украинских и белорусских песен. Большинство из них попали в мой «репертуар».

Была еще одна причина, помешавшая стать музыкантом. У соседского мальчика Марка Фрадкина был абсолютный слух. Жил он с мамой еще более скромно, чем наша семья. Инструмента у них не было, и будущий композитор-песенник нередко забегал к нам поиграть на пианино. Фрадкин ухитрялся, побывав на оперетте, запоминать все партии и воспроизводить их с полным аккомпанементом левой руки. Мой слух допускал лишь исполнение основной мелодии правой руки. Тем не менее вишневое пианино помогало преодолевать трагические ситуации, которых за долгую жизнь было более чем достаточно. И сейчас, когда мне перевалило за семьдесят, этот старый безотказный друг — пианино помогает жить.

Никто не знает, как и почему музыка, даже такая несовершенная, как подобранная по слуху, имеет огромное влияние на человека. Это влияние я обнаружил еще в детские годы. Потом сама по себе возникла идея: «приписывать» друзьям определенные мелодии. Моему другу Леониду было «приписано» его любимое скерцо № 1 си-бемоль минор Шопена. Академик Е. И. Забабахин ассоциировался с «Лунной сонатой» Бетховена и песней военных лет «Эх, дороги...». Когда Евгений Иванович Забабахин бывал у нас, он обычно садился к инструменту и исполнял одно из этих произведений. «Музыка должна высекать огонь из груди человека». Я часто думаю об этих словах Бетховена.

Любовь и интерес к технике появились рано. У моста через речку Витьбу (от которой город получил свое название) стояла небольшая электрическая станция, обслуживающая трамвай и предприятия города. Дорога в школу шла мимо электростанции. Я мог часами стоять у ярко освещенных окон и наблюдать за работой дежурного машиниста. На станции была паровая машина, а постоянство оборотов поддерживалось центробежным регулятором Уатта. Я знал об его устройстве из «Физики» Цингера, которую прочитал с таким же восхищением, как «Хижину дяди Тома» и «Давида Копперфильда». Было великим счастьем, если машинист приглашал мальчишек к себе и разрешал смазывать большой ручной масленкой подшипники машины.

Летом 1922 года, когда мне исполнилось 9 лет, а младшему брату было только четыре года, умер отец, и мать осталась одна с двумя мальчиками. Жили трудно. К этому же времени относится моя первая самостоятельная электротехническая работа. В квартире электричества не было. Почти полгода я копил деньги на приобретение провода, роликов, выключателей и патронов. Как включить выключатель — параллельно или последовательно — первая электротехническая задача, которую предстояло решить. Она возникла сразу, как только я приступил к работе. Думал более суток и наконец понял: выключатель включается последовательно с лампой. Восторгам мамы и брата не было границ, когда в квартире наконец загорелась лампочка.

Придумывать стал рано — около 6—7 лет. Из костяшек домино складывал беседки, строил домики. Ощущение «сделай по-иному, чем другие» возникло и развилось уже в этом возрасте. В год смерти отца мне подарили конструктор. Значение этой игрушки в моей жизни огромно. Со своим конструктором я не расставался лет пять. Строил модели из прилагаемой к нему книжки, потом стал сам придумывать различные механизмы. Это собственное конструкторское творчество едва не стоило глаза младшему брату. С помощью конструктора построил действующую модель центробежной пушки. Ее было очень трудно наводить на цель. Во время «опытной» стрельбы центробежный снаряд попал брату в глаз, и лишь по счастливой случайности он остался зрячим.

Еще одно увлечение детства — авиация. Неподалеку от дома находился овраг, за которым построили небольшой аэродром. Мальчишки со всей улицы сбегались, чтобы посмотреть самолеты. Они тогда представляли собой странные сооружения из фанеры и материи. Как правило, это были бипланы. Летали они медленно и недалеко. Но какая радость охватывала всех, когда после короткого разбега самолет взмывал в воздух. Мальчишки проводили там целые дни с утра до поздней ночи. По поручению учителя физики я сделал доклад в классе о принципах, на которых основан полет аппаратов тяжелее воздуха. Во время рассказа запускал действующую модель. Встретив маму, учитель физики сказал ей: «У вашего мальчика вполне отчетливые способности к точным естественным наукам. Надо развивать его знания физики и математики».

С 1925 года я активно занялся радиотехникой. Свой первый детекторный приемник построил в 1926 году. В том же году стал членом ОДР (общество друзей радио). За долгую жизнь и работу в различных областях физики и техники было много случаев, когда удавалась-та или иная задуманная машина, то или иное изобретение. Но когда впервые, касаясь иглой детектора различных точек кристалла, я услыхал заветные слова: «Говорит Москва, вы на волне радиостанции имени Коминтерна»,— это было ни с чем не сравнимое чувство.

«Витебск, я покидаю тебя!» — эти слова я мог бы повторить вслед за М. Шагалом, когда в 1928 году, закончив школу-семилетку, выехал в Москву, чтобы продолжать учебу.

ДРУЗЬЯ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ. ПЕРВЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

С Левой Альтшулером я познакомился в конце двадцатых годов. В то время не было средних школ. После окончания семилетки юноши и девушки могли продолжать образование еще два года на так называемых спецкурсах.

В Москве я поступил на чертежно-конструкторские спецкурсы со строительным уклоном. Проучившись два года и пройдя строительную практику, учащиеся таких курсов получали помимо аттестата о среднем образовании дипломы младшего десятника по строительным работам и чертежника-конструктора.

Я обратил внимание на Леву с первых дней занятий в сентябре 1928 года. На перемене кто-то из учеников «горячо» поспорил о чем-то с ним. Спустя несколько секунд чернильница-невыливайка полетела через класс, ударилась о противоположную стену, разбилась, оставив на стене большое чернильное пятно. Понравилась быстрота реакции. Такой всегда может постоять за себя. С этой чернильницы началась наша дружба.

Отдельные эпизоды тех лет запомнились очень ясно. В 1929 году мы работали на строительстве «Дома на набережной». Под этим названием Юрий Трифонов написал одно из своих лучших произведений. В начале тридцатых годов не было никакой строительной техники, и практикантов использовали главным образом для переноса кирпичей с помощью нехитрых приспособлений, называемых «козами». Впрочем, во время преддипломной практики, которую мы проходили на строительстве шестиэтажного кирпичного дома у Семеновской заставы, появились так называемые краны с укосинами. Это было довольно примитивное устройство, позволяющее транспортировать по вертикали и в пределах десятка метров по горизонтали кирпичи, цемент, известковый раствор и другие стройматериалы. Машинист этого крана как-то предложил мне подняться на верхнюю балку и смазать верхний подшипник.

— Когда будешь на верхней балке — вниз не смотри, голова закружится, как бы беды не вышло,— предупредил машинист.

Я не удержался и на середине верхней балки посмотрел вниз. Голова действительно закружилась, но удалось справиться с поручением. Почти всю практику я проработал мотористом на кране.

Вскоре после получения дипломов о среднем образовании и о строительной специальности в моей жизни произошли значительные перемены. Они были связаны с радиолюбительством. Денег было мало, и я часто заходил в Ленинскую библиотеку, чтобы почитать журнал «Радиофронт» или какую-либо другую литературу по радиотехнике. Однажды во время таких занятий ко мне подошел сероглазый светловолосый человек лет тридцати и, показав рукой на разложенные книги, сказал:

— Я давно наблюдаю за вами, вы работаете в области радиотехники?

— Нет, я просто радиолюбитель.

— Мне нужен лаборант для работы в рентгеновской лаборатории. Судя по тому, что вы читаете, мне кажется, вы могли бы занять эту должность.

Так состоялось знакомство с Евгением Федоровичем Бахметевым. Молодой энергичный профессор, выпускник Военно-воздушной академии имени Жуковского, ученик профессора Гевелинга, руководил рентгеновской лабораторией ОИАМ (отдел испытаний авиационных материалов) ЦАГИ и одновременно занимался организацией учебной рентгеновской лаборатории в первом в столице вечернем машиностроительном институте.

Биография Евгения Федоровича могла бы стать темой отдельного рассказа. Подобно многим ученым, после убийства Кирова в декабре 1934 года он был арестован и выслан из Москвы. На протяжении нескольких лет ему было запрещено проживание в крупных городах Советского Союза. Поселившись в Костроме, он начал работать на одной из кафедр текстильного института. По договоренности с директором этого института мы изготовили для работ Евгения Федоровича специальный рентгеноструктурный аппарат, приспособленный для исследования тонких волокнистых структур. Но Великая Отечественная война коренным образом изменила все планы. Бахметев был выслан в Казахстан. Наша семья эвакуировалась в Казань. Связь с ним оборвалась. После возвращения в Москву мы тщетно пытались восстановить контакты. Удалось лишь узнать, что в Казахстане Евгений Федорович очень бедствовал и умер в 1944 году от инфаркта, осложненного дистрофией.

Евгений Федорович предложил мне стажировку в своей лаборатории с расчетом, что через год у вечернего института будет собственное здание, в котором разместятся все лаборатории.

Я согласился и в сентябре 1930 года стал препаратором рентгеновской лаборатории Московского вечернего машиностроительного института с зарплатой 50 рублей в месяц.

В те далекие годы в стране еще не существовали приборы для промышленной рентгенографии. Выпуск медицинских рентгеновских аппаратов начался только в 1928 году. Кадров рентгенотехников тоже не было. Около года я работал в ОИАМ, вскоре переименованном в ВИАМ (Всесоюзный институт авиационных материалов). В 1931 году получил в полуподвале одного из зданий Благовещенского переулка большую комнату

и приступил к организации учебной рентгеновской лаборатории. С 1932 по 1935 год это была единственная в столице учебная лаборатория для промышленных рентгеновских исследований.

В то время в этой рентгеновской лаборатории кроме Евгения Федоровича работали еще четыре человека — лаборант Николай Георгиевич Севастьянов, авиаинженер Александр Федорович Синицын и еще два лаборанта.

Почти все приходилось делать своими руками. Это были не только пайка и сварка, но и стеклодувное дело, вакуумная техника. Препаратор или лаборант были мастерами на все руки.

Сейчас, уходя за полувековой горизонт работы в лаборатории, я с благодарностью вспоминаю всех своих учителей.

Осенью 1931 года учебная рентгеновская лаборатория приняла первых студентов. Через эту лабораторию проходили студенты МВТУ имени Баумана, Института цветных металлов и золота, в программах которых имелись курсы дефектоскопии или рентгеноструктурного анализа.

К 1930—1931 годам относятся и первые мои изобретения в области рентгенотехники. В то время Боверс — руководитель рентгеновского отдела голландской фирмы Филиппс — предложил и осуществил создание вращающегося анода для увеличения мощности рентгеновских трубок. У меня возникла идея — вращать не анод, а всю трубку, отклоняя электронный пучок на периферию анода с помощью мощного электромагнита. Выступил с этим предложением на семинаре у Евгения Федоровича. Последний рекомендовал поехать в Ленинград на завод «Светлана» — тогда единственное предприятие страны, изготовлявшее рентгеновские трубки.

Руководитель рентгеновского отделения «Светланы» Ф. Н. Хараджа одобрил устройство, позволяющее почти на порядок увеличить мощность рентгеновской трубки, и посоветовал оформить на него авторское свидетельство. Я последовал его совету, но спустя несколько месяцев получил отказ. Оказывается, еще в 1896 году — через год после открытия рентгеновских лучей — аналогичное изобретение сделал Томас Эдисон. Я не очень огорчился отказом — как-никак это была конкуренция с самим великим Эдисоном.

Лев Владимирович Альтшулер попал в лабораторию тоже достаточно случайно. В 1930 году по распределению он поехал на строительство животноводческих комплексов Поволжья. После двухлетней работы в одном из совхозов вернулся в Москву. Неожиданно встретился со мной на Тверской (ныне улица Горького). Я познакомил его с Бахметевым, и вскоре Лев Владимирович также стал лаборантом рентгеновской лаборатории. Запомнилась его первая беседа с Бахметевым.

— Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, можно ли у вас в лаборатории сделать какое-либо крупное открытие?

— Вероятно, можно, если будете прилежно работать,— ответил Бахметев.

Вскоре в наш коллектив попал еще один способный юноша. Хорошая знакомая Бахметева, Нина Константиновна Кожина, осенью 1932 года привела в лабораторию шестнадцатилетнего юношу, который закончил семилетку и не знал, куда ему податься. Это был Виталий Лазаревич Гинзбург, впоследствии известный физик, руководитель теоретического отдела ФИАНа. Не было свободных вакансий, и первые месяцы Виталий работал у нас без зарплаты. После окончания МГУ он поступил в аспирантуру физического факультета Московского университета. Руководителем его аспирантской работы стал академик Игорь Евгеньевич Тамм.

Ядро рентгеновской лаборатории в это время составили Лев Владимирович, Виталий и я. Так как вечерний институт не имел долгое время собственного помещения, лаборатория неоднократно переезжала. Из Благовещенского переулка мы перебрались в помещение рабфака имени Артема на Большой Ордынке, затем в Вузовский переулок на Бульварном кольце и наконец, в 1938 году,— на Шаболовку. К тому времени лаборатория активно занималась методиками и аппаратурой для рентгеноструктурного анализа и промышленной рентгенодефектоскопии.

В первые годы существования вечерним институтом руководил рабочий-выдвиженец Бондарев. По его настоянию я поступил на второй курс этого института на факультет холодной обработки металлов. В 1936 году окончил его. Темой моей дипломной работы были приборы для исследования качества поверхности при холодной обработке металлов. Я предложил и осуществил приспособление к металломикроскопу, позволяющее получать изображения профиля обработанных поверхностей с тысячекратным увеличением. Запомнилось выступление на защите диплома председателя комиссии профессора Сергея Сергеевича Четверикова. Подводя итоги, он сказал: «Если бы у нашего дипломанта были сданы предметы кандидатского минимума, я бы предложил защищать этот дипломный проект как кандидатскую диссертацию».

В этом же 1936 году Лев Владимирович блестяще заканчивает физический факультет Московского университета. Всего три года он затратил на получение высшего образования.

В годы первой пятилетки, когда развернулась индустриализация всей страны, строились новые заводы с собственными лабораториями. Помимо нашей появились рентгеновские лаборатории в ряде учебных институтов, в том числе в Военно-воздушной академии им. Жуковского, в Московском институте цветных металлов, в МВТУ имени Баумана. В зависимости от мощности и значения предприятия основное оборудование для таких лабораторий либо приобреталось за рубежом, либо собиралось из деталей рентгеновских установок другого назначения, например, из диагностических или терапевтических медицинских аппаратов. Специалистов рентгенотехников было мало, и я не раз получал предложения о монтаже и создании аппаратуры для рентгеноструктурного анализа и промышленной дефектоскопии.

Появившиеся в печати в 1938—1941 годах американские и немецкие работы в области импульсной рентгенографии повлекли за собой развитие этого направления и в нашей лаборатории.

Вскоре Л. В. Альтшулер был призван в армию, и мы остались в лаборатории вдвоем с А. И. Авдеенко. Александр Иванович пришел к нам в 1937 году. Он был изобретательным человеком, в совершенстве владеющим самыми различными специальностями — стеклодувным ремеслом, пайкой, электросваркой, фотографией и др. Обладал мягким украинским юмором.

В марте 1941 года, за три месяца до начала войны, мы настолько усовершенствовали технику рентгенографирования стального керна в свободном падении, что смогли получить первую в Советском Союзе рентгенограмму малокалиберной пули в свободном полете. Мы применили простейшую схему, предложенную еще в конце прошлого века известным австрийским физиком и философом Э. Махом для фотосъемки быстродвижущихся объектов. Пуля влетала в промежуток между шарами, включенными последовательно в цепь выпрямительной лампы. Промежуток сокращался, происходил его электрический пробой, и вспышка рентгеновских лучей фиксировала изображение пули на снимке. У знакомого охотника мы одолжили мелкокалиберную винтовку с десятком патронов. Калибр пуль — 5,6 мм. Пулеулавливателем служил фанерный ящик, заполненный слегка утрамбованным песком. Память сохранила захватывающие минуты, когда из большого шкафа, заменявшего фотокомнату, раздался голос Александра Ивановича: «Есть пуля!» Изображение пули, летящей со скоростью 300 м/сек, было совершенно четким. Стандартный кенотрон позволял выполнять вполне удовлетворительные рентгенограммы быстрых процессов.

В 1940 году по просьбе директора Института машиноведения Академии наук СССР академика Е. А. Чудакова рентгеновская лаборатория и ее сотрудники переводятся в этот институт. Вплоть до начала войны мы с Александром Ивановичем активно занимались совершенствованием техники съемки пуль и других быстродвижущихся объектов при помощи рентгеновских вспышек. Позднее была разработана техника, позволяющая выполнять одновременные снимки пули и взрыва в видимом свете и рентгеновских лучах. Эта методика дала возможность выявить движение пороховых газов в период их последействия, когда изображение в видимом свете экранировалось глазами или осколками преграды.

ЗИНА АЗАРХ

Мы познакомились, когда Зина оканчивала школу. Она хорошо рисовала и собиралась поступать в Архитектурный институт. Вспыхнувшая взаимная симпатия быстро переросла в более глубокое чувство, которое заполнило и согревало всю последующую жизнь.

Продолжительные прогулки стали необходимостью. В те далекие времена существовало так называемое Бульварное кольцо, включавшее Гоголевский бульвар, по которому ходила знаменитая «Аннушка». Наши прогулки не ограничивались Гоголевским бульваром. Нередко мы проходили всю улицу Кропоткина, пересекали Садовое кольцо, Зубовскую площадь, где в то время был отличный бульвар, углублялись по Большой Пироговской к Новодевичьему монастырю. Иногда, напротив, шли вверх по Гоголевскому бульвару до Арбата с его неповторимыми переулками. Ноги не чувствовали пройденных километров. Сердца наполнялись радостью и счастьем. Часто встречались у булочной, что рядом с Кропоткинскими воротами. На этой площади до 1931 года стоял известный всем москвичам храм Христа Спасителя. Он был построен на народные деньги во второй половине XIX века «в благодарность Богу» за победу над Наполеоном и на «память последующим векам». Огромное сооружение в золоте и мозаике было возведено на горе, со всех сторон окруженное широкими лестницами, в восточной части сбегающими к Москве-реке. Большую художественную ценность представляло внутреннее убранство храма. Его создали лучшие мастера того времени — скульпторы П. К. Клодт, А. В. Логоновский, Н. А. Рамазанов, Ф. П. Толстой; художники В. В. Верещагин, К. Е. Маковский, В. И. Суриков. Однако в 1931 году было решено взорвать храм Христа Спасителя и на его месте возвести Дворец Советов.

На последнем курсе я был председателем Союза воинствующих безбожников. По

поручению комсомольской организации проводил беседы с жильцами домов в переулках, прилегающих к храму. Доказывал, что выстроенный по проекту Б. М. Иофана Дворец Советов, увенчанный гигантской фигурой Ленина, будет значительнее и современнее в наш безбожный век. С той поры прошло более шести десятков лет. Теперь мне совестно думать, что и я был причастен к этому варварству. Перед самой войной на месте храма успели заложить фундамент Дворца. Однако, как ни насыщали его металлом, он оседал. Стальной фундамент невоздвигнутого Дворца пошел на танки. А после войны, увидев, как дождевая вода заполняет котлованы фундамента, отказались от постройки Дворца и решили создать на его месте... бассейн. По инерции станцию метро у пересечения Гоголевского бульвара и Кропоткинской улицы еще много лет называли «Дворец Советов».

16 октября 1933 года мы попали в театр Станиславского на оперу «Пиковая дама». Запала в душу удивительная музыка Чайковского. Всего три последовательные ноты — до, ре, ми. Но какой пронзительной силой обладает сочетание этих звуков. Впечатление от оперы было настолько сильным, что в тот же вечер мы поклялись в вечной любви. Зине тогда было 16 лет. Договорились пожениться, как только ей исполнится 18 лет. Так и поступили.

В 1937 году родилась дочка, которую мы назвали Ириной. Жизнь шла, семья выросла, приходилось подрабатывать. Зина училась в Архитектурном институте, мой брат также был студентом, мама не работала из-за болезни. Я стал единственным кормильцем.

В 1941 году грянула война. Зина закончила институт. Вместе с Академией наук мы были эвакуированы в Казань. Встал вопрос о выборе дальнейшего пути Зины. Волновало состояние моего зрения. Медленно, но вполне заметно оно угасало. Не хотелось Зине бросать свою специальность — архитектурная работа увлекла ее. Но выбор был сделан — она связала свою жизнь с моей. После недолгой работы в архитектурной мастерской и госпитале Зина пришла работать в нашу лабораторию. Всю жизнь мы проработали вместе.

Как оценить ту роль, которую сыграла Зина в моей судьбе? Мои заботы стали ее заботами, успехи — общими. И эту книгу, которую вы сейчас читаете, мы писали вдвоем. Трудно рассказывать о человеке, который привычно всю жизнь рядом с тобой и является как бы продолжением тебя самого. Но твердо знаю: без Зины я бы не сделал и половины того, что удалось свершить.

В Казани после перенесенной кори у Иринки развился туберкулезный бронхоаденит, а в 1946 году, в первый послевоенный год, в Москве она заболела туберкулезным менингитом, болезнью, считавшейся неизлечимой. Видимо, сыграло определенную роль недоедание военных лет. Иринка была первым ребенком в нашей стране, которого удалось спасти от туберкулезного менингита. Цена этой победы достаточно высокая — полная потеря слуха.

Зина провела в больнице почти год. Что пережила она, когда Иринка не раз буквально умирала у нее на руках? Какой удивительной стойкостью и волей надо было обладать, чтобы победить эту смертельную болезнь, сохранить способность любить жизнь и радоваться ей?

А впереди было самое страшное испытание — болезнь и смерть нашего сына Саши. Его жизнь была легкой и безоблачной. Сколько радости и счастья внес он в нашу семью за 17 лет своего пребывания на этой земле! Это случилось в июле 1966 года.

Сашка, Сашка... Крепко мы виноваты перед тобой...

Он был хорошо подготовлен к экзаменам в институт по всем естественным дисциплинам — в первую очередь по физике и математике. В эти годы я организовал в городе физико-математические классы. В них занимались со мной по субботам и воскресеньям наиболее способные ребята. А итог... из 13 человек, окончивших наши кружки, все, кроме одного, поступили в институты. Единственным не поступившим оказался наш Саша... Это был 1966 год. Тогда часто не принимали евреев в высшие учебные заведения. Провал на экзамене, к которому Саша был хорошо подготовлен, и тяжелый грипп провоцировали развитие одной из форм тяжелого психического недуга — гипертермальной шизофрении. Диагноз был поставлен лишь в последние дни Сашиной жизни.

В этой катастрофе активную помощь пытались оказать близкие друзья. Навсегда запомнилась последняя неделя Сашиной жизни — ежедневно Лев Владимирович ранним утром заезжал к нам, чтобы обсудить план действий на ближайшие сутки. Зина не выходила из больницы. Каждый день температура поднималась на один градус, и ничего нельзя было с ней сделать. К концу недели она достигла 42 градусов. Помимо температуры нарастал такой страшный признак, как содержание азота в крови. Все попытки реаниматоров приостановить эти процессы закончились неудачей. В пятницу около 12 часов ночи началась агония. В ночь с 28 на 29 октября Саши не стало. Хоронили его в старом московском крематории 30 октября. Большая фотография Саши закрывает всю нишу. С этой фотографии, сделанной в мае 1966 года, смотрит веселое, открытое мальчишеское лицо.

* * *

Хочется привести выдержку из письма нашей доброй знакомой Марины Францевны Ковалевой.

Вот что она писала, обращаясь к Зинаиде Матвеевне в день ее рождения:

«Милая, дорогая Зинаида Матвеевна! Мы давно не виделись, и я хочу, чтобы Вы знали, какой Вы живете в моей душе и памяти.

Самое первое впечатление — энергичная, оживленная, даже веселая женщина, очень простая и приветливая в общении. Казалось, что Вам живется легко, интересно, уверенно. Что у Вас все сбывается. О всех Ваших несчастьях, и о том, что Вениамин Аронович не видит, я узнала позднее. Вы, Зинаида Матвеевна, с каждым днем удивляли меня все больше: Вениамину Ароновичу очень хотелось, очень нужно было ощущать известную самостоятельность, и Вы помогали ему в этом, стараясь всячески затушевать свою „опеку", которая, тем не менее, была непрерывной. За обедом вы незаметно подкладываете к его руке кусочек хлеба, ложку и вилку он нащупывает сам, если в тарелке что-то осталось, Вы тихонько, как бы между прочим, скажете: „Воня, на юге..." — и он доест то, что на ближнем к нему крае. За чаем Вы только спросите: „Тебе печенье или сухарики?" И он на тарелочке слева от чашки найдет то, что ему хочется. Потом скажете: „Не забудь лекарство". И он уже знает, что справа возле блюдца лежат таблетки. И все это под общий разговор за столом.

Предполагаю еще миллион „сигналов", изобретенных Вами, которые доступны только Вениамину Ароновичу, благодаря необыкновенной чуткости, царящей между вами. Не перечислить всех мелочей, ежеминутных забот, о которых Вам приходится помнить, чтобы все шло ровно и спокойно в жизни Вениамина Ароновича. Чтобы привычные для него вещи лежали и стояли на привычных местах, чтобы все было вовремя — и сон, и еда, и ранний выезд на работу... У Вениамина Ароновича нет проблем с транспортом — Вы прекрасно водите машину.

Обычному человеку едва ли справиться со всем, что обступает Вас, а Вы и Вениамин Аронович столько внимания уделяете еще и другим, всяким добрым, без кавычек, делам для людей, и делаете это увлеченно, изобретательно, истинно творчески.

Я бы охотно назвала Вашу жизнь героической, да Вы ведь не согласитесь с этим».

В заключение скажу, что уже много лет я лишь *помню*, как выглядит Зина. Я не *вижу*, как она меняется. И у меня огромное преимущество перед всеми остальными — она для меня остается вечно молодой.

ГЛАЗА

Глаза. Что-то с ними было неладно. При сумеречном освещении, полутемноте я видел много хуже, чем окружающие. Началось это с раннего детства. Я с трудом различал созвездия на вечернем небе. Плохо ориентировался в лесу. Врач осмотрел глаза и заключил: «Куриная слепота. Пейте рыбий жир, очень хорошо увеличить в пище содержание витамина „А"».

Я выполнял все назначения, но зрение не становилось лучше. Удар, когда я внезапно понял, что могу потерять зрение, был неожиданным. Нам с Зиной достали две путевки в дом отдыха в небольшой городок Калязин, вблизи Углича. В помещении бывшего барака был оборудован зал с кинопередвижкой. Трудно сейчас определить, по какой причине, но яркость изображения на киноэкране была много меньше обычной. Тем не менее все видели изображение, тогда как я не только ничего не видел, но и не мог определить, с какой стороны экран. Именно в этот вечер в Калязине впервые подумал: «А ведь так, пожалуй, и ослепнуть можно». В тот же вечер после киносеанса сказал Зине: «Подумай хорошенько, прежде чем связать свою жизнь с моей. Водить слепого — не такое уж веселое занятие». Она обняла меня: «Что бы с тобой ни случилось, я тебя никогда не брошу...» Этот зарок она свято выполняет всю жизнь, оставаясь верным другом и повседневным помощником.

Постепенно дефект зрения становился все более заметным. Однажды, приобретя газету перед входом в метро, я попытался читать ее. «Почему ты держишь газету вверх ногами?» — с тревогой спросил Лев Владимирович. «Понимаешь, при этом сравнительно слабом освещении я почти не вижу текста. Что-то худое происходит с глазами».

Весной я с Зиной пошел на прием к известному московскому профессору М. Авербаху. В 1922—1923 годах он лечил Ленина. В ближайшие месяцы Зина ждала ребенка. Авербах, которому в то время было за семьдесят, внимательно осмотрел мои глаза и произнес свой приговор:

— Редкая форма пигментного ретинита без видимого пигмента на сетчатке. Болезнь серьезная, лечить ее мы не умеем. Потеря зрения будет прогрессировать.— И, посмотрев на Зину, сказал: — А вот детей не заводите. Пигментный ретинит считается наследуемой болезнью.

Перед войной, в 1940 году, Филатов в Одессе подтвердил диагноз Авербаха и предложил попробовать лечение биостимуляторами. Эта методика была разработана в его клинике. После двухмесячного лечения острота зрения немного увеличилась, но поле зрения оставалось узким. В те годы я еще свободно читал, писал.

Большую моральную помощь в это трудное время оказал Евгений Федорович Бахметев. Он говорил:

— Утрата зрения — большое горе, но мне кажется, вы сумеете преодолеть его и будете работать. У вас разовьется пространственное воображение, вы сможете лучше сосредоточиваться. Гомер был слепой. Эйлер был слепой. Слепота не помешала им стать великими.

Неотвратимое угасание зрения все чаще заставляло задумываться о том, как жить дальше. Было две возможности. Первая — превратиться в инвалида, все помыслы которого направлены на лечение глаз и ожидание открытия в медицине чуда; вторая — так приспособиться к потере зрения, чтобы максимально сохранить работоспособность.

Мы выбрали второй путь. Рядом была Зина. Она стала моими глазами.

У пигментного ретинита есть одна «положительная» особенность: болезнь прогрессирует медленно, зрение угасает на протяжении десятилетий. Природа здесь дает возможность человеку постепенно приспособиться к утрате зрения. Освобождалось время от телевизора, от посещений кинотеатров, сокращались зрительные впечатления и в то же время появлялась так необходимая для научной работы возможность внутренней сосредоточенности, развивалось пространственное воображение, тренировалась память. У ослепшего человека необычайно интенсивно работает «внутреннее зрение», обостряются слух и осязание. Он может вполне прилично ориентироваться в пространстве. Недостаток реальной визуальной информации восполняют память и воображение — ошибки можно свести к минимуму. Есть свои небольшие хитрости, которые вырабатываются постепенно, чтобы нужда в помощи возникала только в крайних случаях. Изобретая, придумывая, я «вижу» схемы и конструкции в мельчайших деталях. Рассказать зрячим конструкторам о придуманном приборе или схеме не представляет труда. Долгое время в этом помогало составление эскизов мелом на черной бумаге. Но вскоре и эта возможность ушла. И все же люди, проработавшие со мной не одно десятилетие, утверждают, что при обсуждении новых идей и конструкций они практически не ощущают моей слепоты.

«О том, что Вениамин Аронович не видит, я узнала лишь на одном из наших вечеров, когда он вышел из зала сказать вступительное слово,— писала Марина Францевна Ковалева.— А Вы, Зинаида Матвеевна, оставаясь на месте и напряженно следя за ним, тихонько проговорили вслед: „Левее", и он чуть изменил направление. Уже потом мне сказали, что Вениамин Аронович точно знает количество шагов до лесенки на сцену и число ступенек, чтобы все проделать самому.

Позже он сам продемонстрировал мне, как узнает время, вынимая карманные часы без стекла и нащупывая пальцами положение стрелок. Скоро меня перестало поражать, как он свободно набирает номер телефона, печатает на машинке, рассказывает, как „смотрел" последний спектакль и что понравилось, а что нет».

После войны я еще мог медленно читать типографский текст при ярком освещении. До 1953 года сам писал статьи и отчеты, хотя прочесть их уже не мог. Надолго сохранились навыки работы руками со стеклом. До 1952 года сам производил опыты с зарядами взрывчатых веществ. Но с 1954 года уже нуждался в сопровождении, особенно в вечерние часы. Приобрел пишущую машинку и за два-три года освоил машинопись слепым методом. Печатал со скоростью квалифицированной машинистки, печатающей слепым способом — не глядя на клавиатуру.

На работе возникли трудности с наводкой рентгеноструктурных камер. В этих случаях необходимо видеть на флюоресцирующем экране слабое пятнышко диаметром 1 мм. Обычно я показывал студентам интерференции-отражения от монокристаллов. Разумеется, знал, что такие интерференции располагаются на вытянутых эллипсах, но видел их только на фотографиях. «Светосилы» моих глаз было явно недостаточно, чтобы видеть те же светящиеся пятнышки на флюоресцирующем экране.

Во время занятий со студентами группу разбивали на две подгруппы. В этот день все было как обычно: после объяснения сущности этой методики включили рентгеновскую установку, выключив свет. Спустя несколько минут я сказал: «Вот сейчас, когда ваши глаза привыкли к темноте, вы видите зеленоватые точки различной интенсивности, располагающиеся по эллиптическим траекториям». Все увидели!

Спустя час тот же опыт был повторен со второй подгруппой. Но здесь, как я ни старался, никто из студентов ничего не увидел. Включили свет, открыли камеру. Оказалось, Александр Иванович Авдеенко забыл поставить монокристалл в пучок рентгеновских лучей. Что же могла видеть первая подгруппа? Конечно, ничего. Просто я настолько проникновенно рассказывал, что все «что-то» видели.

Еще несколько эпизодов, связанных с утратой зрения. Обычно в весеннее и летнее время я добирался на работу и с работы на велосипеде. Часто задерживался в лаборатории до темноты, и тогда приходилось пользоваться трамваем. Но бывали случаи, когда я не-

точно оценивал приближение сумерек. Велосипедная дорога спускалась от Покровских ворот вниз до Солянки, и однажды в темноте я сбил с ног пожилую женщину. Соскочив с велосипеда, помог ей подняться, приговаривая: «Извините... Простите... Я плохо вижу». Женщина, придя в себя, в сердцах сказала: «Если слепой, так зачем на велосипеде ездишь?» — «Больше не буду»,— искренне обещал я.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Воскресенье 22 июня 1941 года. Этот первый день Великой войны запомнился всем.

Обычно по воскресеньям я работал в читальне Государственной научной библиотеки (ГНБ) Наркомугля. Накануне заказал книги и журналы из хранилища, надо было их просмотреть и сделать выписки. В субботу вечером Зина уехала в Ленинград на преддипломную практику. Она оканчивала Московский архитектурный институт.

За несколько дней до этого воскресенья отвезли четырехлетнюю Ирочку на подмосковную дачу. С утра по радио звучала какая-то музыка. Внезапно раздались позывные и прозвучал голос Левитана: «Внимание! Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза! Слушайте важное правительственное сообщение...»

Было около часа, когда я попал в читальный зал ГНБ. Всегда переполненный студентами, готовившимися к сессии, зал был необычно пустым. В одном углу сидел какой-то седой старичок. Я забрал свои журналы, стал конспектировать статьи. Но работалось плохо. В висках стучало только одно слово — война! война! война! Спустя час сдал все журналы и книги.

Поехал домой. Собрались соседи, родственники. Большинство считало — война будет короткой. У всех на памяти было недавнее выступление Ворошилова: «Врага будем бить на его территории». Был даже такой термин — «ворошиловские килограммы». В одном из своих предвоенных выступлений он приводил соотношение между нашими боеприпасами и боеприпасами других стран. Выходило — мы намного сильнее любой капиталистической страны.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

Александр Иванович Авдеенко и я были освобождены от службы в армии. Первый — из-за легочного кровохарканья, второй — из-за плохого зрения.

В конце второго полугодия 1940 года и в первом полугодии 1941 года рентгеновская лаборатория института имела отношение к военной тематике: мы занимались сверхскоростной рентгенографией. Но в первый месяц войны эта тематика казалась чем-то вроде развлечения и опыты по микросекундной рентгенографии были прекращены. Хотелось найти нечто такое, что по возможности быстро помогло бы фронту. По просьбе главного инженера завода твердых сплавов, освоившего производство вольфрамовых и карбидовольфрамовых сердечников для бронебойных снарядов, занялись некоторыми технологическими вопросами этого производства. А 15 июля последовало указание: всем академическим институтам готовиться к немедленной эвакуации в Казань.

Затемнение в Москве было введено буквально на второй день после объявления войны. Несколько раз на протяжении первого месяца объявлялись воздушные тревоги, но к Москве фашистские самолеты не прорывались. Первая бомбежка была спустя ровно месяц после начала боевых действий — в ночь с 21 на 22 июля.

Налет немецких бомбардировщиков продолжался всю ночь. Около Крымской площади непрерывно стреляла зенитная батарея. Помимо фугасных бомб весом до двух тонн фашисты сбрасывали на город большое количество «зажигалок». Применяли и осветительные снаряды, спускаемые на парашютах. Территориально наиболее близкими оказались разрушения у Театра имени Вахтангова на Арбате. Там погибли известные актеры Куза и Миронов, дежурившие в эту ночь и занимавшиеся сбрасыванием зажигалок с крыши театра. У Никитских ворот было разрушено одно здание и поврежден памятник К. А. Тимирязеву.

Отход академического эшелона был намечен на вечер 22 июля с Казанского вокзала. Около 9 часов вечера поезд отошел от перрона и остановился километрах в тридцати от столицы. В ту ночь гитлеровцы провели второй налет на Москву, но академический поезд был от нее на порядочном расстоянии. Хорошо видели, как самолеты со свастикой попадали в перекрестие прожекторов, как били по ним зенитные батареи. Вскоре состав тронулся в путь и днем 23 июля благополучно прибыл к месту назначения.

КАЗАНЬ

Я вышел из вагона и сразу увидел высокого бородатого человека в белом костюме со Звездой Героя Советского Союза. Узнать его было нетрудно — вице-президент Академии наук, легендарный полярник академик Отто Юльевич Шмидт. Он прибыл в Казань за

сутки до эшелона и руководил встречей академических институтов и распределением сотрудников Академии наук по общежитиям и квартирам. Наша семья и семья А. И. Авдеенко направлялись в общежитие Казанского университета — четырехэтажное здание на окраине Казани, в четырех километрах от Казанского государственного университета. Наша семья получила комнату площадью около 40 квадратных метров на четвертом этаже.

Для лаборатории была выделена большая полутемная комната площадью около 50 квадратных метров во флигеле, расположенном рядом с основным трехэтажным зданием университета. По преданию, в этом флигеле работал знаменитый Лобачевский. Понадобилось около одной недели, чтобы смонтировать основные рентгеновские установки и приступить к работе на новом месте.

Спустя неделю в Казань прибыла жена фронтовика Льва Владимировича Альтшулера Маруся с двухлетним сыном. Она привезла с собой сестру Таню, у которой тоже был маленький ребенок. Марусю приняли на работу в лабораторию. Сестры с двумя детьми были размещены в общежитии на Банковской улице рядом с университетом. В предоставленной им комнате проживало еще несколько семей — «Ноев ковчег».

С первых чисел августа, когда заработали рентгеновские установки, встал вопрос, чем должна заниматься лаборатория, чтобы как можно быстрее помочь нашей победе. В это время выяснилось еще одно обстоятельство. В Казань стали прибывать эвакогоспитали с ранеными. Большинство таких госпиталей не имело рентгеновских установок для просвечивания и рентгенографирования раненых солдат. За десятилетие предвоенных работ в области рентгенотехники в Москве мы с Александром Ивановичем накопили определенный опыт изготовления рентгеновских аппаратов из «подручных» материалов. В Казани этот опыт пришелся кстати. Первые два рентгеновских аппарата соорудили на базе собственных высоковольтных трансформаторов. Потом, когда в следующем эвакогоспитале снова не оказалось рентгеновской установки, «приглядели» высоковольтный трансформатор лаборатории проф. Данкова, стоящий без дела в коридоре основного здания университета. Заручившись согласием О. Ю. Шмидта, поздно вечером вытащили трансформатор на улицу и на грузовике больницы увезли его в эвакогоспиталь. На другой день, обнаружив пропажу трансформатора, Данков учинил скандал. Но Шмидт встал на нашу сторону.

Сколько выдумки и изобретательности пришлось проявить в эти годы эвакуации, чтобы обеспечить нормальную работу рентгеновских установок в казанских госпиталях и больницах. Вначале работали на диагностических рентгеновских трубках. Но вскоре трубки «выдохлись». Тогда решили заменить их высоковольтными кенотронами — выпрямительными лампами. Правда, у кенотронов был большой и размытый фокус. Каверны и полости в легких, злокачественные новообразования на такой технике было трудно выявить. Но осколки снарядов и инородные металлические тела фиксировались отлично.

В нашей рентгенотехнической помощи медицинским учреждениям Казани случались удивительные истории. В одном из эвакогоспиталей перестала работать рентгеновская установка. Приехали и обнаружили: уровень масла в главном высоковольтном трансформаторе оказался много ниже положенного. Разобрали трансформатор — так и есть: пробой высоковольтной обмотки. Перемотали катушку, долили масло, аппарат заработал снова.

Начальник госпиталя, майор медицинской службы, спросил: «Как вы думаете, куда могло деваться это злополучное масло? Ведь корпус трансформатора не течет?»

Через неделю снова вызывают. Нет, аппарат работает нормально. Просто одна из санитарок призналась: она сделала «открытие». Оказалось — трансформаторное масло отлично горит в коптилке. С помощью отрезка резиновой трубки она понемногу отсасывала масло из бака трансформатора. Сначала ничего плохого не происходило. Но когда уровень масла снизился до такой степени, что обмотки трансформатора «вылезли» на воздух, их стало пробивать на корпус.

Помимо медицинской рентгенотехники после приезда в Казань мы ни на минуту не забывали о своей основной специальности — технической рентгенографии. В августе и сентябре из Москвы в Казань были эвакуированы самолетостроительные заводы и завод по производству авиамоторов. В рентгеновской лаборатории последнего нам доводилось бывать перед войной в Москве. Восстановить связь с ее руководством было просто. В это время производство лихорадил брак при выпуске клапанов авиадвигателей. Необходимо было наладить массовый рентгеновский контроль клапанов. К этому времени возникли контакты и с лабораторией космических лучей Физического института Академии наук — ФИАНа. Эта лаборатория находилась в основном здании университета. Сотрудники лаборатории Олег Вавилов, Владимир Векслер, Николай Добротин, Илья Франк хорошо владели техникой работы с ионизационными камерами и другими приборами для наблюдения за ионизирующими излучениями. Мы решили пойти на кооперацию, при которой наша лаборатория разработала источник рентгеновского излучения, а ФИАН взял на себя его регистрацию. Построенный прибор передали моторостроительному заводу, и вскоре был налажен стопроцентный рентгеновский контроль клапанов авиадвигателей, выпускаемых заводом.

Похожий прибор был построен для Ижевского завода. С помощью гамма-лучей мезото-

рия оказалось возможным измерять с высокой степенью точности толщину стенок стволов снайперских винтовок.

Положение на фронтах усложнялось. 8 сентября замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Фашисты рвались к Москве, шли бои за Звенигород.

В таких условиях все наши работы казались чем-то второстепенным. Хотелось большего...

Сейчас трудно восстановить, кто из двух сотрудников лаборатории — Александр Иванович или я — первым предложил: хорошо бы бросать бутылки с горючей смесью не вручную, а силой пороха. Руководство института одобрило нашу инициативу. Так в плане лаборатории возникла тема, не имеющая отношения ни к рентгеновским лучам, ни к гамма-лучам мезотория. Она существовала около девяти месяцев — с октября 1941 года по август 1942 года.

РУЖЕЙНЫЙ БУТЫЛКОМЕТ

Известно, что в первые месяцы войны наша страна не располагала достаточно эффективными средствами борьбы с танковыми армиями Гитлера. Производство противотанковых пушек было недостаточным. Противотанковые ружья не поступали в действующую армию в необходимых количествах. На этих первых и самых трудных этапах войны хорошо зарекомендовали себя бутылки с горючей смесью. Их удавалось забросить на 20—30 м. Горючая смесь, попав на броню танка, воспламенялась, поджигала баки с горючим и весь танк. Наш бутылкомет увеличивал дальность поражения танков до 90—100 метров.

После ряда опытов было разработано и испытано следующее устройство. На ствол нашей заслуженной винтовки Мосина, образца 1891/30 годов, надевалась специальная стальная насадка с двумя каналами. Один из них служил продолжением ствола винтовки, второй расширялся до диаметра 75 мм, и в него, как в мортиру, закладывался стеклянный сосуд с горючей смесью, снабженный устройством для стабилизации полета и запалом. Когда ружейная пуля попадала в предназначенный для нее канал насадки, пороховые газы проходили в мортирку и выталкивали стеклянный сосуд с большой силой. Дальность полета составляла 75—100 метров. Насадка допускала прицельную стрельбу по танкам при навесной траектории полета стеклянного сосуда с горючей смесью.

Работы по ружейному бутылкомету велись в трех институтах Академии наук. В лаборатории Натальи Алексеевны Бах — дочери известного химика академика А. Н. Баха — разрабатывалась горючая смесь со специальными загустителями, чтобы исключить ее разбрызгивание при ударе о броню танка.

Предварительные опыты, проведенные в декабре 1941 года с обычными бутылками емкостью 0,5 литра, показали, что прицельность этой системы в сильной степени зависит от геометрических размеров и веса бутылки. Возникла потребность в специальных стеклянных сосудах, имеющих форму мины.

На расстоянии 30 километров от Казани находился стеклозавод «Победа труда». Старый мастер этого завода познакомил меня и Авдеенко с основами стеклодувной технологии производства бутылок. После проектирования и изготовления специальной разъемной формы завод наладил у себя выпуск подобных бутылок с жесткими допусками по размерам и весам. Они обладали хорошей аэродинамической формой.

Теперь возникла задача их доставки в Казань. Пригородные поезда были переполнены, ходили не по расписанию. Хотя эпидемии сыпняка не было, но в городе были зарегистрированы отдельные случаи этой грозной болезни, непременной спутницы почти всех войн. Помогли решить эту задачу две молодые комсомолки — Лидия Васильевна Курносова и Зина. Хорошие спортсменки, они предложили добраться до завода на лыжах и привезти сосуды в рюкзаках. Готовя к походу эту женскую бригаду, я выдал им на двоих 100 граммов спирта и по две луковицы. На заводе их накормили горячим супом и кониной. Женщины прекрасно справились с задачей доставки стеклянных сосудов, затратив на шестидесятикилометровую «лыжную прогулку» двое суток.

В то время женщины составляли основной контингент лаборатории. Помимо Зины в лаборатории работали жена Альтшулера — Маруся и жена Авдеенко — Людмила Степановна. Женщины производили обмеры наших стеклянных снарядов, заправляли их, были активными участницами отстрела на полигонах.

ЛИДА

Лидия Васильевна Курносова с мужем Олегом Вавиловым — сыном известного генетика академика Николая Ивановича Вавилова, репрессированного в 1940 году,— появилась в Казани в последних числах июля 1941 года. Олег был сотрудником лаборатории космических лучей Физического института. Вместе с Ильей Михайловичем

Франком (ныне академиком) он был соавтором и основным исполнителем ионизационных камер, с помощью которых измерялась разностенность стволов снайперских винтовок на военных заводах, эвакуированных в Казань.

Лидия Васильевна, только что окончившая физический факультет Московского университета, у нас в институте стала исследовать прочность узлов крупнокалиберных пулеметов и автоматического самолетного вооружения. На исследуемые детали наклеивались проволочные датчики. Под действием растягивающих или сжимающих напряжений датчики деформировались и изменяли электрическое сопротивление. Эти изменения сопротивления являлись мерой усилий, которые действовали на тензодатчики. Лидия Васильевна прекрасно справлялась с такой, казалось, совсем не женской работой. Стрельбы производились в специальном тире. Изучались характеристики десятков деталей. Результаты немедленно сообщались конструкторам оружия, и они принимали меры к упрочению деталей и узлов. Эта красивая, черноволосая, черноглазая молодая женщина работала не хуже мужчин, входивших в лабораторию.

Наши семьи подружились. Проводили вместе торжественные даты, отмечали праздники. Очень привлекали эти молодые, талантливые, веселые люди.

Осенью 1943 года мы узнали, что отец Олега, академик Николай Иванович Вавилов, арестованный в результате кампании, развернутой Т. Д. Лысенко, находится в саратовской тюрьме. Олег хотел встретиться с отцом, но пока возились с оформлением пропуска и разрешением на свидание — опоздали. Когда Олег приехал в саратовское НКВД, ему сообщили, что отец умер от дистрофии. Где его могила — неизвестно. Недавно промелькнуло сообщение очевидца, случайно наблюдавшего захоронение Николая Ивановича Вавилова в общей могиле саратовского кладбища.

Лида и Олег возвратились в столицу из Казани на полгода раньше, чем наша группа. Олег завершил свою диссертацию по исследованию космических лучей. В январе 1946 года состоялась благополучная ее защита. Мы с Зиной были на вечере, когда отмечалось это событие. А потом...

Потом, как нередко случается в жизни, произошло страшное. Вскоре после защиты Олег выехал в Домбайскую долину, где начинался хорошо известный всем физикам, изучавшим космические лучи, ледник Алибек. Олег был хорошим альпинистом. Уехал и... не вернулся. Ситуация оказалась близкой к описанной Владимиром Высоцким. Началась метель, перешедшая в пургу. Олег упал со скалы, а друг, вместо того чтобы прийти на помощь, возвратился в альплагерь с вестью о том, что Олег погиб.

Это был удар грома среди ясного неба. Лида решила немедленно выехать в Домбай, чтобы самой организовать поиски Олега. Первая экспедиция в конце февраля 1946 года окончилась неудачно — слишком много снега было в горах. Вторая экспедиция, организованная летом того же года, была укомплектована опытными альпинистами, техникой, позволяющей обнаруживать небольшие металлические предметы. На этот раз Лидия Васильевна сама нашла Олега. От места падения он отполз на несколько десятков метров. Значит, тогда еще был жив... Олега похоронили в Домбайской долине. Там есть небольшое кладбище альпинистов. На каменной плите по просьбе Лиды сделана надпись:

«Здесь погиб в феврале 1946 года Олег Вавилов,
талантливый ученый, самый дорогой и близкий мне человек.
Лидия Курносова-Вавилова».

Побывав в тех местах, мы фотографировали этот памятник. И всякий раз, когда я перечитывал эти скорбные слова, вспоминалась другая надпись, сделанная на горе Давида в Тбилиси другой молодой красивой черноволосой женщиной — Ниной Чавчавадзе на могиле ее мужа Александра Сергеевича Грибоедова:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской.
Но для чего пережила тебя любовь моя?
Незабвенному его Нина».

Более ста лет разделяют эти надписи, и все же что-то неуловимое объединяет их...

Неожиданная гибель Олега изменила все планы Лидии Васильевны. Она перешла в отдел космических лучей Физического института Академии наук, считая себя обязанной продолжать дело Олега. Работала упорно, самозабвенно. В 1954 году успешно защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата физико-математических наук. В октябре 1957 года наша страна впервые в мире запустила вокруг Земли спутник. В последующих запусках на борту спутников устанавливалась аппаратура для регистрации космических лучей, разработанная группой, которой руководила Лидия Васильевна. В 1986 году она защитила докторскую диссертацию на близкую тему: «Исследование потоков заряженных частиц вблизи Земли с помощью искусственных спутников».

Продолжение следует



Наталья Иванова

ВЫБОР ЗА КАЖДЫМ

Об альманахе «Апрель» и не только о нем

Первое. Эту зеленую книжку альманаха «Апрель» я купила в ЦДЛ, 18 января, за полчаса до того, как в большом зале начался шабаш «Памяти». Так что она, книжка эта, тоже свидетель событий. Свидетель того, как угрозой насилия пытались запугать людей, пытались растоптать и раздавить стремление человека думать по-своему.

В прокуратуре, куда меня затем вызвали, мне показали фотографии, сделанные тогда в зале. Писатели на фотографиях прокуратурой были обозначены строго: такой-то, фамилия и инициалы. Члены «Памяти» были обозначены совсем в другой стилистике: «Федоров Саша» или, например, «Костя Павлов» (называю, естественно, вымышленные имена). Поразила меня эта ласковость, проявленная к насильникам. А не к жертвам.

Второе. Сегодня, когда я пишу эти строки, 9 апреля. Годовщина тбилисской трагедии. В четыре часа утра на площади, где год тому назад отравляющими газами и саперными лопатками было убито 19 человек, собралось сто тысяч, протестующих против насилия. Мирную демонстрацию 1989 года разгоняли бронетранспортерами. Мирную демонстрацию памяти погибших на площади в 1990 году тронуть не посмели.

Но я вовсе не хочу сказать, что насилие исчезает из нашей жизни. Напротив: агрессивность пока нарастает, особенно — агрессивность, разжигаемая против мифических «врагов нации». Миф о «малом народе», о «жидомасонском» заговоре упорно насаждается — в том числе и теми, кто числит себя «интеллигентами». Среди них есть и член-корреспондент АН СССР (странно, что Академия наук никак не выразила своего отношения к этому), и члены секретариата СП РСФСР. С нескрываемой агрессивностью ведут себя они по отношению к «Апрелю», движению писателей, чьей самой страшной «виной» является стремление к духовной независимости.

Альманах «Апрель» — первый выпуск. Перечислю имена, вынесенные на зеленую обложку: И. Бабель, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ельцин, А. Злобин, Ф. Искандер, Е. Попов, А. Приставкин, С. Рассадин, А. Сахаров, А. Солженицын, А. Стреляный. Кроме того, в альманахе помещены стихи Т. Бек и О. Хлебникова, Е. Аксельрод и В. Корнилова, О. Николаевой и Е. Рейна; очерк И. Дуаля, проза Ю. Мориц и молодого А. Терехова.

Разные поколения. К примеру, рядом с двадцатидвухлетним Тереховым—прозаики 20-х — 30-х годов. Или — рядом с беседой Б. Ельцина строго документальная информация эстонца Р. Вейдеманна, главного редактора «Радуги».

Разные убеждения. Христианская поэма О. Николаевой «Августин» лежит совсем в иных духовных координатах, нежели «Современные сказки» А. Злобина, иронически-гротескные.

Но, читая альманах страницу за страницей, обнаруживаешь главное, что объединяет все эти произведения поверх барьеров возраста или идеологии, как, впрочем, и само движение «Апрель»,— неприятие насилия, отвращение к насилию. «В пятидесятые—шестидесятые годы,— говорится в «Обращении» учредителей «Апреля» ко всем деятелям культуры и науки,— мы упустили шанс восстановления демократических норм жизни. В двадцатые—тридцатые годы отказались от нравственных абсолютов, подменили общечеловеческие ценности классовыми и по сути перестали быть интеллигенцией». И дальше идут слова, на которые я обращаю особое внимание читателя: «На нас — историческая вина».

В отличие от тех, кто готов винить кого угодно в наших бедах — империалистов, капиталистов, евреев, литовцев, немцев,— настоящая интеллигенция должна признать эту вину.

Всегда вини себя, а време не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми.
Ты лучших ждешь времев, но истина есть дочь
В твое родившаяся время,—

так написал С. Липкин в поэме «Вячеславу. Жизнь переделкинская» («Новый мир», 1989, № 8).

Я—ты—мы виноваты. Не в этой ли цепи и размышления А. И. Солженицына в его «Крохотных рассказах», много лет ходивших по стране в самиздате?

«А больше всего мы стали бояться мертвых и смерти» («Мы-то не умрем»).

«В эти камни, в колоколенки эти наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание жизни.

Ковыряй, Витька, долбай, не жалей! Кино будет в шесть, танцы в восемь...» («Путешествуя вдоль Оки»).

Но что можно сделать словом в ситуации усугубления политического, экономического, экологического, культурного — и какого еще? — кризиса? Способна ли что-нибудь совершить книга? Да, способна. И она пытается совершить главное: встать против волны насилия.

...Рассказы И. Бабеля, помещенные в сборнике, практически не были известны ранее читателю. В «Колывушке», написанной в апреле 1930 года, перед нами — *деревенский* И. Бабель. Этот рассказ о раскулачивании, о коллективизации, об уничтожении украинского крестьянства — одно из первых свидетельств протеста писателя против колеса тоталитарной махины. Иван Колывушка после «визита» на его двор уполномоченного РИКа и только что избранного председателя колхоза, объявляющих ему о высылке, не выдерживает мысли о разрушении уклада жизни всей его семьи, в отчаянии убивает свою жеребую лошадь (эта сцена по ассоциации напомнила мне о судьбе Памфила Палых и его семьи из «Доктора Живаго»). «Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину и поворачивая топор в тонком плетении колес и барабана...

...— Я человек,— сказал вдруг Иван окружившим его,— я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?»

Насильственными методами этого самого человека, не различая, не слыша его боли, пытались втащить в «светлое будущее». Исторически цепь насилия выкладывалась звено за звеном; и в этой цепи уже в наше время одно из самых болезненных и позорных звеньев — подавление Пражской весны. О потрясении этим очередным актом насилия свидетельствует стихотворение Е. Евтушенко «Танки идут по Праге», помеченное 23 августа 1968 года. А 15 февраля 1989 года, через двадцать почти лет, другой поэт, В. Корнилов, в начале 70-х исключенный из Союза писателей за «подписантство» и «диссидентство», за участие в правозащитном движении «Эмнисти интернешнл», напишет стихотворение «Уход» — об уходе Советской Армии из Афганистана:

Гром победы, раздавайся!
Не оправдывайся, росс,
А с позором расставайся,
Что давно к тебе прирос.

Может, ретирада эта,
Хоть обида в ней и боль,
Первая твоя победа
Над свирепою судьбой.

В. Корнилов доказал правоту строк Б. Пастернака: «к свободе и бессмертию своею жертвой путь прочертишь». Почти на два десятилетия он был лишен своего читателя. В сборнике «Апрель» помещен коллаж из цитат Ф. Ф. Кузнецова, выполненный Сарновым,— коллаж, подробно рисующий противоположный корниловскому тип литературного и человеческого поведения. (Правда, задасться вопросом, можно ли употреблять в данном случае эти эпитеты или лучше к ним прибавить отрицательные приставки.) «Нескольким штрихам к портрету принципиального человека» в качестве эпиграфа предпосланы слова из шварцевского «Дракона»: «— Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником...»

На тех, кто привычно оправдывает свой конформизм (или, более того: участие в идеологических погромах) велениями времени, ознакомление с «Апрелем» может подействовать отрезвляюще (если вообще на них хоть что-то может подействовать). Вот, скажем, письма сталинистов, без комментариев помещенные А. Приставкиным в альманахе. Среди них есть и люди, проливавшие кровь на войне, есть и ровесники самого Приставкина, есть и помоложе. Их письма дышат ненавистью и злобой и к автору, да и вообще к нашим дням, к гласности, к демократизации. Ненавистью к народам, репрессированным при Сталине.

Иванова Наталья Борисовна — кандидат филологических наук, литературный критик. Автор книг «Проза Юрия Трифонова» (1984), «Точка зрения» (1988), «Освобождение от страха» (1989). Печаталась в «Дружбе народов», «Новом мире», «Знамени», «Юности», «Огоньке» и др. Член СП. Живет в Москве.

«...Великий русский народ, как главный среди равных (неплохая формулировка: вспомним оруэлловское «а некоторые равнее».— *Н. И.*), при решительном руководстве и благоприятных условиях (речь идет о 30-х—40-х годах.— *Н. И.*) взял под полный контроль важные в экономическом и стратегическом отношении местности, очистив от таких нежелательных для него элементов, как корейцы, немцы, финны, татары, пруссаки, турки, болгары, греки, народы Кавказа... Они должны проживать в местах, определенных для них органами внутренних дел... Больших успехов мы добились в борьбе с евреями» (М. И. Кравчук). Ненависть к целым народам, имперское мышление соединяются и с ненавистью к личности, к ее правам.

Но ведь из того же поколения — тех, кто ныне пенсионеры, в том числе и участники войны,— и А. Солженицын, и А. Сахаров. Несмотря на все их расхождения. Потому что их единство заключено в главном — в стремлении к освобождению народа, народов, человека. Пути к этому освобождению «по Сахарову» и «по Солженицыну» отличаются, но и тот, и другой ведут к одной цели. «Социальная и национальная справедливость. Защита прав личности... Открытость общества! Свобода убеждений» — гласит пункт второй «Предвыборной платформы» А. Д. Сахарова.

Каждый в жизни мог выбрать — следовать ли идеям, близким Сахарову или Солженицыну, или идеям, близким М. И. Кравчуку. Одно время рождало разных людей и продолжает их рождать, как показали те же события в Тбилиси и Фергане, Сумгаите и Баку. Выбор может быть только между свободой и несвободой. При этом свобода — это всегда свобода для другого, а отнюдь не для себя, о чем не так давно напомнил Ф. Искандер в повести «Свет одинокой юности» («Знамя», 1990, № 6). «Если бы свобода заключалась в полноте владения свободой, то тиран был бы самым свободным человеком на Земле». Свобода русских невозможна без свободы литовцев, свобода грузин — без свободы абхазцев, свобода азербайджанцев — без свободы армян. В альманахе «Апрель» нет специального раздела о межнациональных отношениях и конфликтах, раздирающих ныне страну, но здесь помещены лаконичные документы Союза писателей Эстонии, отстаивающие свободу и независимость писателя. Эти документы невольно сравниваешь с потоком агрессивных заявлений Союза писателей РСФСР и приходишь к заключению о поразительной внутренней несвободе тех, кто эти документы составляет — и подписывает. А ведь среди этих новых «подписантов», требующих срочного принятия административных санкций против «инакомыслящих», обнаруживаешь не только неосталинистов типа Ан. Иванова и Ф. Чуева, но и В. Распутина с В. Крупиным. Вот что грустно. Приходишь к выводу о том, что не только писателей преследовали в сталинско-хрущевско-брежневские времена (мол, партаппарат их заставлял и натравливал),— нет, сами писатели проявляют поразительную готовность участвовать в разгоне, разгроме, насилии — над своими же коллегами, тоже писателями. Вот что печально. Да, новый главный редактор «Нашего современника», размахивающий с трибуны мужским бельем, пусть и очень плохого вкуса, не А. Д. Синявского (отсидевшего свой срок в те времена, на которые приходятся становление и взлет творческой карьеры самого Ст. Куняева) позорит, а самого себя. Но ведь все равно — противно. Противно потому, что делает-то это человек, умеющий писать в рифму, то бишь поэт... Правда, еще в самый разгар застоя этот поэт, выпускавший сборник за сборником, ясно обнаружил свои убеждения, напечатав:

Не будет воли, будет жизнь
В кольце чужих племен,
И потому вождей держись
И не порочь имен.

Итак, уже тогда Ст. Куняев предупреждающе звал «держаться вождей». Но каких?

И невдомек ни ему, ни управляемому им ныне журналу, ни вкупе с ним «Молодой гвардии» и их заединщице «Литературной России», что в своей агрессивной «национальной» проповеди они всячески пытаются реанимировать традиции революционизма, священной ненависти — мол, вот победим «врагов нации», и настанет светлая жизнь для всех оставшихся (в том числе и в живых). В телевизионном интервью Куняев, правда, признал наличие «перехлестов» в журнале, но извинил их «оправданной эмоциональностью». Но так называемая «эмоциональность», усиленно разогреваемая и его заместителями, и И. Шафаревичем, базируется на одном: пропаганде силы, насилия. «Помните: вы — сила»,— торжественно заканчивает свое обращение к народу (кстати, не пожелавшему его избрать депутатом) А. Казанцев. А вот укоряет русских за то, что они не действуют подобно Хомейни по отношению к Салману Рушди, И. Шафаревич («Феномен эмиграции».— «Литературная Россия», 1989, № 36). И, наконец, М. Любомудров уже вовсю агитирует: «Будет ли народ РСФСР вести национально-освободительную борьбу за равные с другими республиками права?» («Молодая гвардия», 1990, № 2). «...Для России наступает час испытаний... Все силы мирового зла — и внутри, и вне страны — брошены против нее...» И даже — «Родина-мать зовет вас, россияне»! Что это, как не разжигание революционализма, намеренное подогревание тех сил в народе, о которых И. Бунин писал в «Окаянных днях»: «Есть два типа

в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, „шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: „из нас, как из древа,— и дубина, и икона",— в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев». Но разве авторитет для М. Любомудрова Иван Алексеевич Бунин, если он «выдающимися мыслителями» числит Т. Глушкову да В. Бушина, одной из последних акций которого была пропитанная ненавистью статья об А. Д. Сахарове, а «Военно-исторический журнал» опубликовал ее аж в двух номерах (1989, № 11 — 12), одного не хватило; и во время похорон, когда гробу Сахарова пришли поклониться и попросить прощения сотни тысяч людей, со страниц упомянутого журнала шел поток оскорблений...

Вероятнее всего, прав Владимир Максимов, сказавший из своего парижского теперь уже не слишком далека, что не надо унижаться до полемики с выступлениями «Памяти»,— добавлю от себя, и с другими выступлениями сходного уровня и толка («Книжное обозрение», 1990, № 4). Но ведь могут и соблазнить «малых сих» — журнал специально предназначен для армии; вот и читает его, предположим, девятнадцатилетний парнишка из деревни где-нибудь за восемьсот верст от Красноярска,— что он поймет? Что Сахаров — враг?

Да, хочется вернуться к литературе как литературе. Верно, хотя и несколько угловато (впрочем, это магнитофонная запись), заметил В. Максимов в той же беседе — «делать факты политической жизни явлениями литературы — это не поэзия». И я ни в коем случае не буду утверждать, что стихотворение «Уход» В. Корнилова в «Апреле» — поэзия (я уж не говорю о двух стихотворениях Евтушенко или о цикле Вознесенского). Нет, это такой же документ — политический, исторический, личностный. Тем он мне и интересен: именно политической оценкой событий. И ведь вот что любопытно: слова, которыми заканчивается стихотворение «Танки идут по Праге» («Пусть надо мной — без рыданий просто напишут, по правде: „Русский писатель. Раздавлен русскими танками в Праге"»), вовсе не помешали дальнейшим успехам Евтушенко, вплоть до Государственной премии СССР, от которой раздавленный писатель почему-то не отказался. В отличие от Евтушенко, у Корнилова, скажем, слово и поступок (более удачное, менее удачное поэтически) всегда сплавлены воедино.

В жанре сатиры, «современной сказки», политического памфлета выступает в «Апреле» А. Злобин — и здесь для симбиоза литературы и политики жанр избран очень точно. Как и интонация — того Главдира, который «открывает» нам и свою психологию, и трагифарсовый путь, пройденный за несколько десятилетий. Главдир вещает перед писателем по имени Николай Васильевич — Злобин отсылает читателя к литературной традиции. Правда, ближе здесь бы был Михаил Евграфович, но и для Николая Васильевича простор открывается прямо-таки неописуемый.

Существует, однако, и точка зрения, что о пережитой (да еще и не вполне законченной) нами трагедии грешно рассказывать смеясь,— М. Герман, например, пишет: «Увы, слишком это прошлое трагично. Да и не стало оно пока вполне прошлым. С великим злодейством, с исторической трагедией может вступить в борение лишь высокое и строгое искусство» (М. Герман. Рычаг Архимеда.— «Правда», 1990, 9 апреля). Но куда же в таком случае прикажете отнести искандеровские «Пиры Валтасара»? Или — всю «современную» часть «Мастера и Маргариты», «Собачье сердце»? А рассказы Зощенко? Смеховое начало в прозе А. Платонова, требующее отдельного и еще не состоявшегося разговора? «Строгое» и «высокое» ли это искусство? Вынесем ли за скобки искусства, противостоящего тоталитаризму, и всю неофициальную смеховую культуру, переворачивающую «верх» и «низ»,— от Высоцкого, Алешковского, Галича до анекдотов, за которые недаром расплачивались годами заключения?

Смех всегда был враждебен официозу, призывавшему искусство к «высоким» и «строгим» задачам. Сегодня эта смеховая катакомбная культура обнаружила себя, вышла на поверхность. Я не хочу утверждать, что зубоскальство, о котором справедливо-гневно пишет М. Герман, есть альтернатива официозу,— но, протестуя против оного, не стоит все-таки делать глобальных обобщений. И сказка Злобина «Через горы и долины», перелагающая нашу историю в сатирическом ключе, обнажает прежде всего полную абсурдность «Всепута» и бессмысленность затраты колоссальной энергии людей, строящих железнодорожный путь к сияющей вершине, доступной только отдельным руководителям, высаживающимся на нее с вертолета... Читая «Через горы и долины», я вспоминала тендряковский документальный, реалистичнейший «Блаженный остров коммунизма»; писатели с разных «жанровых» точек зрения описали, в общем-то, одно и то же: встречу Власти с Писателем, встречу режима и интеллигенции. Эта «встреча», а вернее — откровенная покупка, и у Тендрякова, и у Злобина происходит за столом с икрой да севрюжатиной, коньячком да особой — гендировской. «Сложная у нас история, вот и надо прояснить ее героизмом,— дает писателю установку Бровач.— Переписать историю с учетом современного момента... Нам мусор в истории не нужен. В архивах? А в архивах-то он

зачем, мусор-то? Архив особой чистоты требует, там у нас специальные пылесосы действуют». Злобин виртуозно вскрывает то, что можно определить как *логику алогизма* в откровениях Бровача. Например: «Идея у нас единственная. В том ее и сила». Или (написано в 1976 году): «Будет перестройка? А кто станет перестраивать? Кто в это кресло сядет? — Так, так. А кто в это кресло сядет, тот и станет мной. Уж такое это кресло».

Вторая сказка — «Над вечным покоем» — от лица заведующего государственным кладбищем особого значения («Состою на самой гуманной должности. Руковожу завершающим процессом. Наша продукция окончательная и обжалованию не подлежит») написана в 1981-м, в год похорон Брежнева. «Гробовой», черный юмор Злобина буквально пропитан злобой дня: главный, «государственный», гроб, за которым скрываются коррупция, разврат, воровство, тянет за собой многие тысячи свинцовых гробов афганской кампании. К тому же «на каждом валютном гробе я могу заработать сто знаков, это же на два миллиона тянет».

Ужас, макабр, кошмар! Но именно «гробовых дел мастера» стали у нас государственными фигурами...

В выступлении на открытии учредительного собрания комитета «Апрель» А. Приставкин процитировал слова из Нобелевской лекции А. Солженицына: «Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это не просто нарушение свободы печати, это замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит себя, нация лишается духовного единства... Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни самим себе, ни потомкам...» Публикации последних лет доказывают, что «немота» не возобладала, но тексты, свидетельствующие о противостоянии насилию, доходят до нас только сейчас.

И не в этом только — проблема. Проблема и в том, что на сопротивление и противостояние насилию уходило очень много полезной энергии, энергии, которая могла бы преобразоваться во что-то совсем иное — созидательное. Или вообще энергия эта подавлялась писателем в замысле, в зародыше. И уходила в песок, втуне затрачивалась огромная духовная сила. Ведь «...подавление энергии требует бесконечно большего усилия, чем ее свободное проявление — для которого вообще не нужно усилий... Что трудней — сдержать лошадь или пустить ее вскачь? И — поскольку лошадь, которую мы сдерживаем,— мы сами — что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы?» (М. Цветаева. Письмо к амазонке.— «Звезда», 1990, № 2, с. 183—184). Цветаева здесь говорит о любви, но для творчества и любви законы — едины. Свободное творчество не может быть постоянно «привязанным» к насилию, хотя бы и в качестве противостояния. Это иссушает его энергию, истощает его силы, ограничивает возможности, «тенденционизирует» его. То есть в конечном счете лишает той самой свободы, ради которой все и начиналось. Об этом парадоксе, связывающем насилие и свободу, я думала, читая «Сказки» Злобина. Да, смешно, да, виртуозно — но видишь, как сам автор «увязает» в том, что для него отвратительно.

Какой-то есть в этом мазохизм — я говорю в данном случае не о Злобине, а обо всех нас. Ибо все мы — жертвы этой несвободы. Даже когда мы виртуозно боремся с нею. Да, Ст. Рассадин был прав, избрав названием своей статьи об А. Галиче его строку — «свободы черная работа». Именно *черная*. Делаем пока черную работу, и для того чтобы этап этот преодолеть, для «отрыва», что ли, понадобится еще много усилий.

Что может помочь — для «отрыва»? По моему разумению, только одно: вливание в нашу кровь настоя культуры, родившейся и сформировавшейся в донасильственную эпоху. Только она, удивительно до сих пор сохраняющая свою жизнеспособность, может помочь нам в нашем стремлении к освобождению, в частности, к тому, чтобы мы заговорили нормальным русским языком.

Если евреи, населяющие Израиль, смогли через века возродить считавшийся мертвым языком иврит, то неужели мы не в состоянии возродить свой язык?

Приведу типичные языковые структуры из Постановления ЦК КПСС «О газете „Правда“», опубликованного сейчас, 7 апреля 1990 года.

«Необходимо, чтобы... оперативно и систематически выступали с разъяснениями по наиболее острым вопросам обновления...»

«...Всемерное повышение интеллектуального перестроечного потенциала партии...»

«Современное осмысление... живое сопряжение... сохранять верность... значит развивать... мировоззрение... обогащать новыми выводами и положениями...»

«Ставить во главу угла... все разнообразие...»

«Удовлетворение... возможно лишь на основе... неуклонного повышения...»

«Взять под контроль...»

«Особого внимания заслуживает комплекс мер...»

«Необходимо направить... на повышение эффективности деятельности...»

Решение — так обязательно «последовательное» и, конечно же, «вопросов, связанных», внедрение — «повсеместное», трибуна — «авторитетная», мысль — «развивающаяся»... «Не только широко пропагандировать», но и «добиваться», «зависит» — так «в огромной мере». «Обеспечение действенности», «тесное взаимодействие», «выдвигаемые жизнью», «на пути к реализации», «реализация этих ответственных задач», «глубокое проникновение в жизнь»... А писать обо всем этом надо, оказывается, «страстно, что называется, с душой»!

Душа, где ты?

Отзывается не душа, отзывается — до сих пор актуально! — язык героев, «бровачей» и «гробокопателей» из злобинских сказок.

Возрождение не может прийти только через адекватное (наконец) изображение той языковой среды, в которой мы действительно существуем. Это, видимо, необходимый, но лишь самый первый шаг.

И здесь-то, мне кажется,— самое уязвимое место альманаха «Апрель», да и всей деятельности Движения. Заботы о возрождении русского языка и всей культуры пока я на его страницах не обнаружила. А ведь вне этой деятельной заботы мы ничего не исправим, так и будем продолжать «бороться». Только «Крохотки» Солженицына возвращают к этой заботе, но ведь сил одного Солженицына, какой бы он ни был великий работник, недостаточно. В «Апреле» нет ни публикаций национального наследия, ни статей, осмысляющих его. Не протянуть ниточки — в спасительное, спасающее культурное богатство. А ведь работа нужна колоссальная — в том числе и по размежеванию слов «русский» и «советский» (кстати, их железное объединение характерно для национал-большевизма). Нельзя отдавать Россию, русскую культуру на откуп «истинным патриотам».

...Альманах «Апрель» несколько запоздал с выходом: у его организаторов были трудности с бумагой, нелегко было найти и типографию, и издательство — ведь это все, так сказать, слуги государственной идеологии, а она продолжает сохранять невозмутимое выражение, несмотря на все атаки «низов».

Что-то в альманахе благодаря такому запозданию и устарело. Скажем, слова А. Стреляного о том, что «открыто спорить с газетой „Правда“ нельзя, поскольку она центральный орган партии», что «ЦК и Политбюро критике не подлежат». Подлежат. «Нельзя обсуждать вопрос о сокращении армии» — уже можно. «Нельзя подробно и правдиво писать о том, что происходит в Польше и Румынии» — пишут! «Нельзя вслух мечтать о независимости массовой печати и многопартийности» — не только мечтаем вслух, но уже и шестая статья отменена, и новые партии созданы, а по ТВ интервью то с кадетами, то с либеральными демократами.

Но ведь радостно на душе оттого, что эти слова Стреляного устарели. Нерадостно другое — то, что конечный вывод его статьи остается в силе: беспокойство о том, что политика постепенности становится самоцелью.

Что было бы с Германией, если бы она не пошла «на сокрушительный разрыв с идеологией, политикой и системой тоталитарной власти»? Что было бы, если бы эта страна стала бы шаг за шагом, медленно, по крупицам, отторгать от себя «не оправдавшие» и «опорочившие себя» элементы авторитарной идеологии?

Исторические аналогии, с одной стороны, говорят, опасны. Но без них размышлять о нашем будущем трудно.

Вот и Стреляный, задав эти вопросы, надеется только на... кризис. «Хотелось бы, чтобы он был благодетельным, творческим».

Прошел год.

Кризис — на дворе.

Мы уже поняли, что благодетельность в нем отсутствует.

Что впереди? Прочтем — задним, увы, числом — во втором выпуске «Апреля». И — проверим его предсказания уже состоявшимся настоящим. Первый же выпуск уже приобрел историческую ценность — он свидетельствует об эйфорическом периоде нашего раскрепощения, о прекрасном порыве, во многом — романтическом.

И. Касавин

СВИДАНИЕ С МНОГООБРАЗИЕМ

Философские идеи в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»

На Земле снова война. Воздух насыщен пулями, как газировка углекислотой. Жизнь молчит. Тысячи орудий поливают огнем оборону противника, самолеты бомбят вражеские аэродромы, дивизии поднимаются в атаку и превращаются в грязь. Короче, Океания воюет с Остазией, или Евразия — с кем-то из них, да это и неважно; власть судьбы заслонила все частности, проявления своеобразия, индивидуальности и множественности жизни, человек поставлен в строй и марширует под барабан в ту воображаемую будущую жизнь, когда в его доме будет играть музыка, но он ее не услышит.

А в это самое время какой-то эстет в своей укрытой от невзгод усадьбе ломает голову над китайскими иероглифами, начертанными тончайшей кисточкой на шелковом свитке, и наконец обнаруживает ключ к литературному лабиринту восточного мудреца. Это фраза: «Оставляю разным (но не всем) будущим временам мой сад расходящихся тропок». Поливариантность времени, которое представляет собой потенциальную структуру жизни, а также универсальный способ ее осознания не властны, однако, над судьбой отдельного человека. Война врывается в Павильон Неомраченного Уединения и рушит тонкую ткань интеллекта, выбирая один из уготованных ему возможных путей. Но рукописи, как известно, даже если и горят, то никогда не сгорают дотла. И многообразию жизни суждено возродиться, сбросить с себя власть судьбы, засверкать новыми гранями и оттенками, впитать в себя плоды индивидуальной культурной лаборатории гения, даже если последний обречен снова кануть в небытие.

«Сад расходящихся тропок» — метафора Борхеса. «Во все века и во всех великих стилях сады были идеальным образом природы, вселенной. Упорядоченная же природа — это прежде всего природа, которая может быть прочтена как Библия, книга, библиотека» [1]. И вместе с тем книга — это шифр человеческой индивидуальности, выявляющий подлинное, не упорядоченное искусственным образом, многообразие природы и жизни.

Людям еще только предстоит включиться в совокупный эволюционный процесс, чтобы стать выразителями его богатейших потенций и головокружительных перспектив. Многообразие человеческой жизни противостоит фатальности судьбы. Этот «сад расходящихся тропок» был создан Василием Гроссманом в романе «Жизнь и судьба».

ТРОПИНКИ ПОД СНЕГОМ

Романтика войны... В чем ее истоки? Не в том ли, что народ, получив в руки оружие, чувствует в себе свободу, силу сбросить с себя не только иго иноземных захватчиков, но и власть «родного» тирана? В истории России сделать первое обычно оказывалось легче, чем осуществить второе. Татары, шведы, французы, немцы повергались в прах, но народная свобода оставалась за семью печатями. Более того, правители, испуганные ростом народного самосознания, заставляли вспомнить о силе своей власти как раз тогда, когда груз ее ослабевал — в период борьбы с иноземцами. Но воспоминание о свободе долго питает народную память и заставляет ветеранов вспоминать годы войны как самое счастливое время своей жизни. Да, жизни, именно жизни, поскольку жизнь осуществляет себя в борьбе против смерти, против внешней определенности — чужой воли или бессмысленного хаоса природных катаклизмов.

Советские люди, победившие немецкий вермахт под Сталинградом, были опьянены в этой битве именно собственной свободой. «Домуправ» Греков стремится не только к победе над фашистскими полчищами, он создает в своем обороняемом доме «шесть дробь один» экспериментальную модель народовластия, противопоставляемую «всеобщей принудиловке», которую охраняют Гетманов, Крымов, Мостовской, Осипов — в общем, те самые худшие из людей. Поэтому Греков упивается боем, который открывает ему новое будущее. Но каким ему быть? Победители испытывают «непередаваемое чувство счастья и пустоты»: обретенное счастье грозит перейти в прежний постоянный страх — король умер, да здравствует король!

«Толпы людей прокладывали новые дороги, они шли, не прижимаясь к развалинам, не петляя.

А сеть боевых тропинок и дорожек покрывалась первым снегом, и на всем миллионе километров этих заснеженных тропинок не возникло ни одного свежего следа.

А на первый снег лег второй, и тропинки под ним замутились, расплылись, не стали видны...»

Есть глубокий смысл в том, что восстановление из руин Сталинграда — памятника великому вождю — для Гроссмана совпадает с забвением свободы и разбуженного многообразия человеческих мыслей и поступков, «сада расходящихся тропок». Коллизия первой мировой войны, описанная Борхесом, удивительным образом отражается в романе Гроссмана и как бы рождается вновь — в ином, огромном масштабе. Так в философии Платона идеи-архетипы, обитающие в «умном месте», в надлунном мире, транслировали свое содержание в земной мир, создавая все многообразие явлений,— не столь кристально совершенное, но зато полное жизни, красок и страстей.

Сегодняшний горизонт восприятия «Жизни и судьбы» трудно исчерпать, но он был бы очевидно неполон, если бы в цепочку «Борхес — Гроссман» не был бы добавлен... Оруэлл. Если эссе великого аргентинца «Сад расходящихся тропок» выступает как бы философским архетипом романа, то «1984» Дж. Оруэлла — это своеобразный критический комментарий к роману и одновременно — мрачный логический прогноз. И все это при том, что три указанные вещи писались практически в одно и то же время.

Однако, если аналогия с «1984» отчасти лежит на поверхности, то при чем тут Борхес? Что это за архетип? Сознавая зыбкость этого сравнения, я тем не менее воспользуюсь им, чтобы рельефнее выразить одну из центральных философских идей романа — *идею многообразия жизни.*

В эссе Борхеса речь идет о парадоксальном романе, сюжет которого представляет собой не *выбор* одной из возможностей развития темы, но *перебор* всех возможных вариантов. Герой романа, выбирая как бы все возможности разом, «творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся». Борхес поясняет, что «Сад расходящихся тропок» — это недооконченный, но и не искаженный образ мира.

Мир, который описывает Борхес устами своего героя, это не столько мир сам по себе, оторванное от человека бытие, сколько мир человеческой свободы. В нем творцом времени выступает не вышестоящая сила, но сама личность. Свобода здесь идентична не осознанной необходимости, но широте творческих потенций, и выбор есть сужение перспективы.

Многообразие личностного времени так же глубоко задевает и Гроссмана. Долгое заключение в тюрьме складывается в сознании узника в «одновременное ощущение краткости и бесконечности». Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, воспринимает каждое событие столь стремительным, что оно не оставляет в сознании ощущения протяженности во времени. «Но сумма этих коротких событий породила ощущение большого времени, вместившего всю радость человеческой жизни». Трансформации времени на войне еще более поразительны: «В бою секунды растягиваются, а часы сплющиваются», «рукопашный бой происходит вне времени», ощущение времени «раздирается в клочья».

Казалось бы, Гроссман рисует человека несвободным, зависимым от ситуации, но здесь видится другое—описание свободы и одновременно адекватности миру: человек сам преображает свое сознание, сам сжимает и растягивает время. Он способен выскочить из него, как пробка из бутылки, но может и взглянуть на него целиком, как на актуально бесконечное множество—так таукитяне обозревают время в романе К. Воннегута «Бойня № 5».

Человеку под силу воскресить время и расцветить его невиданными красками, когда он лишен возможности иначе актуализовать многообразие своей личности. В фашистском концлагере все люди обрекались на внешнюю одинаковость: «судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские называли „рыбий глаз“,— все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных бараков». Сходство это парадоксальным образом рождалось из различия. «Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска — у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно. Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы».

Эта свобода обращения со временем, характеризующая живую человеческую душу, по мысли Гроссмана, есть нечто необобществляемое в человеке, неотчуждаемое от него. Тоталитарную утопию Каценеленбогена, в которой происходит слияние лагеря и жизни, писатель квалифицирует как безумие. Подробнее о процедуре «уничтожения прошлого» рассказал Оруэлл. И он не столько предвидел, сколько одновременно с Гроссманом описал мрачную реальность жизни за железным занавесом. Но Гроссман видел конкретного Ста-

---

[1] Лихачев Д. С. Слово и сад //Finitis duodecimi Lustris. Таллин, 1982, с. 64.

Касавин Илья Теодорович (род. в 1954 г.) — кандидат философских наук, автор книг «Теория познания в плену анархии», 1987; «Рациональность в познании и практике», 1989; «Познание в мире традиций», 1990, повести «Королевские войска» (1990). Живет в Москве.

лина, для которого победа над фашизмом была часом «...его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохранят спокойную немоту. Он знал лучше всех в мире: победителей не судят».

Идея времени как субстанции жизни — высокое художественное обобщение, на которое Гроссман отваживается как бы ненароком. Последовательная картина многообразия действительности складывается им из описаний, напоминающих протоколы лабораторных и полевых наблюдений натуралиста. Текст романа наполовину составлен из безжалостных и отстраненных дескрипций, включающих перечисление и однопорядковых, и совершенно несовместимых событий и характеристик. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежат на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку плохим аппетитом, идет на работу, стуча деревянными подошвами, рядом с тем, кто питался соленой треской, и тоскливым взглядом провожает пустой лагерный бачок. В лагере люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба — роба, похлебка, непосильный труд и деревян-бушлат в заключение.

Устами одного из героев Гроссман поясняет, что он следует Чехову, который ввел в общественное сознание многообразные массы людей и сделал это впервые как демократ, показав, что само это многообразие в литературе стало возможным потому, что люди были поняты прежде всего как личности, а уж потом как исполнители тех или иных социальных ролей.

Всем текстом романа — его архитектоникой, переплетением сюжетных линий, стилистикой и лексикой — автор показывает, что многообразие вещей, событий, отношений и свойств объектов должно быть принято в качестве *фундаментального факта*, принципиальной онтологической предпосылки нашего понимания мира, изначального условия человеческой жизни — общения, деятельности, мышления. Многообразие — не хаос, не произвол, не видимость. Это первичная структурированность мира, образующаяся не «извне и с высоты», но в силу стихийной самодеятельности людей. Многообразие не противостоит необходимости, но есть ее иное, отличное от линейно-детерминистской трактовки, «неклассическое» выражение, идея которого рождена современной наукой.

Гроссман с ужасом обнаруживает сходство принципов фашизма с принципами современной физики: фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями. «Современная физика говорит о бо́льших и ме́ньших вероятиях явлений в тех или иных совокупностях индивидов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности?.. Механика вероятностей и человеческих совокупностей».

Однако под всеми адекватными и неадекватными пониманиями многообразия для Гроссмана сокрыто главное: оно — многообразие — первично, имеет сущностный характер, оно есть единственно возможное «условие свободы». В этом смысле идея свободы как выражения необходимости или как произвола предстает равно односторонней; это, скорее, «плохо понятая необходимость».

Быть может, говоря словами В. Пьецуха, здесь виновата моя плохая начитанность, но роман поражает невиданной ранее в советской литературе силой выписанности этой центральной идеи многообразия мира. Ни у Платонова, ни у Бабеля, ни у Булгакова она не достигает такого масштаба и глубины (в экологическом сознании Вощева она показана умирающей, трагической идеей). С недоумением спрашиваешь себя: есть ли корни этой идеи в российской действительности, в мировоззрении, в литературе периода 20-х—50-х годов? Откуда взялась сия «беспочвенная» мысль? Этот анахронизм или, напротив, потрясающее предвидение, невозможное и запретное вчера, а сегодня дозволенное и желанное?

Я бы сказал, что в романе мы встречаемся прежде всего с *художественной формулировкой и художественным обоснованием плюрализма*. Понятия, идеи, концепции не просто встроены в ткань произведения, они рождаются и проясняются в нем *с помощью читателя*. В этом принципиальное отличие Гроссмана от Льва Толстого и Достоевского или писателей-экзистенциалистов, у которых в задачу создания произведения входила одновременно и разработка некоей философской доктрины. Философский плюрализм (не в лейбницевском, а в современном понимании) — достаточно позднее произведение развитой философской традиции, которое большинству российской интеллигенции XX века оказалось недоступно или чуждо. Лишь когда мы в полной мере осознаем глубину деструкции культуры, обязанной сталинщине, тогда и практическая невозможность плюралистического мышления в годы, на которые падает творческая жизнь Гроссмана, станет нам в полной мере очевидна. Придется признать, что Гроссман был таким же «иррациональным еретиком», как и Галилей, учение которого противоречило почти всему, что в его время составляло корпус научного знания [1]. Нормы социального мышления, как правило, не дорастают

[1] См.: Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981, с. 40, 41, 146.

до ментальности, возникающей в индивидуальной культурной лаборатории и питающейся всем многообразием токов интегрального человеческого опыта. Норма всегда только подтягивается к идеалу, который неудержимо стремится вперед.

Теория множеств — математическое учение о многообразиях — ввела в научный обиход понятие актуальной бесконечности. Тем самым получила математическое выражение древняя идея макро- и микрокосма — Вселенной и Человека, понятых как бесконечное и в то же время замкнутое многообразие свойств и возможностей. Не ограничиваясь описанием потенциально бесконечного многообразия сосуществующих и сменяющих друг друга форм жизни и человеческих характеров, Гроссман идет по пути *художественного постижения актуальной бесконечности*. Принципиальная множественность измерений в оценке личности — необходимое условие его творческого метода.

Словно предвидя очевидную сегодня ограниченность кибернетически-позитивистского подхода к сознанию, Гроссман убежден в невозможности успешного моделирования человеческой индивидуальности: «...площади всей земли не хватит для того, чтобы разместить машину, все увеличивающуюся в размере и весе, по мере того, как она будет воссоздавать особенности разума и души среднего, незаметного человека». Штрум, увиденный глазами жены, принижен и высок, жалок и величествен, неприятен и любим одновременно. Она знает и его политические взгляды, и его любовь к музыке. Однажды она видела его плачущим, видела, как он в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к ней, подняв кулак, готовый ударить. Она видела его жесткую, смелую прямоту, его вдохновение; видела его декламирующим стихи; видела его пьющим слабительное. Самоотчет Штрума о его пути к открытию обнаруживает удивительный полиморфизм творческого сознания, выраженный в свободе оперирования с интеллектуальными и эмоциональными ресурсами: «Новое, казалось, возникло не из опыта, а из головы Штрума. Он с удивительной ясностью понимал это. Новое возникло свободно. Башка породила теорию».

Штрум словно цитирует А. Эйнштейна и Н. Бора, когда они говорят о роли творческой интуиции и свободной игры мысли, о гетерогенности и противоречивости мировоззрения ученого. Герой Гроссмана игнорирует догматику теории отражения и с удивлением обнаруживает слитность абстрактных математических уравнений, самой физической картины мира и подсознательных истоков своей теории, инспирированной опрометчиво смелым политическим спором.

Писатель видит мир сквозь мозаичную структуру человеческой личности. Гротескное, пуантилистское и одновременно синтетическое видение личности снабжает Гроссмана нетрадиционным набором художественно-аналитических средств. Ими не исчерпывается методология его письма, но они привлекают внимание как специфические способы фиксации многообразия, над которыми задумываются философы и ученые. Работа над освобождением расходящихся тропинок жизни от сыпучего снега беспощадной судьбы требовала от писателя не только вдохновения, воображения и сопереживания, но и методического анатомирования, скрупулезного перечисления подробностей и особенностей предмета, холодного скальпеля брехтовской остраненности.

«Я ОПИСЫВАЮ ТО, ЧТО ВСТРЕЧАЮ У ЛЮДЕЙ...»

Рассеянный взгляд деспота скользит по людям и народам, воспринимая их лишь как пассивную и качественно однообразную массу, инертную материю, подлежащую воздействию и оформлению. Мировоззрением тирана правит бог Аристотеля — «форма форм» — источник качественной определенности, центр мира, навязывающий всему существующему форму и масштаб, но сам не подвластный ничьей воле. Смотреть на людей, встав на точку зрения подобной личности, то есть персонифицированной судьбы, для Гроссмана неприемлемо как по нравственным, так и по философско-гносеологическим причинам. Такой подход к человеческой жизни не только противоречит гуманистической устремленности писателя, он еще и просто ложен как превратный способ познания действительности. Австрийский философ Людвиг Витгенштейн (ему принадлежит вынесенная в подзаголовок фраза) призывал к непредвзятому описанию в науке, стремясь освободить мышление от идеологических догм XX века. В то же время Пастернак, описывая поэтическое видение мира как форму познания, восхищался и ужасался соединению глобальности и внимательной расчлененности во взгляде художника — «всесильного бога деталей»:

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя,— подробна.

Гроссман, отвергая и абстрактно-идеологическое возвеличивание «роли народных масс в истории», и реальную практику массового, и тем самым антинародного, террора, создавал и использовал стилистику дескриптивно-феноменологического и эмпирико-типологического художественного прочтения жизни. Это была своеобразная «деидеологизация литературы», когда из

нее исподволь, но последовательно выдавливалась по капле привязанность к «гипнотической силе мировых идей». «Они,— с горечью пишет Гроссман, сознавая еретичность своей позиции,— призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса». Пусть Бог посторонится, устами Мадьярова цитирует писатель Чехова, пусть посторонится так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был,— вот тогда мы и придем к демократии, «пока несостоявшейся демократии русского народа».

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая же несчастливая семья несчастлива по-своему. Эта, в сущности, неверная, но разделяемая многими мысль Л. Н. Толстого удивительным образом соответствует известной философской доктрине — классической концепции истины, согласно которой истина одна и лишь заблуждаются все по-разному. Сегодня мы начинаем понимать, что подобно тому, как каждый индивид обретает счастье только одному ему ведомыми путями, так и истина характеризуется исключительным многообразием своих когнитивных, социальных и личностных измерений. Образ великого «отца народов», всеблагого и всезнающего, долгое время определял представление о счастье как некотором единообразно-блаженном ликовании, которое будет даровано нам в установленной форме и в положенное время. Развенчание этого идеала заставляет понять, что человек и способен, и правомочен идти к личному счастью собственным путем в соответствии со своими возможностями и потребностями, традициями и культурой.

Столь же рискован и индивидуален процесс познавательного поиска — разум двигается к истине при помощи «ряда относительных заблуждений» (Ф. Энгельс), из которых и состоит человеческое познание. Заблуждение и истина соотносятся между собой не как обочина и наезженная колея, но как целый пучок неизведанных, засыпанных снегом, расходящихся и переплетающихся тропок — пробных путей единого человеческого познания. И ни один из этих путей не является единственно верным и главным.

Научный поиск Штрума — великолепная модель, предвосхищающая ряд современных представлений в области методологии науки. Перед ученым две возможности: усовершенствовать старую теорию, расширяя ее применительно к новым эмпирическим данным (выдвигая так называемые гипотезы ad hoc — «к случаю»), или создавать новую, принципиально иную. Штрум сначала преуспевает на первом пути, но убеждается, что он не ведет к радикальному решению проблемы, а потому приходит к отказу от старой теории. Гроссман подчеркивает неординарность такого решения: Соколов, его умеренный (в научном и политическом отношении) коллега, удовлетворился бы уже полученным результатом. Кстати говоря, это вполне правомерный путь: астрономия Птолемея, просуществовавшая многие века и до сих пор применимая в ряде своих приложений, строилась именно так; такова же была и программа Г. Лоренца — предшественника и одновременно противника эйнштейновской специальной теории относительности. Гроссман счастливо избегает примитивных (современных ему) истолкований процесса познания как движения, реализующего абсолютизированную ленинскую формулу «от живого созерцания — к абстрактному мышлению, и от него к практике». В описании противоречий, догадок, случайностей жизни Гроссман дает пример исторически и социокультурно нагруженного понимания научного прогресса, который не исчерпывается кумулятивной трансляцией однажды найденных истин. И в том же описании содержится емкая иллюстрация художественного метода Гроссмана, его философского смысла.

Гроссман иной раз нарочито эмпиричен — по тем же самым причинам. Он воодушевлен не только сознанием полноты и неисчерпаемости мира, но и необходимостью изобразить его без помощи тех самых «мировых идей», которые противоречат многообразной природе реальности. Симпатия к комкору Новикову — умному и смелому командиру, одному из тех, кто был противопоказан сталинской системе военного руководства,— выражается Гроссманом сдержанным и точным способом. Новикову ничто не кажется мелочью — ни странный комфорт его жизни, ни его любовь к животным, ни вопрос повара о супе, ни ссора между офицерами; прибытие платформ для танков и выпуск на волю ежа и бурундука — события рядоположенные, сравнимые. Новикову свойственно быть хозяином, «отвечать за каждый пустяк, проверять каждую мелочь». Он наслаждается тихим предвечерним часом, когда воздух обладает удивительной прозрачностью, «и самые незаметные и скромные предметы выглядели четко и выпукло». Такой взгляд на мир — свойство «подробного» человека (снова на ум приходит платоновский Вощев), внимательного и открытого. Люди не лишаются способности воспринимать многообразие мира даже в экстремальных обстоятельствах: Софья Осиповна Левинсон до самого смертного часа в газовой камере фиксирует и запоминает атмосферу гетто, запахи грязного, набитого людьми вагона, рассказы о страшных людских судьбах и страдает оттого, что не знает, «как сохранить, как запечатлеть их, если человек останется жить на земле и захочет узнать о том, что было». Таково же отношение мальчика Давида к куколке бабочки, которую он, мучимый страшным подозрением, оставляет — свою единственную игрушку и сокровище — у входа в газовую камеру.

Дескриптивизм как художественный метод обнаруживает себя и в других произведениях Гроссмана, например, в эссе «На вечном покое» [1]. Здесь предмет писательского наблюдения — Ваганьковское кладбище. Но до чего же далек Гроссман от формулировки «общего понятия» кладбища! По видимости бесстрастно обозревая все — от затхлой глубины заброшенных могил до отношений и обстановки в доме тех, кто является потенциальными кладбищенскими новоселами, писатель дает ворох противоречивых, эмоционально и логически несовместимых деталей, клубки сюжетов, внезапных исторических и социальных панорам. Все это невыносимо для нашего глаза — особенно в «торжественных случаях»,— привыкшего к строгой иерархической градации черного и белого, высокого и низкого, доброго и злого. Гроссман словно возвращается к манере описания, знакомой по античным эпосам; оно строится в форме «списка» слабо упорядоченных событий, действий, красочных и порой довольно нелепых характеристик, исторических отступлений, апелляций к богам и натуралистических подробностей. «Боговравные», «быстроногие», «пространновластительные» и «благородные» герои Гомера отчаянно лупят своих противников у стен Трои в ухо, в переносицу, так, что глаза выскакивают на землю, в печень, в мочевой пузырь и в пятку — одинаково кровожадно и смертельно. Описание того, как «кудреглавые» и «шлемоблещущие» мужи с ужасными воплями поражают друг друга в «выю», «рамо», «чрево», отвлекаясь от этой мясорубки лишь для произнесения столь же неестественных и выспренних речей, поражает рядоположенностью несовместимого. Но именно благодаря этому и возникает ощущение подлинности происходящего.

Свято следуя наказу своей героини запечатлеть человеческие страдания для будущих поколений, писатель намеренно прозаичен и эмпиричен; без слез и возмущения он составляет список мучений, которые претерпевают умирающие и их близкие во время болезни и организации похорон. Здесь же: похороны окончены, и мучения, скандалы, обязательства, ложь и несправедливость уступают место прощению и умиротворению. «И нет больше безумных, горестных старушечьих глаз. И нет плачущих глаз застывшего в параличе старика. И так спокоен холмик над умершим сумасшедшим мальчиком, кончилось мучительное смятение его родителей, их страх. Анютины глазки, ромашки, незабудки... Хорошо на кладбище. Все, что было запутано, мучительно,— стало легко. Близкий человек живет здесь особой, хорошей, ясной жизнью, и так милы стали отношения с ним».

Чтобы понять, как раздирающая вечная разлука с близким человеком обращается в милые кладбищенские радости, Гроссман на время уходит с кладбища в город, в его комнатухи, подвалы, коридорчики и чердаки. Там он обнаруживает заведомо запретную для всякой эпохи «охоты за ведьмами» вещь. Оказывается, отношения близких людей редко бывают «гласны, явны, как бы одноэтажны, линейны. Это здания с толстыми стенами, с глубокими подвалами, с темными жаркими спаленками, с надстройками и пристроечками». Бесстрастным языком милицейского протокола писатель комплектует список чудовищных издевательств и преступлений, бытующих в семье,— но «тихие омуты жизни еще страшней». Мертвое спокойствие подавляемого страха, ревности и обиды, подземная тишина исчерпанного или отсутствующего чувства, равнодушие двух обреченных на сожительство существ...

Дескрипции-протоколы Гроссмана не просто впечатляют — они ужасают, повергают в трепет, вызывают слезы и тошноту, они невыносимы, кажутся бессмысленными, случайными, произвольными, игрой. «Чего только не видели, не слышали бестелесные стены скрытых в сердцах строений. И свет, и беспощадные упреки, и вечную жажду, и тошное пресыщение, и правду, и бешеное желание избавиться, и многолетнюю мелочную волынку, и счет на копейки, и страшную тайную ненависть, и драки, кровь, кротость». И в качестве рефрена звучит: «Разно, разно ходят на кладбище люди». Но здесь же: «На кладбище назначают свидания влюбленные. На кладбище гуляют, ищут прохлады».

Я думаю, тексты Гроссмана послужат будущим историкам своеобразной, на первый взгляд жестокой, нелепой, смешной, произвольной, но при ближайшем прочтении — глубокой и правдивой энциклопедией современной жизни.

Лаконичные гроссмановские этюды, предметом которых выступает жизненная коллизия, группа людей, феномен культуры или идеологии, отдельный индивид, не имеют какого-либо общего ядра, но связаны один с другим невидимыми крючками, будто атомы в учении Эпикура и Лукреция. Это словно шеренга взявшихся за руки людей, действующих не по приказу, но по стихийному внутреннему побуждению; личности, не подводимые под общий знаменатель, но чувствующие свое родство по крайней мере со своим ближайшим соседом. Методом «крючочной связи» писатель выстраивает цепочки и внутри эпизодов, причем начальные и завершающие звенья цепочек принципиально незамкнуты: «а бывает и по-другому», «но это еще не все»,

[1] См.: «Знамя», 1989, № 5, с. 16—25.

«бывает», «иногда» — так выражается незавершенность предлагаемой типологии. Да, здесь мы имеем дело со своеобразными эмпирическими типологиями — элементарными единицами структурирования первичного многообразия жизни. Гроссман намеренно противопоставляет свой способ изложения методу художественного типизирования, благодаря которому в советской литературе долгое время господствовал маркузианский «одномерный человек», олицетворявший собой классовую мораль и примат общественных интересов перед личными. Парадоксально, но социалистический реализм воспринял в качестве философско-методологической основы мысль об «идеальном типе», сформулированную немецким философом Максом Вебером, весьма далеким от ортодоксального марксизма. Тем самым значительная часть советской литературы 30-х—50-х годов оказалась завуалированным, но сильным художественным средством обоснования административно-бюрократической системы, о грядущей власти которой проницательно говорил Вебер.

Формализм социальных связей, построенных с помощью «идеальных типов», заменяется Гроссманом «*органическими типологиями*». В его книгах возникают целые «семьи», как сказал бы Л. Витгенштейн, в рамках которых обретают контуры такие феномены, как время, дружба и так далее. О типологии времени нам уже пришлось упомянуть—это действительный пример диалектической незавершенности образа в единстве и многообразии его форм, где многообразию принадлежит ведущая роль: «А слагаемых здесь бесконечное множество».

Сила гроссмановского метода убийственна там, где художественное видение выходит за пределы сферы санкционированных реалий и направляется на запретное. Его типологию антисемитизма читаешь со страхом, оглядываясь, проверяя дату на календаре и удивляясь — то ли своей свободе, то ли тому, что цензура ещё жива.

«Разнообразны виды антисемитизма — идейный, внутренний, скрытый, исторический, бытовой, физиологический, разнообразны формы его—индивидуальный, общественный, государственный»,— приступает к своей разоблачающей аналитике писатель. Антисемитизм есть выражение личностных и социальных противоречий; он как тень преследует еврейский народ на протяжении всей его истории. Антисемитизм есть средство, зеркало и мерило. Указание на очередное его проявление сопровождается фразой: «Но это лишь одна из сторон антисемитизма». В антисемитизме как в кровавом магическом кристалле воспроизводит себя чудовищная интерференционная картинка мрачной стороны жизненного многообразия. И нет конца перечню этого зловещего богатства, развивающегося от брезгливости к дискриминации и уничтожению.

Антисемитизм — это то самое парадоксальное многообразие, в котором жизнь надевает злую маску судьбы.

Споры об ответственности за преступления сталинщины сегодня буквально раскололи страну надвое. «Это вы во всем виноваты!» — кричат палачам и доносчикам их жертвы. «Нет уж, позвольте,— отвечают те,— а где вы сами были, когда сажали ваших товарищей? Тоже обвиняли их и преклонялись перед вождем? А потом сознавались и в собственных грехах? Все виноваты поровну, на всех грех».

Вопрос «кто виноват?» выводит нас, если мы не берем на себя роль бездушного следователя, на более глубокий вопрос о природе вины вообще. Есть ли вина свойство случайно оступившегося человека или к ней идут всю свою жизнь? А быть может, греховность, как учит христианство, присуща человеку изначально, составляет неотъемлемое свойство его существа? В повести «Все течет» Гроссман обсуждает эту проблему, строя типологию доносчиков: Иуда-первый, Иуда-второй, третий, четвертый... Они все разные, и наивно было бы искать в них общие черты, составляющие суть греховности и вины. Первый сам пострадал: был обычным, нервным человеком, его пытали, он оклеветал невинного и попал в лагерь. «Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике»,— призывает писатель.

И дня не провел в заключении Иуда-второй. Зато погубил многих и нажил брюшко в окружении нянечки и женушки. Он сам проявлял находчивость и сообщал о своих задушевных разговорах с приятелями куда следует. Вот он, зверь, ату его! Однако вся жизнь его была окрашена паническим ужасом, ибо все родственники — из «бывших»: кто эмигрант, кто воевал за белых, кто сгинул в ЧК. Спасаясь от страха, он стремился приобщиться к новой власти, чтобы простили его классовую порочность. «Но не будем спешить, подумаем, прежде чем выносить приговор»,— неустанен Гроссман в своем внимании и осторожности.

«Не шибко грамотный, востроглазый парнюга», сельский комсомолец, с органическим недоверием к интеллигенции и страстью завоевать доверие партии — таков третий. Солдатик Сталина, в 1937 круто скакнувший вверх, погубивший сотни людей, специализировавшийся на партийцах фанатического склада. Слепо верующий, обалделый от соединившихся в нем рабской покорности и грозной власти, российский хунвэйбин в генеральских погонах. Однако и здесь придется подумать: «страшно казнить и страшного человека».

Наконец, последний (последний ли?!) — обыватель-активист, «фанатик материального интереса», автор перевернутого кантовского категорического императива, использующий человечество как средство в своей охоте за предметами. Это доносчик-доброволец, сексот-бизнесмен, в то же время болезненно обидчивый и ревнивый, вскормленный убогостью быта и скудостью, дефицитом духовной культуры. Не от звериной ли жизни своей озверел он?

Так как же и кому казнить этих грешных? Ведь «стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки вабухли, ожили». Нет, этот грех и вина — не случайные феномены, они выражают все то же многообразие человека. Ужасное многообразие, соединяющее несовместимое.

«Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносителях? Вы думаете, то плохое, что есть в них?

Нет! Самое страшное то хорошее, что есть в них, самое печальное то, что они полны достоинств, добродетели.

Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья... На подвиги добра, труда способны они.

Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку, смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства...

А какие среди них встречаются преданные, добрые друзья! Как трогательно они навещают попавшего в больницу товарища!

Какие среди них терпеливые, отважные солдаты, они делились с товарищем последним сухарем, щепоткой махорки, они выносили на руках из боя истекающего кровью бойца!

А какие среди них есть даровитые поэты, музыканты, физики, врачи, какие среди них умельцы — слесари, плотники, те, о которых народ с восхищением говорит: золотые руки.

Вот это-то и страшно: много, много хорошего в них, в их человеческой сути».

Продолжая мысль Гроссмана, скажем: если осудить их как индивидов, то судьи окажутся столь же виноваты перед многообразием человеческой природы. Ибо душа предателя, доносчика — это вновь то парадоксальное многообразие, в котором живая индивидуальность скрывается под маской равно доступного для всех — социального — порока. И удивляться приходится не тому, откуда взялись грех и вина, но тому, как вопреки тоталитарному прессу сохранялась в человеке свобода. Поэтому вопрос о природе вины, во избежание морализаторства, следует укоренить в другом вопросе — о природе власти. «Власть отвратительна, как руки брадобрея...» Эти слова Осипа Мандельштама могут служить названием тому поиску, который предпринимает Гроссман, исследуя отношения свободы и власти. Он не только описывает и типологизирует многообразие жизни, но и обращает свой взгляд на силу, противостоящую последней. Власть, освобождающая себя от нравственных и социальных обязательств, культивирующая чистоту и непосредственность своего проявления, сжигает в топке самопроизводства все формы жизни и трансформирует их в гомогенную, тошнотворно дымящуюся, черную пелену необоримой судьбы.

Многообразие жизни — фундаментальный факт и предпосылка гроссмановского видения мира. Однако человек живет в обществе, которое всегда относительно ограничивает изначальное многообразие, с одной стороны, и обеспечивает ту или иную степень его реализации — с другой. В этом смысле судьба — не есть абсолютное отрицание жизни; выбирая свою судьбу, человек осуществляет свою свободу. Только тоталитаризм превращает судьбу в фатальность, поскольку присваивает себе право однозначно приписывать человеку форму существования. Гроссман не признает за обществом и государством такого права. «Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете». Нет, не ради Сталина или абстрактной идеи социализма люди гибли на войне; они защищали суверенность своей индивидуальной жизни: «в человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь». И поскольку именно многообразие жизни есть основа всего, то ни разум, ни норма, ни система не уполномочены диктовать человеку свою волю.

Слепой монолитной социальности, сужающей спектр самореализации индивидуальности, противостоит не отдельный человек, но люди, объединенные особой формой выражения многообразия — культурой. Для Гроссмана культура — это прежде всего открытость и доброта, то есть восприимчивость к многообразию, причастность к нему. Культура — не результат воспитания, не тонкая пленка на звериной сущности человека, а внутренняя структура личности. Она в Новикове, который в серой солдатской массе различает индивидуальные характеры и судьбы; в Грекове, протестующем против «принудиловки»; в Софье Левинсон, впитавшей в себя богатство мировой культуры и боль еврейского народа; в Александре Владимировне, больной старухе, сохранившей восприимчивость, широту сознания и духовную силу; в безымянных женщинах, по-глупому добрых к врагу. Вывод Гроссмана по-философски глубок: культура есть бесконечное в конечном индивиде, это микрокосм, самотождественность конкретного, верность многообразию, что и делает отдельного человека бессмертным — навечно вписывает избранную им судьбу в интегральную картину жизни.

«Вот и она, старуха, живет и все ждет хорошего, и верит, и боится зла, и полна тревоги за жизнь живущих, и не отличает от них тех, кто умерли, стоит и смотрит на развалины своего дома, и любуется весенним небом, и даже не знает, что любуется им, стоит и спрашивает себя, почему смутно будущее любимых ею людей, почему столько ошибок в их жизни, и не замечает, что в этой неясности, в этом тумане, горе и путанице и есть ответ, и ясность, и надежда...»

Именно такое видение мира помогает понять всю тщету мировой судьбы, рока истории, государственного гнета, многообразных попыток изменить человеческую природу. Что бы ни ждало людей, они не утратят своей индивидуальности и свободы — «и в том их вечная горькая людская победа над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит и уходит».

Так кому же обязан человек своим многообразием и свободой? Богу? Природе? Культуре? А быть может, власти, в борьбе с которой все его качества реализуют себя? Писатель и философ Гроссман не дает на этот вопрос готового ответа. Но он делает нечто большее: ставит перед каждым из нас задачу — задуматься над истоками и формами человечности. Самостоятельное проникновение в эту вечную тайну становится шагом на пути обретения собственной индивидуальности.

Мы отложили роман, но не расстались с ним. Мы ощущаем усталость и радость. Усталость от вхождения многообразия жизни в наше узкое сознание. Радость от того, что увидели: нам есть куда расти. Недавняя тягостная эпоха натужно пыталась отменить наше свидание с многообразием.

И все же оно состоялось. Тоталитарная идеология отступила. Судьба произведения в очередной раз оказалась счастливее жизни его творца.

Е. Звягин

ДЕБЮТ В СОВРЕМЕННОМ ДУХЕ

Стой, кто идет? Господь!
О. Охапкин

В одну зиму вышло сразу две книжки стихотворений Олега Охапкина: толстая — «Стихи» (Ленинград — Париж, «Беседа», 1989) и тонкая — «Пылающая купина» (Л., «Советский писатель», 1990). Поэту, тем временем, минуло 45 лет. Дождался. Признали. Аннотация в тоненькой с предельным лаконизмом и невозмутимостью комментирует ситуацию:

«Это его первая (неверно: первая — парижская.— *Е. З.*) книга, хотя творчество ленинградского поэта продолжается уже около тридцати лет».

Итак, «творчество продолжается». Надоели уже эти песни о «задержанных» и «невостребованных» талантах. И все-таки, с кого спросится?

Последнее из стихотворений, напечатанных в тоненькой книжке, датируется семидесятым годом, стало быть, написано двадцать лет назад. Последнее в толстой — семьдесят вторым. Стихи в этих изданиях не повторяются. А написано с тех пор еще очень много.

Нелепо, глупо, смешно дебютировать многотомным собранием сочинений. Да и кто возьмется его напечатать? Пришлось поэту себя ограничивать.

На обложке парижской книги — венок из терновой и лавровой ветви. А над ним, чуть левее, звезда осьмиконечная, старообрядческая, древлего благочестии звездочка.

На обложке второй — обугленный куст. Символика проста — судьба поэта есть судьба одновременно величальная и мучительная. Зная Охапкина с молодости, могу засвидетельствовать, что так оно, конечно, и есть.

Да кто же ты? Бандит?
Бродяга или вор?
Да руссиий я, пиит.
Не лаю на забор.

По мне закон — закон,
А беззаконье — склад
Характера. Погон
Не выношу. Vivat!

Азиец, славянин,
Отчасти финн, варяг,
Олег от имянин
И от богатства наг.

В известном смысле положение пиковое. Но в том-то и соблазн судьбы поэта, что рассматривается она в возвышенном, приподнятом угле зрения. Что есть поэт? Уж не пророк ли божественный, в самом деле?

Ясно, что поэт — не пророк в каноническом смысле слова. Слишком как-то буквально традиционное истолкование пушкинского стихотворения. Там сопоставляются две миссии, но не уравниваются. Поэт в своем пылком воображении дорастает до пророка, примеривается к его состоянию, как ко всему в этой жизни примеривается подвижная субстанция искусства. И *пылающая* купина души сотворенной — не есть *неопалимая* купина Предвечного. Сам-то Охапкин рассуждает иначе, и тут он, конечно, в своем праве:

Полуденный пришелец босоногий,
Ужасный шестикрылый серафим
В пустыне мрачной нашего сознаньи.
Он огневным глаголом грудь мою
Рассек и раскаленный смысл водвинул
В потемки сердца отрока чуть свет.
Мне минуло тогда двенадцать лет.

В том, что Олег Охапкин — поэт религиозный, более того — православный, никакого сомнения быть не может. Хотя проявляется это с особой отчетливостью лишь в парижском издании. В ленинградском — настрой скорее философский, пантеистический. Зато уж в парижском! Перечислю, для вящей наглядности, несколько названий помещенных там поэтических «пьес», как говорили в девятнадцатом веке: «Время Пасхи», «На смерть патриарха», «Речь паломникам в Киев», «Вход Господень в Иерусалим», «Письмо к православным». Список можно продолжить. Но он и так достаточно красноречив.

Хочется привести хотя бы отрывок из стихотворения «Время Пасхи» — так оно превосходно, таким сердечным умилением дышит:

Есть минута в апреле ночном
На Страстной чудотворной неделе —
Воскрешенье внимания в теле,
Трепет зренья в огарке свечном.

Это время свершает во мгле
Светозарное таинство Божье.
Во вселенной сейчас бездорожье,
В храме склянки, как на корабле.

В мире слышен лишь колокол мглы,
Хор заутрени в полночи Пасхи.
Это вечность вошла без опаски
В закоулки, подвалы, углы...

Звягин Евгений Аронович (род. в 1944) — прозаик, эссеист. Печатался в сб. «Круг» (1985), журналах «Родник», «Континент». Живет в Ленинграде.

...Прозябают скелеты осин
На кладбищенской мералой аллее,
Где луна, как фонарик ва рее,
Купол церквв — златой апельсин...

Подобных, полных искреннего религиозного чувства и подлинного поэтического вдохновенья стихов у Охапкина — множество. Тема, так сказать, доминантная. В то же время из нее выплывает чуточку, я бы сказал, сектантский «корабль». (Интересно, что хлысты называли свои общины именно «кораблями».) Объясняется это скорее всего существованием атмосферы недоброжелательства со стороны власть предержащих по отношению к религии (я имею в виду эпоху 60-х—70-х годов, когда создавались эти стихи), что диктовало и известную замкнутость, «корабельность» тогдашнего молодого христианского движения.

Образ корабля явлен у Олега Охапкина и в других, не прямо религиозных стихах. И не то чтобы был он таким уж заклятым питерцем, который на адмиралтейский кораблик крестится, просто, еще со времен «Одиссеи» или «Моби Дика», тема морского путешествия есть олицетворение темы судьбы вообще, тем более — судьбы поэтической:

Но, когда дуракам предвещая погибель,
Мы неслись против бури и шли оверштаг,
Океан побеждал, крейсер остовом дыбил
И тонул, увлекая на дно бедолаг...

Вообще, стихов о судьбе и предназначенье поэта у Охапкина много до чрезвычайности. И не только у него, а и у большинства настоящих поэтов его поколения. И это далеко не случайно. Когда у приверженного к слову заклеен пластырем рот, когда о том, что вовне, он не имеет возможности говорить, он сосредоточивает внимание на себе, на своей судьбе, на миссии своей горемычной. И точное осознание высоты поэтического предназначения отливается в точные, величавой тяжестью сходные с бронзой слова, как в одном из лучших стихотворений Охапкина «Квадрига»:

Триумф когда-то горнего орла —
Звероподобье, в коем умерла
Прообраза божественная часть —
Над зверем человеческая власть.

Колеса не прибавили коню
Величия. С квадригой не сравню
Пегаса, распластавшего крыла
Превыше бронзы, лавра и орла.

Прекрасен и высок без седока
Сей конь, чье беззаконье на века
Крылами попирает вспокон
Звероподобный вздыбленный закон.

В обеих, и толстой, и тонкой, книжках много программных стихотворений, выражающих мироощущение большого круга людей, близких поэту по духу, не пошедших с веком на компромисс. Недаром так много встречается посвящений. Среди тех, кому посвящены стихи Олега Охапкина,— большой ученый, протрубивший немалый срок в сталинских лагерях, покойный Николай Александрович Козырев, поэты Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Александр Ожиганов, Виктор Кривулин, Константин Кузьминский, художник Михаил Шемякин. Поэт посвящает свои стихи из любви и уважения к уму и талантам своих друзей, независимо от их вероисповеданий и «чистоты» их крови. Внятный пример чести православного и патриота спекулирующим ныне на национально-религиозных страстях чиновникам от литературы, столь долго «не пущавшим» Охапкина и ему подобных в «большую» литературу.

А в том, что поэт Охапкин — православный и патриот, сомнения быть не может. Религиозное мироощущение живительно питает корни его поэзии, и цветы ее — чистые, без шовинистической браги:

Речевный Филипп обервулся
На шум, распахнувший до неба
Простор, будто спал и проснулся,
Он видит Бориса и Глеба.

Корабль, а на нем двое рослых
Мужей в одеяньях червленных.
Ладья выгребает на веслах,
По-русски в бортах укрепленных.

В насадах гребцы, как бы мглою
Одеты, лишь двое над ними
Светлы и зарей золотою
Очерчены чудно, как в дыме...

То вещий Борис — страстотерпец
За русскую землю — ко Глебу
Рече: «Брате Глебе, мой братец,
Помочь с тобой сродняю любу

Должны мы, иначе сегодня
В беде настоит он великой».
И Глеб: «С нами сила Господня!»

Наглядная достоверность в передаче чудесного — свойство сознания, многолетне на нем, чудесном, сосредоточенного. Я бы назвал такое состояние — состоянием зрелого, вошедшего в плоть и кровь мистицизма. Строки, взятые мною в эпиграф, свидетельствуют о том же душевном настрое.

В обеих книжках много прекрасных стихов, и тематический спектр их достаточно широк. Это и «Гесперида», и «Портрет», и «Повечерье», и стихотворение «Самый снежный день зимы», дорогое лично мне тем, что напоминает о временах нашей молодости, когда работали мы кем-то вроде дворников при Эрмитаже, и убирали снег вокруг красивого большого дворца, и руки наши были крепки, а помыслы — чисты.



Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕНИНИЗМА

Перрон утонул в вечерней мгле. Друзья, родные, жена — все остались там, вместе с вокзалом, с любимой Москвой. Колеса равномерно стучат навстречу движущемуся на запад времени. Теперь почти ежедневно мы отстучим у суток час. Иногда чуть больше. Но ни остановить время, ни тем более вернуться в прошлое не сможем.

Новосибирск. Делаю остановку. Может, хоть иллюзия возврата к прошлому возникнет при встрече со старым дорогим другом. Здесь живет Иван Алексеевич Мануйлов, мой соратник по 18 ОСБ (отдельная стрелковая бригада), начальник штаба этой бригады. Но нет иллюзии. Потяжелел, погрузнел, постарел энергичный, остроумный, решительный начштаба. Время отложилось на нем. Не прошлое — сегодняшнее время. Мы идем с ним в магазин. Он говорит: не удивляйся. После Москвы тебе это покажется удивительным — у нас за хлебом очереди; больше двух килограммов в одни руки не дают. Ага, вот, значит, где оно, прошлое. В магазинах притаилось. Стоим в очереди, разговариваем. Невеселые разговоры. Встреча с прошлым не получилась, говорили о сегодняшнем. Он внимательно прослушал мою историю. Говорит — повезло тебе. Ничего, что едешь с понижением. В армии остался — это главное. Надо держаться до последнего. Не делать той глупости, что сделал он,— не идти в запас добровольно. «Я обиделся,— говорит он,— что не дали повышения, и подал на увольнение. А надо было служить. Идти даже на понижение. В армии много безобразий, но нет хотя бы этой отвратительной взятки. А здесь, в гражданских условиях, взяточничество развито невероятно. Меня райком назначил председателем районной комиссии партийного контроля. Не знаю, долго ли продержусь. Когда меня назначали, то, думал, целили на серьезное дело, говорили: «У тебя высокая пенсия и поэтому тебе легко бороться со взятками». Я и взялся за дело со рвением. Но тот же секретарь, что благословлял меня на борьбу со взяткой, уже забрал у меня все дела. Мы поработали как следует и схватили взяточников за руку. Я доложил секретарю райкома, а он дела забрал и, насколько я понимаю, давать ход им не собирается».

Мы взяли хлеба и водки и, невесело беседуя, пошли домой. Два дня прожил я у Ивана Алексеевича. Читал его записи. Он собирал русские пословицы и поговорки, записывал интересные мысли и жизненные эпизоды. «Издать бы,— подумал я,— какая книга бы получилась». Но это было явно нереально. Ни одно из советских издательств не приняло бы. Поэтому я ничего не сказал Ивану о своих мыслях. А через два дня поезд понес меня дальше.

Последние 600 км я почти все время провел на ногах. Волновался ли я? Не знаю. Не помню также, о чем думал. Смотрел в окна. Старался припомнить местность районов, по которым ездил и ходил во время учений в те далекие времена. На вокзале в Уссурийске меня встречали мои будущие подчиненные во главе с заместителем полковником Савасеевым.

Встреча получилась теплой и даже радостной. Меня ждали с искренним уважением. И я не мог не откликнуться на это. Поэтому два года службы в Уссурийске отпечатались во мне хорошим, светлым воспоминанием.

Так же дружелюбно отнеслись ко мне начальники родов войск и служб и подчиненные

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—8.

им командиры. Они с пониманием встречали все мои нововведения. Причиной этому были, безусловно, легенды о моем выступлении на партийной конференции и о стычке с Чуйковым. «Разъяснительная» работа и предостережения в отношении меня, которые распространил политотдел армии, несомненно, по указанию сверху, перед моим приездом в Уссурийск, сыграли роль, обратную ожидаемой. Вызвали у людей сочувствие и уважение к «безвинно пострадавшему».

Кроме этих «разъяснений» и «предостережений», сверху были приняты и меры для создания трудностей в моей работе. Например, на второй день после моего приезда было получено новое штатное расписание для армейского управления. В нем после заголовка стояло: только для управления 5-й общевойсковой армии. Чем же отличалось это штатное расписание от других, аналогичных? Только одним. Против названия должности «Начальник оперативного отдела» исключено «Заместитель начальника штаба». Соответственно против должности «Заместитель начальника штаба» исключено «Начальник оперативного отдела». Этими двумя исправлениями подчеркивалось, что обязанности замначштаба из функций начоперотдела изъяты и на то место введена специальная должность замначштаба. Явно для того, чтобы урезать права не начоперотдела, а конкретно мои, Григоренко. Но так как в жизни отделить должность от личности, которая ее исполняет, невозможно, то глупость этого исправления стала очевидной с первого момента. И попали в глупое положение сам начальник штаба генерал-майор Петров Василий Иванович и его заместитель полковник Мудряк.

Мне не надо было называть себя заместителем, чтобы любая моя просьба выполнялась в любом звене управленческого аппарата — по той простой причине, что сама суть работы оперативного отдела состоит в том, что он согласовывает, координирует, организует взаимодействие всех звеньев управления на основе приказа командующего войсками армии и указаний начальника штаба.

Я хорошо знал свои обязанности и поэтому не чувствовал никаких неудобств от указанного изменения в штатном расписании. Но это, оказывается, не устраивало начальника штаба. Он начал давать своему заместителю поручения явно оперативного характера, а когда тот не смог справиться с ними, поскольку весь рабочий аппарат, предназначенный для оперативной работы, находился в моем подчинении, и пожаловался начальнику штаба на отсутствие необходимых ему помощников, начальник штаба дал соломонов ответ: «Вам подчинен весь штаб. Вот и используйте кого вам надо». Тот, ничтоже сумняшеся, дал задание моему заместителю полковнику Савасееву. Савасеев, тактичный человек, внимательно все выслушал, затем заявил: «Я доложу начальнику отдела, и как он прикажет, так и буду действовать».

Савасеев пришел ко мне. Я выслушал его и сказал, что с этим я сам разберусь. Я распределил савасеевское поручение между офицерами отдела и по выполнении доложил начальнику штаба. Когда закончил, то спросил у Петрова:

— Скажите, у нас введена система командования через головы непосредственных начальников?

— Не понимаю.

— Объясню. Вот это задание, которое я вам доложил, получено полковником Савасеевым от вашего заместителя, минуя меня.

— Но я могу часть своих обязанностей передать своему заместителю.

— Можете! И я даже посоветовал бы сделать это возможно быстрее. Только я вам заранее скажу, что начальник штаба, если он хочет оставаться таковым, не может никому передать функции руководства оперативной частью, разведкой и связью. Во всяком случае, Василий Иванович,— перешел я на более свободный тон,— я никаких указаний по существу работы отдела ни от кого, кроме вас или лица, замещающего вас в ваше отсутствие, принимать не буду, а подчиненным своим отдам распоряжение: ни по чьим вызовам без моего ведома не ходить. Если не хотите скандалов, никаких передаточных инстанций между собой и мною не устраивайте и моих подчиненных сами не дергайте и другим не дозволяйте. Я скандалов не боюсь. Мне, вы знаете, терять нечего.

— Ну хорошо! Раз вам так неприятно, я буду давать вам распоряжения лично. Но за собой я оставляю право вызывать любого оператора непосредственно, не ставя вас в известность... И если вы будете запрещать идти по моему вызову, буду на вас накладывать взыскания.

— Неожиданный для меня этот разговор, Василий Иванович, не этому мы вас в академии учили. Чтобы выпускник Академии Фрунзе не уважал работу операторов — это совершеннейший казус.

— Речь не об операторе, а о вас лично. Надо лучше беречь свой престиж.

— Мой престиж генерала и преподавателя ничем никогда не подорван.

Больше недоразумений по сути работы оперотдела не было, но мелкие недоразумения даже возросли. Петрову доставляло истинное удовольствие подчеркивать свое служебное превосходство. Вот, мол, я — недавний выпускник академии — начальник штаба, а ты — бывший начальник НИО и начальник кафедры — в моем подчинении. Чтобы подчеркнуть это, он любое мое новаторское предложение отбрасывал, что называется, с порога.

Вначале я пытался доказывать свою правоту и убеждать. Потом, увидев, что ему доставляет удовольствие отвергать все мои доказательства без обоснований, опираясь только на имеющуюся у него в руках власть, я избрал другую линию поведения.

Когда он, с ходу отвергнув мое предложение, начинал по поводу него отпускать «остроты», я с безразличием говорил: «Мое дело — предложить, ваше — принять или отвергнуть. Суть моего предложения вот в чем...» В нескольких фразах я излагал предложение и замолкал. Василий Иванович — быстродум и человек весьма самоуверенный. Очень высокого мнения о своих дарованиях. В результате часто принимает необдуманные решения. И не дай Бог кто-нибудь начнет возражать против такого решения. Обидится, примет высокомерную позу, упрется. Но если ему возразят не настойчиво, просто выскажут сомнение, он способен перерешить, принять более благоразумное решение.

С тех пор, как я занял позицию — «мое дело предложить — ваше решить; я на своем предложении не настаиваю»,— не было ни одного случая, чтобы мое предложение не было принято. Это все свидетельствует о высокомерии и повышенном самолюбии при безусловном наличии здравого смысла.

Наш командарм, Александр Федорович Репин, был человеком иного склада, чем Василий Иванович. Коренастый, с широким простецким лицом, он буквально светился доброжелательностью, несмотря на очень серьезное выражение лица. Его в армии любили и его распоряжения старались выполнить как можно лучше. Я не знаю случая, чтобы он на кого-то повысил голос, кого-то наказал. Несмотря на это, а может, именно поэтому, дисциплина была высокая. Говорил он медленно, раздумчиво и смотрел на собеседника внимательным, добрым, умным взглядом. Слушал людей внимательно и терпеливо. Было впечатление, что от каждого он учится, стремится выявить все в нем интересное.

Со мной у Александра Федоровича сложились особые отношения. Летом 1961 года он со своей женой — красивой, доброй и умной — Александрой Васильевной и я с Зинаидой Михайловной и сыном Андреем лечились в одном и том же санатории. Александра Федоровича очень интересовала работа моей кафедры, и так как расспрашивать он был мастер, то я прочел ему своеобразный импровизированный курс лекций. Представляясь ему в связи с прибытием к новому месту службы, я не знал, как отнесется он ко мне, теперь штрафнику, и старался ничем не выдать, что я его помню. Но он, выслушав доклад, очень тепло улыбнулся, подошел ко мне, пожал руку и, задержав ее в своей, спросил: «А как Зинаида Михайловна? Как Андрей?» — подчеркнув тем самым, что все помнит. Затем сказал: «Александра Васильевна вас хорошо помнит. Просила передать вам искренний привет и приглашение заходить к нам».

Однако я никогда не воспользовался этим приглашением. И, мне кажется, Александр Федорович оценил этот мой такт. Тогда еще я догадался, а после узнал достоверно, что существовало указание держать меня в изоляции от генералитета. Выполнялось это указание неукоснительно. Обходил его один Репин, но обходил своеобразно. Во-первых, через наших жен. Во-вторых, через различные совещания. Как правило, меня приглашали на все совещания высших руководителей армии, проводимые Репиным. На этих совещаниях он обязательно просил меня высказать свое суждение и непременно находил в нем какие-то полезные мысли и подчеркивал это при подведении итогов совещания, одновременно указывая на мой преподавательский и научный опыт и авторитет. В-третьих, наконец, через учения.

Ни одно учение, руководимое Александром Федоровичем, не обходилось без меня как начальника штаба руководства. И вот эти несколько дней мы были всегда вместе. И говорили, говорили. Вернее, снова, как и в санатории. Александр Федорович «выдаивал» из меня военные знания. Политические темы не затрагивались даже мимоходом. В этом тоже проявился исключительный такт Александра Федоровича. Ему очень хотелось помочь мне вернуться в исходное положение. Мне стали впоследствии известны его доклады командующему войсками Дальневосточного фронта генералу армии Крейзеру обо мне. В этих докладах он, блестяще характеризуя меня по работе в армии, доказывал необходимость моего возвращения в академию.

Генерал-лейтенант Репин Александр Федорович был, безусловно, выдающимся военачальником и, очевидно, достиг бы высоких постов. Но нелепый случай оборвал его жизнь. Это было уже после моего ареста. Выходя из вертолета, его любимого транспортного средства, он попал под вертящиеся лопасти, ему срезало голову. Эта трагедия послужила исходным пунктом для взлета В. И. Петрова. Он стал командовать армией. Потом получил пост начальника штаба Дальневосточного округа. Затем, в качестве главного военного советника, помогал Менгисте душить эфиопский народ. Потом, в звании генерала армии, занял пост главкома Дальнего Востока.

Но вернемся к тем временам. Был это период особенной успешности моей служебной деятельности. Я по-новому организовал работу отдела на базе исследований, проведенных под моим руководством на кафедре кибернетики.

К нам в отдел шли люди за опытом и за теорией. Водоворотом бурлила работа, которая не могла не захватить снова и меня. Офицеры начали нажимать на партийную организацию, обвиняя ее в том, что она не использует мои теоретические знания и опыт. В резуль-

тате партийный комитет стал инициатором цикла лекций, темы которых дал я, а затем стал и главным их разработчиком. Так новаторский почин снова приобрел легальность. Никогда, пожалуй, не сделал я так много того, что немедленно внедрялось в практику. Но странное дело. Теперь эта работа не захватывала меня, как прежде. И отнюдь не из-за того, что само дело перестало меня интересовать. Нет, оно интересует меня не меньше. Кибернетика важна и интересна, но меня захватывают более весомые вопросы — судьбы страны, судьбы коммунизма. Мне все чаще приходит в голову, что созданный в нашей стране общественный строй — не социализм, что правящая партия — не коммунистическая. Куда мы идем, что будет со страной. с делом коммунизма, что предпринять, чтобы вернуться на «правильный путь», — вот вопросы, которые захватывают меня все больше.

Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за ответами к Ленину. Сажусь снова за его труды. Ищу обоснования «единственно правильного пути», доказательства ошибочности нынешней линии партии, отхода нынешнего партийно-государственного руководства от ленинизма. Но Боже мой, как же по-новому предстает предо мной Ленин. То, что казалось абсолютно ясным и целиком приемлемым, теперь наталкивается на непримиримые противоречия в тех же трудах. Я «прекрасно знал», что «диктатура пролетариата» — это демократия для большинства трудящихся. Теперь я вижу, как тот же Ленин в «Детской болезни левизны...» и в «Пролетарской революции и ренегате Каутском» с издевкой, как лицо, обладающее властью, «разъясняет», что «диктатура — это власть, опирающаяся не на закон, а на насилие». И эта формулировка устраивает нынешнюю власть.

Петр Нилович Демичев, беседуя со мной по поводу моего выступления, привлек внимание именно к этой формулировке, подчеркнув при этом, что «Детская болезнь левизны...» написана позже, чем «Государство и революция». Но меня это не устраивает. Я читаю и перечитываю, пытаясь найти формулу, примиряющую мои установившиеся понятия с этими, только теперь бросившимися в глаза формулировками. Но не успеешь отделаться от одного проклятого противоречия, как возникает новое.

Вот вопрос о «свободе печати». Как хорошо и просто писал Ленин накануне выборов в Учредительное собрание: свобода печати — это не только отмена цензуры, но и справедливое распределение бумаги и типографий: в первую очередь государству на общенародные нужды, затем крупным партиям, затем более мелким партиям и, наконец, любой группе граждан, собравшей определенное количество подписей. Ленинизм это или нет? Ленинизм, считал я до сих пор. Но теперь! Читаю написанное Лениным постановление Совнаркома об отмене свободы печати, его статьи «Об обмане народа лозунгами „Свобода печати“» и «Партийная печать и партийная пропаганда», и получается, что народу свобода печати как будто и ни к чему; она выгодна только буржуазии.

Еще более устоявшиеся понятия: о демократии и о Ленине как о классическом примере демократа. И вдруг как будто на пень свежеспиленного дерева наткнулся в темноте: «Мы большинство завоюем на свою сторону, мы большинство убедим, а меньшинство заставим, принудим подчиниться». Лихорадочно возвращаюсь назад в «Шаг вперед — два назад». Ленин здесь доказывает, что прав он, защищая права меньшинства. Он говорит — защищать права большинства не надо. Большинство и само защитится, поскольку оно большинство. В уставе надо иметь гарантии прав меньшинства, обеспечить его от произвола большинства. Так. Значит, когда Ленин был в меньшинстве, он совершенно четко утверждал, что большинство не имеет права навязывать свою волю меньшинству, а после говорит о том, что у большинства есть право душить меньшинство, не давать ему и пикнуть.

А кто определит большинство и меньшинство? Как они появляются в обществе? Смотрю на это явление с высоты прошлого опыта, с трибуны XX и XXII съездов, воспоминаний друзей, познавших сталинские застенки. И вижу, что само «большинство» образовалось от страха перед расправами, которым подвергается меньшинство и может подвергнуться каждый, если не солидаризируется с «большинством». Люди поддерживают власть из страха и будучи обманутыми подцензурной лавиной пропаганды. Постоянное подавление меньшинства и непрерывная партийно-государственная ложь есть подлинные источники постоянного «большинства» в народе тех, кто поддерживает правительство. Значит, сама ленинская формула лжива и не права народа защищает, а его бесправие стремится сделать вечным.

Потрясающее впечатление произвели материалы X съезда партии. Прежде я читал их взахлеб и смотрел на них как на образец партийности, как на гениальный ленинский план сохранения единства партии, предохранения ее от развала под воздействием фракционной борьбы. Теперь я с ужасом увидел, что решения X съезда партии — это план ее самоубийства. Это не документ против фракционности, а инструмент завоевания власти в партии одной фракцией. Сталину, увидел я, не надо было ничего придумывать. Ему требовалось лишь создать свою фракцию. И он это сделал — создал строго централизованный партийный аппарат со своей внутрифракционной дисциплиной и с его помощью захватил власть в партии. Решения X съезда давали ему все правовые основания для того. Все это теперь мне было ясно. Однако я не мог смириться с таким пониманием.

Я много искал у Ленина. И «нашел» в замечаниях по резолюции об анархо-синдикалистском уклоне и в его реплике на предложение Рязанова — запретить и в будущем голосование по платформам. Ленин с места резко отверг это предложение. Как, мол, мы можем установить законы для будущих съездов. А если обстановка потребует голосования по платформам! И я сделал из этого вывод, что все принятые на X съезде решения действенны лишь до XI съезда и что Сталин, следовательно, нарушил ленинскую волю, распространив решения X съезда на будущее. У меня не хватало смелости взглянуть на выступление Ленина против предложения Рязанова как на обычный демагогический трюк, такой же, как и со свободой печати. Ленин щедро раздает демократические права в будущем. Когда-то будет и свобода печати, когда-то дадим полную свободу религии, когда-то профсоюзы начнут управлять производством, когда-то исчезнут деньги, когда-то людей перестанут сажать в тюрьмы и концлагеря. Когда-то отомрет и государство. Все в будущем. А пока что мы захватим государственную машину и, действуя ею как дубинкой, будем громить старый мир, пока не раскрошим его в щепы... И это говорится всего два года спустя после того, как было написано: «Пролетариату нужно не всякое государство, а государство отмирающее, которое начало бы отмирать немедленно после пролетарского переворота и не могло не отмирать».

«Не кругло» получилось у Ильича, но я повторяю, понять это — смелости у меня тогда не хватало. Я трусливо отбросил государство как дубинку и продолжал держаться суждений «Государства и революции». И вообще я начал «сортировать» Ленина, подсознательно отбирая только то, что соответствовало моим взглядам. Некоторые важнейшие ленинские суждения упускались мною. Так, был целиком упущен вопрос: массы-партия-вожди. Слишком явно Ленин подменяет понятие «диктатура пролетариата» понятием «диктатура вождей». Правда, Сталин написал это еще откровеннее, но теоретическую базу подвел Ленин.

Так, пересматривая Ленина и анализируя внутреннюю и внешнюю политику партии и государства, я вырабатывал свои оценки событий и свои представления о задачах, стоящих перед страной и мировым коммунистическим движением. Этой работе я стал отдавать все свободное время. Постепенно у меня стал вырабатываться план реализации своих идейно-политических исследований. Я наметил разработать и послать в ЦК серию писем. Вряд ли я сейчас могу с достаточной достоверностью вспомнить содержание этой серии. Да и вряд ли так интересно читать о неосуществленных замыслах.

Написал же я всего два письма. В первом, по сути вводном, я писал, что свое выступление на партийной конференции считаю ошибочным: нельзя объемные принципиальные вопросы поднимать в коротком 5—10-минутном выступлении. Сейчас я изучил вопрос и, пользуясь правом члена партии писать по всем вопросам в любую партийную инстанцию, до ЦК включительно, решил написать серию писем для Политбюро, надеясь таким образом помочь ему в его нелегкой работе. Далее излагалось содержание всех писем намеченной серии.

Мне удалось послать и первое письмо из этой серии. На этом моя односторонняя переписка оборвалась. Во-первых, я не Монтескье, чтобы писать безответные письма. Во-вторых, тяжело заболела жена. Климат Уссурийска для ее бронхов оказался губительным. У нее началась астма, которая очень быстро перешла в тяжелую форму. Уссурийский военный госпиталь оказался неспособным снять приступы. Жена сутками ощущала непрерывное удушье. Не могла есть и спать. Решили перевозить в Хабаровский окружной военный госпиталь, в расчете на то, что там будет более квалифицированная медицинская помощь, да и климат Хабаровска иной, что само по себе очень важно при лечении астмы. В Хабаровске ей стало полегче. Безусловно, сыграл какую-то роль климат, но больше всего — внимание и заботы высококвалифицированного врача, полковника Цветковского Василия Николаевича.

Несчастливым был для нас этот — 1962-й — год. В Хабаровске, куда я приехал навестить жену, мне стало плохо. Проснулся от удушья. В глазах потемнело, дышать нечем. Я вырвал балконную дверь гостиницы и, как был в трусах, вышел на пятнадцатиградусный мороз. Дышать стало легче. Зашел в комнату, надел шлепанцы, накинул шинель на голое тело, взял стул и снова вышел на балкон. Просидел около двух часов. Основательно промерз, но самочувствие улучшилось. Вернулся в постель. Быстро согрелся и уснул, но скоро проснулся от чувства какой-то тревоги. Взглянул на часы: 7.20. В госпиталь рано, в столовую не хочется. Не спеша оделся. Снова вышел на балкон.

В половине десятого был у жены. Как только вошел, жена с тревогой спросила:

— Что с тобой?

— Ничего особенного. Нездоровится немного.

Сидим, разговариваем. Входит с утренним обходом Цветковский. Мне приходится удалиться. Когда возвращаюсь, жена говорит: «Ну вот и Василий Николаевич обратил внимание на твой вид. Я попросила его посмотреть тебя, но он говорит, что если б ты не был генерал, то он сделал бы это запросто, а генералу предлагать осмотр ему неудобно. Я тебя прошу, обратись к нему. Если не для себя, то хоть ради меня».

Был проведен не простой врачебный осмотр, как я предполагал, а детальное обследова-

ние. Когда я понял, что оно закончено, то попытался подняться, но Василий Николаевич придержал меня за плечо и, усевшись на стул рядом с моим изголовьем, спросил:

— Какие у вас планы, Петр Григорьевич?

— Очень простые. 9-го уезжаю в Уссурийск. Там пару дней потрачу на то, чтобы сдать дела. Затем беру отпуск и приезжаю к вам. Вы к тому времени приготовите Зинаиду Михайловну к выписке. Я по приезде в Хабаровск иду в Медуправление, забираю наши путевки, беру под мышки Зинаиду Михайловну — в самолет и в Москву, а оттуда через пару дней в Кисловодск.

— Знаете, Петр Григорьевич, мне ваш план не очень нравится. Я не имею права выпустить вас из госпиталя, ваше сердце не в порядке.

— Это вы о генералах так заботитесь, Василий Николаевич. А вы вообразите, что осматривали солдата, и тогда вы преспокойно его выпустите.

— Нет, Петр Григорьевич, любого человека в таком состоянии я из госпиталя не выпущу. У вас ведь четко определился инфаркт. И если вы добровольно не останетесь, я вынужден буду доложить командующему войсками округа.

— Ну что ж, докладывайте! Я в госпитале не останусь.— И я, закончив одевание, ушел в палату жены. Через некоторое время в палату жены заглянул Василий Николаевич.

— Товарищ генерал, вас к телефону командующий войсками.

Я быстро подошел, взял трубку.

— Крейзер,— послышалось оттуда,— вы что же думаете, что вправе распоряжаться своей жизнью и здоровьем по своему усмотрению? Выполняйте указание Цветковского. Немедленно занимайте указанное вам место и лечитесь. Приказываю из госпиталя выйти здоровым и только с разрешения врача. Желаю вам скорее поправиться,— помягчевшим голосом добавил он.— Не лишайте нас с Репиным удовольствия присутствовать на банкете по случаю вашего возвращения на кафедру. Мы с Александром Федоровичем стараемся об этом и, я надеюсь,— не напрасно.

В конце декабря добрались мы до Москвы. И дальнейший наш путь пролег не через Кисловодск, а через подмосковный клинический санаторий «Архангельское». Тогда мы еще не знали, что это наше последнее посещение этого чудеснейшего санатория и вообще последний военный санаторий в нашей жизни. Как всегда, санаторий блистал чистотой и великолепным обслуживанием и лечением. Зима была снежная. Я много ходил на лыжах.

Был ряд встреч и интереснейших бесед с людьми поколения уходящего. Жаль, многого память не удержала, а многое моему предполагаемому читателю будет неинтересно. Запомнились, например, беседы с героем гражданской войны генерал-лейтенантом в отставке Шарабурко. Он был близок с теми, кто потом стоял во главе Советских Вооруженных Сил — Ворошиловым, Буденным, Куликом... Сам он был человеком простым, малообразованным, но принадлежал к числу таких, как Опанасенко,— людей разумных от природы, сообразительных и с врожденной тягой к новому. Ворошилова он характеризовал как человека, способного только «коням хвосты крутить», человека, не понимавшего сути современной войны, который чуть ли не до самого нападения Германии сохранял в нашей армии конницу как основную ударную силу, а противовоздушную оборону так и не создал. Впоследствии вину свалили на Штерна, назначенного начальником ПВО в первый день войны, а истинный виновник — Ворошилов — остался безнаказанным. О его отношении к вопросу ПВО и о его фактически преступных действиях Шарабурко мог рассказывать часами. Что касается Буденного и Кулика, то о них он говорил как о людях, своего лица не имеющих. Буденного иначе как «икона с усами» и не называл. Говорил о нем как непосредственном виновнике гибели многих выдающихся советских военачальников.

Нередко в кругу этой старой гвардии возникали критические разговоры, сравнения с тем, за что боролись в молодости и до чего дошли ныне. Однажды группа генералов возвращалась с прогулки, хохоча и что-то оживленно обсуждая. Мы с женой и Шарабурко подошли к ним, спросили, что их так развеселило.

— Да как же не развеселиться? — говорит один из них.— Идем. Кругом дачи. Одна крупнее другой, богаче, красивее. Идем, говорим. Это Конева. Это Шапошникова, Малиновского, Жукова... И вдруг уперлись. Новая, только в этом году появилась. По территории и размерам самой дачи меньше других, но намного красивей, богаче, с большим количеством вспомогательных строений. Остановились. Спрашиваем друг у друга: «Чья?» Никто не знает. (Впоследствии я узнал — дача Белокоскова — генерал-полковник, помощник министра обороны по строительству.) Идет какой-то местный старичок. Обращаемся к нему: «Дедушка, ты не знаешь случаем, чья это дача?»

— А кто же их знает, милай! Раньше, как был здесь один Юсупов, так мы все его, батюшку, и знали. А теперь вона сколько их,— обвел он рукой вокруг.

И все снова захохотали, вспомнив того старика.

— Для него что мы, что Юсупов, выходит, никакой разницы! — со смехом выкрикнул кто-то.

— Как же без разницы? — не удержался я.— Юсупова он знает. До сих пор помнит и батюшкой зовет. А нас не знает и знать не хочет. Мы для него как клопы. Нас много, все на одно лицо и все сосем его кровь.

Все притихли. Шутить и смеяться перестали и потихоньку разошлись.

Состоялась здесь и одна пророческая встреча. Однажды, придя в столовую, мы увидели молодую пару, что в этом преимущественно стариковском санатории — явление не частое. Она — такая «купчиха Белотелова» — довольно миловидная дама, но немного излишне откормленная. Он, подполковник — с высоты довольно значительного роста с видом какого-то превосходства оглядывает окружающих, не задерживая своего взгляда.

— Это сынок очень высокого правительственного чиновника,— сказал мне сидящий за нашим столом генерал-майор, видя, что я все поглядываю на тот стол, где заприметил упомянутую пару.— Интересный типчик. Он изнасиловал девятилетнюю девочку. Ну, вы знаете, что бывает «за растление малолетних». В общем, до расстрела. Ну, а этого направили на психиатрическую экспертизу, признали невменяемым и послали вместо тюрьмы, как больного, в специальную психиатрическую больницу. Есть такая в Ленинграде, на Арсенальной набережной. Там он полгода «полечился» и вот снова среди нас. Посмотрите только, с каким победным видом оглядывает он нас всех.

Я прослушал возмущенную оценку факта использования психиатрии для защиты преступления. Сам повозмущался вместе с соседом по столу. Но мне не пришло в голову, что если с помощью психиатрии можно спрятать преступника, то тем же способом можно честного человека превратить в мнимосумасшедшего и запереть в спецпсихбольницу. Тем более не пришло мне в голову, что пройдет немного больше года, и я окажусь сам на Арсенальной в положении психически больного. Я был настолько не подготовлен к тому, чтобы представить психиатров в роли палачей, что тут же забыл наш разговор с соседом по столу и вспомнил о нем, поняв, какую опасность представляет бессовестность психиатров, только когда сам попал в «психушку».

Работа моя в 5-й армии после возвращения из отпуска продолжалась не менее успешно. Авторитет мой рос. Соответственно усиливалась и деятельность моих защитников, сторонников возвращения меня на кафедру. Впоследствии я узнал, что возвращение не состоялось в 1963 году только из-за сильного противодействия Курочкина, опиравшегося на Пономарева. Своим неистовым противодействием Курочкин добился такого пономаревского благоволения, что это привело его к званию генерала армии. Без этой неожиданной поддержки он никогда бы не получил это звание. И Малиновский, и Чуйков истинную цену ему знали.

Но и у меня поддержка, по-видимому, была весомой. Судя по выступлению Чуйкова на ежегодной научной конференции академии весной 1963 года, он был за мое возвращение. И, зная его, я думаю, что поддерживал не только он. Мнение, противоречащее мнению министра обороны, Чуйков не высказывал бы. А он высказался совершенно определенно. И в мой адрес вдруг посыпались письма из академии. Это было совершенно неожиданно для меня. Все писавшие мне от души поздравляли меня со скорым возвращением.

В 1963 году меня не возвратили. Может, это случилось бы на следующий год. Но я уже решил свою судьбу иначе. И перерешить не мог.

Работа над трудами Ленина шла успешно. По сути, были разработаны все вопросы, по которым я собирался писать в ЦК. Но я туда больше не писал. И писать, чем дальше, мне хотелось все меньше. Я представлял себе членов Политбюро, и лицо даже наиболее симпатичного для меня — Никиты Хрущева — казалось злым, тупым, враждебным. Диалога быть не могло. Их надо не уговаривать, а вышибать. И возникает мысль создать революционную организацию, теоретической базой которой могли бы служить выбранные мною из трудов Ленина и соответствующим образом комментированные ленинские суждения и поучения.

Собственно, мысль об этом не просто пришла ко мне. Она ходила со мною свыше двух десятков лет. Еще во время войны я близко сошелся во взглядах с одним офицером. Мы много говорили об обстановке в стране и в партии. Он оказался человеком радикальных взглядов. Со многими его выводами я не был согласен, но зато часто подчеркивал, что после войны надо резко менять курс партии. Во время одной из таких бесед он сказал, что есть люди, которые считают, что к таким переменам надо готовиться теперь. Существует организация, называющая себя «Союз истинных ленинцев» (СИЛ'а). Организована она по принципу цепочки. Каждый член СИЛ'ы знает только того, кто вовлек его в организацию, и тех, кого он сам вовлек. Вы можете вовлечь, скажем, десяток человек, но каждый из них будет знать только одного вас. Друг друга они знать не будут. Нельзя также знать через звено. Если получится так, что тебя, члена СИЛ'ы, начнет вовлекать в организацию другой неизвестный тебе член, надо согласиться, не выдавая своего членства. Если кого-то из членов СИЛ'ы арестовывают, то связанные с ним члены начинают действовать как концевые звенья организации. Если кто-то уезжает, его соседи становятся концевыми и действуют как таковые. Отъехавший же на новом месте закладывает новую цепочку. Замысел организаторов СИЛ'ы состоял в том, чтобы проинфильтровать все общество

единомышленниками, не создавая организации, поскольку таковая легко раскрывается через связи и организационную деятельность.

Я тогда не дал согласия вступить в СИЛ'у, но идея меня прельстила. Мне казалось, что если такая организация привьется и разовьется, то раскрыть и уничтожить ее будет невозможно. А сделать она может очень много, так как в ней сочетается идейное единство (истинный ленинизм) с широчайшей инициативой. По сути, каждый действует по своему разумению. Посоветоваться можно лишь с кем-то, кто вовлек тебя в организацию, или с тем, кого вовлек ты сам.

Мысль о такой массовой идеологической организации не покидала меня. И, очевидно, если бы я знал кого-то из СИЛ'овцев, то вступил бы в эту организацию. Но офицер, пытавшийся вовлечь меня в нее, погиб на фронте, а другие СИЛ'овцы на моем жизненном пути не встречались. Несколько раз встречал я людей, которых можно было заподозрить в СИЛ'овской деятельности, но войти с ними в постоянный контакт я не стремился, хотя верю в возможность ее существования и в то, что «демократические ветерки» в КПСС возникают как раз от такого движения. Именно поэтому я не только не называю офицера, предлагавшего мне вступление в СИЛ'у, но не говорю даже, в каком году и где встречался с ним. Я не хочу дать даже волоска в руки КГБ, по которому можно было бы искать СИЛ'овскую организацию.

Итак, я к лету 1963 года проделал идейно-теоретическую работу и укрепился в мысли, что с руководством КПСС надо вступать в борьбу, а не пытаться умилостивить его верноподданническими просьбами. Но я все же не решался на организованные действия. Я понимал, что создание организации, которую назовут антисоветской, может стоить мне головы. Но не это пугало меня. Сдерживал страх за семью, за жену, за сыновей. Что их подвергнут репрессиям, у меня не было никаких сомнений. Я не сомневался, что правящая клика не побоится прибегнуть к опыту прошлого. И, думая об этом, я колебался. Не знаю, как долго могло бы это продолжаться, но пустяковый случай нарушил равновесие. В «Комсомольской правде» появилась статья, направленная против поэта Евтушенко. Как все подобные статьи, она была соткана из лжи, тенденциозно поданной полуправды и бессовестных передергиваний. Евтушенко в то время был моим любимым поэтом. Несколько позже, когда я отверг идею подпольной борьбы и решил выступить открыто, в качестве девиза я взял трехстишье из стихотворения Евтушенко:

Не сгибаясь у всех на виду,
Безоружный иду за оружием,
Без друзей за друзьями иду.

Наглое и самоуверенное нападение бездарностей и подлецов на любимого тогда (сейчас он другой) поэта возмутило меня до глубины души, и я буквально в один присест написал очень резкий и острый политический памфлет «Лакейская правда». Отправил его анонимно из Владивостока. Первое действие потянуло за собой другие. Осенью я поехал в отпуск в Москву, и здесь с сыном Георгием мы приступили к организации «Союза борьбы за возрождение ленинизма». Георгий в то время был слушателем инженерной артиллерийской академии. Организационная работа целиком легла на него. Я уселся за листовки. Менее чем за месяц были написаны семь листовок, не считая памфлета «Лакейская правда».

Первая (учредительная). В ней сообщалось, что в день 46-й годовщины Великой Октябрьской революции образован «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (СБзВЛ). Создание этой организации вызвано перерождением советского строя, изменой ленинизму со стороны руководителей партии и правительства. Затем разъяснялся наш организационный принцип — цепочка — и призывались все советские граждане творить по собственной инициативе цепочки СБзВЛ и следить за нашими листовками.

Теоретически мы тоже должны были организовываться по принципу цепочки. Однако практически Георгий привлек в организацию своих друзей и знакомых из числа молодых офицеров и студентов, которые были либо уже знакомы, либо быстро перезнакомились. И получилась не неуловимая цепочка, а довольно большая и компактная группа, которая начала свою деятельность с распространения учредительной листовки. К началу этой деятельности Союз получил неожиданное пополнение. Как-то Георгий, сильно смутившись, сообщил мне, что мой младший сын Андрей, который к этому времени закончил вечернюю среднюю школу и поступил в институт, создал вместе с двумя своими друзьями подпольный кружок. У нас с Георгием была договоренность, что никого из братьев в наши дела он посвящать не будет, поэтому он, узнав о революционной затее младшего брата, пришел ко мне. Его суждение было таким: лучше привлечь их в «Союз», чем оставить одних. Отговорить, он сказал, не удастся. Если я подниму голос на Андрея, то они «уйдут в подполье» и от нас с Георгием. С этим пришлось согласиться. Так вошел в СБзВЛ и мой младший сын. Он со своей группой уже участвовал в распространении первой листовки. Эта листовка более чем в 100 экземплярах была распространена преимущественно в районе заводов.

Вторая листовка была посвящена характеристике нынешнего советского государства. Оно характеризовалось как государство господства бюрократии.

Третья — о бесправии советских людей и всесилии бюрократической власти. В этой листовке сообщалось, в частности, о расстреле трудящихся в Новочеркасске и упоминалось о расстрелах в Темир-Тау и Тбилиси.

Четвертая — целиком посвящена вопросу «За что бороться?» Ответ — за отстранение от власти бюрократов и держиморд, за свободные выборы, за контроль народа над властями и за сменяемость всех должностных лиц, до высших включительно.

Пятая — профсоюзы не органы защиты прав рабочих, а орудие их угнетения.

Шестая — почему нет хлеба? Ответ на письмо ЦК, в котором вопрос нехватки хлеба сводился к тому, что в столовых режут хлеб большими кусками. В результате — высокие отходы. В листовке говорилось об истинных причинах: о низкой урожайности, высоких потерях урожая при уборке, гибели хлеба в результате плохого хранения. А у этого одна причина: отсутствие у сельских тружеников заинтересованности в результатах труда. Приводились при этом интересные цифры, которые в советской печати не публиковались.

Седьмая — «Ответ нашим оппонентам» — превратилась в ходе написания по сути дела в брошюру. Дискуссия касалась главным образом вопроса о государстве. Основным нашим оппонентом оказался сын Григория Александровича — научный сотрудник одного из институтов Академии наук. Когда нашу организацию раскрыли, КГБ предъявило к нему за это оппонирование серьезные обвинения. Обвиняли в сотрудничестве с антисоветскими элементами. Вел он себя очень достойно: настаивал на своем праве дискуссировать по столь важным политическим вопросам. В связи с этим над ним долго висела угроза ареста и увольнения из института. Семья очень переживала. Мать и бабушка обвинили меня в постигшей их беде, но Григорий Александрович отношения к нам не изменил. Своим же домашним говорил, что его сын достаточно взрослый, чтобы самому отвечать за себя.

Наш «Союз» довольно быстро рос и распространял свои действия за пределы Москвы, на другие города. Молодежь была довольна, у меня же было тревожно на душе. Уезжая по окончании отпуска, я посоветовал Георгию временно приостановить распространение листовок, затаиться. Но остановить молодежь было трудно. Все то время, что я не был в Москве, они продолжали действовать. А отсутствовал я очень недолго.

В середине января 1964 года меня срочно вызвали в Генштаб. Когда прибыл вызов, шло общеуправленческое собрание. И когда объявили, что я должен убыть по срочному вызову в Москву, все зааплодировали. Александр Федорович крепко пожал мне руку, тепло улыбнулся и сказал: «Ну, надеюсь, назад не возвратитесь». Он даже и не подозревал, как реализуется его пожелание. Он, как и все аплодировавшие, думал, что это вызов в связи с моим возвращением в академию. Не было никаких тревог. Ехал на аэродром, летел в Москву в приподнятом настроении. Но в Москве это настроение исчезло с первого же разговора с Георгием.

Первая рассказанная Георгием весть была, по его оценке, тревожной. У него в комнате был произведен негласный обыск. Георгий с того момента, как начал действовать наш «Союз», стал снимать для себя комнату, в которой хранил пишущую машинку и иногда печатал листовки. В этой комнате и произвели обыск. Делалось это настолько грубо, что даже неопытный Георгий догадался. В тот день его вызвали к 10 часам утра к коменданту академии и продержали там два часа, ничем не объяснив причину вызова. После двух часов бесцельного сидения в приемной комендатуры сказали: «Можете уходить». Естественно, Георгий заподозрил неладное и сразу поехал в свою комнату. Там ему сейчас же стало ясно, что был обыск. Он с возмущением обратился к хозяйке, обвиняя ее в том, что она роется в чужих вещах, и сказал, что у него пропали ценности. Хозяйка, испугавшись ответственности, рассказала, что рылись в вещах двое мужчин, которые предъявили ей удостоверения сотрудников КГБ. Георгий сказал мне, что ничего подозрительного у него в комнате во время обыска не было. Это нас успокаивало. Мы оба были настолько неопытны, что даже не подумали о том, что нужное они нашли. Мы совсем не обратили внимание на сообщение хозяйки о том, что обыскивавшие что-то печатали на пишущей машинке. Нам не пришло в голову, что они и приходили за тем, чтобы снять почерк машинки.

Вторая весть, как сказал Георгий, ободряющая. Некоторое количество листовок передано во Владимир, в Калугу, в войска Среднеазиатского и Ленинградского военных округов, и там они распространены. С особенным воодушевлением он и сын сестры Зинаиды — Алеша Егоров — рассказывали о распространении листовок в одном из владимирских техникумов, где учился сын Мальвы — двоюродной сестры Алеши — Саша Госмер. Это сообщение произвело на меня совсем иное впечатление, чем на Георгия. «Как раз в этом техникуме распространять листовки и не следовало,— сказал я.— Листовки, эти же, обнаружены в Москве. Значит, ищи, кто связан с Москвой. И такая связь, как у Алеши с Сашей, обнаружится немедленно». От этой логики на душе у меня стало тревожно. И, как показала жизнь, не напрасно.

На следующий день я отправился в Генштаб. Там меня ждали. Начальник оперативного управления Генштаба и направленец Дальнего Востока уже имели для меня подго-

товленное задание. Во время рассмотрения этого задания я время от времени чувствовал на себе любопытствующий взгляд то одного, то другого. Особого значения этому я не придавал. Считал, что здесь еще не забыто мое выступление на партийной конференции Ленинского района. С заданием разобрались, и я принялся за дела. Работа была интересная и достойная, то есть требующая высокой квалификации. Временем меня сильно не ограничивали, и я, естественно, на работе не пересиживал. Работал по 5—6 часов в день. Куда мне было торопиться, если не торопят. Жизнь в семье все же приятнее, чем дальневосточное одиночество.

За работой улеглась и моя тревога. Тем более что во Владимире допросы техникумовских ребят прекратились. Придавая большое значение сохранению организации, я поручил Георгию ликвидировать московскую «кучность», реорганизовать создавшуюся здесь группу в цепочку и временно прекратить ее деятельность. Затаиться. Когда, как мне казалось, все затихло, я решил проверить, как относятся люди к подпольной оппозиции. Долго колебался, так как благополучный исход считал исключенным. В конце концов решился.

Где-то в половине января 1964 года я пошел к одному из входов на завод «Серп и молот», взяв с собой тринадцать листовок. 13 в нашей семье считается счастливой цифрой. И я суеверно взял эту цифру себе в покровители. Подумал я и над тем, кому ДАВАТЬ — идущим на работу или с работы. Следующие на работу, казалось мне, побоятся идти со столь опасной ношей к контрольной и в рабочий коллектив, где листовка может случайно обнаружиться. Поэтому надежнее предлагать листовки идущим домой. А теперь, как предлагать? Решил: тем, кто вызовет симпатию. Причем предварительно спросить: «Возьмешь листовку?»

С замирающим сердцем предложил первому. Так волновался, что совсем не запомнил этого человека. Он кивнул. Не останавливаясь, молча взял и незаметно спрятал в карман. И второй удачно. И третий. Четвертый — осечка. На вопрос покрутил угрюмо головой и на ходу спрятал руки в карманы. Дальше снова пошла удача. Очень быстро раздал десяток. И приходит мысль: «А не попробовать ли на тех, кто идут на работу?»

Первое предложение — неудача. Второе — тоже. Возникает мысль — прекратить, очень рискованно. Вот второй, например, прошмыгнув мимо, взглянул почти враждебно. Но навстречу — белокурый, голубоглазый, очень симпатичный паренек, схожий с одним из друзей моей юности — Мишей Пожидаевым, и я, непроизвольно улыбнувшись, спрашиваю: «Листовку возьмешь?»

— Давай! — ответил, улыбнувшись, на ходу перехватывает он листовку и уходит, помахав мне ею.

Глядя вслед ему, я и не заметил, как подошел пожилой рабочий и протянул руку за листовкой. Я отдал. И тут же решил — последнюю отдам тому, кто подойдет первым. Подходил от завода высокий, интеллигентного вида человек; я молча сунул последнюю листовку ему в руки и быстро зашагал вдоль высокого дощатого забора в сторону от завода. Не успел пройти и двух десятков шагов, как услышал, что кто-то меня нагоняет. Потом раздался голос: «Эй, парень!»

Я оглянулся. Меня нагонял рабочий примерно моего возраста, хотя, может, его старили усы.

— Это вы меня? — спросил я.

— Да, вас! Хочу спросить. Вы все раздали?

— Все.

— Жаль. Хотелось почитать.— И немного погодя, уже идя рядом.— Не боишься?

— Надоело бояться. Да ведь когда-то кому-то начинать надо.

— Верно,— серьезно подтвердил он.— Но люди боятся.

Мы пошли рядом, разговаривая. Собеседник был мне симпатичен. Но стояние с листовками меня буквально вымотало. Стоял я с ними максимально десять минут, а показалось — часы. И теперь мне хотелось как можно скорее быть подальше. А собеседник тем временем предлагал зайти к нему, заверяя, что он живет совсем рядом. Мне и хотелось зайти, и я не предполагал никаких нечестных замыслов с его стороны, но разум подсказывал мне: надо уходить подальше и как можно быстрее. Поэтому я сказал, что, к сожалению, не имею времени, и бегом бросился к только что подошедшему трамваю. Через несколько остановок пересел в такси, а затем в метро.

Таким образом, я выяснил, что промышленные рабочие ждут правдивой информации. Явилось желание появиться с листовкой среди случайной публики... Какова будет там реакция? Но эксперимент с такой тяжелой нервной нагрузкой, как у «Серпа и молота», я сейчас проделать не мог. Решил взять одну листовку. Правда, большую — «Ответ нашим оппонентам» — и пойти на вокзал. Ближайший к нам — Павелецкий. На этот раз решил идти в генеральской форме.

Зашел в общий зал. Нашел место. Уселся. Достал листовку и начал читать. Прочел от начала до конца. За время чтения зал наполовину опустел. Вижу, многие ушли на поезда. Моя скамейка целиком свободна. Я оставил листовку, а сам ушел в другой конец зала и сел так, чтобы мне была видна моя листовка. Через некоторое время к ней подошел

паренек. Его я давно заприметил. Он сидел с девушкой. Тесно прижавшись друг к другу, они вели какой-то оживленный, заинтересованный разговор. Он взял листовку и пошел к девушке. Они осмотрели ее, перелистали, о чем-то очень горячо поговорили, затем поднялись и направились ко мне. Я читал «Огонек» — делая вид, что не замечаю их движения.

— Товарищ генерал! — обратился парень ко мне.— Это не ваше? — Он показал мне листовку.

— Нет, не мое,— твердо сказал я.

— Но... нам... показалось, что вы читали это,— смущенно проговорил паренек.

— Да, читал. Но это не мое. Прочел и оставил там, где оно лежало до моего прихода.

Они, смущаясь, отошли от меня. Потом девушка (почти девочка), оторвавшись от своего компаньона и очень смущенная, подбежала ко мне:

— Товарищ генерал! А может, у вас есть еще одна? А то мы едем в разные места, а нам обоим хочется взять с собой.

— Нет, милая девочка! Честное слово, больше нет! — улыбнулся я ей сочувственно.

— Ну тогда простите,— и она упорхнула.

И этот эксперимент говорил за то, что народ хочет правды.

Меж тем моя работа в Генштабе подходила к концу. Что ждет меня после: возвращение на Дальний Восток или новое назначение? О третьем не думалось, хотя подумать уже можно было. Я обнаружил за собой слежку и подслушивание квартиры. Из этого следовало, что о «Союзе» КГБ знает и следит за ним. Хоть и с запозданием, пришла мысль, что знают и о машинке, на которой печатались листовки. Учитывая это, решаю машинку из Москвы увезти.

Из Германии приехал в отпуск старший сын Анатолий с семьей. У него огромнейший чемодан, в котором он хочет отправить со мной посылку родителям жены в Уссурийск. В этот чемодан можно вместить и мою машинку.

Работа в Генштабе закончена, и я получаю распоряжение возвращаться к месту своей службы. Заказал билет на самолет на 1 февраля. Приехали на автостанцию в здании гостиницы «Москва» минут за двадцать до отправления автобуса. Какие-то упитанные молодцы — мои попутчики — начали активно помогать нам: сдать вещи, оформить билеты. Зинаида тихонько сказала мне:

— Присмотрись. Это, по-моему, твои провожатые.

Минут через десять ввалился еще один молодец в полушубке, в унтах. Как на Северный полюс. Говорун, рубаха-парень. Сам над собой подсмеивается. «Корреспондент», командирован на Магадан и Камчатку. На севере никогда не был. Вот и натянул на себя все, что советовали друзья.

Но вот, наконец, я в воздухе. Впереди девять часов беспосадочного лета и Хабаровск. Ровно гудят моторы. Место мое оказалось в четырехместной кабинке. «Случайно» там же места «корреспондента» и еще двух молодцов, помогавших мне в Москве. Все устали, что ли? Но балагурство прекратилось. Все сидят молча. Я незаметно уснул. Проснулся. Летели над облаками. Любуюсь нагромождениями туч. Время идет незаметно. Вот и команда: «Пристегнуть ремни». Посадка. Публика потянулась к выходу. Поднялся и я.

— Куда вы торопитесь? Пусть выходят, кому спешно,— воскликнул «корреспондент». При подлете к Хабаровску он опять забалагурил. Не обращая внимания на его балагурство, тихо продвигаюсь к выходу. Он движется за мной вплотную, безотрывно, держа голову над моим левым плечом. Вот мы выходим на верхнюю площадку трапа. Я еще не успел окинуть взглядом прилегающую часть аэропорта, а «корреспондент» уже докладывает:

— Это, наверное, вас встречают, товарищ генерал-майор!

— Меня некому встречать здесь,— говорю я.

— Да нет,— не унимается он.— Вон майор наверняка встречает вас.

Я прослеживаю за направлением его пальца и вижу коменданта города Хабаровска. Он смотрит в мою сторону, помахивает рукой и улыбается явно мне. У схода с трапа он подошел. Представился, попросил квитанции на багаж и передал их следовавшему за ним сержанту. Меня он пригласил в комнату депутатов Верховного Совета — отдохнуть, пока получат вещи. По пути туда он доложил, что встречает меня по приказанию начальника штаба округа.

Когда я зашел в депутатскую комнату, там царил дух КГБ. Посредине огромного зала стоял генерал — начальник отдела контрразведки. По периметру комнаты у стен стояли небольшие столики, за которыми восседали следователи контрразведки и прокуратуры вперемежку. Было их, сидящих, четверо. И еще около десятка стояли группами у стен зала.

— Петр Григорьевич! — провозгласил начальник контрразведки.— К сожалению, мне приходится по долгу службы выполнить неприятную обязанность. Вот телеграмма Комитета государственной безопасности. Прочтите ее.

Я прочел: «Имеются данные, что генерал-майор Григоренко везет с собой антисоветские материалы. Обыскать генерала Григоренко П. Г. и, если таковые будут найдены, изъ-

ять их и направить в Москву». Я расписался в том, что ознакомлен с этой телеграммой, и начался обыск. Изъяли только пишущую машинку на том основании, что «имеются данные о том, что на ней были напечатаны антисоветские материалы». Ничего другого криминального у меня не нашли. Но одновременно, как потом я узнал, шел обыск в нашей московской квартире. И там нашли все-все листовки, которые не были распространены. После обыска начальник окружной контрразведки — сплошная любезность — заявил, что, как ему ни неприятно, он должен выполнить еще одну обязанность. И он дал мне прочесть вторую телеграмму: «Задержать генерал-майора Григоренко и обратным рейсом направить в Москву».

В самолет я был доставлен ранее начала посадки. Встречали меня те же московские молодцы во главе с «корреспондентом». «Ба, знакомые все лица!» — воскликнул я, увидя их. В четырехместном отсеке сидели в том же расположении, что и при полете в Хабаровск. Зачем нужна была эта прогулка из Москвы в Хабаровск и обратно, я думаю, никто ответить не сможет. Летим тихо. Балагуры, как по команде, умолкли. У меня тоже нет желания шутить.

Девятичасовой полет ничем особенным не был отмечен. Ровно гудели моторы. Я большую часть полета спал. О будущем думать не хотелось. Прошлое не шло на ум. Но вот и Внуково. Меня выводят после того, как сошли все пассажиры. Осматриваюсь. Насколько глаз охватывает, ни единой живой души. Четыре «Волги» поставлены так, чтобы даже издали не было видно, что происходит между трапом и автомашинами. Меня быстренько «упаковывают» в одну из «Волг». Впереди двое — водитель и «корреспондент». На заднем сиденье — трое: в середине я, по бокам двое молодцов, готовых в любой момент навалиться на среднего — скрутить его или пристрелить.

Мчимся по шоссе, затем по Москве — без каких бы то ни было задержек. Как будто светофоров в Москве вообще нет. Слежу за дорогой. Жадно смотрю вперед, взглядываю в обе стороны. Все время одна повторяющаяся мысль: «Смотри, Петр Григорьевич, запечатлевай. Ведь это, наверно, последнее твое путешествие по Москве». Вот и площадь Дзержинского. Знаменитое серое здание страшной Лубянки. Заезжаем к нему в тыл и упираемся в плотные высокие и широкие железные ворота. Короткий, видимо, условный, сигнал, и ворота открываются. Въезжаем. Следуем через несколько небольших внутренних дворов, и наконец: «Выходите!» По лестницам, переходами и лифтом попадаем наконец в главное здание. Вводят в одну из следственных комнат. Оборудование: небольшой письменный стол у окна и табуретка посреди комнаты. Стул для следователя, очевидно, убран.

— Садитесь! — указывает мне на табуретку один из сопровождающих. Осматриваюсь. Быстро беру табуретку, переставляю ее к одной из стенок и сажусь, опираясь спиной на стену.

— Нельзя! Табуретку переставлять нельзя,— вскрикивает сопровождающий. Но я уже уселся и продолжаю сидеть, не обращая внимания на этот окрик.

— Гражданин! Табуретку передвигать нельзя! — повторяет он.

— Вы к кому обращаетесь?

— К вам... гражданин... генерал.

— А я не передвигаю. Поставил, как мне удобнее, и сижу.

Он пытался еще что-то говорить, но в это время отворилась дверь, вошел старшина и доложил, что он прибыл для охраны задержанного. Мои прежние сопровождающие ушли. Я остался сидеть на том месте, где сел. Старшина никаких требований ко мне не предъявлял. Почти неподвижно он простоял у двери около 6 часов.

Уже основательно стемнело. Было не меньше 7 часов вечера (самолет прибыл во Внуково в 9 утра), когда меня снова повели куда-то, но теперь уже по широкому, устланному ковром коридору. Вошли в огромный кабинет. В кабинете двое в гражданском — одного узнаю по портретам: Семичастный, председатель КГБ при Совете Министров СССР — и двое в военном. Второй гражданский — он стоит за большим письменным столом, у кресла — представляет присутствующих. Здесь, кроме Семичастного, его первый заместитель генерал-лейтенант Захаров, следователь подполковник Кантов и сам представляющий — начальник следственного отдела генерал-майор Банников.

Мы все, повинуясь широкому барственному движению руки Банникова, уселись за длинным кабинетным столом, по стороне, обращенной к окнам: в начале стола Захаров, в конце — Кантов. На противоположной стороне, примерно посредине стола, я. Банников уселся в свое кресло за письменным столом. Семичастный — у одного из окон, выходящих на площадь Дзержинского.

— Ну, что же это вы натворили? — спросил Семичастный, обращаясь ко мне.

— Не понимаю ваш вопрос!

— Ну, что ж тут понимать. Вы, вероятно, думаете, что мы ничего не знаем. Покажите, пожалуйста, Георгий Петрович,— обратился он к Кантову. Тот пододвинул мне несколько листовок; по внешнему виду — подобранные на улице или сорванные со стен.

— Вы что же, может, собираетесь отрицать свое участие в этом творчестве? — снова обращается Семичастный ко мне.

— Нет! Я собираюсь отрицать право КГБ участвовать в рассмотрении этого вопроса.

— Как так?! — удивленно восклицает он.

— А очень просто. У меня конфликт с моей партией. Я отстаиваю свое законное право члена партии. И, поскольку мне пытаются помешать в этом незаконными, непартийными методами, я усиливаю эту борьбу и, может, где-то перешагнул рамки дозволенного уставом партии. За это партия может меня наказать. По-партийному наказать — вплоть до высшей меры — исключения из партии. Но при чем тут полиция? Это дело чисто партийное.

Наступило неловкое молчание, которое нарушил Захаров.

— Вам, Петр Григорьевич, непростительно так говорить. Вы сами себя заявляете ленинцем, а Ленин говорил, что ВЧК — это, прежде всего, орган партии.

— Это к вам не подходит. Во-первых, вы не ВЧК, а КГБ при Совете Министров СССР. Во-вторых, Ленин говорил не только то, что вы сказали, а еще и утверждал, что если ВЧК оставить в том же виде и с теми же правами, то она выродится в обычную контрразведку. Кстати, мы это и наблюдали в сталинские времена.

— Ну, это вы далеко заходите,— опомнился наконец Семичастный.— Это все теория, а вы не теоретический спор ведете, а создали подпольную организацию, поставившую себе целью свержение советского правительства. А борьба с этим — задача органов государственной безопасности, а не партийных комиссий.

— Это передергивание. Я не создавал организации, ставящей своей целью насильственное ниспровержение существующего строя. Я создал организацию для распространения неизвращенного ленинизма, для разоблачения его фальсификаторов.

— Если бы речь шла только о пропаганде ленинизма, зачем бы вам забираться в подполье? Проповедуйте его в системе партполитучебы и на собраниях.

— Но вы же лучше меня знаете, что это невозможно. И то, что ленинизм надо проповедовать из подполья, лучше всего свидетельствует о том, что нынешнее партийное руководство сошло с ленинских позиций и тем утратило право на руководство партией и дало право коммунистам-ленинцам бороться против этого руководства...

— Петр Григорьевич! — прервал меня и тем отодвинул в сторону и Семичастного генерал-лейтенант Банников.— Что бы и как вы ни говорили, фактически дело обстоит так, что вы занялись антисоветской деятельностью. Вы создали подпольную организацию, которая, опираясь на подтасованные ленинские положения, хочет добиться устранения нынешнего советского строя. Какими она методами хочет этого добиться — несущественно. Сегодня не насильственными, а с изменением обстановки может прийти и насилие. Поэтому нам сейчас не следует глубоко залезать в теоретические дебри. Давайте зафиксируем то, что бесспорно. Вы — заслуженный человек, обидевшись на партию, зашли не туда, куда надо.

Я не говорю, что у вас не было оснований обидеться. С вами, безусловно, обошлись несправедливо. Но что же хорошего будет от того, что вы станете продолжать лелеять свою обиду. Мы дадим полный ход вашему делу, и не найдется в Советском Союзе судьи, который не осудил бы вас. А у вас семья. Сыновья, у которых жизнь впереди, и ваша судьба не может не сказаться на их судьбе. И вы с женой — люди немолодые. Ну что хорошего, что вы пойдете в лагерь, потеряете звание генерала и все привилегии! Я думаю, прежде всего в ваших интересах не дать делу хода, найти разумный способ закончить его, не дав начаться. Сейчас вы у нас — задержанный. Еще двое суток вы будете в этом положении. А задержанного мы можем освободить совсем просто; даже на вопрос, подвергался ли он аресту, бывший задержанный имеет право отвечать: «Нет». В последующие семь суток, когда вы станете подозреваемым, будет уже труднее. Поэтому я предлагаю вам подумать сейчас, немедленно. Это в ваших интересах.

— Я не знаю, что вы мне предлагаете. Но уверен, что ничего хорошего вы предложить не можете. Вы говорите, что меня обидели. Обиду я партии простил бы. И из-за личной обиды бороться с партией не стал бы. Но меня хотели раздавить и принудить служить неправому делу. Думаю, что и сейчас меня только поманить хотят видом задержания, а пройти мне придется и «подозреваемого», и «обвиняемого», и «подсудимого», и «осужденного», да еще на закуску какое-нибудь унизительное «раскаяние» и «помилование».

— Ну, зачем же подозревать людей обязательно в низости.

— А я не подозреваю, а вижу. Ведь вы вот говорите прекраснодушные слова, а творите беззаконие. Я-то ведь знаю свои права. Генерала ни арестовать, ни задержать вы не имеете права без разрешения Совета Министров СССР, а вы меня задержали и хотите, напугав перспективой, совершить какую-то сделку со мной. Честного дела с обмана не начинают.

— Георгий Петрович, покажите,— снова вмешался Семичастный.

Кантов поднялся, подошел и положил передо мной развернутую папку. Я прочел: «Постановление Совета Министров СССР»:

«Разрешить Комитету государственной безопасности при Совете Министров СССР

произвести арест генерал-майора Григоренко Петра Григорьевича, 1907 г. рождения, уроженца с. Борисовка Приморского района Запорожской области УССР».

— Вот видите, гражданин Банников, арестовать вам поручено, а не задержать на три дня. Так что давайте каждый своим делом заниматься. Мое дело — доказать свою невиновность. Я думаю, что если каждый из нас будет выполнять свое дело честно, то мне это удастся. А если нет, то что ж, пройду весь путь от задержанного до осужденного и заключенного. И это будет наиболее убедительным доказательством измены руководства заветам Ленина.

Пока я это говорил, Семичастный сделал знак Кантову. Тот поднялся, подошел к выходной двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Постоял немного и пропустил в дверь старшину.

— У вас есть какие-то ходатайства? — спросил у меня Семичастный.

— Да, я прошу сообщить жене, чтобы она прислала мне гражданский костюм. Щеголять по тюрьме в генеральской форме я не хочу.

— Ну это мы можем найти гражданское и у нас.

— Тюремную форму я тоже не надену. Я еще не осужденный.

— Ну хорошо! Ваша просьба будет рассмотрена.— И у меня мелькнула искорка радостной надежды: «Жена узнает, что я здесь».

— Еще просьбы есть? — снова спросил Семичастный.

— Нет! — ответил я.

— В камеру! — тихо сказал Семичастный, глядя на Банникова. Тот кивнул и сказал старшине: «Уводите!»

Блеснула мысль: неужели действительно была альтернатива? Неужели при ином поведении мне бы в камере не ночевать? Нет! Не может быть! — отбрасывал разум этот вопрос.— Скорее всего, это игра. Хотят надломить волю, толкнуть разум на поиски соглашения со следствием. Но этого они не дождутся. Все что угодно. До смертной казни включительно, но не унижение лживым раскаянием.

Через десяток минут я был в камере (№ 76). Лубянская внутренняя тюрьма в то время еще действовала. Вспомнил жену, нанесенную ей обиду. Горько стало. После, когда она, переступив через эту обиду, встала у стен тюрьмы, защищая меня и других узников совести, мне стало еще горше и... стыдно.

На следующий день состоялась первая встреча со следователем. Георгий Петрович Кантов (двойной тезка моего сына, который был моим главным помощником по «Союзу»), выходец из бедной крестьянской семьи северной России — не то вологодец, не то пермяк. Было ему в то время около 42—45 лет. Думаю, нелегкое детство было у него и выбивался он в люди, не считаясь ни с чем. Такие служат особенно усердно. Крепко держатся за выгодное место и на все готовы ради продвижения. Он еще не отвык от голоса совести. И когда я особенно убедительно показываю лживость и бесчеловечье дела, которое он отстаивает, он смущается и краснеет, продолжая, однако, настаивать на своем.

На первой нашей встрече он произвел опрос по формальным данным — автобиографические, партийные, служебные, научные. В конце предупредил, что на ближайшее время официальных вопросов он не планирует, хочет просто побеседовать по листовкам. Он считает, что для правильного ведения следствия надо понять систему мышления подследственного. Я сказал, что мне безразлично, как он будет вести следствие. Я не считаю себя преступником и готов доказывать это в любой форме и последовательности.

И начались наши беседы. Он умел задавать вопросы и слушателем был первоклассным. Поэтому я изо всех сил старался как можно доходчивее изложить свое миропонимание. В нескольких своеобразных лекциях я изложил суть ленинского учения о государстве, взяв в основу «Государство и революцию» и отбросив государство как дубинку из ленинской лекции «О государстве». Подробно характеризовал советское государство, показав его угнетательскую роль и бюрократическую структуру. Все шло, с моей точки зрения, хорошо. Я заранее обдумывал вероятные темы наших бесед и готовился к возможным вопросам. Я был готов к ответу на любой из них, кроме одного.

Беспокоил меня вопрос о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске. Я ожидал, что меня спросят: «Откуда вы взяли, что в Новочеркасске в кого-то стреляли и что вообще там была антиправительственная демонстрация?» Такой вопрос был естественен, поскольку об этом расстреле официально нигде не сообщалось. Что же я мог ответить? Я абсолютно верил всему, что рассказал мне человек, видевший все своими глазами и знавший о событии также и по истокам. Но я не мог сослаться на этого человека, как не могу и сейчас назвать его. Думаю, что и сегодня ему не избежать бы больших неприятностей, если бы власти узнали о его участии в распространении сведений о новочеркасских событиях. Обдумывая ответ, я пришел к выводу, что отвечать можно только таким образом: «Я уверен, что все произошло именно так, как я описал в листовке. Назвать источники не могу, потому что, уверен, это против их безопасности. Если вы не согласны с моим описанием, давайте произведем гласное расследование с моим участием».

Но мне не пришлось прибегнуть к этому предложению. Георгий Петрович не рискнул отрицать событие. Он задал этот вопрос таким образом: «Ну вот, вы пишете в вашей третьей листовке, что в Новочеркасске войска расстреливали рабочих, но ведь дело было совсем не так...»

— А как? — бросил я быстрый вопрос.

— Ну-у... там были нарушения общественного порядка...

— Это по-вашему нарушение общественного порядка, а фактически на улицы вышли новочеркасские трудящиеся и пошли мирной манифестацией. Если там действовали хулиганствующие или террористические банды, которые можно урезонить только оружием, то почему об этом не сообщили в печати?

— Сообщили...

— Где? В какой газете? Я нигде таких сообщений не читал.

— В местной прессе,— сильно смутившись, сказал Кантов. И затем добавил: — Там зачинщиков судили... И об этом писала местная пресса...

— Ну да! Добивали тех, кого недостреляли на улицах. Об этом я знаю. Местная пресса дала короткое сообщение о том, что состоялся суд над зачинщиками общественных беспорядков. Судили 15 человек, чтобы запугать все население города. Из пятнадцати 9 приговорили к смертной казни и приговор привели в исполнение. Но меня интересует не это, а кто виноват в расстреле демонстрации, в убийстве нескольких сот людей, в том числе женщин и детей. Виновники этого преступления меня интересуют. И, в частности, я хотел бы знать, почему члены Политбюро — Микоян и Козлов — в общении с трудящимися предпочли пули словам. Это огромное преступление, равносильное убийству Коммунистической партии Советского Союза. Кровь, пролитая на улицах Новочеркасска, Тбилиси, Темир-Тау, Прилук, Александрова и других городов, непреодолимой преградой станет между партией и трудящимися.

Удача с наиболее опасным вопросом вдохновила меня, и все дальнейшие беседы я вел уверенно, пожалуй, даже самоуверенно. Чувствуя себя победителем, я не сдерживался ни в чем и выкладывал все, о чем думал и мечтал. В своем следователе я видел не врага, а воина одной со мной армии, который искренне заблуждается, и я должен помочь ему стать на истинный путь. Мне не пришло в голову, что своими несдержанными разговорами я сам готовлю свою гражданскую смерть. Наоборот, чем дальше шли наши беседы, тем самоувереннее становился я. После каждой беседы я говорил: «Вы же видите, что для следствия нет оснований. Ведя следствие, вы очень скоро попадете в тупик. Да что там попадете, вы уже в тупике. Вам не с чего начинать следствие».

Стыдно мне сейчас вспоминать, каким петушком я выглядел тогда. Много пришлось пережить, прежде чем я понял, что единомышленников там нет, никто из них не руководствуется совестью и честностью в ведении дела, чувствовать себя выше следователя, надеяться его обыграть по меньшей мере ошибочно. Как бы неопытен и неумен ни был следователь, он превосходит подследственного. Во-первых, он находится на работе, в обычных для него жизненных условиях, а вы вырваны из привычной среды и изолированы от всего мира в непривычных и даже нестерпимых условиях. Во-вторых, к каждому вопросу он готовится специально, пользуясь при этом всем накопленным следственным опытом. Допрос он ведет по заранее составленному плану. Он обдумывает формулировку каждого вопроса, и, чаще всего, даже самые наивные его вопросы имеют продолжение в дальнейших, тоже внешне невинных вопросах. А вы приходите, не зная даже вероятного характера данного допроса. В-третьих, следователь в курсе всей обстановки вне следственной комнаты и знает все материалы дела и все показания свидетелей. Подследственный же абсолютно не в курсе обстановки на воле, не знает свое дело, не знает не только, что говорят свидетели, но и кто свидетели. К тому же следователь может умышленно ввести подследственного в заблуждение.

Учитывая все это, многие правозащитники пришли к убеждению, что на следствии по политическим делам единственно правильная тактика: НЕ ДАВАТЬ никаких показаний, ничем не помогать следствию, готовящему фальсифицированный процесс. Я в то время этого не понимал. Я еще был коммунистом и работников следственного и судейского аппарата считал коммунистами. А меня «вели» как мальчика. Изучали все мое нутро. Только в Институте Сербского, когда я начал догадываться, что мои врачи осведомлены о том, что я высказывал «не для протокола», мне пришло в голову, что все мои высказывания записаны. В 1965 году я точно знал, что это так и что пленки прослушивались членами Политбюро. Их оценка моих высказываний и одновременно решение моей судьбы — в следующих словах Михаила Андреевича Суслова: «Так он же сумасшедший. Опасный для общества сумасшедший. Его надо надежно изолировать от людей». И эту информацию в Политбюро дал мой скромный, застенчивый, так непосредственно СМУЩАЮЩИЙСЯ и КРАСНЕЮЩИЙ следователь. Он несомненно заслужил на мне свой служебный взлет. За то время, что я был в спецпсихбольнице, он от подполковника вырос до генерал-майора.

Если бы я вместо того, чтобы петушиться, показывая свою эрудицию, занял строгую позицию неучастия в следствии, Георгий Петрович Кантов не стал бы так быстро генерал-майором КГБ. Да и моя судьба сложилась бы, наверно, иначе. Молчуна Политбюро могло и пустить на суд. И пошел бы я в лагерь, в среду своих единомышленников. Но про-

шедшего не вернешь. И жалеть не стоит. Наши предки мудро и оптимистично утверждали: «Что бы Бог ни послал, то все к лучшему».

Беседы закончились, но следователь продолжал вызывать меня по разным мелким, чисто формальным делам. То что-то объявит, то что-то даст подписать.

10 марта, вызвав меня, он с безразличным видом, как будто речь шла о каком-то пустяке, положил передо мной лист с машинописным текстом и сказал: «Познакомьтесь, пожалуйста, с этим постановлением и распишитесь». Я сразу охватил взглядом заголовок: «Постановление о направлении Григоренко Петра Григорьевича на амбулаторную психиатрическую экспертизу в Научно-исследовательский институт судебной психиатрии им. проф. Сербского».

Не читая текста, я уставился в лист. Затем поднял глаза на следователя и тихо, с укором спросил: «Значит, нашли выход из тупика?»

Георгий Петрович сделался весь красный и прямо с неподдельным ужасом воскликнул:

— Ай, Петр Григорьевич, что вы подумали! Это же пустая формальность. У меня нет никаких сомнений, что вы психически абсолютно нормальный человек. И я не послал бы вас на экспертизу ни в коем случае, если бы у вас в медкнижке не была записана «травматическая церебропатия» (контузия.— *П. Г.*). А так обязан вас послать на проверку. Без этого суд не примет от меня дело.

— Чтобы дело передать в суд, надо прежде всего иметь его. А у меня еще не было ни одного допроса по существу, еще нет ни одного доказательства моей вины, а вы уже спрашиваете, не сумасшедший ли я.

— Экспертизу я могу проводить на любой стадии следствия. Да и потом, это же амбулаторная экспертиза, через несколько часов вы вернетесь, и мы продолжим следствие.

— Вы сами не верите в то, что говорите. Мы с вами больше не встретимся, так как вам нечего поставить мне в обвинение.

— Ошибаетесь, Петр Григорьевич, мы с вами еще долго будем работать и выясним все вопросы.

— Ладно! — сказал я, взял ручку и в виде резолюции, пересекая строчки «постановления» наискосок, так и не прочитавши его, написал: «До глубины души возмущен направлением в психиатричку психически здорового человека. Экспертиза — формальность. КГБ решил, и это решение психиатры выполнят».

Кантов, увидя, что я вместо того, чтобы поставить свою подпись, начал что-то писать, подхватился, подбежал ко мне, но вырвать бумагу не пытался. Только сказал: «Зачем вы это делаете? Это же вам не поможет». Наверное, даже таким подоночным личностям, как он, нелегко направлять психически здоровых людей на пожизненное заключение в психиатрички.

12 марта, то есть ровно через 36 дней после ареста, «воронок» с Лубянки доставил меня в Институт им. Сербского. Дом мой был отсюда так близко. В каких-нибудь десяти минутах ходу. И в то же время никогда не было до него так далеко, как сейчас. Амбулаторная экспертиза состояла в том, что мой будущий врач-обследователь Тальце Маргарита Феликсовна задала несколько автобиографических и пару глупейших политических вопросов и записала в амбулаторной карте: «Нуждается в стационарном обследовании». Впервые я почувствовал глухую вражду. «Кошка ободранная»,— подумал я о Тальце.

Искусственная блондинка (обесцвечена водородом) с вытянутым сухим лицом, злыми глазами, тонкими губами и костлявой фигурой, она почему-то напоминала именно это животное в период беганья по крышам. За период моего пребывания в Институте Сербского с 12 марта по 19 апреля 1964 года беседы с нею составили самую тяжелую часть моих воспоминаний о том времени. Она все время чего-то доискивалась, непрерывно строчила в блокнот, задавая уйму глупейших вопросов по моим листовкам.

Своим непониманием и тупостью она буквально изматывала меня. Она не просто не понимала, она не в состоянии была понять значение морально-нравственных ценностей. Я часами доказывал ей, что невозможно пользоваться благами жизни, если кругом тебя люди бедствуют. Десятки раз она переспрашивала: «Ну вам-то, вам какое дело? Вам-то, при вашем окладе и ваших закрытых магазинах, чего не хватало?» И все мои ответы расценивались как суждения ненормального человека. Не понимала она также исторических аналогий. Эти аналогии не служили для нее доказательством. Она оценивала их только психиатрически: ты сослался на Чернышевского — записывается: «Сравнивает себя с Чернышевским», сослался на Ленина — «Сравнивает себя с Лениным». Она просто жила в ином умственном пространстве.

И вот именно этой своей неспособностью понять нормальный смысл разговора она сослужила мне полезную службу. Однажды, уже после нескольких часов пытки разговором, когда я, вымотанный до конца, сидел, отвернувшись от нее, и, подперев голову рукой, закрыл глаза и пытался отдыхать, пока она строчила в свой блокнот, вдруг проскрипел ее противный голос:

— Но все-таки, Петр Григорьевич, я до конца не могу понять вас. Вы многих уважаемых людей в свое время знали очень близко. Ну и, естественно, если кого тогда не уважали, то это неуважение и до сих пор сохранилось. Это мне понятно. Но ведь вы и самого

Никиту Сергеевича упоминаете очень неуважительно. Самого Никиту Сергеевича! Как же это так, Петр Григорьевич?

Я с неудовольствием оторвался от дремы. Раздражение охватило меня: «Ну что этой курице надо? Мыслить она совсем не может. Что же я ей скажу? Ладно, хоть ударю по ее куриным взглядам». И я твердо, с расстановкой, сказал:

— Ну а что такое Никита Сергеевич? Обычное ничтожество, которое случайно оказалось у руля государственного правления. Но долго не продержится. Больше чем до осени не протянет.

Неожиданно это оказалось доступным ее пониманию. Во-первых, НЕУВАЖЕНИЕ К ВЕРХОВНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА... называет его ничтожеством, значит, себя считает выше. Во-вторых (и это выносится в голову истории болезни), ПРОРОЧЕСТВУЕТ: предсказывает, что Никиту Сергеевича осенью снимут. Эта запись и сыграла решающую роль в досрочной моей выписке. Пример того, как иногда бывает и глупость полезна.

Думающий человек, даже искренне принимая меня за сумасшедшего, спросил бы, почему я так думаю. Тем более, он захотел бы выяснить ход моих мыслей, если не знает, вменяем я или нет. И, если б такой вопрос был задан, то задавший его убедился бы, что это не предсказание, а мой вывод из оценки политической ситуации в стране. Волюнтаристские эксперименты Никиты, особенно его стремление постоянно тасовать верхушку, которая, наоборот, стремится к покою и определенности своего положения, делают его персоной «нон грата» для высшей бюрократии. А так как поддержки в народе он не имеет, то судьба его, можно сказать, решена. Дело только во времени. Лучшее время для этого осень, когда определится урожай. Если хороший — улучшится снабжение и новые правители припишут его себе. Если, наоборот, урожай плохой, вину свалят на волюнтаризм... Эту логику я и изложил бы умному человеку. И, кстати, отказался бы от термина «ничтожество», потому что считаю Никиту Сергеевича самым достойным из послесталинской плеяды руководителей. Из них только он человек. Обычный, рядовой человек, которому ничто человеческое не чуждо. На «великого» он явно не тянул. Ему не хватало для этого понимания, что спасти его личную власть могла только демократизация жизни всей страны. Волюнтаризм надо было заменить демократией, и народ не дал бы свалить его. Но даже и так, как было, он не ничтожество. Все прогрессивное, что сделано после Сталина,— всем этим мы обязаны Хрущеву. Хотя, конечно, с его именем связаны и огромные нарушения прав человека.

Экспертиза, безусловно, нанесла мне много тяжких нравственных ударов, весьма серьезно травмировала мою психику. Но, вместе с тем, она, как это ни парадоксально, укрепила мой дух. Я уверился, что недовольство далеко проникло в различные слои народа. Мой эксперимент у «Серпа и молота» и на Павелецком вокзале говорил о чем-то, но сделать выводы на основе одного эксперимента было бы слишком опрометчиво. Другое дело здесь, куда попали на экспертизу люди из различных мест, из разных слоев, различных профессий, и у всех примерно те же недовольства.

Эти люди действовали в одиночку, но заставили их так действовать одни и те же обстоятельства. Поэтому, когда обстановка их свела, они сразу достигли взаимопонимания. Они ежевечерне собирались в моей комнате, усаживались прямо на полу. И я просвещал их политически. Застрельщиком этих встреч был, как это ни странно, профессиональный заключенный. К тому времени ему было около 50-ти, и он уже 34 года провел в детских колониях, лагерях и тюрьмах. Был он фактически неграмотен, мог только читать по складам и писать каракулями. Но при том чрезвычайно любознателен. Во время бесед смотрел мне в рот и буквально засыпал вопросами. Для меня было ясно, что, встретившись на воле, эти люди тоже нашли бы общий интерес. Но они не встретились там. Почему? Потому, прежде всего, что условия жизни не позволяют увидеть своих однодумцев. В обычной жизни царит ложь, люди не рискуют высказывать свое несогласие с правящей элитой из-за боязни репрессий. Вот и пытаются искать единомышленников листовками. Но стоит выпустить хотя бы одну, как огромный аппарат госбезопасности бросается на поиски создателей и распространителей и быстро вылавливает их.

И в душу мою закрадывается сомнение: «А стоило ли лезть в подполье? Единомышленников там не найдешь. В ПОДПОЛЬЕ ТОЛЬКО КРЫС МОЖНО ВСТРЕТИТЬ, а единомышленников надо искать в народе». Я невольно вспоминаю свое выступление на партийной конференции. Выступление беззубое, поверхностное и не поднимает главных вопросов. Листовки мои по сравнению с ним — глубокие, обстоятельные политические произведения. А результаты! О выступлении почти мгновенно узнала вся страна. После конференции люди встречали меня на улице, жали руку, говорили: «Спасибо! Правду в глаза прямо сказали». Больше половины делегатов прислали письма-протесты в МК, слух о выступлении пронесся по всей КПСС. Многие из давних моих сослуживцев слали письма-поздравления за выступление. На Дальнем Востоке, куда меня отправили в «ссылку», все знали о выступлении и встретили меня с симпатией. А листовки? Они стали известны самое большее нескольким десяткам человек и были уничтожены. Вряд ли кто рискнул сохранить такую крамолу.

Значит, тот, кто сейчас хочет бороться с произволом, должен уничтожить в себе страх к произволу. Должен взять свой крест и идти на Голгофу. Пусть люди видят, и тогда в них проснется желание принять участие в этом шествии. Народ пойдет к ним. Открытые выступления привлекают новые силы, уход в подполье увеличивает опасность ареста, не суля при этом роста сил.

Но вот и конец экспертизы. 19 апреля 1964 г. комиссия под председательством академика Снежневского при решающем участии профессора Лунца признала меня психически невменяемым. Мне этого, разумеется, не сказали. Но я не сомневался в том, что решение комиссии в пользу следствия.

На следующий день утром отправили в тюрьму.

Меня доставили в Лефортово и поместили в 25-ю камеру. Ни на допросы, ни на собеседование не вызывали. И я мог спокойно читать и думать. Прежде всего я потребовал увеличения прогулки от одного часа до двух. Получил разрешение. Через два-три дня после возвращения в тюрьму дали свидание с женой.

Свидание необычное. После обеда вывели на прогулку. Через несколько минут мне стало плохо. Попросил увести в камеру. Пообещали, но не уводили. Чувствую, вот-вот засну на ходу. Прошу еще раз увести. Снова не уводят. Выводной появляется только перед концом прогулки. Уводят. По пути в камеру встречается дежурный. Объявляет: «На свидание!» Мобилизую все силы и иду. Что было на свидании, не помню. Как вернулся со свидания, тоже не знаю. Впоследствии жена рассказывала, что я гримасничал, кричал «Рот фронт!», дергался, как марионетка, бросил ей очень неудачно записку, которая упала на пол. Подобрал на глазах у охраны и просто сунул ей в карман. Поэтому, когда свидание кончилось, с нее потребовали эту записку. Она ее отдала, но когда вернулась домой, записка была при ней. Это особое искусство, раскрывать которое я не имею права, так как, пока есть заключенные, у них есть и свои секреты.

Забрав записку, жене сообщили, что ее приглашает зайти следователь. И ее осенило: значит, свидание подстроено. Следователь, значит, хочет знать ее впечатление. Поверила ли она в невменяемость мужа. Поняв это, она, войдя в кабинет, набросилась на следователя чуть ли не с кулаками: «Что вы с ним сделали? Что вы ему дали? Чем вы его опоили? Я буду жаловаться! На весь мир кричать, что вы его убить хотите!»

— Вы, Зинаида Михайловна, всегда к нам относитесь с недоверием. Ничего мы ему не давали.

Следующее свидание дали через 5—6 дней. Прошло очень хорошо. Жена много рассказывала, а я смотрел на нее и насмотреться не мог. Между прочим она спросила:

— А прошлое свидание ты помнишь?

— Нет! Я даже не знаю, было ли оно вообще. Я уснул сразу после свидания, а утром все вчерашнее, начиная с прогулки, было как в тумане. Я помню, что просил увести меня с прогулки, и помню, что уводили. А вот все остальное было или это только сон — не уверен.

На этом свидании жена сказала мне и о том, что я признан невменяемым.

Дальнейшая жизнь потекла однообразно, если судить по событиям. Но человек живет не только событиями. Одновременно, а в условиях тюрьмы преимущественно, человека занимает его внутренний мир. Перебираешь прошлое, передумываешь отношения в тюрьме, анализируешь политическую жизнь и свой духовный мир. Все чаще и чаще я возвращался к вопросу о тактике защиты от произвола властей. И все больше уверялся, что если и можно чего-то добиться, то только путем открытой смелой борьбы. Люди любят правду, благородство, честность и увлеченно следуют примеру смелой, мужественной борьбы за справедливость и добро, против зла, лжи и обмана, в защиту слабых и гонимых, против всяческого произвола. Значит, всяк, кто может, обязан открыто подавать пример, и армия мужественных, честных и справедливых будет расти.

Ну а какие же организационные формы надо придать этому движению? Долго раздумывал и твердо решил: НИКАКИХ. Во-первых, как только ничтожные по численности и силе группки попытаются объединиться, они будут немедленно ликвидированы КГБ. Во-вторых, я не хочу ни в какую партию. Я сыт партией по горло. Всякая партия — гроб живому делу. Программные споры и уставные свары затопят любое живое дело. Нет! Надо просто работать и просто любить людей, т. е. бороться против того, чего ты самому себе не желаешь. Только на такой основе объединение людей будет истинным, не организационным единством, стянутым обручами устава, а духовным братством. Мне думалось, что такое единство может в тоталитарном обществе развиться спонтанно, охватить большинство общества и таким путем устранить от власти тиранические элементы, создать иной, чем теперь, тип общественных отношений. Никто не может переделать человека, никакая власть, никакие социальные условия. Переделать можно только самого себя. И переделка эта может быть только духовной. Если человек на это не способен, изменение социальных условий не поможет.

Так судил я об организованности движения. И эти мысли не были неожиданными. Уже цепочка СБзВЛ была «неорганизованной организацией». Это уже было объединение духовное. По сути я и остался на идее цепочки, но только цепочки гласной, связывающей

всех честных, справедливых, мужественных на основе любви к людям, на основе прав, данных человеку Богом и потому неотъемлемых.

В первый же вечер в Лефортовской тюрьме я услышал колокольный звон, и сколько же чувств и воспоминаний поднял он во мне. Вспомнилось детство, отец, дядя Александр, отец Владимир, Сима, Валя, церковные праздники, особенно Рождество, Пасха, церковные богослужения. И ведь верующим я в то время не был. Правда, атеистом тоже не был. Был агностиком — безразличным к вероучениям. А вот голос Церкви услышал. Раньше не слышал. Почти 2 месяца лежал я в Главном военном госпитале, т. е. в том же районе, где теперь сижу в тюрьме, но звона не слышал. Я даже удивился, услышав звон впервые: «Где же здесь церковь? Раньше вроде бы не было». Но она была, подавала голос. И мне так захотелось побывать в этой церкви. Нет! В Бога я не уверовал. Чуда не совершилось, но в душе церковь эта вырисовывалась как живое существо, подающее живой голос. И я решил: если я когда-нибудь выйду на свободу, то в первую очередь и всенепременно пойду в этот храм, который вот звучит и как бы связывает меня с внешним миром. И все время, пока я был в Лефортово, звон исправно посещал меня. Я теперь уже запомнил время, и когда оно приближалось, откладывал все дела и приготавливался слушать. И каждый раз с первым ударом в душу вливалось блаженство, и, когда звон замолкал, было так жаль.

Я выполнил свое обещание. После освобождения я при первой же встрече с «племянничком» — Григорием Александровичем Павловым — спросил у него: «Вы не знаете церковь в районе Главного военного госпиталя?»

— Знаю, конечно. Церковь Петра и Павла. Построена Петром I как солдатская церковь.

— Я, когда сидел в Лефортовской тюрьме, слышал звон. Может, там есть еще какая церковь?

— Нет, никакой другой нет. Из тюрьмы вы могли слышать только ее.

— Но почему же я не слышал звона, когда в 1952 году лечился в Главном военном госпитале? Что, она тогда закрыта была?

— Нет, Петр Григорьевич, это душа ваша была закрыта тогда для звона церковных колоколов. Теперь, значит, открылась. Дай Бог, чтоб открылась она и для Слова Божьего.

Я рассказал ему, как слушал звон, что он для меня там значил, какие чувства вызывал, упомянул и о том, что дал себе обещание посетить этот храм после освобождения, и в заключение спросил: «Вы не могли бы составить мне компанию, а то ведь я так давно не бывал в храме, что даже не знаю, как туда вступить. Если можете, назначайте, когда».

— Да что откладывать. В воскресенье и пойдем.

Нам повезло. Попали мы на архиерейскую службу. Сама эта служба — красивое и величественное зрелище. Но я почти ничего не запомнил. Церковь была переполнена. И, вопреки утверждениям властей, преобладающей частью молящихся были люди зрелого возраста и молодежь, а не подобные мне и более пожилые старики. Но это я заметил в самом начале. Затем чувство реального было утрачено. Я не молился в том смысле, что не читал молитв и не просил Бога ни о чем. Но состояние, в котором я пребывал, пожалуй, иначе как молитвенным не назовешь.

Я оторвался от всего, что осталось за пределами храма, и вместе со всем, что творилось в храме, унесся куда-то в неведомые дали. Я видел и слышал службу Божию, но душа моя на этом не сосредоточивалась. Она сама, отдельно, витала в волнах неземного блаженства. Когда служба закончилась и люди пошли к крестному целованию, я понял, что надо спускаться на землю, но страшно хотелось унести и те волны благости, в которых купалась душа.

Из Лефортово мы пешком добрались до Комсомольского проспекта. Всю дорогу говорили о Боге, о вере, о сегодняшней службе Божьей. Собственно, говорил почти все время Григорий Александрович. И его голос, как повивальник, охватывал мою душу и удерживал в состоянии установившейся умиротворенности. Пришли к нам домой физически уставшие, но душа у меня, по крайней мере, находилась в состоянии покоя. Таким счастливым, как в тот день, я никогда не был. И если бы потребовалось установить дату моего возвращения к вере отцов своих, то я бы сказал, что это произошло в мае 1965 года, во время торжественной архиерейской службы в храме Петра и Павла в Лефортово.

...Как-то, вскоре после завтрака, открылась дверь камеры, и впустили невысокого, щупленького, к тому же сильно исхудавшего бородача. При ближайшем рассмотрении бородач оказался юношей чуть старше 20 лет. Это был Алеша Добровольский. Он обежал камеру, как бы обнюхивая все ее углы, бросил свой мешочек на самую дальнюю от дверей койку и еле слышной скороговоркой спросил: «Это больничная палата?» Поздороваться он забыл.

— Не знаю,— ответил я.

— А вы сами как? Признаны невменяемым или под суд идете?

— Признан невменяемым.

— А хлеб какой дают? Черный или белый?

— Белый.

— Ага, значит, больничная. Слава Богу! В лагерь не попаду. Значит, признали невменяемым.

— Чему же вы радуетесь? Разве психушка лучше?

— Конечно. В лагере тяжелая работа, плохое питание, спать на нарах, в бараках холодно, и в Москву по окончании срока не попадешь. Я уже был один раз. Правда, не на спецу. За 6 месяцев отделался. Сейчас, конечно, как рецидив, продержат дольше и, наверно, на спец пошлют, но все же не лагерь.

Мы пробыли с ним в одной камере больше месяца. Освободился он из психушки несколько позже меня. После освобождения старался быть поближе ко мне. Сделал много полезного для меня, познакомив с такими выдающимися правозащитниками, как Буковский, Гинзбург, Галансков, но душонку имел слабую, несмотря на то что молился, находясь со мной в камере, весьма усердно, истово бил поклоны, осеняясь крестным знамением, и шептал молитвы. Но в КГБ прекрасно разобрались в истинном его характере, поняли, что он боится лагеря, и при очередном (третьем) аресте невменяемости не дали, и он сломался: на суде выступил с лживыми показаниями против Гинзбурга и Галанскова, за что получил небольшой срок (2 года) и по окончании срока отошел от движения. Продолжает ходить в церковь. Но верующий ли он? Хотя звон в камере 25 слушал вместе со мной и каждый раз информировал меня, по какому поводу звонят, и усердно молился.

В целом Лефортовская тюрьма, несмотря на краткость пребывания в ней (20.4 — 14.8.1964 г.), была временем моего нового духовного становления, более интенсивного освобождения от коммунистических привычек и идей. Так, 1 мая 1964 г. я совершаю чисто коммунистический поступок. От центрального поста дежурного по тюрьме я, возвращаясь с прогулки, во весь голос поздравил заключенных с праздником 1 Мая и пожелал скорого прихода того времени, когда будут разрушены все тюрьмы. И в этих же днях высказался как антикоммунист. Было так. Производился «шмон» (обыск) в камере. Видимо, потому, что камера больничная, присутствовала медсестра — молоденькая девчоночка, примерно ровесница Алеши Добровольского. Поскольку в обыске она не участвовала, а показать себя ей хотелось, то она занялась «воспитательной работой». Обращаясь к Алеше, она сказала: «Как же вы — учились в советской школе и верите в Бога?»

— А вы в какой школе учились? — оборвал я ее.

— Тоже в советской,— растерянно ответила она.

— А я думал, в фашистской, так как эта школа сделала из вас тюремщика.

— Ну... надо же кому-то и здесь работать...— еще более растерялась она.

— Конечно, надо, если рассуждать по-фашистски или по-коммунистически, а если по-демократически, то тюрем для свободолюбивых людей, таких тюрем, как Лефортово, вообще не надо. Их и нет в демократических странах.

Продолжал я думать и о системе психиатрического воздействия. Я все тверже становился на ту точку зрения, что существует секретно узаконенный порядок превращения инакомыслящих в сумасшедших. Привлеченные к этому врачи-психиатры не заблуждаются, а сознательно совершают преступления. Еще одно подтверждение этому я получил в Лефортово. Как-то на прогулке слышу: «Молодой, здоровый, торчишь здесь на вышке, как „попка". Ты хоть понимаешь, кого ты охраняешь?» Этот голос я узнал бы и среди многих тысяч.

Сейчас говорящий находится в прогулочном дворике с противоположного моему конца коридора. С такого расстояния и крик нечетко доносит слова. А этот голос — не повышенный, нормально разговорный — несет четко каждую букву. Голос — иерихонская труба. Я знал только одного человека с таким голосом. На экспертизе в Институте Сербского такой голос был у калининградского бухгалтера Боровика. Ему я предсказал психиатричку. Он очень возмущался таким предсказанием. Твердил: «Значит, вы считаете меня сумасшедшим!» И сколько я ни доказывал, что в психиатричку его пошлют не потому, что он больной, а потому, что против него нет дела, а выпускать его на волю нельзя, он этого понять не мог. Экспертиза у него закончилась недели на две раньше, чем у меня. Пришел он с комиссии радостно-возбужденный и еще с порога, не в силах сдержать свое торжество, произнес, обращаясь ко мне: «Ну вот, Петр Григорьевич, вы не правы. Меня признали вменяемым и отправляют на суд в Калининград».

— Я очень рад за вас,— ответил я,— от души поздравляю, но не понимаю.

Теперь я вдруг услышал его голос и закричал:

— Павел Иванович! Вы до сих пор здесь? Что же вас так долго держат?

— Да обманули, сволочи! Признали невменяемым! Здесь, в тюрьме, ознакомили меня с актом.

Таким образом я еще раз убедился, что действует четко отработанная система, преступный психиатрический синдикат. Об этом же свидетельствовало и мое дело. 17 июня состоялся суд надо мной. Судила военная коллегия Верховного суда СССР. Меня, как «сумасшедшего», на суде не было, жену на суд не допустили. В результате мои «интересы» на суде «отстаивал» адвокат Коростылев, который ни разу в жизни не видел меня, которому не разрешили даже взглянуть на меня. Этот подонок мог говорить все что угодно, но только не то, что не нужно КГБ. Он избрал для своего словоблудия гаршинский «Красный цветок». Свою речь он начал так: «Все знают рассказ Гаршина о сумасшедшем, который помешался на красном цветке...»

Вообще суд был потрясающий. Из шести человек, присутствовавших на суде,— председатель коллегии, два члена, прокурор, адвокат и эксперт — видел меня только последний. Кстати, выступивший в этой роли профессор Лунц выступал незаконно. Такие выступления относительно военнослужащих — обязанность главного психиатра Вооруженных Сил. Но занимавшего эту должность генерал-майора м/с Н. Н. Тимофеева даже не поставили в известность, что в его ведомстве появился «сумасшедший» генерал. Вот так я был приговорен к сумасшествию.

14 августа меня этапировали в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу. Поздно ночью мы прибыли туда. На следующий день новоприбывших осмотрела приемная комиссия. Когда я зашел в комнату врачей, там было полно народу. Высокий подполковник стоял посредине комнаты, что-то говорил присутствующим врачам, но прервался при моем появлении и, обернувшись ко мне, резко спросил:

— Ну, что вы там натворили?

— А вы, собственно, кто такой? — спокойно спросил я.

Он несколько опешил, но, видимо, счел мой вопрос законным и ответил:

— Я — главный врач больницы подполковник Дементьев.

— А я по вашему вопросу предположил, что вы — следователь.

— Вы эти издевочки бросьте. Мы вам здесь болтать не позволим,— резко сказал он.

— Подполковник, не забывайтесь! — еще резче ответил я.— Таким тоном я и начальникам своим не позволял говорить со мной.

— Здесь я — начальник!

— Тогда я прошу увести меня. Я пришел сюда разговаривать с врачом, а не с начальником.

— Александр Павлович! Поговорите,— крикнул Дементьев и выбежал из комнаты.

Александр Павлович — молодой человек около 35 лет, пригласив меня сесть к своему столу, извинился за бестактность главврача. Но я не принял его извинения, заявив, что, пока подполковник не извинится лично, я разговаривать с ним не буду. Впоследствии я пожалел об этой резкости. Выяснилось, что Дементьев сам страдает шизофренией в тяжелой форме. Он был госпитализирован в какую-то психиатричку санаторного типа и умер, не выходя из ее стен.

С Александром Павловичем — моим лечащим врачом — у меня сохранились отличные отношения. Я и до сих пор испытываю к нему чувство большой признательности.

О пребывании в Ленинградской специальной психиатрической больнице (ЛСПБ) я много рассказать не смогу. Во-первых, потому, что был довольно скоро изолирован от остального состава. Во-вторых, охраняя свои нервы, старался как можно лучше самоизолироваться и не замечать того, что вредно отражается на психике. Главные мои впечатления об этом периоде были вскоре после освобождения описаны в небольшом самиздатском эссе, содержание которого излагается ниже. При чтении прошу учесть: в его основе личный опыт, и только по одной (лучшей) больнице, и лишь за ограниченный период.

Такие больницы, как ЛСПБ, в экскурсионном порядке можно показывать кому угодно, хоть интуристам. Наиболее доверчивые могут даже восхищаться. Но не будем торопиться. Давайте посмотрим всю систему.

Начать надо с истока, то есть выяснить, действительно ли туда попадают психически больные люди. И не заложены ли в самой системе условия для грубейшего произвола. Человек попадает на психиатрическое обследование в скандально знаменитый Институт судебной психиатрии имени проф. Сербского на основании постановления следователя. Институт этот номинально входит в систему Минздрава СССР.

Говорят, что кагебистским является только одно отделение — то, которое ведет экспертизу по политическим делам. Мне лично думается, что влияние КГБ, притом решающее, распространяется на всю работу института. Но если дело обстоит даже так, как говорят, то возникает вопрос — может ли психиатрическая экспертиза по политическим делам быть объективной, если и следователи, и эксперты подчиняются одному и тому же лицу да еще связаны военной дисциплиной?

Чтобы долго не гадать над этим вопросом, расскажу о том, что видел сам. Прибыл я во второе отделение (политическое) Института им. Сербского 13 марта 1964 года. До этого даже не слышал о таком приеме расправы, как признание здорового человека психически невменяемым, если не считать, что мне было известно о Петре Чаадаеве. О том, что в нашей стране существует система «чаадаевизации», мне и в голову не приходило. Я понял это, лишь когда мне самому было объявлено постановление о направлении на психиатрическое обследование. Для меня стало ясно, что никакого следствия не будет, что мне обеспечена психиатричка на всю жизнь. Логически придя к этому выводу, я впоследствии рассматривал все явления под этим углом зрения.

Когда я прибыл в отделение, там находилось 9 человек. В течение последующих пятишести дней прибыли еще двое. Руководствуясь своим пониманием цели экспертизы, я предсказал всем одиннадцати, кого какое ждет заключение. Исходил я при этом только

из характера дела каждого — из доказанности или недоказанности преступления, а не из психического состояния человека. Да, собственно, даже и без медицинского образования было ясно, что психически неполноценным является среди нас один только Толя Едаменко, но именно ему я предсказал обычный лагерь. Дурдом, по-моему, ожидал только трех: меня, Боровика Павла (бухгалтер из Калининграда) и Дениса Григорьева (электромонтер из Волгограда). У этих людей следственное дело было пустое, и не было никакой возможности наполнить его содержанием.

Все остальные, по-моему, должны были быть признаны нормальными, хотя трое очень искусно «ломали ваньку», изображая из себя психически невменяемых, а один и в действительности был таковым. Один был у меня под сомнением — Юрий Гримм, крановщик из Москвы, который распространял листовку с карикатурой на Хрущева. Ему я сказал: «Не раскаешься — пойдешь в дурдом, раскаешься — в лагерь». Это заключение я сделал на том основании, что к нему несколько раз в неделю приезжал следователь и, обещая всякие блага, убеждал в необходимости «раскаяться». В конце концов Юра раскаялся и получил три года лагеря строгого режима. Полностью оправдались и другие мои предсказания.

Ленинградская СПБ находится в здании бывшей женской тюрьмы, рядом со знаменитыми «Крестами». Здесь, как и в обычных тюрьмах, нормальные перекрытия имеются только над камерами. Середина же здания полая. Так что из коридора первого этажа можно видеть стеклянный фонарь крыши над пятым этажом. В этом колодце звуки распространяются очень хорошо и даже усиливаются. Именно на этом была основана одна из психических пыток заключенных этой больницы в сталинское время.

Но для меня лично это обходилось благополучно. Возможно, условия профессии, а может, железное здоровье, которым наградили меня родители, позволили быстро приучить себя к самоизоляции от всего, что не имеет непосредственного отношения ко мне. Я мог не слышать, чем жила вся тюрьма, и не заметил даже, как занимались в течение более чем двух часов ловлей буйнопомешанного, которому удалось каким-то образом вырваться у санитаров и в голом виде носиться по всем этажам.

Я мог привыкнуть и не замечать непрерывную чечетку, отбиваемую у меня над головой почти круглые сутки (перерывы наступали только в те короткие промежутки времени, когда танцор падал в полном изнеможении). Я не замечал и многого другого. Но я представляю, что должен переживать человек, который все окружающее воспринимает прямо на открытую нервную систему, у кого не развиты, как у меня, защитные нервные функции.

Если бы в такую обстановку люди попадали только иногда, случайно, и то каждый такой факт надо было бы расследовать самым тщательным образом и, безусловно, с соблюдением самой широкой гласности. Но это не случайность, а система. Притом широко практикуемая.

У больного СПБ нет даже тех мизерных прав, которые имеются у заключенных. У него вообще нет никаких прав. Врачи могут делать с ним все что угодно, и никто не вмешается, никто не защитит, никакие его жалобы или жалобы тех, кто с ним находится, из больницы никуда не уйдут. У него остается лишь одна надежда — честность врачей.

Мне мой лечащий врач так и сказал, когда я при первой нашей беседе нарисовал ему картину моего полного бесправия, полной незащищенности. Глядя на меня честным, открытым взглядом, он спросил: «А честность врачей вы ни во что не ставите?» Я ответил: «Нет, что вы, на нее я только и рассчитываю! Если бы я перестал верить и в это, то мне пришлось бы искать только пути к самоубийству. В честность некоторых врачей я верю, но знаю также, что для проявления этой честности нужно еще и мужество».

Поэтому я сказал тогда и сейчас продолжаю настаивать, что никуда не годна та система, при которой у тебя остается надежда только на честность и мужество врачей! А если врач попадется нечестный или трус? Нельзя же думать, что среди врачей-психиатров такого добра меньше, чем среди других профессий.

Особо тяжко сознавать полную неопределенность времени, на какое человека определили в спецпсихлечебницу. У врачей существуют какие-то минимальные нормы. Мне они неизвестны. Однако достоверно знаю, что совершивших убийство держат не менее пяти лет. Говорят, что политические в этом отношении приравнены к убийцам. Но их, если они не раскаиваются, могут не выписать и дольше.

В общем, обстановка сумасшедшего дома, полное бесправие и отсутствие реальной перспективы выхода на свободу — вот те главные страшные факторы, с которыми столкнется каждый, кто попадет в СПБ. В этих условиях у людей с ранимой психикой может быстро зачаться психическое заболевание, прежде всего — подозрительность к врачам: боязнь того, что в отношении тебя умышленно проводится лечение, направленное на разрушение нормальной психики. Хуже всего, что в условиях отсутствия прав у больных и при полном отсутствии контроля со стороны общественности такое логически вполне возможно.

На этом и закончились мои воспоминания о СПБ. Вполне естественно, что, взяв за цель лишь общую оценку системы принудительных мер «медицинского характера», я не мог

сосредоточиться на событиях, касавшихся меня персонально. О тех из них, которые впоследствии оказали влияние на мою дальнейшую жизнь, я расскажу здесь.

Начну с дела о моем увольнении из армии и пенсионном обеспечении. По закону уголовные дела на признанных невменяемыми прекращаются. Военнослужащие увольняются в запас или отставку без права ношения формы или зачисляются в резерв до выздоровления. Жалованье выплачивается со дня ареста по день суда, и оформляется увольнение из армии. При увольнении выплачивается выходное пособие (жалованье за два месяца) и назначается пенсия в соответствии с положением о пенсиях военнослужащим.

В конце августа жену пригласили в ГУК и объявили, что Совет Министров СССР лишил меня звания генерала и в связи с этим никаких денег ей не положено. С этим она и приехала ко мне на свидание. Рассказала начальнику больницы полковнику Блинову. Тот — тонкий знаток законов, касающихся его и всей бюрократической техники,— заявил: «Этого не может быть. Я прошу ничего не говорить Петру Григорьевичу, пока я сам не проверю». И еще раз повторил: «Этого не может быть». Но жена ответила: «Для нас все может быть. Поэтому я мужу об этом скажу, но добавлю, что вы не допускаете такого и будете проверять».

Когда она рассказала мне это, я рассмеялся. «Неразумное наше правительство,— сказал я,— не умом руководствуется, а злобой. Присудили меня к сумасшествию, и многие поверили в него. Но кто же будет верить после такого нарушения закона? Им все мало, хотят наказать побольнее, а в «Робинзона Крузо» не заглянули, не прочитали, что когда дошло до наихудшего, то начинается улучшение. Хуже сумасшествия быть ничего не может, а они своим разжалованием сняли с меня именно это наказание, то есть наступило улучшение».

Жена в раздумье повторяла: «Истинные дураки! Идиоты! Но и подлые! Какие же подлые!»

Оба мы прекрасно понимали, что радоваться нечему. Жена тяжело больна, и у нее на руках сын — инвалид с детства; второму сыну надо бы учиться, а он вынужден работать за мизерную зарплату (50 руб.). Я не представлял себе, как они жили, как вообще можно было жить, не имея постоянного источника дохода. Только руками жены, только ее мастерством швеи. И все же лишение звания подняло мой дух. Ведь страшное дело, когда с тобой обращаются как с сумасшедшим, смотрят как на сумасшедшего. Невольно проникает где-то мысль: «А может, действительно, у меня что-то не так с психикой?» Лишение звания отбрасывало это сомнение. Беспокоила только мысль: «Как будет жить семья?» Но жена подставляет плечо: «Не волнуйся, проживем».

— Как же не волноваться. Ведь это не меня, тебя бьют. Сталинские порядочки: на меня злы, а бьют семью. Трех инвалидов оставили без куска хлеба.

Свидание закончилось. Жена уехала. А здесь вся больница переживала мое разжалование. Все были в недоумении. Отношение ко мне резко изменилось: «Как же так, у больного хлеб отнимают». Мне сочувствуют и, кто как может, выражают это сочувствие.

И я думаю над происшедшим. Грабеж, обычный грабеж. Ведь если положено выплатить жалованье человеку, уголовное дело которого прекращено, то его надо выплатить. Это же закон, обязательный для всех. Если пенсия заслужена уже, то, даже если бы ты совершил преступление, нет такого наказания, как отнятие пенсии.

Впоследствии я узнал, как все происходило. Первые сведения поступили от одного из тех, кто готовил мое увольнение. Постановление Совета Министров было подготовлено, как положено, по закону: увольнение в запас без права ношения формы. Проект постановления передали маршалу Малиновскому, и он уехал в Совет Министров, а вернулся с постановлением о разжаловании.

Несколько позже я узнал от одного из присутствовавших при решении моей судьбы. Малиновский положил проект перед Хрущевым. Тот долго сидел, молча глядя в проект. Потом сказал:

— Что же это получается? Он нас всячески поносил, а отделался легким испугом. Получит сейчас жалованье за полгода, генеральскую пенсию и будет себе жить и на нас поплевывать.

— Да нет, он будет в психушке. Это семья получит,— заявил Малиновский.

— Тем более! Муж безобразничал, жена ему помогала, а теперь ей премию за это. Нет, надо разжаловать.

— Не по закону, Никита Сергеевич, уголовное дело прекращено. Он уже в психушке,— снова высказался Малиновский.

— Что значит не по закону! Имеет же право Совет Министров лишать генеральских званий!

— Имеет,— вмешался Косыгин.— Но тогда не нужно было передавать дело в суд. А мы передали, и все пошло по иной линии. Мы свое право отдали военной коллегии, и она решила в пользу увольнения из армии, без разжалования.

— Э, чепуха! Суд сделал то, что мог. А если что недоделал, мы можем свое право использовать,— раздраженно заметил Хрущев. И, обращаясь к одному из своих помощников, распорядился: «Приготовьте постановление на разжалование».

Когда принесли постановление, Хрущев, как и в первый раз, надолго уставился в него. Наконец резко поднялся и сказал: «Больно много чести, мне подписывать! Подпиши!» — и пододвинул проект постановления Косыгину... И тот... подписал.

Рассказчик при этом заметил: «Это был классический номер в духе Хрущева. Он хотел ударить, но так, чтобы самому остаться в стороне. Стоило Косыгину сказать: „Нет, Никита Сергеевич, здесь дело связано с нарушением закона, поэтому подписывайте вы сами“,— и, я уверен, Хрущев не подписал бы, и постановления этого не было бы».

Впоследствии я получил косвенное подтверждение правдивости приведенного рассказа. Через несколько лет после снятия Хрущева с занимаемых им постов его на даче навестил Петр Якир с женой и один из знакомых Якира, тоже с женой. Хрущев их очень гостеприимно принял и долго беседовал. В ходе беседы Петр упрекнул его за то, что он разжаловал из генералов «хорошего человека», Петра Григоренко.

— Это не я,— сказал Никита Сергеевич.— Это все они, сволочи. Я был против. Я даже постановление не стал подписывать. Косыгин подписал.

Что еще можно добавить к этому рассказу? Мелочность, низкое злобствование, трусость и лживость — вот что характеризует «вождей» государства, затративших много часов, чтобы обойти закон для одного человека. Один лишь Малиновский держал себя достойно. И хотя в той среде ему приходилось извиваться, но свое дело он знал и делал его честно. Я всегда относился к нему с уважением и храню это чувство до сего дня.

Рассказанное было крупным событием для меня и сильно потрясло больницу. Блинов писал несколько раз, доказывал необходимость исправления «ошибки», но Министерство внутренних дел молчало. Это вызывало недовольство врачей. Один из них говорил мне: «Они лишили нас морального права держать кого-либо за этими стенами. Нас постоянно упрекают вами, спрашивая: больной он или здоровый?»

В связи с такими настроениями врачей мой режим понемногу смягчался. Сестры, когда уходило начальство, угощали меня настоящим чаем, надзиратели обращались с политическими вопросами, мне было дозволено на два часа в сутки выходить в коридор для выполнения работ по уборке. Мне даже дозволили драить поручни лестницы между нашим (вторым) и первым этажами. Это было уже значительное доверие. Ведь на какой-то момент я становился на территорию чужого отделения. А на общение между отделениями было наложено строжайшее «табу». Но у меня как раз такое общение и началось.

Через несколько дней после того, как я начал драить лестничные поручни, в то время, как я дошел до первого этажа, послышался шепот: «Петр Григорьевич, здравствуйте...» — голос Алеши Добровольского. С этого дня не было ни одного вечера, чтобы мы не перекинулись несколькими словами. Он был удивительно приспособлен к психиатричке. Как он умудрялся покидать свою палату как раз тогда, когда я был на их этаже, как уходил из-под наблюдения и где прятался, разговаривая со мной, трудно было представить. В одну из наших встреч он сказал: «Завтра я познакомлю вас с Володей Буковским. Когда я завтра пройду в уборную, смотрите: сразу за мной будет идти парень в черном рабочем костюме. Это и будет Володя».

О Володе Буковском Алеша говорил мне еще в Лефортово. Он был буквально влюблен в Володю и советовал мне обязательно познакомиться с ним, как выйду на свободу. И вот теперь он решил не откладывать знакомство. На следующий день мы с Володей обменялись взглядами, кивками головы и приветственными жестами. Это заняло не очень много времени, но я запомнил его энергичное, волевое лицо, а вскоре, встретившись уже лично, полюбил этого юношу — мужественного и предприимчивого. В будущем нам предстояло действовать в общем деле не только порознь, но и совместно.

В октябре 1964 года сняли Хрущева с занимаемых им постов. Я для себя не ждал ничего хорошего от этого. Людей же эта смена власти беспокоила. Меня каждый вечер кто-нибудь спрашивал, лучше это или хуже. Я отвечал в том смысле, что вообще-то хуже уже некуда, но и лучшего взять негде. «Скорее всего,— говорил я,— будет все же ухудшение. Для себя лично,— утверждал я,— жду только худшего». Но случилось иначе.

2 декабря 1964 года приехала из Москвы комиссия по выписке выздоровевших. Я обратился к Александру Павловичу: «Вы меня представляете на комиссию?»

— Не могу, Петр Григорьевич. Для представления на комиссию надо наблюдать не менее 6 месяцев, а вы у нас меньше четырех.

Но на следующий день выводят: «На комиссию». Ведут к кабинету начальника больницы. Перед кабинетом на противоположной стороне коридора стоит секция театральных кресел. Сажусь в крайнее слева.

Сижу, держа голову прямо, по сторонам не оглядываюсь. Однако правый глаз через некоторое время отмечает человека, подошедшего с правой стороны. Узнаю: один из тех, кто присутствовал на заседании экспертной комиссии Снежневского, решавшей вопрос о моей вменяемости в Институте Сербского,— кандидат (впоследствии доктор) медицинских наук Шестакович. Продолжаю сидеть, делая вид, что не замечаю его.

— Вы меня не узнаете, Петр Григорьевич?

— Почему же нет. Вы были у меня на комиссии в Институте Сербского.

— Во, во, во,— радостно закивал он головой.— А можно задать вам несколько вопросов? Не для проверки чего-нибудь, а в порядке обычного разговора. Если вам не хочется разговаривать, так и скажите, я не обижусь.

— Нет, почему же? Спрашивайте!

— Скажите, как вы относитесь к нашему медицинскому заключению? Как вы его оцениваете? Только откровенно.

Задумываюсь. Сказать всю правду — так он же на комиссии будет против моей выписки. Говорить же неправду не умею. Пришлось быстро находить примиряющую формулу. И я ее нашел: «Я думаю, что, принимая решение, члены комиссии хотели сделать лучше для меня...»

— Вот, вот, именно, искали решение в ваших интересах,— он даже засиял весь, увидя мое понимание.

Но я еще не закончил. Остановив его излияния, я продолжил:

— Но вся беда в том, что, заботясь обо мне, забыли спросить у меня, как мне лучше.

— Ну, Петр Григорьевич, это же не вопрос. Неужели вы думаете, что в лагере вам было бы лучше? Вы немолодой человек, здоровье у вас, скажу откровенно, неважное, а там тяжелый труд, плохое питание, бытовые неудобства. К тому же вы заслуженный человек, а, идя в лагерь, все теряете. А здесь сохраняются и заслуги, и привилегии. Другое дело, что с вами поступили незаконно, но это, я думаю, в ближайшие дни будет исправлено. Я надеюсь, что вы еще пришлете нам свою благодарность. А сейчас разрешите задать еще один вопрос. Я еще раз напоминаю, что вы, если не желаете, можете не отвечать.

— Спрашивайте.

— В начале апреля прошлого года в разговоре с вашим экспертом вы предсказали, что осенью Никиту Сергеевича сместят с его постов. На основе этого заявления она записала вам «профетизм» (пророчествование как психическое заболевание.— *П. Г.*). Теперь, когда пророчество полностью сбылось, о сохранении этого диагноза не может быть и речи. Но, если это можно, скажите, как вы могли определить, что Хрущева ждет снятие. Я еще раз говорю, что если вы почему-то не можете ответить на этот вопрос, то не отвечайте.

«Так вот в чем дело,— догадался я.— Они считают, что акция против Хрущева была запланирована заранее и я один из ее участников? Ну что ж, пусть думают. Ни подтверждать, ни отрицать этого не буду». И я сказал:

— Видите ли, кроме медицины и тем более психиатрии существует много других наук. В том числе науки об обществе. Именно эти науки позволяют иногда предугадать ход событий. Я эти науки немного знаю. Вы не знаете совсем. Поэтому, боюсь, мне трудно будет объяснить вам, как можно было в апреле предвидеть октябрьские события.

— Пожалуйста, пожалуйста, Петр Григорьевич, если вы не можете, не объясняйте, ничего не объясняйте.— И он откланялся.

Я удовлетворенно подумал, что на комиссию он понесет благоприятные для меня ответы. Через несколько минут меня вызвали в кабинет начальника ЛСПБ. В кабинете кроме его хозяина полковника Блинова П. В. находились Александр Павлович и незнакомый мне генерал-майор медицинской службы. Последнего Прокофий Васильевич представил мне. Это был главный психиатр Вооруженных Сил, начальник кафедры психиатрии Военно-медицинской академии Николай Николаевич Тимофеев. Прокофий Васильевич и Александр Павлович вскоре ушли. Мы остались вдвоем. Он очень сочувственно выслушал мой рассказ о происшедшем. Сказал, что о моем деле ничего не знал. Не знал и о моем нахождении в этой больнице, хотя является председателем местной выписной комиссии. Думает, что от него скрывали умышленно. Этот «лукавый царедворец», как назвал он Блинова, несомненно, получил какие-то указания на сей счет, хотя сейчас изображает все как случайность. Расстались мы в весьма дружеских чувствах. Перед расставанием Николай Николаевич спросил меня: «Ну, как будем выписываться? По выздоровлению или по снятию диагноза?»

— А как ближе к дому? — спросил я.

— Безусловно, по выздоровлению. Снять диагноз можно и после выписки. Лучше ожидать конца процедуры дома, чем сидя в этой больнице. Да и мне удобнее решать ваши пенсионные и другие материальные дела, пока вы не ушли из моих рук. А решение этих дел — мой долг.

От Тимофеева я узнал также, что его ввела в курс дел моя жена. Блуждая по инстанциям «в поисках правды», она наткнулась на такое должностное лицо, как главный психиатр Вооруженных Сил. Достала телефон. Позвонила. Он согласился встретиться с ней и близко к сердцу принял ее рассказ. После этого активно включился в защиту моих интересов. В плане защиты имел и сегодняшнюю встречу со мной. Именно он поставил вопрос о моей выписке на сегодняшнюю комиссию. Правда, эта постановка готовилась Зинаидой Михайловной и с другой стороны. Она начала это дело, и она его толкала, включая все новые бюрократические инстанции.

Прекрасно зная нашу бюрократическую систему и особенно страх аппаратчиков перед «высоким начальством», она затеяла кипучую акцию сразу после снятия Хрущева. Она договорилась с рядом наших ближайших друзей, и те начали по несколько раз в день

звонить ей: «Зина! Ну, как дела? Теперь должно быть все хорошо. Мы же знаем, что Петро — друг Брежнева. Ты обращалась к нему?»

— Нет! Я не хочу сейчас лезть к нему. Подожду. Я надеюсь, что он сам вспомнит.

Зинаида не сомневалась, что подслушивание, установленное у телефона и во всей нашей квартире, клюнет на эти разговоры. Кагебистское начальство начнет проверять насчет «дружбы», но установит с достоверностью лишь факт нашей совместной службы. Дружба же — проблема. Но если жена говорит о дружбе, значит, у нее есть какие-то основания. И вот однажды звонок.

— Зинаида Михайловна! — говорит адъютант генерала Петушкова, первого заместителя министра охраны общественного порядка (ныне Министерство внутренних дел).— Вы не могли бы навестить генерала?

— Конечно, могу. Сейчас выезжаю!

— Нет, нет! Зачем же вам по городскому транспорту мотаться. Я пришлю машину.

Через некоторое время звонок в дверь. Шутливо-молодцеватый возглас: «Главный психиатр МООП подполковник Рыбкин Петр Михайлович прибыл в ваше распоряжение. Где ваша шубка, Зинаида Михайловна?»

В министерстве — «зеленая улица» от самого входа до кабинета Петушкова. Сам хозяин встречает посетительницу посреди своего огромного кабинета. Приглашает к столу и... сплошная забота... обращается к присутствующим: «Никому не курить. У Зинаиды Михайловны астма». Далее начинает высказывать деланное не то возмущение, не то удивление: «Вы знаете, Зинаида Михайлоана, сегодня вдруг узнаю, что в одной из наших больниц содержат генерала. При этом нарушены его права. Вот только сегодня мне это доложили».

— Ай-ай-ай,— насмешливо покачала головой Зинаида.— Какая недисциплинированность.

— Да, да... Но теперь я взял это дело под собственный контроль. Вы теперь никуда не обращайтесь, только к нам, только к нам.

Но Зинаиду Михайловну «только к нам» не устраивало. Жена неожиданно для всех включила еще одну инстанцию. Она подала заявление в военную коллегию Верховного суда СССР с просьбой «снять с мужа принудительное лечение». То, что произошло дальше, оказалось неожиданным даже для Блинова. При всей своей бюрократической «мудрости» обмишурился и он. По закону принудительное лечение может быть снято или по заявлению родственников судом, вынесшим определение о применении мер медицинского характера, или по представлению СПБ судом по месту ее нахождения. Это по закону. По сложившейся же традиции выписывают только по представлению больницы. И никто из родственников больных даже не пытается нарушить эту традицию.

Зинаида ее нарушила, и суд принял от нее заявление. Тут же был послан запрос в больницу о моем состоянии. Блинов явно опешил. Верховный суд запрашивает. Но зачем? Чего он хочет? Выписать поскорее или задержать подольше? Это Блинову неясно. И он, чтобы не попасть впросак, пишет, как говорили бюрократы еще царских времен, «двойным хлюстом», то есть, чтоб неясно было, за что он — за выписку или за задержание. Он знает, что ответом на это может быть только более ясное требование суда. Вот тогда он и ответит яснее.

Но тут возникает новая неожиданность. Среди сотрудников военной коллегии обнаруживается человек, сочувствующий Зинаиде Михайловне. Он сообщает ей содержание ответа ЛСПБ и говорит, что с таким ответом в суде дело не пройдет. Жена сразу же идет к Рыбкину.

— Петушков мне сказал, что, когда мне необходимо, я должна обращаться к вам. Вот я и обращаюсь. Вы мне сказали в декабре, что моего мужа выпишут в феврале-марте. Военная коллегия запросила больницу, и вот что ответил Прокофий Васильевич. Мне в военной коллегии сказали, что с такой бумажкой нечего и соваться в суд.

Рыбкин тут же снимает трубку и телефонирует в ЛСПБ.

— Прокофий Васильевич! А что, состояние Григоренко по сравнению с тем, как мы видели его в декабре, ухудшилось?

— Нет!

— А почему же вы в Верховный суд прислали бумагу, из которой не видно, что мы рекомендуем его к выписке?

Блинов что-то ответил, чего жена не расслышала. На это Петр Михайлович заметил:

— Да, конечно! Срочно переделайте и отправьте в военную коллегию.

И хитрый Блинов поверил в то, что это установка свыше.

14 апреля 1965 года военная коллегия определила снять с меня принудлечение. На заседании военной коллегии прекрасно выступил в пользу моего освобождения эксперт генерал-майор Тимофеев Н. Н. С 22-го определение входило в законную силу. Жена, узнав, что определение отправлено 19-го, точно к 10.00 22-го прибыла в ЛСПБ.

— Еще не прибыло,— сказал ей Блинов.— Посидите немного. Может, в сегодняшней почте. Она прибывает в 10.00.

Определение, действительно, было в утренней почте. В 12 часов мы с женой уже были за пределами больницы. Когда мы шли по Арсенальной, Зинаида сказала:

— Слава тебе, Господи! На воле. А то я все боялась. У меня все время было такое чувство, что я краду тебя. Все боялась, что под конец что-то стрясется. Поэтому и приехала так, чтоб ни одной минуты не пропустить, чтоб выхватить тебя немедленно.

Мы в то время даже не предполагали, как близко была к нам опасность «не успеть». Примерно через две недели после моего освобождения «мой лучший друг Брежнев» действительно вспомнил обо мне. Вот как это было.

Генерал Петушков, проявляя обещанную заботу, собрал все материалы о незаконном лишении меня звания генерала и в присутствии своего министра доложил эти материалы Председателю Совета Министров СССР Воронову. Вместе они повозмущались произволом (волюнтаризмом) Хрущева, и Воронов приказал им идти на следующий день вместе с ним на доклад к Косыгину. Материал был доложен, и Косыгин приказал подготовить к следующему дню проект постановления Совмина о восстановлении меня в генеральском звании и увольнении из армии обычным порядком с выплатой всего положенного и с пенсией.

Вечером «вожди» встречались на Ленинских горах. Случай подвернулся недобрым словом вспомнить Никиту Сергеевича. И Косыгин добавил: «Да тут вот еще с одним генералом начудил. Признали невменяемым, послали в психушку и в то же время лишили звания. Я приказал подготовить проект постановления. Хочу привести в соответствие с законом».

— Э, нет. Постой,— прервал его Брежнев.— Какой это генерал? Григоренко? Этого генерала я знаю. Так что не спеши. Направь все его дело мне.

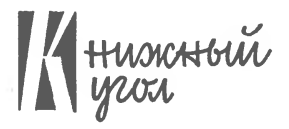
Когда ему передавали дело, он спросил: «А где он сейчас?»

— Дома,— ответили ему.

— Рано его выпустили. Жаль!

Выходит, жена моя волновалась не напрасно.

Продолжение следует



Раздел ведет Ив. Толстой

ВОЛЬФГАНГ КАЗАК. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С 1917 ГОДА

Западные слависты уделяют большое внимание переизданию справочной литературы, в том числе и прошлых лет: за границей факсимильным способом отпечатаны наша «Литературная энциклопедия», тт. 1—9, 11, 1929—35 гг., «Еврейская энциклопедия», тт. 1—16, СПб, 1906—1913, «Полный православный богословский энциклопедический словарь», тт. 1—2, М., 1913 и мн. др., в том числе даже словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах.

Вместе с тем, давно назрела необходимость издания достоверного справочника по русской литературе XX века: «Краткая литературная энциклопедия» в 9 тт. (М., 1962—1978), конечно же, грубо искажала историко-литературный процесс в России и СССР. Штуттгартский славист В. Казак подготовил для немецкого издательства «современный и обстоятельный» справочник (1976). С его второго изд. (1986) выполнен перевод на русский язык (переводчики — Е. Варгафик и И. Бурихин) — Лондон, OPI, 1988, 922 стр.

В *ЭС* 619 биографических статей о писателях — представителях русской литературы после 1917 г., а также 87 предметных статей.

Воспроизведенный на обложке известный портрет Ахматовой, трагический, страдальческий,— работы Юрия Анненкова — словно устанавливает тот угол зрения на историю русской литературы XX века, который можно определить как восстановление ее трагической, страдальческой картины. *ЭС* становится, главным образом, в оппозицию к «Краткой литературной энциклопедии», и эта мера оппозиционности оказывается, увы, мерой его научной ценности, ибо составитель поставил себе основной целью восстановление пропусков КЛЭ. *ЭС* слаб своим словником: он не ориентирован только лишь на советскую или только на эмигрантскую литературу, он претендует на охват всего русскоязычного наследия — и при своем небольшом объеме поневоле обречен затрагивать лишь верхи, при этом ограничиваясь лишь прозаиками, поэтами и драматургами. Здесь практически нет критиков, литературоведов и переводчиков — однако невозможно представить себе картину русской литературы этого века без пограничных областей: эссеистики, философской беллетристики, мемуаров, документальной прозы. Тем не менее, *ЭС* пренебрег именами Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, В. В. Розанова (чей «Апокалипсис нашего времени» написан, разумеется, после 1917 г.), А. Н. Вертинского, Б. М. Эйхенбаума, Н. Я. Берковского, В. В. Вейдле, Ю. М. Лотмана, В. Я. Лакшина, Т. Г. Гнедич, Н. И. Ильиной, З. Н. Шаховской, Н. В. Крандиевской и мн. др. В *ЭС* есть поэтесса Ирина Кнорринг, но нет Раисы Блох, есть Борис Шапиро, но нет Виктора Кривулина, есть Владимир Померанцев, но нет Кирилла Померанцева, нет даже Григория Померанца, есть Аля Рахманова (ни одной строчки по-русски не опубликовавшая), но нет ни одного из Струве. В. Казак почему-то опустил Ю. Анненкова-мемуариста, хотя мог бы ввести его как беллетриста под псевдонимом Борис Темирязев. Зато в *ЭС* есть имена, для такого издания необязательные: Трофим Борисов, Сергей Бондарин, Феоктист Березовский, Александр Волошин, Юлий Чепурин, Георгий Никифоров и др. Составитель дает этому такое объяснение: «Отбор писателей... был... подчинен прежде всего информационным запросам того, кто прибегнет к помощи такого словаря. ... в словник вошли не только имена тех писателей, которых ... можно считать „настоящими писателями", но и те авторы... которым в официозной советской шкале отведено лишь политически обусловленное место... В случае с этими писателями словарь может послужить пособием для объективного установления литературной ценности того или иного автора. Так в словарь были включены писатели, произведения которых подробно рассматривались в последнее время в советских учебниках по истории литературы, и почти все пишущие по-русски лауреаты Ленинских и Сталинских премий 1-й и 2-й степени, а также крупнейшие лауреаты Государственных премий, включая тех, чье значение в литературе ничтожно. Тот, кто пользуется советскими источниками различных периодов и сталкивается с именами этих писателей, может с помощью этого словаря уточнить и проверить полученные там оценки».

В отличие от КЛЭ, *ЭС* дает статьи «Самиздат», «Тамиздат», «Оттепель», «Цензура», «Эмиграция», «Гулаг и литература», «Реабилитация» и др. *ЭС* описывает некоторые наиболее известные эмигрантские периодические издания: «Современные записки», «Числа», «Опыты», «Мосты», «Континент», «Синтаксис», «Стрелец» и др.; дает характеристики советским литературным группировкам: «Серапионовы братья», «Кузница», «ЛОКАФ», «Перевал», совершенно упуская эмигрантские: «Перекресток» (Париж), «Скит поэтов» (Прага), «Веретено» (Берлин).

Достоинством *ЭС* стали многие персональные статьи: о Г. Н. Айги, Л. А. Алексеевой, О. Н. Анстей, А. В. Белинкове, В. С. Варшавском, Г. И. Газданове, Н. Н. Моршене, Георгии Пескове, В. Я. Тарсисе, Л. Д. Червинской и др.,— сведения о которых часто недоступны в СССР.

Ценная сторона *ЭС* — постатейная библиография, не только краткая советская, но еще и западная.

Лит.: Н. Кузнецова. Вас здесь не стояло! — Форум, № 20, Мюнхен, 1989.

Ив. Т.

«ЭХО»

Литературный журнал. Основан в 1978 г. как ежеквартальное издание под редакцией В. Марамзина и А. Хвостенко. За первые три года вышло 12 номеров, после чего наступил перерыв до 1984 г., когда появился № 13; наконец, в 1986 г., был выпущен № 14. Издание прекращено.

Э — характерное литературное выражение третьей волны нашей эмиграции. Как писал в № 1 журнала В. Марамзин, *Э* «не занимается специально политикой, тем не менее никогда не забывает зловещей цифры 1917». *Э* взяло на себя роль вольной трибуны для, прежде всего, самиздатского выражения, стало эхом тех процессов, которые происходили в нонконформистской подпольной печати СССР. Журнал неизменно воспроизводил на титульном листе стихотворение А. С. Пушкина «Эхо», но не типографским шрифтом, а своего рода ремизовской вязью, что намекало на чтимые традиции «от Пушкина до Ремизова». (Название для журнала предложено Иосифом Бродским.)

«Основное содержание,— анонсировала редакция,— литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы разнообразного литературного самиздата „оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Единственный в эмиграции журнал, регулярно печатающий библиографические материалы. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика».

В разделе прозы журнал опубликовал отрывки из романов Юза Алешковского, рассказы Бориса Вахтина, комическую драму А. Волохонского и А. Хвостенко, повесть В. Высоцкого «Жизнь без сна», рассказы Рида Грачева, «Летний день» Олега Григорьева (с рисунками Доротеи Шемякиной), рассказы В. Марамзина и Юрия Милославского, «Вальс для К.» Д. Савицкого, разнообразную прозу Елены Шварц, Генриха Шефа, Сергея Юрьенена, Александра Кондратова.

В поэтическом разделе представлены: Владимир Адмони, Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анри Волохонский, Владимир Высоцкий, Глеб Горбовский, Михаил Еремин, Виктор Кривулин, Эдуард Лимонов, Алексей Лосев (его более поздний псевдоним — Лев Лосев), Олег Охапкин, Сергей Стратановский, Владимир Уфлянд, Алексей Хвостенко и др.

В жанре эссе журнал познакомил с работами Вадима Делоне, Иосифа Бродского («Меньше, чем единица», перевод А. Лосева), Руфи Зерновой, Михаила Хейфеца и др.

Обе публикации журнала (Александр Введенский — «Некоторое количество разговоров, или Начисто переделанный темник», «Кругом возможно Бог» и Андрей Платонов — «Ювенильное море») подчеркивали стойкую ориентацию журнала на поиски литературных форм.

Объем критики в журнале невелик, но ярок: П. Вайль и А. Генис о Венедикте Ерофееве, М. Геллер об Андрее Платонове, С. Довлатов об Уфлянде, А. Лосев — о Бродском и М. Еремине, В. Марамзин — о Владимире Максимове и Эдуарде Лимонове и др.

Журнал неизменно вступался в защиту гонимых литераторов: Георгия Владимова, Владимира Войновича, Виктора Кривулина, Михаила Мейлаха, Константина Азадовского.

Одной из важнейших заслуг журнала была публикация из номера в номер максимально подробной библиографии Андрея Платонова — эта работа до сих пор остается непревзойденной (составители: А. Киселев, Т. Лангерак, В. Марамзин).

Журнал печатал фотографии авторов.

Ив. Т.



Н. Неуймина

ЛЮБИ ЭТУ ЗЕМЛЮ!

С 24 по 28 мая в казахской столице Алма-Ате впервые в Советском Союзе состоялся Международный конгресс избирателей мира против ядерного оружия, участников антиядерного движения «Невада — Семипалатинск». В числе участников Конгресса были и два члена редколлегии нашего журнала: главный редактор Г. Ф. Николаев и автор этих строк — зав. отделом публицистики.

С первых дней, с первых часов работы форума возникло странное и тяжкое ощущение контраста между яркой, солнечной, по-весеннему зеленой жизнью города и чудовищной опасностью, которая собрала в Алма-Ате более 700 человек из разных стран, среди них — 150 американцев. Почему — сюда? Почему движение получило имя — «Невада — Семипалатинск»? Потому что здесь, в малонаселенных степях Казахстана, в районе Семипалатинска расположен полигон, на котором с 29 августа 1949 года, так же как и в штате Невада, испытывается ядерное оружие.

Долгое время этот полигон был окружен плотной атмосферой секретности, и не только люди за рубежом, но и жители многих регионов нашей страны не подозревали о том, что за годы, когда мощные атомные заряды взрывались «открытым способом», над землей, здесь подверглись облучению около 10 тыс. человек. Теперь, когда пелена секретности упала, и японцев, и американцев потрясла схожесть их судьбы с судьбами жителей Казахстана.

Чтобы по-настоящему понять степень опасности, надо увидеть своими глазами страшное лицо беды. Участникам Конгресса оно открылось здесь во встречах с людьми, потерявшими здоровье и силы, с детьми, которые родились уродами, с землей, которая не имеет права родить хлеб. Страшную правду рассказали создатели документального фильма «Полигон» Орас Рыжанов и Вл. Рерих.

С момента первого испытания в Альмагордо, штат Нью-Мексико, в 1945 году, в мире произведено 1750 ядерных взрывов, и каждое ядерное испытание — это ступень к созданию новых систем оружия. «Ядерное оружие наступает на нас: оно ежедневно отнимает у детей — молоко, у деревьев — соки, у человечества — надежду жить. Если не остановиться — ядерное оружие вытеснит человека из жизни». Это слова из обращения участников форума к гражданам планеты.

Четыре дня встречались участники Конгресса, делясь своей болью, тревогой, своими первыми победами. Было два главных направления во всех этих выступлениях. Одно — связано с судьбой тех, кто живет в окрестностях Семипалатинского полигона и до сих пор находится в бедственном положении, без квалифицированной медицинской помощи и элементарно комфортного уровня жизни. Овацией встретил зал известие, что парламент Казахской республики принял решение запретить испытания на этом ядерном полигоне.

Судьба Семипалатинска явилась отправной точкой для второго, более масштабного разговора. Его начали Бернард Лаун, сопредседатель всемирного движения «Врачи за предотвращение ядерной войны» (в 1985 году это движение получило Нобелевскую премию Мира), Питер Зойтлин, содиректор этого движения из США, Тэд Тэйлор, известный ученый, один из создателей американской атомной бомбы, академик А. М. Кузин, председатель советского комитета движения.

«Все мы — заложники ядерного полигона» — такова была главная идея выступлений. При существующих 50 000 ядерных боеголовок мы живем под сенью ядерной войны. Даже если США и СССР договорятся сократить количество накопленного оружия вдвое, это ничего не даст. «Мы сейчас буквально балансируем на краю пропасти, и достаточно небольшого толчка, какой-то провокации, чтобы человечество сорвалось в эту страшную бездну»,— говорил о Сахарове Олжас Сулейменов, лидер этого движения. Надо бороться за то, чтобы бессрочный мораторий был объявлен на всех полигонах мира. Это в наших силах.

Все дни работы Конгресса незримым его участником был человек, первым призвавший к борьбе против ядерного оружия, академик А. Д. Сахаров. «За два с половиной часа до смерти,— рассказывает О. Сулейменов,— в своем интервью Андрей Дмитриевич говорил о том, что народам мира необходимо объединить усилия в этой борьбе». Призыв Человека, ставшего нашей совестью, был воспринят Сулейменовым как эстафета. Так родилось, так начало распространяться во всем мире это движение.

Почему движение «избирателей мира»? Потому что «избиратели сегодня — самая активная часть населения планеты,— говорит Сулейменов.— Они делают выбор между жизнью и смертью, между разумом и невежеством, между миром и войной. Они понимают, что наступило время активных действий».

Как раз в один из дней работы Конгресса в США произведен очередной ядерный взрыв — и это было воспринято как новое напоминание о неутихающей опасности, подстерегающей человечество. Может быть, поэтому так взволнованно, с такой обнаженной откровенностью выступали в последние дни участники Конгресса. В одном из ближайших номеров «Звезда» опубликует некоторые из этих выступлений. Журнал будет постоянно печатать на своих страницах материалы, рассказывающие о борьбе за предотвращение ядерных взрывов во всем мире, ибо все мы солидарны с обращением участников Форума к руководителям государств, проводящих испытания ядерного оружия,— президенту Джорджу Бушу (США), президенту Михаилу Горбачеву (СССР), премьер-министру Маргарет Тэтчер (Великобритания), премьер-министру Франсуа Миттерану (Франция), премьер-министру Ли Пену (КНР): «Мы убеждены, что правительства и руководители должны выполнять волю своих народов, своих избирателей».

Ядерные взрывы должны затихнуть на всей планете, во всем нашем общем доме, как можно скорее, пока еще не поздно,— об этом думали, об этом мечтали все люди, приехавшие в Алма-Ату. Взявшись за руки, взволнованные, мы пели гимн Движения, гимн Надежды «We shall owercome» (Мы одолеем!), написанный Питом Сигером.

«Храни и береги эту землю для своих детей и люби ее, как Бог любит всех нас»,— написал в 1985 году президенту США старейшина индийского племени Сиэтл Дювалиш. Точнее и лучше сказать трудно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОПРАВКА

В № 5 (письмо Т. Абдрахмановой «Поддержите нас!») на с. 207, строки 25—26 сверху, в левом столбце следует читать: «А. Н. Яковлев в своей речи, посвященной 200-летию Великой французской революции, сказал...» И далее по тексту.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В 1991 году «Звезда» будет распространяться по подписке и через киоски «Союзпечати». Подписная цена журнала — 1 руб. 60 коп. Годовая подписка — 19 руб. 20 коп.

Розничная цена — 1 руб. 80 коп.

Мы так же, как и вы, огорчены повышением цены, но вынуждены пойти на это, чтобы сохранить журнал.

В нынешних условиях, когда подорожают также и книги, многим из нас придется вернуться к практике начала семидесятых, когда мы пополняли свои библиотеки, вырезая и переплетая лучшие журнальные публикации.

«Звезда»-91 поможет вам украсить свою библиотеку такими романами, как:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Март Семнадцатого. Завершающий том,
Курт ВОННЕГУТ. Мать-тьма,
Норман МЕЙЛЕР. Американская мечта,
Михаил ЧУЛАКИ. Гаврилиада,—

тем самым вы окупите годовую подписку на наш журнал!

Отдельный — и прекрасный! — том могут составить наши публикации под рубрикой «Мемуары XX века»:

Д. Панин. Записки Сологдина.
В. Яновский. Поля Елисейские.
В. Днепров. Люди 20-х годов.

Читайте в нашем журнале:

Андрей САХАРОВ. Интервью иностранным корреспондентам.
АНТОНИЙ, митрополит Сурожский. Интервью «Звезде» (предисловие С. С. Аверинцева).

Проза Г. ВЛАДИМОВА, Г. ГОРБОВСКОГО, Я. ГОРДИНА, С. ДОВЛАТОВА, Ю. МАМЛЕЕВА, Р. ПОГОДИНА, В. ПОПОВА, В. ШЕФНЕРА и др.

Стихи И. БРОДСКОГО, К. ВАНШЕНКИНА, М. ДУДИНА, А. КУШНЕРА, В. КРИВУЛИНА, Б. СЛУЦКОГО, Б. ЧИЧИБАБИНА, Е. ШВАРЦ и др.

Философские чтения: А. ЛЮБИЩЕВ. Мысли о Нюрнбергском процессе, В. ПЕТРИЦКИЙ. Вселенная Альберта Швейцера, Ю. КОРЯКИН. Публицистические размышления.

Неизвестные страницы Анны АХМАТОВОЙ, Ивана БУНИНА, Ольги БЕРГГОЛЬЦ, Льва КАРСАВИНА, Осипа МАНДЕЛЬШТАМА, Марины ЦВЕТАЕВОЙ.